[illegible]

Читайте:

ЗНАМЯ 7 1989

[illegible]

Криста ВОЛЬФ. [illegible]

А. ТВАРДОВСКИЙ. [illegible]

[illegible]

[illegible] РЕЙН, Ю. АЙХЕНВАЛЬД

[illegible]

[illegible] ФЕДОРОВЫМ

ЗНАМЯ 6 1989

ЗНАМЯ

1989

Июнь

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

6

ИЮНЬ
1989

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Давид Самойлов

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

●

К Маяковскому возвращаться?
Или дальше идти — до Блока?
До погибели докричаться
Или домолчаться до Срока?

Снова гнать историю плетью?
(Ох, и резвая это кляча!)
Провожать ли тысячелетье,
Размышляя, ликуя, плача?

Подводить ли сейчас итоги?
Или повременить с итогом?
Надо остановиться в дороге.
Отдышаться. А там уж—с богом!

Поговорим о дряни...

Дрянь не лезет в стих.
Стих не лезет в дрянь.
Слышишь — ветер стих.
Видишь — в поле рань.

Вслушайся в зарю.
Соберись, встань.
Я и говорю:
В стих не лезет дрянь.

Скажут мне:
— Эстет!
Ты — от сих до сих...
Я отвечу: Нет.
В дрянь не лезет стих.

●

Покаяньям публичным не верится.
Лучше бы промолчать, утаить.
Как заветную веточку вереска,
Как во тьме ариаднину нить.

Нынче нужно с собою по строгости
Говорить, а не так, как тогда —
Помнишь? — при отуплении совести?
Ой, какая случилась беда!

Горе скоро свое не размыкаю,
Но отвечу, уйдя в тишину,
За свою, за твою, за великую,
За неявную нашу вину.

●

От византийской мощи
Остался только прах
Или святые мощи
В глуши, в монастырях.

О мощи византийской
Остался только слух,
А на земле российской
Ее державный дух.

Пусть наша завируха
Безумствует, чтоб впредь
Российской мощью духа
Дух мощи одолеть.

Пробуждение

Протер глаза. В окне светало.
Роса сходила, чуть дымя.
На испарение кристалла
Похоже прозреванье дня.

Окно наводится на резкость
Не сразу. Ведь туман в кустах.
Гляжу: в порядке ли окрестность
И все ли на своих местах.

Иль ночью, в пору перетрясок
И непонятных нам затей,
Произошло смешенье красок
Или смещенье плоскостей.

Все, кажется, в порядке. Кроме
Художника, что под окном,
Растрепан, как гнездо воронье,
Безумствует над полотном.

●

Памяти Ф. Ю. Зигеля

Вот еще один ушел
В даль, откуда нет возврата.
Серебристый снег лежит.
Каркнул ворон. Как в трехстишье
По-японски. Я один.
Дерево бежит с холма.

Мимо неподвижной речки
Протекают берега.

Не хватает мне коня,
Чтобы с ним вести беседу,
Потому что здесь все меньше
Разумеющих меня.
Я бы с ним поговорил
На серебряном наречье
Про призванье человечье,
Про игру вселенских сил.
Мне ведь жить не надоело,
Но у господа для тела
Я бессмертья не просил.

●

Январь в слезах, февраль в дожде. Как усмотреть,
Что будет так: январь в слезах, февраль в дожде.
А если утром из окошка поглядеть,
Не угадать — когда живешь, когда и где.

Как разобраться нам в невнятице такой —
Январь в слезах, февраль в дожде. Престранный год.
Уж не нарушился ли (как у нас с тобой)
На веки вечные времен круговорот.

За городом

Тот запах вымытых волос,
Благоуханье свежей кожи!
И поцелуй в глаза, от слез
Соленые, и в губы тоже.

И кучевые облака,
Курчавящиеся над чащей.
И спящая твоя рука,
И спящий лоб, и локон спящий.

Повремени, певец разлук!
Мы скоро разойдемся сами.
Не разнимай сплетенных рук,
Не разлучай уста с устами.

Ведь кучевые облака
Весь день курчавятся над чащей.
И слышится издалека
Дневной кукушки свист горчащий.

Не лги, не лги, считая дни,
Кукушка, — мы живем часами...
Певец разлук, повремени!
Мы скоро разойдемся сами.

Варлам Шаламов

ИЗ «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗОВ»

Варлам Тихонович Шаламов (1907—1982) вошел в наше общественное и литературное сознание незаметно, но прочно, без шумной волны сенсации. Давно печатавшийся как поэт, он завоевал известность «колымскими рассказами», написанными между 1954 и 1973 годами; значительная часть их вышла за рубежом, а у нас они начали публиковаться лишь в последние годы.

Помню его появление в «Новом мире» в начале 60-х годов, едва ли не той зимой, когда была напечатана повесть об Иване Денисовиче. Высокий, костистый, чуть сутулившийся, в длиннополом пальто и меховой шапке с болтавшимися ушами... Лицо с резкими морщинами у щек и на подбородке, будто выветренное и высушенное морозом, глубоко запавшие глаза... Он никогда не снимал верхней одежды, так и входил в кабинет с улицы, забегал на минутку, словно для того лишь, чтобы удостовериться — до его рукописи очередь еще не дошла. Журнал был в трудном положении: разрешив, по исключению, напечатать повесть Солженицына, «лагерной теме» поставили заслон. Была сочинена даже удобная теория, мол, Солженицыным рассказано все о лагерном мире, так зачем повторяться?

Между тем художественные и документальные отражения неволи — аресты, тюрьмы, лагеря — предстали неисчерпаемо разнообразными. Они открыли в литературе новый и сильный пласт трагических впечатлений, оказавшихся в известном смысле богаче содержанием более привычных и благополучных тем «воли». Борис Пастернак, которого Шаламов любил и с которым переписывался, заметил как-то, что описания жизни сытой и роскошной страшно однообразны в сравнении с бесконечным разнообразием бедной и трудовой жизни. Это относится и к «лагерной теме». Кажется, о лагерях в наше время рассказано столько, но не устаешь удивляться, что каждый новый свидетель тех горестных лет, если он к тому же обладает наблюдательностью, зоркостью, художественным талантом, непременно сообщит что-то новое, пропущенное его предшественниками.

Мир русской каторги, имевший первым своим певцом Достоевского, неисчерпаем. Пестрой разнолицею толпой в драных ватниках, бушлатах и обмотках врывается на страницы Шаламова лагерный люд. И хоть кажется, что говорится все об одном — холоде, голоде, унижениях, боли, непосильном труде, а сколько разных, не похожих одна на другую историй рассказывает нам Шаламов, сколько неповторимых поворотов судеб и новых ошеломляющих нечеловеческой болью деталей успевает он передать.

Плотность этой прозы такова, что ее можно было бы, по-видимому, связать с опытом Шаламова-поэта. А иной раз по дотошности подробностей она напоминает этнографический очерк. Но, может быть, некоторая сдержанность и суровость, непоказной аскетизм ее от того, что «об этом» было бы просто стыдно рассказывать более «художественно», затейливо и кудряво.

Рассказы Шаламова коротки как правило. Ему словно бы тяжело длить повествование: есть свой порог у чувства боли и своя длительность — нельзя долго вызывать эти картины в памяти, здесь онемевает воображение. Но, закончив один рассказ и как бы разрешив читателю сделать глубокий вдох, Шаламов принимается за следующую колымскую историю. А в целом из этих десятков сцен, лиц и картин складывается небывалый колымский эпос, который заслужила эта политая слезами и кровью земля.

Шаламов чувствовал за собой призвание Нестора-летописца колымского народа, составившего не этническую, но социальную общность. Он не уставал припоминать подробности его быта и обихода, долгие дни страданий, тени когда-то топтавших эту землю людей, исчезнувших там — на лесоповалах, в рудниках, тюремных больницах. Им безраздельно отдал он, сам проведший в неволе почти двадцать лет, свое перо.

Публикуя несколько еще не появлявшихся в нашей периодике «колымских рассказов» Варлама Шаламова, «Знамя» отдает долг памяти благородного человека и значительного русского писателя.

В. ЛАКШИН

ПО СНЕГУ

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, — воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтобы ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной — скалу, высокое дерево; человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд, плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

<1956 г.>

ТАТАРСКИЙ МУЛЛА И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Жара в тюремной камере была такая, что не было видно ни одной мухи. Огромные окна с железными решетками были распахнуты настежь, но это не давало облегчения, — раскаленный асфальт двора посылал вверх

горячие воздушные волны, и в камере было даже прохладней, чем на улице. Вся одежда была сброшена, и сотня голых тел, пышущих тяжелым влажным жаром, ворочалась, истекая потом, на полу — на нарах было слишком жарко. На комендантские поверки арестанты выстраивались в одних кальсонах, по часу торчали в уборных на оправке, бесконечно обливаясь холодной водой из умывальника. Но это помогало ненадолго. «Поднарники» сделались вдруг обладателями лучших мест. Надо было готовиться в места «далеких таборив», и острили, по-тюремному мрачно, что после пытки выпариванием их ждет пытка вымораживанием.

Татарский мулла, следственный арестант по знаменитому делу «Большой Татарии», о котором мы знали гораздо раньше того дня, когда об этом намекнули газеты, крепкий шестидесятилетний сангвиник, с мощной грудью, поросшей седыми волосами, с живым взглядом темных круглых глаз, говорил, беспрерывно вытирая мокрой тряпочкой лысый лоснящийся череп:

— Только бы не расстреляли. А дадут десять лет — чепуха. Тому этот срок страшен, кто собирается жить до сорока лет. А я собираюсь жить до восьмидесяти.

Мулла взбегал на пятый этаж без одышки, возвращаясь с прогулки.

— Если дадут больше десяти,— продолжал он раздумывать,— то в тюрьме я проживу еще лет двадцать. А если в лагере,— мулла помолчал,— на чистом воздухе, то — десять.

Я вспомнил этого бодрого и умного муллу сегодня, когда перечитывал «Записки из Мертвого дома». Мулла знал, что такое «чистый воздух».

Морозов и Фигнер пробыли в крепости при строжайшем тюремном режиме по двадцать лет и вышли вполне трудоспособными людьми. Фигнер нашла силы для дальнейшей активной работы в революции, затем написала десятитомные воспоминания о перенесенных ужасах, а Морозов написал ряд известных научных работ и женился по любви на какой-то гимназистке.

В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в лагерном забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок поменьше — от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, при побоях десятников, старост, блатарей и конвоя. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища.

Золотой сезон начинается 15 мая и кончается 15 сентября — четыре месяца. О зимней же работе и говорить не приходится. К лету основные забойные бригады формируются из новых людей, еще здесь не зимовавших.

Арестанты, получившие «срок», рвались из тюрьмы в лагерь. Там — работа, здоровый деревенский воздух, досрочные освобождения, переписка, посылки от родных, денежные заработки. Человек всегда верит в лучшее. У щели дверей теплушки, в которой нас везли на Дальний Восток, день и ночь толкались пассажиры-этапники, упоенно вдыхая прохладный, пропитанный запахом полевых цветов тихий вечерний воздух, приведенный в движение ходом поезда. Этот воздух, который был не похож на спертый, пахнущий карболкой и человеческим потом воздух тюремной камеры, ставшей ненавистной за много месяцев следствия. В этих камерах оставляли воспоминания о поруганной и растоптанной чести, воспоминания, которые хотелось забыть. По простоте душевной люди представляли следственную тюрьму самым жестоким переживанием, так круто перевернувшим их жизнь. Именно арест был для них самым сильным нравственным потрясением. Теперь, вырвавшись из тюрьмы, они подсознательно хотели верить в свободу, пусть относительную, но все же свободу, жизнь без проклятых решеток, без унизительных и оскорбительных допросов. Началась новая жизнь без того напряжения воли, которое требовалось всегда для допроса во время следствия. Они чувствовали глубокое облегчение от сознания того, что все уже решено бесповоротно, приговор получен, не нужно думать, что именно отвечать следователю, не нужно волноваться за родных, не нужно строить планов жизни, не нужно бороться за кусок хлеба — они уже в чужой воле, уже ничего нельзя изменить, никуда нельзя повернуть с этого блестящего железнодорожного пути, медленно, но неуклонно ведущего их на север.

Поезд шел навстречу зиме. Каждая ночь была холоднее прежней. жирные зеленые листья тополей здесь были уже тронуты светлой желтизной. Солнце уже не было таким жарким и ярким, как будто его золотую силу впитали, всосали в себя листья кленов, тополей, берез, осин. Листья сами сверкали теперь солнечным светом. А бледное малокровное солнце не нагревало даже вагона, большую часть дня прячась за теплые сизые тучки, еще не пахнущие снегом. Но и до снега было недалеко.

Пересылка, еще один «маршрут» к северу. Приморская бухта их встретила небольшой метелью. Снег еще не ложился — ветер сметал его с промороженных желтых обрывов в ямы с мутной, грязной водой. Сетка метели была прозрачна. Снегопад был редок и похож на рыболовную сеть из белых ниток, накинутую на город. Над морем снег вовсе не был виден — темно-зеленые гривастые волны медленно набегали на позеленелый скользкий камень. Пароход стал на рейде и сверху казался игрушечным, и даже когда на катере их подвезли к самому борту и они один за другим взбирались на палубу, чтобы сразу разойтись и исчезнуть в горловинах трюмов,— пароход был неожиданно маленьким, слишком много воды окружало его.

Через пять суток их выгрузили на суровом и мрачном таежном берегу, и автомашины развезли их по тем местам, где им предстояло жить — и выжить.

Здоровый деревенский воздух они оставили за морем. Здесь их окружал напитанный испарениями болот разреженный воздух тайги. Сопки были покрыты болотным покровом, и только лысины безлесных сопок сверкали голым известняком, отполированным бурями и ветрами. Нога тонула в топком мхе, и редко за летний день ноги были сухими. Зимой все леденело. И горы, и реки, и болота зимой казались каким-то одним существом, зловещим и недружелюбным.

Летом воздух был слишком тяжел для сердечнобольных, зимой невыносим. В большие морозы люди прерывисто дышали. Никто здесь не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то вприпрыжку.

Тучи комаров облепляли лицо — без сетки было нельзя сделать шага. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же ее было нельзя из-за комаров.

Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на шестнадцать часов. Если считать, что подъем, завтрак и развод на работу, и ходьба на место ее занимают полтора часа минимум, обед — час и ужин вместе со сбором ко сну полтора часа, то на сон после тяжелой физической работы на воздухе оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше силы, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком — 300 граммов хлеба в день и без баланды.

С первой иллюзией было покончено быстро. Это — иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Лагерь же мог прививать и прививал только ненависть и отвращение к труду.

Раз в месяц лагерный почтальон увозил накопившуюся почту в цензуру. Письма с материка и на материк шли по полгода, если вообще шли. Посылки выдавались только тем, кто выполняет норму,— остальные под-

вергались конфискации. Все это не носило характера произвола — отнюдь. Об этом читались приказы, в особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться. Это не было дикой фантазией какого-то дегенерата-начальника — это был приказ высшего начальства.

Но даже если кем-либо посылки и получались — можно было пообещать какому-нибудь воспитателю половину, а половину все же получить, — то нести такую посылку было некуда. В бараке давно ждали блатные, чтобы отнять на глазах у всех и поделиться со своими «Ванечками» и «Сенечками». Посылку надо было или сразу съесть, или продать. Покупателей было сколько угодно — десятники, начальники, врачи.

Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должностях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаемных. И в том, и в другом случае всегда был риск — никто не верил в добросовестность хозяев, но это была единственная возможность спасти полученное.

Денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадам и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. По многим бригадам бригадиры делали так: выработку бригады записывали на два-три человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальных двадцать — тридцать человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну, никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.

Все знали, что нормы невыполнимы, что заработка нет и не будет, и все же за десятником ходили, интересовались выработкой, бежали встретить кассира, ходили в контору за справками.

Что это такое? Есть ли это желание обязательно выдать себя за работягу, поднять свою репутацию в глазах начальства или это просто какое-то психическое расстройство «на фоне упадка питания»? Последнее более верно.

Светлая, чистая, теплая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих ученых и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чем хотели (в лагере за это полагался дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободнее и родней родного дома, и не один говорил, размечтавшись на больничной койке, хотя осталось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы — там было еще лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое «чистый воздух».

Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, вырастaвшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую десятки жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру — эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию — болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия, начиная от Р. Ф. И. — таинственных букв в диагнозах истории болезни, переводимых как резкое физическое истощение, или чаще полиавитаминоза — чудного латинского названия, говорящего о недостатке нескольких витаминов в организме человека, успокаивающего врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же — голода.

Если вспомнить неотапливаемые сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лед, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплыла в углу барака... Плохая одежда и голодный паек, отморожения, а отморожение — это ведь мучение навек, если даже не прибегать к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппа, воспаления легких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих горах, губительных для сердечника. Если вспомнить эпидемии саморубов — членовредителей. Если принять во внимание и огромную моральную подавленность и безнадежность, то легко видеть, насколько «чистый воздух» был опаснее для здоровья человека, чем тюрьма.

Поэтому нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимуществ «работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоинств «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, и каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот, о которых здесь рассказано. Об этом заранее трудно составить верное представление, ибо все тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь, о которой смутное, неуверенное понятие имел наш тюремный знакомый — татарский мулла...

1955 г.

ПЛОТНИКИ

Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом — сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.

Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно — выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице 40 градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще нетрудно — значит 45 градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — 50 градусов. Свыше 55 градусов плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.

Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не упал ли мороз; он знал по опыту прошлой зимы, что, как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до 40—45 градусов, дня два будет тепло, а дальше, чем на два дня, не имело смысла строить планы.

Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело «до костей» — это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед — пресловутая «юшка» и две ложки каши — мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах — внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, — печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало — за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, все спали в том, в чем работали, — в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром — суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к дневальному: «Отломи корочку», но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это — смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.

Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или — умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное страстное желание, какое-то последнее упрямство — желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, на морозе, не в бараке, под сапогами, среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли — это был явный материальный процесс, и, бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечны. Так и душа — она промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли были у Поташникова раньше — теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.

Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было немного. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около начальства. Или около кухни. Но на кухню были сотни конкурентов, а от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятья. Поташников ждал смерти со дня на день, и день, кажется, подошел.

Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленьей шапке и якутских торбазах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленьей шапке.

— А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич, — одно мучение.

Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.

— Бригадиры не знают своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь, — хрипло сказал он.

— Воля ваша, Александр Евгеньевич.

— Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?

— Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.

— Вот, гляди. Эй, ребята, внимание. — Человек в оленьей шапке встал перед бригадой. — Управлению нужны плотники — делать короба для возки грунта.

Все молчали.

— Вот видите, Александр Евгеньевич, — зашептал бригадир.

Поташников вдруг услышал свой собственный голос:

— Есть. Я плотник, — и сделал шаг вперед.

С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его — это был Григорьев.

— Ну, — человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру. — Ты шляпа и дерьмо. Ребята, пошли за мной.

Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.

— Если так будем идти, — прохрипел он, — мы и к обеду не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?

— Знаем, знаем, — закричал Григорьев. — Угостите закурить, пожалуйста.

— Знакомая просьба, — сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы.

Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской — точить топор и делать топорище. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут «получать» инструмент — выписывать, искать кладовщика. А к вечеру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть, и завтра, и послезавтра он будет плотником, если Григорьев — плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето, короткое лето, он как-нибудь проживет.

Поташников остановился, ожидая Григорьева.

— Ты можешь это, плотничать? — задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.

— Я, видишь ли, — весело сказал Григорьев, — аспирант московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топор и развести пилу. Тем более, это надо делать рядом с горячей печкой.

— Значит, и ты...

— Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом — какое тебе дело, что будет потом.

— Мы обманем на один день. Завтра нас вернут в бригаду.

— Нет. За один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки. Потом опять отчислять...

Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простерли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту они сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен.

— Вы зачем? — недружелюбно спросил их столяр.

— Мы плотники. Будем работать тут, — сказал Григорьев.

— По распоряжению Александра Евгеньевича, — добавил поспешно Поташников.

— Это, значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры, — сказал Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.

— О нас, о нас...

— Берите, — недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем. — Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топорища. — Арнштрем улыбнулся. — Дневная норма мне на топорища — тридцать штук, — сказал он.

Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.

— Теперь ты, — сказал он Поташникову.

Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.

— Хватит, — сказал Арнштрем.

Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого кроме трех людей не было.

— Возьмите вот два моих топорища, — Арнштрем подал готовые то-

порища Григорьеву,—и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.

Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до 30 градусов—зима уже кончалась.

1954 г.

ПОЧЕРК

Поздно ночью Криста вызвали за «конбазу». Так звали в лагере домик, прижавшийся к сопке у края поселка. Там жил следователь «по особо важным делам», как острили в лагере, ибо в лагере не было дел не особо важных — каждый проступок и видимость проступка мог быть наказан смертью. Или смерть, или полное оправдание. Впрочем, кто мог рассказать о своем полном оправдании? Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой тропе. Вот в домике-кухне зажегся свет—это хлеборез, наверное, сейчас начнет нарезать пайки к завтраку. К завтрашнему завтраку. Будут ли завтрашний день и завтрашний завтрак у Криста? Он этого не знал и радовался своему незнанию. Под ноги Кристу попалось что-то, не похожее на снег или льдинку. Крист нагнулся, поднял мерзлую корочку и сразу понял, что это—шелуха репы, обледеневшая корка репы. Лед уже растаял в руках, и Крист затолкал корочку в рот. Спешить явно не стоило. Крист обошел всю тропу, начиная от края бараков, понимая, что он, Крист, проходит первым по этой длинной снежной дороге, что еще никто до него не проходил здесь по краю поселка к следователю сегодня. По всей дороге к снегу примерзли, как завернутые в целлофан, кусочки репы. Крист отыскал их целых десять кусочков—одни больше, другие меньше. Давно уж Крист не видел людей, которые бросали бы в снег корки от репы. Это был не заключенный, вольнонаемный, конечно. Может быть, сам следователь. Крист разжевал и съел все эти корки—во рту его запахло чем-то давно забытым—родной землей, живыми овощами, и с радостным настроением Крист постучал в дверь домика следователя.

Следователь был невысок, худощав, небрит. Здесь был только его служебный кабинет и железная койка, покрытая солдатским одеялом, и скомканная грязная подушка... Стол—самодельный письменный стол с перекошенными выдвижными ящиками, туго набитыми бумагами, какими-то папками. На подоконнике ящик с карточками. Этажерка тоже завалена туго набитыми папками. Пепельница из половины консервной банки. Часы-ходики на окне. Часы показывали половину одиннадцатого. Следователь растапливал бумагой железную печку.

Следователь был белокож, бледен, как все следователи. Ни диевального, ни револьвера.

— Садитесь, Крист,—сказал следователь, называя заключенного на «вы», и подвинул ему старую табуретку. Сам он сидел на стуле—самодельном стуле с высокой спинкой.

— Я просмотрел ваше дело,—сказал следователь,—и у меня есть к вам одно предложение. Не знаю, подойдет ли это вам.

Крист замер в ожидании. Следователь помолчал.

— Я должен знать о вас еще кое-что.

Крист поднял голову и никак не мог сдержать отрыжки. Приятной отрыжки—неудержимого вкуса свежей репы.

— Напишите заявление.

— Заявление?

— Да, заявление. Вот листок бумаги, вот перо.

— Заявление? О чем? Кому?

— Да кому угодно! Ну, не заявление, так стихотворение Блока. Ну, все равно. Поняли? Или птичку пушкинскую:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей...
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей,

— продекламировал следователь.

— Это не пушкинская птичка,—напрягая все силы своего иссушенного мозга, прошептал Крист.

— А чья же?

— Туманского.

— Туманского? Первый раз слышу.

— А-а, вам нужна экспертиза какая-нибудь? Не я ли кого-нибудь убил. Или написал письмо на волю. Или изготовил магазинный чек для блатных?

— Совсем нет. Экспертизы такого рода нас не затрудняют.—Следователь улыбнулся, обнажив вспухшие десны, мелкие зубы, кровоточащие десны. Как бы ни была ничтожна эта сверкнувшая улыбка, она прибавила немножко свету в комнате. И в душе Криста тоже. Крист невольно поглядел следователю в рот.

— Да,—сказал следователь, поймав этот взгляд.—Цинга, цинга. Цинга здесь и вольных не оставляет. Свежих овощей нет.

Крист подумал о репе. Витамины—их больше в корке репы, чем в мякоти,—достались Кристу, а не следователю. Крист хотел поддержать этот разговор, рассказать о том, как он обсасывал, обглядывал корки репы, брошенные следователем, но не решился, боясь, что начальство осудит за чрезмерную развязность.

— Так поняли или нет? Мне нужно посмотреть ваш почерк.

Крист все еще ничего не понимал.

— Пишите!—диктовал следователь.—«Начальнику прииска. Заключенного Криста, год рождения, статья, срок. Заявление. Прошу перевести меня на более легкую работу...» Достаточно.

Следователь взял недописанное заявление Криста, разорвал его и бросил в огонь... Свет печки на мгновение стал ярче.

— Садитесь к столу. С краюшка.

У Криста был каллиграфический, писарский почерк, который ему самому очень нравился, а все его товарищи смеялись, что почерк не похож на профессорский, докторский. Это не почерк ученого, писателя, поэта. Это почерк кладовщика. Смеялись, что Крист мог бы сделать карьеру царского писаря, о котором рассказывал Куприн.

Но Криста эти насмешки не смущали, и он продолжал сдавать на машинку четко переписанные рукописи. Машинистки одобряли, но втайне посмеивались.

Пальцы, привыкшие к кайлу, к черенку лопаты, никак не могли ухватить ручку, но в конце концов это удалось.

— У меня беспорядок, хаос,— говорил следователь.— Я сам понимаю. Но вы ведь поможете наладить.

— Конечно, конечно,—сказал Крист.

Печка уже разгорелась, и в комнате было тепло.

— Закурить бы...

— Я некурящий,—сказал следователь грубо.—И хлеба у меня тоже нет. На работу завтра вы не пойдете. Я скажу нарядчику.

Так несколько месяцев, раз в неделю, Крист приходил в нетопленое, неуютное жилище лагерного следователя, переписывал бумаги, подшивал.

Бесснежная зима тридцать седьмого-восьмого года уже вошла в бараки всеми своими смертными ветрами. Каждую ночь по бараку бегали нарядчики, отыскивая и будя людей по каким-то спискам «в этап». Из этапов и раньше-то не возвращались, а тут перестали и думать о всех этих ночных делах—этап так этап,—работа была слишком тяжела, чтобы думать о чем-либо.

Увеличивались часы работы, появился конвой, но неделя проходила, и Крист, еле живой, добирался до знакомого кабинета следователя и подшивал, подшивал бумаги. Крист перестал умываться, перестал бриться, но следователь словно не замечал впалых щек и воспаленного взгляда голодного Криста. А Крист все писал, все подшивал. Количество бумаг и папок

все росло и росло, их никак нельзя было привести в порядок. Крист переписывал какие-то бесконечные списки, где были только фамилии, а верх списка был отогнут, и Крист никогда не пытался проникнуть в тайну этого кабинета, хотя было достаточно отогнуть листок, лежащий перед ним. Иногда следователь брал в руки пачку дел, которые возникали неизвестно откуда, без Криста, и, торопясь, диктовал списки, а Крист писал.

В двенадцать диктовка кончалась, и Крист шел в свой барак и спал, спал — завтрашний развод на работу его не касался. Проходили неделя за неделей, а Крист все худел, все писал.

И вот однажды, взяв в руки очередную папку, чтобы прочитать очередную фамилию, следователь запнулся. И поглядел на Криста, и спросил:

— Как ваше имя, отчество?

— Роберт Иванович, — ответил Крист, улыбаясь. Не будет ли следователь звать его «Роберт Иванович» вместо «Крист» — это бы не удивило Криста. Следователь был молод, годился в сыновья Кристу. Все еще держа в руках папку и не произнося фамилии, следователь побледнел. Он бледнел, пока не стал белее снега. Быстрыми пальцами следователь перебрал тоненькие бумажки, подшитые в папку, — их было не больше и не меньше, чем и в любой другой папке из груды папок, лежащих на полу. Потом следователь решительно распахнул дверку печки, и в комнате сразу стало светло, как будто озарилась душа до дна и в ней нашлось на самом дне что-то очень важное, человеческое. Следователь разорвал папку на куски и затолкал их в печку. Стало еще светлее. Крист ничего не понимал. И следователь сказал, не глядя на Криста:

— Шаблон. Не понимают, что делают, не интересуются. — И твердыми глазами посмотрел на Криста. — Продолжаем писать. Вы готовы?

— Готов, — сказал Крист и только много лет спустя понял, что это была его, Криста, папка.

Уже многие товарищи Криста были расстреляны. Был расстрелян и следователь. А Крист был все еще жив и иногда — не реже раза в несколько лет — вспоминал горящую папку, решительные пальцы следователя, рвущие кристовское дело, — подарок обреченному от обрекающего.

Почерк Криста был спасительный, каллиграфический.

1964 г.

ХЛЕБ

Двустворчатая огромная дверь раскрылась, и в пересыльный барак вошел раздатчик. Он встал в широкой полосе утреннего света, отраженного голубым снегом. Две тысячи глаз смотрели на него отовсюду: снизу — из-под нар, прямо, сбоку и сверху — с высоты четырехэтажных нар, куда забирались по лесенке те, кто еще сохранил силу. Сегодня был селедочный день, и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся под горой селедок, разрубленных пополам. За подносом шел дежурный надзиратель в белом, сверкающем, как солнце, дубленом овчинном полушубке. Селедку выдавали по утрам — через день по половинке. Какие расчеты белков и калорий были тут произведены — этого не знал никто, да никто и не интересовался такой схоластикой. Шепот сотен людей повторял одно и то же слово: хвостики. Какой-то мудрый начальник, считаясь с арестантской психологией, распорядился выдавать одновременно либо селедочные головы, либо хвосты. Преимущества тех и других были многократно обсуждены: в хвостиках, кажется, было побольше рыбного мяса, но зато голова давала гораздо больше удовольствия. Процесс поглощения пищи длился, пока обсасывались жабры, выедалась головизна. Селедку выдавали нечищеной, и это все одобряли: ведь ели со всеми костями и шкурой. Но сожаление о рыбьих головках мелькнуло и исчезло: хвостики были данностью, фактом. К тому же поднос приближался, и наступала самая волнующая минута — какой величины обрезок достанется, — менять ведь было нельзя, протестовать тоже: все было в руках удачи — картой в

этой игре с голодом. Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или быстро забыл), что десять граммов больше или меньше, кажущихся на глаз десять граммов, могут привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить нечего. Слезы часты, они понятны всем, и над плачущими не смеются.

Пока раздатчик приближается, каждый уже подсчитал, какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах. Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением, чтобы открыть их только тогда, когда раздатчик толкнет и протянет селедочный паек. Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее быстро и нежно, чтоб определить — сухая или жирная досталась порция (впрочем, охотские селедки не бывают жирными, и это движение пальцев — тоже ожидание чуда), человек не может удержаться, чтоб не обвести быстрым взглядом руки тех, которые окружают его и которые тоже гладят и мнут селедочные кусочки, боясь поторопиться и проглотить этот крохотный хвостик. Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жует кости осторожно, бережно жует, и кости тают и исчезают. Потом он принимается за хлеб — пятьсот граммов выдается на сутки с утра, — отщипывает по крошечному кусочку и отправляет его в рот. Хлеб все едят сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать. Надо сосать его, как сахар, как леденец. Потом можно взять кружку чаю — тепловатой воды, зачерненной жженой коркой.

Съедена селедка, съеден хлеб, выпит чай. Сразу становится жарко, и никуда не хочется идти, хочется лечь, но уже надо одеваться — натянуть на себя оборванную телогрейку, которая была твоим одеялом, подвязать веревками подошвы к рваным буркам из стеганой ваты, буркам, которые были твоей подушкой, и надо торопиться, ибо двери вновь распахнуты и за проволочной колючей загородкой дворика стоят конвоиры и собаки...

Мы — в карантине, в тифозном карантине, но нам не дают бездельничать. Нас «гоняют» на работу — не по спискам, а просто отсчитывают пятерки в воротах. Существует способ, довольно надежный, попадать каждый день на сравнительно выгодную работу. Нужно только терпение и выдержка. Выгодная работа — это всегда та работа, куда берут мало людей — двух, трех, четырех. Работа, куда берут двадцать, тридцать, сто, — это тяжелая работа, земляная большей частью. И хотя никогда арестанту не объявляют заранее места работы, — он узнает об этом уже в пути, — удача в этой страшной лотерее достается людям с терпением. Надо жаться сзади, в чужие шеренги, отходить в сторону и кидаться вперед тогда, когда строят маленькую группу. Для крупных же партий самое выгодное — переборка овощей на складе, хлебозавод, — словом, все те места, где работа связана с едой, — будущей или настоящей, — там есть всегда остатки, обломки, обрезки того, что можно есть.

Нас выстроили и повели по грязной апрельской дороге. Сапоги конвоиров бодро шлепали по лужам. Нам в городской черте ломать строй не разрешалось — луж не обходил никто. Ноги сырели, но на это не обращали внимания — простуд не боялись. Студились уже тысячу раз, и притом самое грозное, что могло случиться, — воспаление легких, скажем, — привело бы в желанную больницу. По рядам отрывисто шептали: «На хлебозавод, слышь вы, на хлебозавод» — есть люди, которые вечно все знают и все угадывают. Есть и такие, которые во всем хотят видеть лучшее, и их сангвинический темперамент в самом тяжелом положении, всегда отыскивает какую-то формулу согласия с жизнью. Для других, напротив, события развиваются к худшему, и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво, как некий недосмотр судьбы. И эта разница суждений мало зависит от личного опыта — она как бы дается в детстве — на всю жизнь...

Самые смелые надежды сбылись — мы стояли перед воротами хлебозавода. Двадцать человек, засунув руки в рукава, топтались, подставляя спины пронизывающему ветру. Конвоиры, отойдя в сторону, закуривали. Из маленькой двери, прорезанной в воротах, вышел человек без шапки, в синем халате. Он поговорил с конвоирами и подошел к нам. Медленно он обводил взглядом всех. Колыма каждого делает психологом, а ему надо было сообразить в одну минуту очень много. Среди двадцати оборванцев надо было выбрать двоих для работы внутри хлебозавода, в «цехах». Надо, чтоб эти люди были покрепче прочих, чтоб они могли таскать носилки с битым кирпичом, оставшимся после перекладки печи. Чтоб они не были ворами, «блатными», ибо тогда рабочий день будет потрачен на всякие встречи, передачу «ксив» — записок, а не на работу. Надо, чтоб они не дошли еще до границы, за которой каждый может стать вором от голода, ибо в цехах их ведь никто караулить не будет. Надо, чтоб они не были «склонны к побегу». Надо...

И все это надо было прочесть на двадцати арестантских лицах в одну минуту, тут же выбрать и решить.

— Выходи,— сказал мне человек без шапки.— И ты,— кликнул он моего веснушчатого всеведущего соседа.— Вот этих возьму,— сказал он конвоиру.

— Ладно,— сказал тот равнодушно.

Завистливые взгляды провожали нас.

У людей никогда не действуют одновременно с полной напряженностью все пять человеческих чувств. Я не слышу радио, когда внимательно читаю. Строчки прыгают перед глазами, когда я вслушиваюсь в радиопередачу, хотя автоматизм чтения сохраняется, я веду глазами по строчкам, и вдруг обнаруживается, что из только что прочитанного я не помню ничего. То же бывает, когда среди чтения задумываешься о чем-либо другом — это уж действуют какие-то внутренние переключатели. Народная поговорка «Когда я ем, я глух и нем» известна каждому. Можно бы добавить «и слеп», ибо функция зрения при такой еде с аппетитом сосредоточивается на помощи вкусовому восприятию. Когда я что-либо нащупываю рукой глубоко в шкафу и восприятие локализовано на кончиках пальцев, я ничего не вижу и не слышу — все вытеснено напряжением ощущения осязательного.

Так и сейчас, переступив порог хлебозавода, я стоял, не видя сочувственных и доброжелательных лиц рабочих (здесь работали и бывшие, и сущие заключенные), и не слышал слов мастера — знакомого человека без шапки, объясняющего, что мы должны вытащить на улицу битый кирпич, что мы не должны ходить по другим цехам, не должны воровать, что хлеба он даст и так,— я ничего не слышал. Я не ощущал и того тепла жарко натопленного цеха, тепла, по которому так стосковалось за долгую зиму тело.

Я вдыхал запах хлеба, густой аромат «буханок», где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки. Ничтожнейшую часть этого подавляющего все аромата я жадно ловил по утрам, прижав нос к корочке еще не съеденной «пайки». Но здесь он был во всей густоте и мощи и, казалось, разрывал мои бедные ноздри.

Мастер прервал очарование:

— Загляделся,— сказал он.— Пойдем в котельную.

Мы спустились в подвал. В чисто подметенной котельной у столика кочегара уже сидел мой напарник. Кочегар в таком же синем халате, что и у мастера, курил у печи, и было видно сквозь отверстия в чугунной дверце топки, как внутри металось и сверкало пламя — то красное, то желтое, и стенки котла дрожали и гудели от судорог огня.

Мастер поставил на стол чайник, кружку с повидлом, положил буханку белого хлеба.

— Напои их,— сказал он кочегару.— Я приду минут через двадцать. Только не тяните, ешьте быстрее. Вечером хлеба дадим еще, на куски поломайте, а то у вас в лагере отберут.

Мастер ушел.

— Ишь, сука,— сказал кочегар, вертя в руках буханку.— Пожалел тридцатки, гад. Ну, подожди,— и он вышел вслед за мастером, и через минуту вернулся, подкидывая на руках новую буханку хлеба.

— Тепленькая,— сказал он, бросая буханку веснушчатому парню.— Из тридцаточки. А то, вишь, хотел полубелым отделаться. Дай-ка сюда,— и, взяв в руки буханку, которую нам оставил мастер, кочегар распахнул дверцу котла и швырнул буханку в гудящий и воющий огонь. И, захлопнув дверцы, засмеялся.

— Вот так-то,— весело сказал он, поворачиваясь к нам.

— Зачем это,— сказал я,— лучше бы мы с собой взяли.

— С собой мы еще дадим,— сказал кочегар.

Ни я, ни веснушчатый парень не могли разломить буханки.

— Нет ли у тебя ножа? — спросил я у кочегара.

— Нет. Да зачем нож?

Кочегар взял буханку в две руки и легко разломил ее. Горячий ароматный пар шел из разломанной ковриги. Кочегар ткнул пальцем в мякиш.

— Хорошо печет Федька, молодец,— похвалил он.

Но нам не было времени доискиваться — кто такой Федька. Мы принялись за еду, обжигаясь и хлебом, и кипятком, в который мы замешивали повидло. Горячий пот лился с нас ручьями. Мы торопились — мастер вернулся за нами.

Он уже принес носилки, подтащил их к куче битого кирпича, принес лопаты, и сам насыпал первый ящик. Мы приступили к работе. И вдруг стало видно, что обоим нам носилки непосильно тяжелы, что они тянули жилы, а руки внезапно слабели, лишаясь сил. Кружилась голова, нас пошатывало. Следующие носилки грузил я и положил вдвое меньше первой ноши.

— Хватит, хватит,— сказал веснушчатый парень. Он был еще бледнее меня, или веснушки подчеркивали его бледность.

— Отдохните, ребята,— весело и отнюдь не насмешливо сказал проходивший мимо пекарь, и мы покорно сели отдыхать. Мастер прошел мимо, но ничего нам не сказал.

Отдохнув, мы снова принялись за дело, но после каждых двух носилок садились снова — куча мусора не убывала.

— Покурите, ребята,— сказал тот же пекарь, снова появляясь.

— Табаку нету.

— Ну, я вам дам по цигарочке. Только надо выйти. Курить здесь нельзя.

Мы поделили махорку, и каждый закурил свою папиросу — роскошь, давно забытая. Я сделал несколько медленных затяжек, бережно потушил пальцем папиросу, завернул ее в бумажку и спрятал за пазуху.

— Правильно,— сказал веснушчатый парень.— А я и не подумал.

К обеденному перерыву мы освоились настолько, что заглядывали и в соседние комнаты с такими же пекарными печами. Везде из печей вылезали с визгом железные формы и листы, и на полках везде лежал хлеб, хлеб. Время от времени приезжала вагонетка на колесиках, выпеченный хлеб грузили и увозили куда-то, только не туда, куда нам нужно было возвращаться к вечеру,— это был белый хлеб.

В широкое окно без решеток было видно, что солнце переместилось к закату. Из дверей потянуло холодком. Пришел мастер.

— Ну, кончайте. Носилки оставьте на мусоре. Маловато сделали. Вам и за неделю не перетаскать этой кучи, работнички.

Нам дали по буханке хлеба, мы изломали его на куски, набили карманы... Но сколько могло войти в наши карманы?

— Прячь прямо в брюки,— командовал веснушчатый парень.

Мы вышли на холодный вечерний двор — партия уже строилась,— нас повели обратно. На лагерной «вахте» нас обыскивать не стали — в руках никто хлеба не нес. Я вернулся на свое место, разделил с соседями принесенный хлеб, лег и заснул, как только согрелись намокшие, застывшие ноги.

Всю ночь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо кочегара, швыряющего хлеб в огненное жерло печки.

1956 г.

ТЕРМОМЕТР ГРИШКИ ЛОГУНА

Усталость была такая, что мы сели прямо на снег у дороги, прежде чем идти домой.

Вместо вчерашних сорока градусов было всего лишь двадцать пять, и день казался летним.

Мимо нас прошел в расстегнутом нагольном полушубке Гришка Логун, прораб соседнего участка. В руке он нес новый черенок для кайла. Гришка был молод, удивительно краснорож и горяч. Он был из десятников, даже из младших десятников, и часто не мог удержаться, чтобы не подпереть собственным плечом засевшую в снегу машину или помочь поднять какое-нибудь бревно, сдвинуть с места примерзший короб, полный грунта,— поступки, явно предосудительные для прораба. Он все забывал, что он — прораб.

Навстречу ему шла виноградовская бригада — работяги не бог весть какие, вроде нас. Состав ее был точно такой, как и у нас,— бывшие секретари обкомов и горкомов, профессора и доценты, военные работники средних чинов...

Люди боязливо сбились в кучу к снежному борту — они шли с работы и давали дорогу Гришке Логуну. Но и он остановился — бригада работала на его участке. Из рядов выдвинулся Виноградов — говорун, бывший директор одной из украинских МТС.

Логун уже успел отойти от того места, где мы сидели, порядочно, голосов нам не было слышно, но все было понятно и без слов. Виноградов, махая руками, что-то объяснял Логуну. Потом Логун ткнул кайловищем в грудь Виноградова, и тот упал навзничь... Виноградов не поднимался. Логун вскочил на него ногами, топтал его, размахивал палкой. Ни один человек из двадцати рабочих его бригады не сделал ни одного движения в защиту своего бригадира. Логун подобрал упавшую шапку, погрозил кулаком и двинулся дальше. Виноградов стал и пошел как ни в чем не бывало. И остальные — бригада шла мимо нас — не выражали ни сочувствия, ни возмущения. Поравнявшись с нами, Виноградов скривил разбитые, кровоточащие губы.

— Вот у Логуна термометр так термометр,— сказал он.

— Топтать — это «пляска» по-блатному. Или «ах, вы сени, мои сени»,— тихо сказал Вавилов.

— Ну,— сказал я Вавилову, приятелю своему, с которым приехал я вместе на прииск из самой Бутырской тюрьмы,— что ты скажешь? Надо что-то решать. Вчера нас еще не били. Могут ударить завтра. Что ты сделал бы, если Логун тебя, как Виноградова? А?

— Стерпел бы, наверное,— тихо ответил Вавилов. И я понял, что он уже давно думал об этой неотвратимости.

Потом я понял, что тут все дело в физическом преимуществе, если это касается бригадиров, дневальных, смотрителей — всех людей невооруженных. Пока я сильнее — меня не ударят. Ослабел — меня бьет всякий. Бьет дневальный, бьет банщик, парикмахер и повар, десятник и бригадир, бьет любой блатной, хоть самый бессильный. Физическое преимущество конвоира — в его винтовке.

Сила начальника, который бьет меня,— это закон и суд, и трибунал, и охрана, и войска. Нетрудно ему быть сильней меня. Сила блатных — в их множестве, в их «коллективе», в том, что они могут со второго слова зарезать (и сколько раз я это видел). Но я еще силен. Меня может бить начальник, конвоир, блатной. Дневальный, десятник и парикмахер меня еще бить не могут.

Когда-то Полянский, физкультурный деятель в прошлом, получавший много посылок и не поделившийся никогда ни с кем ни одним куском, укоризненно говорил мне, что просто не понимает, как люди могут довести себя до такого состояния, когда их бьют,— возмущался моими возражениями. Но не прошло и года, как я встретил Полянского — «доходягу», «фитиля», сборщика окурков, жаждавшего за суп чесать пятки на ночь каким-то блатным «паханам».

Полянский был честен. Какие-то тайные муки терзали его — настолько сильные, острые, навечные, что сумели пробиться сквозь лед, сквозь смерть, сквозь равнодушие и побои, сквозь голод, бессонницу и страх.

Как-то настал праздничный день, а нас в праздники сажали под замок — это называлось праздничной изоляцией,— и были люди, которые встречались друг с другом, познакомились друг с другом, поверили друг другу именно на этих «изоляциях». Как ни страшна, как ни унизительна была изоляция — она была легче работы для заключенных пятьдесят восьмой. Ведь изоляция была отдыхом — пусть минутным, а кто бы тогда разобрался, минута или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее свое тело — в прежнюю свою душу мы не рассчитывали вернуться назад. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся. Так вот, Полянский был честен, мой сосед по нарам в изоляционный день.

— Я хотел давно тебя спросить одну вещь.

— Что же это за вещь?

— Когда несколько месяцев назад я смотрел на тебя, как ты ходишь, как не можешь перешагнуть бревна на своем пути и должен обходить бревно, которое перешагнет собака. Когда ты шаркал ногами по камням и маленькая неровность, чуточный бугорок на пути казался препятствием неодолимым, вызывающим сердцебиение, одышку и требующим длительного отдыха, я смотрел на тебя и думал — вот лодырь, вот филон, опытная сволочь, симулянт, лодырь,

— Ну? А потом ты понял?

— Потом я понял. Понял. Когда сам ослабел. Когда меня все стали толкать, бить,— а для человека нет лучше ощущения, чем сознавать, что кто-то еще слабее, еще хуже.

— Почему ударников приглашают на совещания, почему физическая сила — нравственная мерка. Физически сильней — значит, лучше, моральнее, нравственней меня. Еще бы — он поднимает глыбу в десять пудов, а я гнусь под полупудовым камнем.

— Я все это понял — и хочу тебе сказать.

— Спасибо и на том.

Вскоре Полянский умер — упал где-то в забое. Бригадир его ударил кулаком в лицо. Бригадир был не Гришка Логун, а свой, Фирсов, военный, по пятьдесят восьмой статье.

Я хорошо помню, когда меня ударили первый раз. Первый раз из сотен тысяч плюх, ежедневных, еженощных.

Запомнить все плюхи нельзя, но первый удар я помню хорошо — был к нему даже подготовлен поведением Гришки Логуна, смирением Вавилова.

Среди голода, холода, четырнадцатичасового рабочего дня в морозной белой мгле каменного золотого забоя вдруг мелькнуло что-то иное, какое-то счастье, какая-то милостыня, сунутая на ходу,— милостыня не хлебом, не лекарством, а милостыня временем, отдыхом неурочным.

Горным смотрителем, десятником на участке нашем был Зуев — вольняшка, бывший зэка, побывавший в лагерной шкуре.

Что-то было в черных глазах Зуева — выражение какого-то сочувствия, что ли, к горестной человеческой судьбе.

Власть — это растление. Спущенный с цепи зверь, скрытый в душе человека, ищет жадного удовлетворения своей извечной человеческой сути — в побоях, в убийствах.

Я не знаю, можно ли получить удовлетворение от подписи на расстрельном приговоре. Наверно, там тоже есть мрачное наслаждение, воображение, не ищущее оправданий.

Я видел людей — и много,— которые приказывали когда-то расстреливать,— и вот сейчас их убивали самих. Ничего, кроме трусости, кроме крика — тут какая-то ошибка, я не тот, которого надо убивать для пользы государства,— я сам умею убивать.

Я не знаю людей, которые давали приказы о расстрелах. Видел их только издали. Но думаю, что приказ о расстреле держится на тех же душевных силах, на тех же душевных основаниях, что и сам расстрел, убийство своими руками.

Власть — это растление.

Опьянение властью над людьми, безнаказанность, издевательство, унижения, поощрение — нравственная мера служебной карьеры начальника.

Но Зуев бил меньше, чем другие,— нам повезло.

Мы только что пришли на работу, и бригада теснилась в затишке — спрятались за выступ скалы от режущего, резкого ветра. Укрывая лицо рукавицами, к нам подошел Зуев, десятник. Развели по работам, по забоям, а я остался без дела.

— У меня к тебе просьба,— задыхаясь от собственной смелости, сказал Зуев.— Просьба! Не приказ! Напиши мне заявление Калинину. Снять судимость. Я тебе расскажу, в чем дело.

В маленькой будке десятника горела печка, и туда нашего брата не пускали — выгоняли пинками, плюхами любого из работяг, посмевшего отворить дверь, чтобы хоть на минуту вдохнуть этот горячий воздух жизни. Звериное чувство вело нас к этой заветной двери. Придумывались просьбы — сколько времени? Вопросы — «Вправо пойдет забой или влево?» — «Разрешите прикурить?» — «Нет ли здесь Зуева? Добрякова?»

Но эти просьбы не обманывали никого в будке. Из открытых дверей пришедших возвращали в мороз пинками. Но — все же минута тепла...

Сейчас меня не гнали, я сидел у самой печки.

— Это что, юрист? — презрительно прошипел кто-то.

— Да, мне рекомендовали, Павел Иванович.

— Ну-ну,— это был старший десятник, он снизошел до нужды подчиненного.

Дело Зуева, он кончил срок еще в прошлом году, было самым обыкновенным деревенским делом, начавшимся с алиментов родителям, которые и определили Зуева в тюрьму. До окончания срока оставалось недолго, но начальство успело переправить Зуева на Колыму. Колонизация края требует твердой линии в создании всяких препятствий к отъезду, государственной помощи и постоянного внимания приезду, завозу на Колыму людей. Эшелон заключенных — просто наиболее простой путь обживания новой трудной земли.

Зуев хотел рассчитаться с Дальстроем, просил снять судимость, отпустить на материк по крайней мере.

Трудно было мне писать, и не только потому, что загрубели руки, что пальцы сгибались по черенку лопаты и кайла, и разогнуть их было невероятно трудно. Можно было только обмотать карандаш и перо тряпкой потолще, чтобы имитировать кайловище, черенок лопаты.

Когда я догадался это сделать — я был готов выводить буквы.

Трудно было писать, потому что мозг загрубел так же, как руки, потому что мозг кровоточил так же, как руки. Нужно было оживить, воскресить слова, которые уже ушли из моей жизни, и, как я считал, навсегда.

Я писал эту бумагу, потея и радуясь. В будке было жарко, и сразу же зашевелились, заползали по телу вши. Я боялся почесаться, чтобы не выгнали на мороз как вшивого, боялся внушить отвращение своему спасителю.

К вечеру я написал жалобу Калинину. Зуев поблагодарил меня и всунул в руку пайку хлеба. Пайку надо было немедленно съесть, да и все, что можно съесть сразу, не надо откладывать до завтра — этому я был обучен.

День уже кончался — по часам десятников, ибо белая мгла была одинаковой утром, и в полночь, и в полдень,— и нас повели домой.

Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон — буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполнившие все дома, все улицы, всю землю.

Утром я ждал встречи с Зуевым,— может быть, закурить даст.

И Зуев пришел. Не таясь от бригады, от конвоя, он зарычал, вытаскивая меня из затишка на ветер:

— Ты обманул меня, сука!

Ночью он прочел заявление. Заявление ему не понравилось. Его соседи, десятники, тоже прочли и не одобрили заявления. Слишком сухо. Мало слез. Такое заявление и подавать бесполезно. Калинина не разжалобишь такой чепухой.

Я не мог, не мог выжать из своего иссушенного лагерем мозга ни одного лишнего слова. Не мог заглушить ненависть. Я не справился с работой и не потому, что слишком велик был разрыв между волей и Колымой, не потому, что мозг мой устал, изнемог, а потому, что там, где хранятся прилагательные восторженные, там не было ничего, кроме ненависти. Подумайте, как бедный Достоевский все десять лет своей солдатчины после Мертвого дома писал скорбные, слезные, унизительные, но трогающие душу начальства письма. Достоевский даже писал стихи императрице. В Мертвом доме не было Колымы. Достоевского постигла бы немота, та самая немота, которая не дала мне писать заявление Зуеву.

— Ты обманул меня, сука! — ревел Зуев.— Я покажу, как меня обманывать!

— Я не обманывал...

— День просидел в будке, в тепле. Я сроком за тебя, гадину, отвечаю, за твое филонство! Думал — ты человек!

— Я — человек,— неуверенно двигая синими обмороженными губами, прошептал я.

— Я покажу тебе сейчас, какой ты человек!

Зуев выбросил руку, и я ощутил легкое, почти невесомое прикосновение, не более сильное, чем порыв ветра, который в том же забое не раз сдувал меня с ног.

Я упал, и, закрываясь руками, облизал языком что-то сладкое, липкое, выступившее на краю губ.

Зуев несколько раз ткнул меня валенком в бок, но мне не было больно...

1966 г.

«КАНТ»

Сопки были белые с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок, держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны.

Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач.

Мне давно была понятна и дорогá та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством — процвести поскорее для него всеми цветами — в одну неделю, бывало, цвело все взапуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах — и руку поднимать не надо — наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник — его розовые лепестки единственные цветы здесь, которые имели запах,— все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз,— то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо, но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными.

Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелья и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за

версту — так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо — стланик, вечно зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно и о близкой зиме никому не хотелось думать, стланик вдруг растягивал по земле свои огромные, двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и ложился снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но стланик не ложился,— можно было быть твердо уверенным, что снега не выпадет.

В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланик вдруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну.

Стланик был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался — он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Перед оттепелью он не поднимался. Но еще не успевало похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветви стланик и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланик снова ложится на снег.

Зима здесь двуцветна — бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет цвести — торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы — ярко, ослепительно зеленый, сверкал стланик. К тому же на нем росли орехи — мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки и бурундуки.

Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев, мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на прометинах — голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки,— спичек здесь не было.

Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер — сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру.

Я никогда раньше не работал в бригадах, заготовляющих хвою стланика. Заготовка шла вручную, зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный «витаминный комбинат», где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом «лечении» дополнительное средство лагерного «воздействия». Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обеда — за этим строго следили. Цинга была повсеместно, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противоцинготного средства и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготовлял, не использовал как противоцинготное средство — в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с «материка», но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено.)

Представителем витамина «С» инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья — я ослабел и из золотого забоя был переведен «щипать стланик».

— Походишь на стланик,— сказал утром нарядчик.— Дам тебе кант на несколько дней.

«Кант» — это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых (в таком случае говорят: он «припухает», «припух» на сегодня), а такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую временную работу.

Работа на стланике считалась не только легкой — легчайшей работой, и притом она была бесконвойной.

После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной работа на стланике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланик посылали позже обычного развода на работу еще в темноте.

Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную неожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло и есть только твой товарищ и ты — и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы.

Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланик и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, «заработок» был общий и делился пополам.

— Я буду рубить, а ты садись щипать,— сказал он.— И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы. А идти отсюда снова в забой я не хочу.

Он нарубил стланиковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому.

— Надо быстрее,— сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой.— Плохо, брат!

Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланика.

Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее.

— Пора домой,— сказал он вдруг.— А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит.— И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок.

— Там не развязывают,— сказал он, хмурясь.— Теперь будет норма.

Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне навалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью.

— Волоком волоки,— сказал товарищ.— Вниз ведь тащить, не наверх.

Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.

1956 г.

СУХИМ ПАЙКОМ

Когда мы все четверо пришли на ключ «Дусканья», мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда — чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в

зловещие, залитые холодной водой — растаявшим льдом — каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши «чуни» не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника; на земляном полу валялась черная закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку — с нами были топоры и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечевки в нескольких местах так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов — ячневая и «магар». У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый — Федя Щапов — легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе — не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей — если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей — если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня — его будет нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он — мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили, и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль — мы голодали давно. Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться и дышать, и даже пилить бревна и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор, — в этом мышечном слое размещалась только злоба — самое долговечное человеческое чувство.

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи — арестантское наслаждение особого рода; ни с чем не сравнимое удовольствие — приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть — пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара, — наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты. Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы — все четверо — были отлично подготовлены для путешествия в будущее — хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности 100 граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны — взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра же, и иногда решались сделать это, и всякий раз нам мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» — премиальный килограмм хлеба, — просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером — отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь — родные сестры, что на свете тысячи правд...

Мы считали себя почти святыми — думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи.

Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.

Мы поняли — это было самое главное, — что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере — это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку — арестанту, как я. Я не буду искать «полезных» знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов — подлец, а Петров — шпион, а Заславский — лжесвидетель?

Невозможность пользоваться известными видами «оружия» делает нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому.

Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», т. е. исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых склизких канав.

Благодаря своим физическим преимуществам, он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он — моральная сила до тех пор, пока он — сила физическая.

Афоризм Павла Первого: «В России знатен тот, с кем я говорю — и пока я с ним говорю» — нашел свое неожиданно новое выражение в забоях Крайнего Севера.

Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым работягой. Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют походя — не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц, его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.

Федя Щапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы и судили его за незаконный убой скота — единственной их овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом. Федя получил десять лет, приисковая, торопливая, вовсе не похожая на деревенскую работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду, помогали ему немножко. Он, самый молодой среди нас, прилепился сразу к самому пожилому, к самому положительному — к Ивану Ивановичу.

Савельев был студент Московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо «вождю» партии как верный комсомолец, уверенный, что до «вождя» не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустячным — переписка с невестой, где свидетельством агитации (пункт десять пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу; его «организация» (пункт одиннадцатый той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланки допроса. Все же все думали, что, кроме ссылки, даже по тогдашним масштабам, Савельев ничего не получит.

Вскоре после отсылки письма в один из «заявительных» тюремных дней Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один раз — вручить ему приговор «особого совещания» — десять лет лагерей.

В лагере Савельев «доплыл» очень скоро. Ему и до сих пор непонятна была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву — ее улицы, памятники, Москву-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламутром. Ни Ленинград, ни Киев, ни Одесса не имеют таких поклонников, ценителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца.

Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайного, чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота — еще хорошо, что слезы не имеют запаха.

По совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубаху и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, на утро вши собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве вырастали здесь густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата — такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.

Вшей мы сожгли, поднося рубаху к горящей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид, и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках — на этот раз дезинфекция была надежной.

Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, ворон, чаек, белок. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю.

Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь — ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.

Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если бы головней было три — они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства, из дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще...

Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем арестанту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были всегда декадные. На «материке» давно уже играли отбой по части всяких «пятидневок», «декадок», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь не считал воскресенье праздником — дни отдыха для заключенных, введенные много позже нашего житья-бытья на лесной командировке, были три раза в месяц по произволу местного начальства, которому дано было право использовать дни дождливые летом или слишком холодные — зимой для отдыха заключенных «в счет выходных».

Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал моему примеру.

Сообща мы — все четверо — приняли мудрое решение — варить два раза в день — на три раза продуктов решительно не хватало.

— Мы будем собирать ягоды и грибы,— сказал Иван Иванович.— Ловить мышей и птиц. И день-два в декаде жить на одном хлебе.

— Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов,— сказал Савельев,— как удержаться, чтобы не съесть лишнего, когда привезут приварок?

Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и в крайнем случае — разводить пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили все полностью по норме — тут у нас нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных надзирателей, воров, вырывающих лучшие продукты,— всего бесконечного начальства, объедающего, обирающего заключенных — без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.

Мы получили полностью свои «жиры» в виде комочка «гидрожира», сахарный песок — меньше, чем я намывал лотком золотого песка, хлеб, липкий, вязкий хлеб, над выпечкой которого трудились великие, неподражаемые мастера «привеса», кормившие начальство пекарен. Крупа двадцати наименований, вовсе неизвестных нам в течение всей нашей жизни: «магар», «пшеничная сечка» — все это было чересчур загадочно. И страшно.

Рыба, заменившая по таинственным «таблицам замены» мясо,— ржавая селедка, обещавшая возместить усиленный расход наших белков.

Увы, даже полученные полностью «нормы» не могли питать, насыщать нас. Нам было надо втрое, вчетверо больше — организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой простой вещи. Мы верили «нормам» — и известное поварское наблюдение, что легче варить на двадцать человек, чем на четверых,— не было нам известно. Мы понимали только одно совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло. Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.

Деревья на Севере умирают лежа, как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаившей земли немедленно вонзался и укреплялся там тончайшими волосками щупальце-корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха — ярко-зеленом и ярко-розовом.

Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не годилась. Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то переломов, не годился для строительства — даже на Севере, не требовательном к материалу для возведения здания. Эти крученые деревья и на дрова не годились — своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную севером жизнь.

Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно, и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице.

Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и покачал головой. Мы сделали десять процентов нормы!

Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непрекло-

нен. Он бормотал про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» — все это было выше нашего понимания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с обязательной, официальной, казенной надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Говорят, что в воротах немецких лагерей выписывался девиз: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.

Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари — не для них ли труд был геройством и доблестью?

Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы, никчемности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огорчая, не пугая.

Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о «высшей свободе казармы», о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу — чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.

Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее, как на день вперед. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой — но мы и этого не сделали. Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексу лагерного поведения.

Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с бо́льшим спокойствием, с бо́льшим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому становиться под комель бревна, а кому под вершину при переноске их в штабеля — «трелевке», как это называется по-лесному.

Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы «филонили».

Утром мы с Савельевым свалили кое-как огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву — пила зазвенела о камни — и сели на ствол поваленного дерева.

— Вот, — сказал Савельев. — Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк; быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит — все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы — бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров, — все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет немного. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел «профилонить» в лагере.

— А «честный труд»? — сказал я.

— К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты — до самой смерти. Это выгодно им — этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы.

Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева.

— Ну, отказался от работы. Составили акт — одет по сезону...

— А что это значит — одет по сезону? — спросил Федя.

— Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?

— У нас не оставляли, — робко сказал Федя. — Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось: остался «по раздетости».

— Вот-вот.

— Ну, расскажи про метро.

И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно послушать Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался.

— У магометан, Федя, — говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен, — на молитву скликает муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет — трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь, — все было отвергнуто Магометом... Через полторы тысячи лет на испытании сигнала поездам выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро с той безусловностью и точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего: «Готово».

Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки. Федя был охотник — в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все Федины достоинства на нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.

Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей — значит, это нужда не крайняя, и беда не большая. Горе — недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы.

Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И, странное дело, когда-то в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах: «Ну, с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально — и все это задолго до войны.

Когда мы вчетвером собрались на ключе «Дусканья» — мы знали все, что не для дружбы собрались сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать плохое: сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье-мечтанье, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же: пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, — буханки ржаного хлеба.

Человек счастлив своим уменьем забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе «Дусканья», не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас. Мы были отравлены севером навсегда, и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием, как и раньше.

Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из «перекуров». «Перекур» — это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листы черной смородины, и были целые дискуссии, по-арестантски страстные, на тему — брусничный или смородинный лист «вкуснее». Ни тот, ни другой никуда не годился, по мнению знатоков, ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для «перекура»-отдыха смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» во время работы слишком одиозно и идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час — это вызов, это и преступление, но ежечасная «перекурка» — в порядке вещей. Так и здесь, как и во всем

на Севере, явления не совпадали с правилами. Сушеный смородинный лист был естественным камуфляжем.

— Послушай, Иван, — сказал Савельев. — Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге, на «вторых путях» мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма двадцать пять кубометров. Меньше полнормы сделаешь — штрафной паек — триста граммов и баланда один раз в день. А тот, кто сделает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка, да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы немыслимые. Так мы словчили так: сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя. Выкатаем норму. Получаем два килограмма хлеба да триста граммов штрафных моих — каждому достается кило сто пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не жизнь? Главное — десятник был душа, он, конечно, знал. Ему было даже выгодно — люди не очень слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку, и кончилось наше счастье.

— Что ж, хочешь здесь попробовать? — сказал Иван Иванович.

— Я не хочу, а просто мы тебе поможем.

— А вы?

— Нам, милый, все равно.

— Ну, и мне все равно. Пусть приходит сотский.

Сотский, т. е. десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбылись.

— Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК, — важно пошутил десятник.

— Да, — сказал Савельев. — Сначала ОП, потом ОК, на ногу бирку и — пока!

Посмеялись для приличия.

— Когда обратно-то?

— Да завтра и пойдем.

Иван Иванович успокоился. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева, без всякой веревки — таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до прихода «оперативки» и заторопил нас.

Федя Щапов и я собирались в великом смущении — у Ивана Ивановича были хорошие, еще целые портянки, мешочки, полотенца, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выжарил вшей, чиненые ватные брюки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежды мертвеца — он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело всегда и везде «на воле» вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере — обыденность смертей, притупленность чувств снимают интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила какие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.

Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, читавший на завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили во двор.

Савельев подошел к толстому, короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда пилили дрова, — бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором.

Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву — четыре пальца отлетели в опилки, их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затянули жгут на руке Савельева, завязали рану.

Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева — в амбулаторию для перевязки, в следственный отдел — для начала дела о членовредительстве. Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.

Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом — сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много, много перемен.

Я заснул быстро, а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное:

«Мама, — писал Федя, — мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону...»

1959 г.

ЧЕЛОВЕК С ПАРОХОДА

— Пишите, Крист, пишите, — говорил пожилой, усталый врач. Был третий час утра, гора окурков росла на столе в процедурной. На стеклах окон налип мохнатый толстый лед. Сиреневый махорочный туман наполнял комнату, но открыть фортку и проветрить кабинет не было времени. Мы начали работу вчера в восемь вечера, и конца ей не было. Врач курил папиросу за папиросой, быстро свертывая «флотские», отрывая листы от газеты, либо — если хотел чуть отдохнуть — вертел «козью ножку». Покрестьянски обгоревшие в махорочном дыме пальцы мелькали перед моими глазами. Чернильница-непроливайка стучала, как швейная машинка. Силы врача были на исходе — глаза его слипались. Ни «козьи ножки», ни «флотские» не могли победить усталость.

— А чифирку. Чифирку подварите... — сказал Крист.

— А где его возьмешь, чифирку-то...

Чифир — особо крепкий чай, отрада блатарей и шоферов для дальней дороги, — пятьдесят граммов на стакан — особо надежное средство от сна, колымская шоферская валюта, валюта длинных путей, многодневных рейсов.

— Не люблю, — сказал врач. — Впрочем, разрушительного действия на здоровье в чифире я не усматриваю. Повидав чифиристов немало. Да и давно известно это средство. Не блатные придумали и не шофера. Жак Паганель варил чифир в Австралии, угощал напитком детей капитана Гранта. На литр воды полфунта чая — и варить три часа, — вот рецепт Паганеля, а вы говорите... водилы! Блатари! В мире нет новостей.

— Ложитесь.

— Нет, после. Вам нужно научиться опросу. И первому осмотру. Это хотя и запрещено медицинским законом, но должен же я когда-нибудь спать. Больные прибывают круглые сутки. Большой беды не будет, если первый осмотр сделаете вы. Вы — человек в белом халате. Кто знает — санитар вы? фельдшер? врач? академик? Еще попадете в мемуары, как врач участка, прииска, управления.

— А будут мемуары?

— Обязательно. Если что-нибудь важное — разбудите меня. Ну, начнем. Следующий.

Голый грязный больной сидел перед нами на табуретке, похожий не на учебный муляж, а на скелет.

— Хорошая школа для фельдшеров, а? — сказал врач. — И для врачей также. Впрочем, медику нужно видеть и знать совсем другое. Все, что перед вами сегодня, — это вопрос узкой, весьма специфической квалификации, и если бы наши острова — вы поняли меня? — наши острова проваливались сквозь землю... Пишите, Крист, пишите. Год рождения — 1893. Пол мужской. Обращаю ваше внимание на этот важный вопрос. Пол — мужской. Этот вопрос занимает хирурга, патологоанатома, статистика морга, столичного демографа... Но вовсе не занимает самого больного. Ему нет дела до своего пола. Пишите...

Непроливайка моя застучала.

— Нет, пусть больной не встает. Принесите ему горячей воды напиться. Снеговой воды из бачка. Он согреется. И тогда мы приступим к анали-

зу «вита». Данные о болезнях родителей,— врач пошуршал печатным бланком истории болезни,— можете не собирать. Не тратить время на чепуху. Ага, вот. Перенесенные заболевания — «алиментарная дистрофия, цинга, дизентерия, пеллагра, авитаминозы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я... Можете прервать перечень в любом месте. Венерические заболевания отрицает, связь с врагами народа отрицает. Пишите... Поступил с жалобами на отморожение обеих стоп, возникшее в результате длительного действия холода на ткани. Написали? На ткани... Закройте вот одеялом,— врач сдернул тощее одеяло, залитое чернилами, с койки дежурного врача и набросил на плечи больного.— Когда же принесут этот проклятый кипяток? Надо бы чаю сладкого, но ни чай, ни сахар не предусматриваются в приемных покоях.— Продолжаем. Рост — средний. Какой? У нас нет ростомера. Волосы — седые. Упитанность — врач поглядел на ребра, натянувшие бледную, сухую, грязную кожу.— Когда вы видите такую упитанность, надо писать «ниже среднего».— Двумя пальцами врач оттянул кожу больного.— Тургор кожи — слабый. Вы знаете, что такое тургор?

— Нет.

— Упругость. Что в нем терапевтического? Ну, это хирургический больной, правда? Оставим место в истории болезни для Леонида Марковича. Он завтра, вернее, сегодня утром, посмотрит и запишет. Пишите русскими буквами: Статус локалис. Ставьте две точки.

— Следующий.

<1970—1973> гг.

МАРСЕЛЬ ПРУСТ

Книга исчезла. Огромный тяжелый фолиант, лежавший на скамейке, исчез на глазах десятков больных. Кто видел кражу — не скажет. На свете нет преступлений без свидетелей — одушевленных и неодушевленных свидетелей. А если есть такие преступления? Кража романа Марселя Пруста — не такая тайна, которую страшно забыть. К тому же молчат под угрозой, брошенной походя, без адреса и все же действующей безошибочно. Кто видел — будет молчать «за боюсь». Благодетельность такого молчания подтверждается всей жизнью лагерной, да и не только лагерной, но и всем опытом жизни гражданской. Книгу мог украсть любой фраер по указанию вора, чтобы доказать свою смелость, свое желание принадлежать к преступному миру, к хозяевам лагерной жизни. Мог украсть любой фраер просто так, потому что книга плохо лежит. Книга действительно плохо лежала: на самом краю скамейки в огромном больничном дворе каменного трехэтажного здания. На скамейке сидели я и Нина Богатырева. За мной были колымские сопки, десятилетнее скитание по этим горным весям, а за Ниной — фронт. Разговор, печальный и тревожный, кончился давно.

В солнечный день больных выводили на прогулку — женщин отдельно; Нина как санитарка караулила больных.

Я проводил Нину до угла, вернулся, скамейка все еще была пуста — гуляющие больные боялись на эту скамейку сесть, считая, что это — скамейка фельдшеров, медсестер, надзора, конвоя.

Книга исчезла. Кто будет читать эту странную прозу, почти невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвинуты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? Перед памятью, как перед смертью,— все равны, и право автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценности госпожи. Горизонты словесного искусства раздвинуты этим романом необычайно. Я, колымчанин, зэка, был перенесен в давно утраченный мир, в иные привычки, забытые, ненужные. Время читать у меня было. Я — ночной дежурный фельдшер. Я был подавлен «Германтом». С «Германта», с четвертого тома, началось мое знакомство с Прустом. Книгу прислали моему знакомому фельдшеру Калитинскому, уже щеголявшему в палате в бархатных брюках гольф, с трубкой в зубах, уносящей неправдоподобный запах кэпстена. И кэпстен, и брюки гольф присланы были в посылке вместе с «Германтом» Пруста. Ах, жены, жены, дорогие наивные друзья. Вместо махорки — кэпстен, вместо брюк из чертовой кожи — бархатные брюки гольф, вместо шерстяного, широкого, двухметрового верблюжьего шарфа — нечто воздушное, похожее на бант, на бабочку,— шелковый пышный шарф, свивавшийся на шее в веревочку толщиной в карандаш.

Такие же бархатные брюки, такой же шелковый шарф прислали в тридцать седьмом году Фрицу Давиду, голландцу-коммунисту, а может быть, у него была другая фамилия, моему соседу по РУРу — роте усиленного режима. Фриц Давид не мог работать — был слишком истощен, а бархатные брюки и шелковый пышный галстук-бант даже на хлеб на прииске нельзя было променять. И Фриц Давид умер — упал на пол барака и умер. Впрочем, было так тесно,— все спали стоя,— что мертвец не сразу добрался до пола. Мой сосед Фриц Давид сначала умер, а потом упал.

Все это было десять лет назад — при чем тут «В поисках утраченного времени»? Калитинский и я — мы оба вспоминали свой мир, свое утраченное время. В моем времени не было брюк гольф, но Пруст был, и я был счастлив читать «Германта». Я не пошел спать в общежитие. Пруст был дороже сна. Да и Калитинский торопил.

Книга исчезла. Калитинский был взбешен, был вне себя. Мы были мало знакомы, и он был уверен, что это я украл книгу, чтобы продать подороже. Воровство походя было колымской традицией, голодной традицией. Шарфы, портянки, полотенца, куски хлеба, махорка — отсыпа, откачка — исчезали бесследно. Воровать на Колыме умели, по мнению Калитинского, все. Я тоже так думал. Книгу украли. До вечера еще можно было ждать, что подойдет какой-нибудь доброволец, героический стукач и «дунет», скажет, где книга, кто вор. Но прошел вечер, десятки вечеров, и следы «Германта» исчезли.

Если не продадут любителю — любители Пруста из лагерных начальников!! — еще поклонники Джека Лондона встречаются в этом мире, но Пруста!! — то на карты: «Германт» — это увесистый фолиант. Это одна из причин, почему я не держал книгу на коленях, а положил на скамейку. Это толстый том. На карты, на карты... Изрежут — и все.

Нина Богатырева была красавица, русская красавица, недавно привезенная с «материка», привезенная в нашу больницу. Измена родине. Пятьдесят восемь один «а» или один «б».

— Из оккупации?

— Нет, мы не были в оккупации. Это — прифронтовое. Двадцать пять и пять — это без немцев. От майора. Арестовали, хотел майор, чтоб я с ним жила. Я не стала. И вот срок. Колыма. Сижу на этой скамейке. Все правда. И все — неправда. Не стала с ним жить. Уж лучше я со своим буду гулять. Вот с тобой...

— Я занят, Нина.

— Слыхала.

— Трудно тебе будет, Нина. Из-за твоей красоты.

— Будь она проклята, эта красота.

— Что тебе обещает начальство?

— Оставить в больнице санитаркой. Выучусь на сестру.

— Здесь не оставляют женщин, Нина. Пока.

— А меня обещают оставить. Есть у меня один человек. Поможет мне.

— Кто такой?

— Тайна.

— Смотри, здесь больница казенная, официальная. Никто власти тут такой не имеет. Из заключенных. Врач или фельдшер — все равно. Это не приисковая больница.

— Все равно. Я счастливая. Абажуры буду делать. А потом поступлю на курсы, как ты.

В больнице Нина осталась делать абажуры бумажные. А когда абажуры были кончены, ее снова послали в этап.

— Твоя баба, что ли, едет с этим этапом?

— Моя.

Я оглянулся. За мной стоял Володя, старый таежный волк, фельдшер

без медицинского образования. Какой-то деятель просвещения или секретарь горсовета в прошлом.

Володе было далеко за сорок, и Колыму он знал давно. И Колыма знала Володю давно. Делишки с блатными, взятки врачам. Сюда Володя был прислан на курсы, подкрепить должность знанием. Была у Володи и фамилия — Рагузин, кажется, но все его звали Володей. Володя — покровитель Нины? Это было слишком страшно.

За спиной спокойный голос Володи:

— На материке был полный порядок у меня когда-то в женском лагере. Как только начнут «дуть», что живешь с бабой, я ее в список — пурх! — и на этап. И новую зову. Абажуры делать. И снова все в порядке.

Уехала Нина. В больнице оставалась ее сестра Тоня. Та жила с хлеборезом — выгодная дружба — Золотницким, смуглым красавцем-здоровяком из бытовичков. В больницу, на должность хлебореза, сулящую и дающую миллионные прибыли, Золотницкий прибыл за большую взятку, данную, как говорили, самому начальнику больницы. Все было хорошо, но смуглый красавец Золотницкий оказался сифилитиком, требовалось возобновление лечения. Хлебореза сняли, отправили в мужскую вензону, лагерь для венерических больных. В больнице Золотницкий пробыл несколько месяцев, но успел заразить только одну женщину — Тоню Богатыреву. И Тоню увезли в женскую вензону.

Больница всполошилась. Весь медицинский персонал — на анализ, на реакцию Вассермана. У фельдшера Володи Рагузина — четыре креста. Сифилитик Володя исчез из больницы.

А через несколько месяцев в больницу конвой привез больных женщин и среди них Нину Богатыреву. Но Нину везли мимо — в больнице она только отдохнула. Везли ее в женскую венерическую зону.

Я вышел к этапу.

Только глубоко запавшие крупные карие глаза — больше ничего от прежнего облика Нины.

— Вот, в вензону еду...

— Но почему в вензону?

— Как, ты фельдшер и не знаешь, почему отправляют в вензону? Это Володины абажуры. У меня родилась двойня. Не жильцы были. Умерли.

— Дети умерли? Это твое счастье, Нина.

— Да. Теперь я вольная птица. Подлечусь. Нашел книгу-то тогда?

— Нет, не нашел.

— Это я ее взяла. Володя просил что-нибудь почитать.

1966 г.

ЗА ПИСЬМОМ

Полупьяный радист распахнул мои двери.

— Тебе ксива из управления, зайди ко мне! — И исчез в снегу, во мгле.

Я отодвинул от печки тушки зайцев, привезенные мной из поездки: на зайцев был урожай, едва успевай ставить петли. Крыша барака была застлана наполовину тушками зайцев, замороженными тушками. Но зайцев надо было сначала оттаять. Теперь мне было не до зайцев.

Ксива из управления — телеграмма, радиограмма, телефонограмма — на мое имя. Я пошел к радисту в его укрепленный замок-радиостанцию с бойницами и тройным палисадом, с тройными калитками за щеколдами, засовами, запорами, замками, которые один за другим открывала передо мной жена радиста, и я протискивался вперед, приближаясь к жилищу хозяина. Последняя дверь, и я шагнул в грохот крыльев, в вонь птичьего помета, наступая на хлопающих крыльями кур, на кукарекающих петухов, потерявших представление о времени суток, о времени года. Сгибаясь, оберегая лицо, я шагнул еще через один порог — но и там не было радиста.

Там были только свиньи, молчаливые, вымытые, ухоженные,— три кабанчика поменьше и матка побольше. И это была последняя преграда.

Радист сидел, окруженный ящиками с зеленой огуречной рассадой, ящиками с зеленым луком. Радист собрался быть миллионером. На Колыме обогащаются разными способами, ловят длинный рубль. Один путь — это высокая ставка, полярный паек, проценты за выслугу лет. Торговля махоркой и чаем — второй. Куроводство и свиноводство — третий.

Притиснутый всей своей фауной и флорой к самому краю стола, радист протянул мне стопку бумажек, чтобы я, как попугай на ярмарке, сам вытянул свое — не чужое счастье.

Я порылся в телеграммах, своей не нашел, и радист снисходительно, кончиками пальцев извлек мою телеграмму.

«Приезжайте письмом», то есть приезжайте за письмом, почтовая связь экономила смысл, но адресат, конечно, понял, о чем речь.

Я пошел к своему директору и показал телеграмму.

— Сколько километров?

— Пятьсот.

— Ну, что ж.

— В пять суток обернусь.

— Добро. Да торопись. Машину ждать не надо. Завтра якуты подбросят тебя на собаках до Барагона. А там оленьи упряжки почтовые прихватят, если не поскупишься. Главное — добраться до центральной трассы.

— Хорошо, спасибо.

Я вышел от директора и понял, что даже до Барагона не доберусь, потому что у меня нет полушубка. Попросить на пять дней у кого-нибудь — над такой просьбой на Колыме будут смеяться. Оставалось купить себе полушубок в считанные часы в поселке. И верно, нашелся и полушубок, и продавец, Иванов по фамилии. Иванов был холост, молчалив, мрачен. Полушубок — черный, с роскошным огромным овчинным воротником — чуть застегивался у талии, у него не было карманов, не было пол, только воротник, широчайшие рукава. Полы он, наверное, отрезал на краги, соображал я, модный, вечно модный товар Крайнего Севера. Пар пять таких краг вышло из пол тулупа, и каждая пара стоила целого полушубка. То, что осталось, не могло, конечно, называться полушубком.

— Что ты, отрезал полы, что ли? — спросил я у продавца.

— А тебе не все равно. Я продаю полушубок. За пятьсот рублей. Ты его покупаешь. Этот лишний вопрос — отрезал я полы или нет.

И верно, вопрос был лишний, и я поторопился заплатить Иванову. Принес домой полушубок, примерил и стал ждать ночи. Собачья упряжка — быстрый взгляд черных глаз якута, онемевшие пальцы, которыми я вцепился в нарту, полет, поворот — речка какая-то, лед, кусты, бьющие по лицу больно, но у меня все завязано, все укреплено. Десять минут полета — и почтовый поселок, где...

— Марья Антоновна — меня не подбросят?

— Подбросят.

Здесь еще в прошлом году, прошлым летом заблудился маленький якутский мальчик, пятилетний ребенок. И я, и Марья Антоновна пытались начать розыски ребенка. Помешала мать. Она курила трубку, долго курила, потом черные свои глаза навела на нас с Марьей Антоновной.

— Не надо искать. Он придет сам. Не заблудится. Это — его земля.

А вот и олени-бубенцы, нарты, палка у каюра. Только палка называется хореем, а не остолом, как для собак.

Марья Антоновна, которой так скучно, что она каждого проезжего провожает далеко — за околицу таежную — что называется околицей в тайге?

— Прощайте, Марья Антоновна.

Я бегу рядом с нартами, сажусь, цепляясь за нарты, падаю, снова бегу... К вечеру — огни большой трассы, гул ревущих, пробегающих сквозь мглу машин.

Рассчитываюсь с якутами, подхожу к обогревалке — дорожному вокзалу. Печка там не топится — нет дров. Но все-таки крыша и стены. Здесь уже есть очередь на машины к центру, к Магадану. Очередь невелика — один человек. Гудит протяжно машина, человек выбегает во мглу. Гудит машина. Человек уехал. Теперь моя очередь выбегать на мороз.

Пятитонка дрожит, едва остановилась ради меня. Место в кабине свободно. Ехать наверху нельзя в такую даль в такой мороз.

— Куда?

— На Левый берег.

— Не возьму. Я уголь везу в Магадан, а до Левого берега не стоит садиться.

— Я оплачу тебе до Магадана.

— Это — другое дело. Садись. Таксу знаешь?

— Да. Рубль километр.

— Деньги вперед.

Я достал деньги и заплатил.

Машина окунулась в белую мглу, сбавила ход. Нельзя дальше ехать — туман.

— Будем спать, а? На еврашке. Что такое еврашка? Еврашка — это суслик. Сусликовая станция.— Мы прижались друг к другу в кабине при работающем моторе. Пролежали, пока рассвело и белая зимняя мгла не показалась такой страшной, как вечером.

— Теперь чифирку подварить и едем.

Водитель вскипятил в консервной кружке пачку чая, остудил в снегу, выпил, еще вскипятил вторячок, снова выпил и спрятал кружку.

— Едем.

— А ты откуда?

Я сказал.

— Бывал у вас. Даже работал недолгое время шофером. Есть там у вас один типяра. Иванов. Тулуп у меня украл. Попросил доехать — холодно было в прошлом году — и с концами. Никаких следов. Так и не отдал. Я через людей передавал. Он говорит, не брал, и все. Собираюсь все сам туда, отнимать тулуп. Черный такой, богатый. Воротник шалью. Зачем ему тулуп? Разве порежет на краги и распродаст. Самая мода сейчас. Я бы и сам мог эти краги пошить — а теперь ни краг, ни тулупа, ни Иванова.

Я повернулся, сминая воротник своего полушубка.

— Вот такой черный, как у тебя. Сука. Ну, выспались, надо прибавить газку.

Машина полетела, гудя, ревя на поворотах,— водитель был приведен в норму чифирем.

Километр за километром, мост за мостом, прииск за прииском. Машины обгоняли друг друга, встречались. Внезапно все затрещало, рухнуло, и наша машина остановилась, причаливая к обочине.

— Все — к черту! — плясал водитель.— Уголь — к черту! Кабина — к черту! Борт — к черту! Пять тонн угля — к черту!

Сам он не был даже поцарапан, и я не сразу понял, что случилось. Нашу машину сбила встречная чехословацкая «татра». На ее железном борту и царапины не осталось.

— Посчитай быстро,— кричал водитель «татры»,— что стоит твой ущерб, уголь там, новый борт. Мы заплатим. Только без акта, понял?

— Хорошо,— сказал мой водитель.— Это будет...

— Ладно.

— А я?

— Я посажу тебя на попутку какую-нибудь. Тут километров сорок.

Я согласился, сел в кузов какой-то машины и помахал рукой приятелю Иванова. Еще не успел промерзнуть, как машина начала тормозить — мост. Левый берег. Я слез. Надо было найти место ночевать. Там, где ждало меня письмо, ночевать мне было нельзя.

Я вошел в больницу, в которой я когда-то работал. И в лагерной больнице греться посторонним нельзя, и я только на минуту — постоять в тепле зашел. Шел знакомый вольный фельдшер, и я попросил ночлега.

На следующий день я постучал в квартиру, вошел, и мне подали в руки письмо, написанное почерком, хорошо мне известным, стремительным, летящим и в то же время четким, разборчивым.

Это было письмо Пастернака.

1966 г.

Подготовка текста и публикация И. Сиротинской

Николай Тряпкин

СТИХОТВОРЕНИЕ

●

Прогнали иродов-царей,
Разбили царских людоедов,
А после — к стенке, поскорей,
Тянули собственных полпредов.

А после — хлопцы-косари
С таким усердьем размахнулись,
Что все кровавые цари
В своих гробах перевернулись.

1981

Камил Икрамов

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

РОМАН-ХРОНИКА

МЕЖДУ СТРОК

Нет, я не стану рассказывать о пытках, которым подвергали моих знакомых. Я не стану высказывать предположений о том, как пытали моего отца. Я не знаю, в какой тюрьме сидел отец, кто и где допрашивал его, где его расстреляли, где похоронили. Говорят, на Лубянке был свой крематорий, труба которого выходила в трубу игрушечной фабрики. Ложь, конечно, досужая выдумка. А вдруг — правда?

Я буду и дальше говорить — «говорят». «Говорят» — почти единственный источник информации. Да можно и не ссылаться на говорящего, тем более в данных обстоятельствах это не всегда удобно.

О последних днях матери я знаю несколько больше.

В декабре 1957 года я получил письмо от своего ровесника, узбекского инженера. В письме — рассказ о событиях двадцатилетней к тому времени давности.

«Дорогой Камиль!

Ваше письмо подоспело очень кстати. У меня как раз гостит моя мать Крымова Асия Хасановна. Сидим мы с ней сейчас за столом и вспоминаем те ужасные годы...

У меня в тридцать седьмом году арестовали отца и мать. Было мне тогда десять лет...

Мать встретилась с Евгенией Львовной в камере № 67 тюрьмы НКВД 12 ноября 1937 года, куда Евгению Львовну перевели из одиночного заключения после шестидесятитрехдневного непрерывного допроса. На допросе она себя виновной не признала и ничего не подписала... Пробыли они вместе до 10 января 1938 года, когда мать перевели в Таштюрьму. В течение тридцать восьмого года мать неоднократно получала приветы от Евгении Львовны через людей, переведенных из тюрьмы НКВД в Таштюрьму. Затем сведения об Евгении Львовне прекратились...»

Я встретился с Асией Хасановной в красивом доме, в хорошей квартире. Говорили мы долго, я не вел записей и помню только, что на вопрос, как мать относилась в то время к Сталину, Асия Хасановна ответила:

— Однажды ночью она сказала вдруг: «Сталин знает обо всем. Теперь я поняла».

Один из бывших работников Наркомзема Узбекистана, казах Батырбеков, встретил мать в коридоре тюрьмы, когда конвоиры по оплошности не сумели развести их. Встречи не допускались, специальная техника была разработана.

Мать сказала: «Держись, казак!»

Батырбеков рассказал это мне, когда я встретился с ним в ссылке. Вот и все, что я знаю достоверного о матери.

А об отце я не знал почти ничего. Только процесс.

Итак, стенограмма. Страница 324.

И к р а м о в. ...Теперь разрешите сказать, что сделала наша национа-

листическая контрреволюционная организация в осуществление своего плана, своей программы. После того как Бухарин упрекнул меня в недостаточной активности, я сам совершил непосредственно вредительский акт. В 1935 году мы — я, Любимов[1] и Файзулла Ходжаев — совместно дали директиву за подписью Любимова и Икрамова (подписи Файзуллы, кажется, не было): принять хлопок повышенной влажности против установленного правительством Союза стандарта, в результате чего 14 тысяч тонн хлопка пропало, из них 2600 тонн пошло на ватную фабрику, а остальное количество — на низкие сорта. Убытки составили несколько миллионов рублей.

В ы ш и н с к и й. Это сознательно было вами сделано?

И к р а м о в. Конечно. Если бы это были случайные вещи, я бы о них здесь не говорил. По каракулю было вредительство. Мы не сами его непосредственно сделали, но через членов нашей организации — было снижение сортности... Было осуществлено вредительство и в коммунальном хозяйстве Ташкента и Бухары... Вот факт вредительства в области строительства. Ташкент делится на две части: старый город и новый город. В старой части канализации нет, огромные пространства занимают земли, на которых нельзя строить дома. Кроме того, имеется много поглощающих ям. Новое здание Наркомпочтеля начали строить, причем ввиду наличия девятнадцати поглощающих ям надо было начинать закладывать фундамент с 30—40 метров.

Вероятно, здесь не нужны комментарии, ибо каждый видит всю нелепость показаний о вредительстве первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана. Но я часто вспоминаю об этих показаниях, проезжая по самой красивой улице Ташкента, улице Алишера Навои, заходя на Центральный телеграф, который помещается в том самом здании, о котором идет речь. Рядом с этим домом стоят десятки новых зданий. Там рядом и издательство, в которое я хотел предложить эту рукопись. В каждую юбилейную дату газеты Узбекистана подчеркивают, что почти не остается понятия «старый город». Новый город строят там, где, по словам моего отца, «нельзя строить дома». П о г л о щ а ю щ и е я м ы не мешают.

Дальше цитирую без пропусков до конца допроса.

И к р а м о в. ...Такое же крупное вредительство, на которое мы закрывали глаза, имело место по линии строительства Наркомлегпрома, на хлопковых заводах и шелковых фабриках. Цифры я сейчас не помню, огромные средства вложены в строительство, переходящее из года в год. Кажется, строительство Наркомлегпрома по шелковой промышленности было запроектировано на 300 миллионов рублей. Из них 80 миллионов вложено в строительство, а остальное из года в год идет как переходящее строительство. В Намангане начали строить шелкомотальную фабрику. Полтора-два миллиона израсходовали, а в середине года говорят, что нужно консервировать. Я очень удивился, так как не знал техники этого дела. Говорят, что для консервации потребуется полмиллиона рублей, и действительно Наркомлегпром отпустил для консервации полмиллиона рублей.

На строительство хлопкоочистительного завода в Бухаре затрачено 5 миллионов рублей. Завод готов, но не может работать, хотя и машины привезены. Почему? Потому что нет прессов.

В ы ш и н с к и й. Сколько стоит пресс?

И к р а м о в. Наверно, 100—200 тысяч. Даже дома построены для рабочих и служащих, а завод стоит и используется сейчас под амбар.

В ы ш и н с к и й. Кто отвечает за это?

И к р а м о в. За это отвечает, в частности, Наркомлегпром. Но и я как человек, закрывавший на это глаза, конечно, тоже отвечаю.

В ы ш и н с к и й. Вы прикрывали это?

И к р а м о в. Конечно, я делал вид, что не вижу. Такие же самые дела по хлопковым амбарам. Это относительно вредительства. Теперь относительно повстанчества. Файзулла в своем показании об этом говорил.

О к о н ч а н и е. Начало см. «Знамя» № 5 за 1989 год.

[1] И. Е. Любимов — нарком легкой промышленности СССР.

Вышинский. Что вы сделали для организации повстанческих отрядов?

Икрамов. Мы дали им такую директиву. Что конкретно сделано, мне неизвестно. Но Балтабаев говорил, что Алмазов заявлял ему, что он уже приступил к этому делу в Маргеланском районе, что у него уже кое-какие кадры есть.

Вышинский. Значит, готовили эти кадры?

Икрамов. Потом, кажется, Файзулла мне говорил, что в Бухаре тоже готовится это дело. Вот относительно моих преступлений перед Советской властью. Если можно подытожить, я сформулирую мои преступления. Это измена социалистической Родине, измена советскому народу, в первую очередь узбекскому народу, который меня вскормил, взрастил.

Председательствующий (к прокурору). У вас есть вопросы к подсудимому Икрамову?

Вышинский. Нет.

Председательствующий. Объявляю перерыв на полчаса.

ДАСТАРХАН

Это было в мае 1955 года, до того как я пошел в Историческую библиотеку читать стенограммы процесса. Первый месяц моей свободной жизни. Я хотел наслаждаться свободой больше и больше. Я не знал, что нельзя быть более счастливым, если ты счастлив. Это несчастью предела нет.

Мой старший друг, инженер-самоучка, известный мотоциклетный механик и тренер Матвей Григорьевич Гинцбург приютил меня в своих двух комнатках в полусгнившем деревянном флигеле на Большой Серпуховской улице. Когда-то мальчишкой-ремесленником я приходил к нему в этот флигель перенимать поразительный опыт автомеханика. Я звал его дядей Митей. Дядей Митей звали его и многие спортсмены-мотоциклисты, которых он тренировал, готовил их машины к рекордам.

Те уроки автодела запомнились на всю жизнь. О Матвее Григорьевиче Гинцбурге я писал однажды в журнале «Здоровье», потому что это, кажется, единственный в мире человек, после перелома позвоночника и постигшего его с девятнадцати лет на всю жизнь паралича нижней половины тела и ног смогший стать крупнейшим специалистом в избранной им области техники, до сорока лет зарабатывать себе на жизнь слесарным трудом, потом написать несколько великолепных книг о мотоциклах, а попутно заниматься спортом, выступать вместе с Яроном в оперетте и быть бойцом истребительного батальона во время Великой Отечественной войны.

Неудивительно, что для меня он был не только учителем автодела. Он никогда не разговаривал о постороннем во время работы, но, вытерев концами руки, он разламывал добытый трудом кусок военного хлеба, протягивал мне мою честно заработанную долю и начинал философствовать. По складу ума он парадоксалист-скептик. Шопенгауэр, Ницше, Ренар, Стерн и Анатоль Франс. Он обильно цитировал их, а я слушал, открыв рот.

Старшие друзья по лагерю, любившие меня, и не подозревали, какую тренировку моему мозгу давал прежде них Матвей Григорьевич. Это он заставил меня прочесть «Боги жаждут», книгу, перевернувшую мои подростковые представления о жизни и истории. Тогда, году в сорок первом, я отождествлял своего отца с Эваристом Гамленом, а сам возмечтал быть похожим на Бротто дез Илетта.

Вот и сейчас, собираясь рассказать совсем другую историю, я вспомнил Эвариста Гамлена и опять стал сравнивать его с моим отцом.

Нет, нет, все иначе. И теперь я чаще вспоминаю слова Энгельса: «Люди, хвалившиеся тем, что *сделали* революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что́ делали, — что *сделанная* революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории...» [1]. Я понимаю и другое: даже убедившись, что детище обмануло надежды, что ребенок проявляет людоедские наклонности, что он вполне готов сожрать и своих родителей, все равно нельзя отбежать в сторону. (Кстати, часто говорят, что революции поедают своих детей. Не вернее ли говорить о том, что революции поедают своих родителей?) Даже в этом случае разве можно отскочить в сторону, умыть руки, не захотеть повлиять, помочь, помешать, понимая всю степень своей личной ответственности за сделанное?

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений (2-е изд.), том 36, стр. 263.

Я сужу отца.

И все-таки я знаю точно: он был лучше, чем я, много лучше.

Было бы странно, если бы отец мог рассчитать все те повороты истории, которые происходили в России, начиная, скажем, хотя бы с 1921 года и которые весьма своеобразно преломлялись на периферии. Предусмотреть это не мог никто, тем более молодой узбекский революционер, озабоченный прежде всего делами своего народа.

Эту главу я писал в 1966 году в больнице города Намангана, города, где мой отец в 1919 году организовал первые советские школы и первые партячейки. Вернемся, однако, к 1955-му.

Я сидел на оранжевом дерматиновом диванчике в квартире дяди Мити и слушал его парадоксы.

Зазвонил телефон. С первой минуты стало ясно, что ошиблись номером, но Матвей Григорьевич отчаянно флиртовал с незнакомкой, галантно высказывался о ее голосе и назначил свидание на станции метро, где он сам никогда не был, потому что стал инвалидом за пять лет до пуска первой линии московской подземки.

— Я худой брюнет в толстых очках и зеленом костюме, — говорил он, поглядывая на меня. — Ботинки я чищу редко... Хорошо, в левой руке я буду держать газету... Камка, — сказал он мне, положив трубку, — в пятницу в шесть часов, метро «Красные ворота», в левой руке держи газету. У нее очень приятный голос.

...Я сразу увидел ее, потому что опоздал минут на десять, и она нетерпеливо и тревожно ходила по вестибюлю. Лет двадцати шести — двадцати восьми, в очках, в добротном летнем пальто. У меня не было условленной газеты, и я придумал, как выйти из положения.

— Вы не знаете, где здесь газетный киоск? Дело в том, что мне нужно купить газету, чтобы взять ее в левую руку.

Сочинив такую шикарную фразу, я не мог не произнести ее и подошел к женщине в очках. У нее было ватное лицо и жалостливое выражение светло-карих глаз за большими, не по лицу, очками.

— Ах, это вы!

У меня было всего пять рублей, ровно столько стоил один билет в кино. Поэтому я пригласил даму в Парк культуры и отдыха имени Горького. Рубль на метро туда, рубль на метро обратно, полтинник мне на дорогу, два пятьдесят на развлечения.

В парке мы ели эскимо, пили газированную воду и на Массовом поле слушали ансамбль цыган. Они пели песни о Родине, о партии и цыганскую песню о Сталине. Это была последняя песня о Сталине, которую я слышал в публичном исполнении. (Потом пришлось бояться, что скоро эти песни услышу опять.)

Моя дама послушно ходила за мной и не противилась, когда я пытался увлечь ее в аллеи Нескучного сада, где по моим довоенным воспоминаниям должно быть темно... Но все изменилось с тех пор. Там было светло и людно, а возле затененных скамеечек стояло по милиционеру. Нельзя сказать, чтобы я был этим огорчен, ибо она была моих лет, следовательно, стара, и тоже в очках. Я боялся, что наши очки стукнутся, когда я захочу ее поцеловать. Я проводил ее до дома, она сбегала к себе на третий этаж за «Беломором». Мы стояли во дворе и курили.

— Поцелуй меня, — сказал я ей от скуки.

— Какой вы странный, — сказала она. — Вы, наверно, очень хороший человек... Знаете, я хочу пригласить вас пойти со мной тридцатого. Вы свободны тридцатого?

Я не знал, свободен ли я тридцатого, и потому задумался. А она продолжала:

— Будет два года со дня смерти моего мужа. Я хочу позвать вас на кладбище, на его могилку.

Я растерялся. В то время я еще не собирался становиться писателем, даже не мечтал об этом, но почему-то боялся плагиата. Я четко помнил, что похожая ситуация описана Мопассаном, испытал чувство неловкости и, чтобы не отвечать «нет», спросил:

— А вы были замужем?

— Да,—сказала она.—Мы очень дружно жили.

— Что же с ним случилось?—спросил я, опять уводя разговор в сторону.—Отчего он умер?

— Видите ли, он покончил с собой,—сказала она, и я понял, что она готова рассказать мне всю свою жизнь.—Он был очень тяжелый человек, нервный... тяжелый человек. Но он меня очень любил. Он меня очень любил... Конечно, с ним было нелегко. Однажды... у нас была такая собачка, тойтерьер, может быть, знаете? И вот эта собачка нагадила у нас в спальне. И он взял и прямо в спальне ее повесил.

— Да...—сказал я.—А где он работал?

— Он был адъютантом Лаврентия Павловича Берии,—не без гордости сказала она.

Так я узнал, что один из адъютантов Берии покончил с собой 30 мая 1953 года, за несколько недель до ареста своего шефа. Говорят, в 1953 году на станции метро «Дзержинская» и в общественной уборной на площади было несколько самоубийств. Так ли это, я не знаю. Мою случайную знакомую я больше не видел. Моего телефона она не знала, а сам я ей не звонил.

Сейчас, готовя рукопись к набору (неужто будет книга!), я еще раз думаю о том, что я не строил этот сюжет, что факты сами сбегались ко мне, когда я вовсе и не хотел их искать.

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

Когда-то очень давно, в лагере на концерте самодеятельности я читал «Песню о Соколе». Я много чего читал с этих подмостков. Особенно часто и с большим успехом среди охраны и вольнонаемных выступал со «Стихами о советском паспорте». Читал с искренним восторгом и упоением, и голос звенел, и вохра мне завидовала. Но вот в «Песне о Соколе» меня както неожиданно остановили слова:

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером...»

Насколько ответственнее было бы: «Пускай я умер...» А «пускай он умер...»—совсем уже некрасиво!

Между тем психологический механизм пытки как раз на этом построен. Если бы те, кого пытают, заранее знали, что они «не могут все»,—процесс не получился бы столь гладким.

Грубо, рисунок такой:

Следователь. Что, плачешь, просишь пощады, готов подписать?

Арестованный. Да, я готов подписать, хотя и не виноват.

Следователь. Эх ты, дерьмо! А помнишь Маяковского «...рот заливали свинцом и оловом...» Дерьмо ты! Все вы дерьмо!

Арестованный. Я не выдержал и друзья мои не выдержали. Значит, мы все дерьмо.

Так люди теряли самоуважение. Если бы они раньше знали, что человеческие возможности имеют границы, им было бы много легче.

Гордыня обернулась потерей лица.

И это я—об отце. Его не сразу сломили. Не просто запугали. Он долго сопротивлялся.

Были, правда, другие случаи...

Прошу читателя отметить, что психологическая установка на безграничные возможности человека никак из марксизма не вытекает. Однако в революции эта установка играла важную роль.

— Позвольте,—возразит интеллигентный читатель.—Это все любопытная достоевщина, но почему же никто, никто на процессе не встал и не сказал всего? Ни один человек!

Никто так не заражен предрассудками, как современный интеллигент. Умение мыслить категориями мешает простому воображению. Даже фактов порой не видишь. В современной философии на это есть специальный термин «интеллектуальное запутывание».

Итак, «ни один человек»...

Один человек был. Николай Николаевич Крестинский.

Академик И. Майский писал о нем в «Известиях» в октябре 1963 года:

«Н. Н. Крестинский родился в 1883 году в семье белорусского учителя гимназии. В 1903 году он стал членом большевистской партии, принимал активное участие в революции 1905 года. Будучи по образованию юристом, оказывал большую помощь работе большевистской фракции Государственной Думы. Одновременно Н. Н. Крестинский много писал в большевистских газетах и журналах тех дней. Репрессии царских властей—обыски, аресты, высылки—в изобилии сыпались на его голову.

В 1917 году, сразу после падения царизма, Н. Н. Крестинский возглавлял большевистские партийные организации на Урале, куда перед тем он был сослан царскими властями. После Октября он сначала стал комиссаром юстиции Северной Коммуны, а позднее Наркомфином РСФСР. С декабря 1919 года по март 1921 года Н. Н. Крестинский занимал пост секретаря ЦК ВКП(б), работал бок о бок с В. И. Лениным. В ленинских сборниках опубликован ряд писем и записок Владимира Ильича к Н. Н. Крестинскому.

Не избежал Н. Н. Крестинский и ошибок. В период заключения Брестского мира он—«левый» коммунист. Во время профсоюзной дискуссии 1921 года подписал платформу объединенной оппозиции Троцкого — Бухарина, вынесенную в качестве проекта постановления X съезда партии. Однако на съезде Николай Николаевич голосовал не за эту платформу, а за ленинские резолюции о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне.

В 1927 году Н. Н. Крестинский направил в Центральный Комитет партии письмо, в котором писал, что он ознакомился с так называемым «заявлением 83-х» и просил присоединить его подпись к первоначальному списку подписавшихся под этим заявлением. В 1928 году Н. Н. Крестинский заявил о своем разрыве с оппозицией.

В августе 1921 года Николай Николаевич был назначен советским полпредом в Германии, тогда это был самый важный дипломатический пост за рубежом. Там он пробыл девять лет, в 1930 году Н. Н. Крестинский занял пост первого заместителя Народного комиссара иностранных дел. Н. Н. Крестинский избирался членом ЦИК СССР всех созывов, членом ЦК на VI, VII, VIII и IX съездах партии.

Имя Н. Н. Крестинского осталось в истории прежде всего как имя одного из виднейших советских дипломатов, который под руководством В. И. Ленина участвовал в закладывании первых камней великого здания советской внешней политики...»

Так писал Майский в связи с восьмидесятилетием со дня рождения Н. Н. Крестинского.

А теперь напомню о том, что было в марте 1938 года в Октябрьском зале Дома союзов.

С тех пор многие побывали в этом зале. Я даже участвовал там однажды в дискуссии о причинах живучести пережитков прошлого. Сидел на той самой сцене.

А мой отец видел своими глазами то, что я сейчас частями пытаюсь восстановить по документам и воспоминаниям.

Итак, Октябрьский зал Дома союзов. Мрамор и лепные потолки, усиленная стража и вход по особым пропускам. Первые несколько рядов занимают почти одинаково одетые люди с почти одинаковыми лицами, измятыми бессонницей и еще чем-то, оставляющим глубокие следы. Чем дальше от сцены, тем меньше одинаковых лиц.

Во второй половине зала есть знаменитости. Народный артист СССР Иван Москвин сидит, обхватив ладонью лоб. Никто не видит его лица, но вот кинохроника наводит на него юпитеры, и актер отрывает руку ото лба. Лицо его изображает гнев и презрение. Глаза горят. Юпитеры отвернулись, и потух взгляд. Рука закрывает лицо.

Это мне рассказали не для того, чтобы, упаси бог, бросить тень на процесс или намекнуть, что Иван Михайлович Москвин все-де понимал. Нет! Мне это рассказали лишь для того, чтобы подчеркнуть: актер всегда актер. Даже в зрительном зале.

Где-то вдали от сцены сидел один из тех, кто хотел написать правду о процессе, — Илья Григорьевич Эренбург.

Но я забежал вперед. А то, о чем я должен рассказать, произошло в самом начале, 2 марта 1938 года, примерно в полдень.

Секретарь суда военный юрист А. А. Батнер читает обвинительное заключение. Оно занимает в книге двадцать семь страниц. Затем председательствующий армвоенюрист В. В. Ульрих начинает допрос.

Председательствующий. Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Бухарин. Да, я признаю себя виновным в предъявленных мне обвинениях.

Председательствующий. Подсудимый Рыков, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Рыков. Да, признаю.

Председательствующий. Подсудимый Ягода, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Ягода. Да, признаю.

Вот тут и начинается то, на что я прошу обратить внимание. Многие знают, что здесь произошло, только не помнят и не считают важным помнить, как это происходило. А только подробности и составляют подлинное знание.

В общем плане: «история — это борьба классов» или «борьба за власть», «так всегда было» и «не нашего ума дело». Но, с другой стороны: «Что уж тут мудрить. Все они одним миром мазаны. И Крестинский, и Вышинский».

Мне рассказывали, что Лев Шейнин, когда проезжал мимо дома, где жил Вышинский, плакал настоящими слезами. Лев Романович очень любил Андрея Януарьевича.

Председательствующий. Подсудимый Крестинский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Крестинский. Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником «право-троцкистского блока», о существовании которого я не знал. Я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.

Председательствующий. Ваше признание на предварительном следствии вы подтверждаете?

Крестинский. Да, на предварительном следствии признавал, но я никогда не был троцкистом[1].

Председательствующий. Повторяю вопрос, вы признаете себя виновным?

Крестинский. Я до ареста был членом Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) и сейчас остаюсь я таковым.

[1] Вряд ли нам удастся сличить подлинные протоколы с опубликованными. Но слова «я никогда не был троцкистом» явно вписаны при редактуре, чтобы далее вписать и слова Вышинского об этом. Во всяком случае, Николай Николаевич Крестинский этих слов сказать не мог. О его солидарности со взглядами Троцкого в прошлом было известно партии, как и о его официальном разрыве с Троцким, публичном отказе от троцкизма.— К. И.

Председательствующий. Вы признаете себя виновным в участии в шпионской деятельности и в участии в террористической деятельности?

Крестинский. Я никогда не был троцкистом, я не участвовал в «право-троцкистском блоке» и не совершил ни одного преступления.

(Напрасно председательствующий армвоенюрист В. В. Ульрих так задержался на допросе Н. Н. Крестинского. Ведь ясно всякому, что обвиняемый четко и осознанно отказался от показаний, данных на предварительном следствии. В практике любого, даже очень молодого, судебного работника такие случаи не редкость. Видимо, председательствующий слегка опешил и не сразу сообразил, что не нужно бы задерживать на этом внимание. — К. И.)

Председательствующий. Подсудимый Раковский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Раковский. Да, признаю.

(Далее опять все идет гладко. Розенгольц, Иванов, Чернов, Гринько, Зеленский, Бессонов, Икрамов, Ходжаев, Шаранговнч, Зубарев, Буланов, Левин, Плетнев, Казаков, Максимов, Крючков — все отвечают: «Да, признаю». — К. И.)

Председательствующий. Объявляется перерыв на двадцать минут.

Я не знаю, что они делали в эти двадцать минут с Крестинским, но что они что-то делали, в этом у меня нет никаких сомнений. Если предположить, что они ничего и не пытались делать, то невозможно понять дальнейшего.

В памяти большинства сохранилось только то, что Крестинский в самом начале процесса вроде бы отказался признать свою вину, просто сказал, что ни в чем не виноват, а потом тут же стал подробно признаваться во всем.

Вот, например, как неточно пишет об этом такой весьма добросовестный мемуарист, каким мы знаем Илью Эренбурга: «Во время судебного разбирательства произошла только одна заминка — обвиняемый Крестинский неожиданно отказался от своих показаний на предварительном следствии и начал отрицать и свою причастность к право-троцкистскому блоку и свою шпионскую деятельность.

В связи с этим неожиданным заявлением Крестинского судебное заседание было на время прервано и подсудимых увели. Иностранные корреспонденты бросились к переговорным пунктам, чтобы передать в свои газеты сенсационное сообщение о поведении Крестинского. Однако через полтора часа заседание Верховного суда возобновилось, и Крестинский, признав себя виновным, отказался от своего только что сделанного заявления».

Тут, по меньшей мере, три ошибки.

Во-первых, не заминка и не одна.

Во-вторых, заседание не было тут же прервано.

И, в-третьих, ни через полтора, ни через три часа Крестинский не признал себя виновным и не отказался от только что сделанного заявления.

Ошибки Эренбурга проистекают все из того же свойственного нам невнимания к подробностям. Особенно когда подробности против нас.

На самом деле было совсем не так. А днем второго марта все было наоборот.

После перерыва суд переходит к допросу обвиняемого Сергея Алексеевича Бессонова, способного экономиста, дипломата, работавшего с Н. Н. Крестинским.

О Бессонове рассказывают так: «Он темноволосый, с монгольским разрезом умных глаз, слегка сутулится, что не мешает ему быть элегантным; голову держит немного набок, будто учтиво прислушивается. Губы его часто складываются в усмешку или это кажется, оттого что верхняя губа чуть коротковата. Собеседник и оратор он был отличный, остроумный, но сдержанный, только изредка прибегал к жесту, и тогда слово поддерживали выразительные, большие белые руки».

Люди, знавшие Сергея Алексеевича близко, не осуждали его за то,

как он вел себя на процессе. То есть осуждали, конечно, но прощали. Между тем поведение Бессонова на процессе может показаться примером очень страшного и глубокого падения.

Во всяком случае, я лично был потрясен, впервые читая стенограмму процесса в Исторической библиотеке. Бессонов реабилитирован посмертно, и я искренне рад этому. Ведь судили его не за клевету, не за оговор и самооговор, не за слабость воли. Мне понятно и поведение одного из замечательнейших людей двадцатого века, который в 1963 году содействовал реабилитации Бессонова, зная, что тот в свое время дал и на него лживые показания.

Человек этот не толстовец, не всепрощенец, о нем я уже упоминал в этой книге, и к нему более всего подходит забытое нами выражение: я имел честь быть его другом. Да, я имел честь быть другом Евгения Александровича Гнедина, который был одним из ближайших сподвижников М. М. Литвинова и с санкции В. М. Молотова обречен на страшные пытки. Эти пытки в своем собственном парадном кабинете начал проводить сам Л. П. Берия [1].

Бывшего заведующего отделом печати Наркомата иностранных дел СССР пешком перевели через улицу, и вскоре он был обработан так, что не мог ни ходить, ни сидеть, ни стоять. Его таскали волоком по роскошным кабинетам, изредка смазывали раны и ушибы и били снова — то следователи, то Кобулов в присутствии Берии. Это началось в мае тридцать девятого и длилось почти два года. Е. А. Гнедин своим примером как бы опровергает выводы теоретиков и практиков допросов с пристрастием. Он никого не оклеветал, ни в чем не признал себя виновным.

Мы познакомились в лагере на водоразделе Печоры и Камы, и я рассказал ему, что именно Кобулов был моим «куратором», и его четкая подпись (до сих пор помню ее) стояла на важнейших документах следственного дела. Мы мало говорили об этом, Евгений Александрович не хотел обременять своего молодого друга негативными фактами нашей жизни; он их считал случайными, а не закономерными.

Он читал мне стихи. Много позже я узнал, что именно стихи, чужие и свои, помогли ему выстоять. Он читал Блока, Брюсова, Гумилева, Вяч. Иванова...

Не сразу он сказал мне, что присутствовал на процессе «право-троцкистского блока», что по должности руководил освещением этого процесса в иностранной печати, видел и запомнил моего отца. Да, он руководил освещением процесса в зарубежной печати, да, на скамьях подсудимых были люди, которых он знал хорошо, с которыми вместе работал или по работе встречался.

Как он чувствовал себя на процессе?

Но я не об этом пишу.

— Если бы я знал, что встречу сына Акмаля Икрамова, если бы я знал, я бы смотрел на него иначе, совсем иначе, — с огорчением говорил мне Гнедин. — Что могу сказать... Пожалуй, он более других был отрешен от всего происходящего. Файзулла Ходжаев, элегантно одетый, сидел ближе к публике, позировал; Бухарин часто глядел в зал, кого-то искал глазами; Ягода с видом затравленного волка кричал в последнем слове: «Товарищи чекисты, товарищ Сталин, если можете, простите!» Икрамов... Он появлялся из глубины сцены, он был какой-то отрешенный от всего происходящего. Отрешенный и скорбный, иногда тяжелобольной, в забытьи... Если бы я знал, что встречу его сына!

Бессонова Евгений Александрович знал хорошо, вместе с ним работал в Германии и поражался роли, которую тому отвели в процессе. Он был спокоен, когда давал подробные показания. Однако иностранные корреспонденты ложь почувствовали, обнаружили противоречия, и Гнедин, читавший их отчеты, однажды сказал Генеральному прокурору:

— Андрей Януарьевич, иностранные корреспонденты удивлены кое-какими противоречиями в показаниях Бессонова.

— Да? — встревожился тот и поблагодарил. — Спасибо, Евгений Александрович, я обязательно поговорю с Бессоновым.

[1] Часть воспоминаний Е. А. Гнедина опубликована в «Новом мире» № 7 за 1988 год.

Так вот запросто и поговорит.

В стенограмме начало допроса Бессонова занимает десять страниц. Я их опускаю. Достаточно сказать только, что все они — подробное, с убедительными на первый взгляд деталями, изобличение Крестинского.

Начну со страницы 49-й.

Вышинский. Значит, мы можем установить такие факты: первое — это то, что Крестинский проезжал через Берлин.

Бессонов. Я думаю, что это было в сентябре или в конце августа 1933 года.

Вышинский. Куда он ехал?

Бессонов. В Киссинген.

Вышинский. Зачем?

Бессонов. Он лечился. Он остановился в торгпредстве, и я с ним разговаривал. Дважды мы разговаривали на троцкистские темы.

Вышинский. А он говорит, что никогда троцкистом не был. Может быть, он порицал троцкистов? Вы слышали сами здесь, что он говорил, что он троцкистом не был. Как это, правильно или нет?

Бессонов. (Улыбается.)

(Неужели он действительно улыбался? Но и придумать эту деталь тоже очень трудно. — **К. И.**)

Вышинский. Что вы улыбаетесь?

Бессонов. Я улыбаюсь потому, что я стою здесь на этом месте, потому что Николай Николаевич Крестинский назвал меня как связиста с Троцким. И кроме него и Пятакова, никто об этом не знал. И если бы в декабре 1933 года Крестинский со мной не говорил об этом обстоятельстве, то я бы не находился на скамье подсудимых.

Вышинский. Так что вы считаете, что вы обязаны ему в этом деле? Позвольте спросить подсудимого Крестинского.

Подсудимый Крестинский, вы действительно проезжали в Киссинген в 1933 году в августе или сентябре?

Крестинский. В начале сентября.

Вышинский. Этот факт подтверждаете?

Крестинский. Подтверждаю.

Вышинский. С Бессоновым виделись?

Крестинский. Да.

Вышинский. Разговаривали?

Крестинский. Да.

Вышинский. О чем? О погоде?

Крестинский. Он был советником полпредства в Берлине, в это время исполнял обязанности поверенного в делах. Он информировал меня о политическом положении в Германии, о настроениях фашистской партии, которая в то время была у власти, об их программе и установке к СССР.

Вышинский. А о троцкистских делах?

Крестинский. Мы с ним не говорили. Я троцкистом не был.

Вышинский. Никогда не говорили?

Крестинский. Никогда.

Вышинский. Значит, Бессонов говорит неправду, а вы говорите правду. Вы всегда говорите правду?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Не всегда. Подсудимый Крестинский, нам придется с вами разбираться в серьезных делах и горячиться не нужно [1]. Следовательно, Бессонов говорит неправду?

Крестинский. Да.

Вышинский. Но вы тоже не всегда говорите правду. Верно?

Крестинский. Не всегда говорил правду во время следствия.

Вышинский. А в другое время говорите всегда правду?

Крестинский. Правду.

Вышинский. Почему же такое неуважение к следствию: когда ведут следствие, вы говорите неправду? Объясните.

Крестинский. (Молчит.)

[1] Почему на реплику Крестинского «нет» прокурор реагирует фразой, в которой уговаривает подсудимого не горячиться? — **К. И.**

Вышинский. Ответов не слышу. Вопросов не имею. Подсудимый Бессонов, когда имели место ваши разговоры с Крестинским о троцкистских делах?

Бессонов. В Берлине был не первый разговор, а второй.

Вышинский. А где был первый?

Бессонов. Первый имел место в Москве, в мае 1933 года.

Вышинский. При каких обстоятельствах, когда и о чем именно вы говорили с Крестинским в Москве о троцкистских делах?

Бессонов. Вернувшись в Москву со всей торговой организацией из Англии, я был назначен советником полпредства СССР в Германии. Прежде чем принять этот пост, я имел длительную беседу с Пятаковым и Крестинским.

Вышинский. Пятаков меня сейчас не интересует, сейчас интересует Крестинский. Где вы разговаривали с ним?

Бессонов. В кабинете Крестинского, в НКИД.

Вышинский. О троцкистских делах?

Бессонов. Да, Крестинский мне сказал, что на основе рекомендации и разговора Пятакова он считает необходимым со мною говорить совершенно откровенно относительно тех задач, которые стоят передо мною в Берлине. Он сказал мне, что он уже говорил о моем назначении с немцами, московскими немцами, имея в виду немецкое посольство в Москве.

Председательствующий. Подсудимый Бессонов, вы не забыли моего предупреждения в начале судебного следствия?

Бессонов. То, что я хочу сказать, ни в какой степени, вероятно, не затрагивает чести ни одного из посольств и что германская страна довольна моим назначением, потому что я долго работал в Германии, хорошо знаю Германию и они меня знают и что с этой точки зрения они довольны тем, что имеют знакомую фигуру. Действительный смысл, конечно, всего этого замечания заключался в том, что очень ярко формулировал раньше, до этого Пятаков, неоднократно и до этого говорил мне Крестинский, что моя работа в Германии в течение 1931—1932 годов, безусловно, создала мне как члену троцкистской организации определенную популярность и симпатии среди известных кругов германских промышленников и отчасти германских военных, популярность, которая теперь должна быть использована для новых задач. Эти задачи Крестинский формулировал следующим образом...

Вышинский. Коротко, потому что я думаю, что об этих задачах будет говорить сам Крестинский позже.

Бессонов. Если бы совершенно кратко формулировать основные мысли Крестинского и то задание, которое я от него получил,— оно заключалось в том, что я на должности советника Берлинского полпредства должен в первую очередь и раньше всего приложить все усилия к тому, чтобы задержать и по возможности не допустить нормализации отношений между Советским Союзом и Германией на обычном, нормальном дипломатическом пути[1].

Вышинский. Подсудимый Крестинский, вы не припомните таких «дипломатических» разговоров с Бессоновым?

Крестинский. Нет, у нас не было таких разговоров.

Вышинский. Вообще не было дипломатических разговоров?

Крестинский. Я не совсем расслышал, что говорил Бессонов в последнюю минуту. Здесь плохо слышно.

Вышинский. А вы очень близко к нему сидите.

Крестинский. Здесь сзади плохо слышно то, что говорит Бессонов.

(Может быть, Н. Н. Крестинский считает нужным занять позицию более удобную для ведения защиты, для того, чтобы его все видели? — **К. И.**)

Вышинский. Разрешите мне просить вас, товарищ Председатель, пересадить Крестинского поближе к Бессонову, чтобы он хорошо слышал, а то я опасаюсь, что в наиболее острые моменты Крестинскому будет изменять слух.

(Крестинский пересаживается ближе к Бессонову.)

Вышинский. Я прошу Бессонова специально для Крестинского повторить то, что он сказал, а Крестинского попрошу внимательно слушать, напрячь свой слух.

Бессонов. Я повторяю. Задание, которое я тогда получил от Крестинского, заключалось в том, что я на должности советника Берлинского полпредства СССР, где я, конечно, располагаю известными возможностями для осуществления этой задачи, должен всеми доступными мне средствами, — само собой разумеется, соблюдая весь дипломатический декорум, — всеми доступными мне средствами помешать, задержать, не допустить нормализации отношений между Советским Союзом и Германией на нормальном дипломатическом пути и тем самым вынудить немцев искать нелегальных, недипломатических, секретных и тайных путей к соглашению с троцкистской организацией.

Вышинский. Вы слышали это?

Крестинский. Да.

Вышинский. У вас в мае месяце 1933 года были разговоры с Бессоновым?

Крестинский. У меня были разговоры с Бессоновым перед его отправлением в Берлин.

Вышинский. Были. О чем, не помните?

Крестинский. Я не помню деталей.

Вышинский. Вы деталей не помните, а Бессонов помнит.

Крестинский. Не было ни одного звука о троцкистских установках.

Вышинский. Вы говорили о том, что он должен делать за границей или не говорили?

Крестинский. Конечно, говорил.

Вышинский. Говорили, что он должен делать?

Крестинский. Да.

Вышинский. Что он должен делать?

Крестинский. Что он должен стараться создавать нормальные отношения в тех пределах, в которых это возможно.

Вышинский. В каких возможно. А если невозможно?

Крестинский. Если не будет удаваться — другое дело, но он должен стараться.

(Обратите внимание, как четко, здраво, исчерпывающе и лаконично звучат ответы Н. Н. Крестинского. — **К. И.**)

Вышинский. Обвиняемый Бессонов, правильно говорит Крестинский?

Бессонов. Совершенно неправильно. Больше того, Крестинский в этом разговоре дал мне подробную организационную директиву, каким образом я должен с ним сноситься в будущем...

Крестинский был расстрелян, Бессонов получил пятнадцать лет и умер в лагерях. Если бы он остался жив... простить его было бы необходимо! Не понять и простить, но простить и понять.

Вышинский. Вы слышите, что Бессонов достаточно подробно говорит о ваших разговорах, которые носят далеко не такой характер, который вы им придаете. Как же быть?

Крестинский. Таких разговоров не было, хотя на очной ставке, которая была в январе месяце, я часть разговора признал.

Вышинский. Вы на очной ставке с Бессоновым подтверждали эту часть?

Крестинский. Да.

Вышинский. Значит, был такой разговор?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Значит, то, что говорит Бессонов, надо понимать наоборот?

[1] Напоминаю, что процесс происходил в марте 1938 года, через год с небольшим был достигнут полный контакт с фашистской Германией. Гитлер стал тогда, по словам наших газет, любимым вождем немецкого народа, состоялось подписание пакта и множества торговых соглашений. Привлекает внимание попытка Государственного обвинителя сложить вину за отсутствие хороших отношений между СССР и Германией на врагов народа.— **К. И.**

Крестинский. Не всегда.

Вышинский. Но ваше признание?

Крестинский. На следствии я несколько раз давал неправильные показания.

Вышинский. Вы говорили, что «в состав троцкистского центра я формально не входил». Это правда или неправда?

Крестинский. Я вообще не входил.

Вышинский. Вы говорите, что формально не входили. Что здесь правда, что здесь неправда? Может быть, все правда или все неправда, или наполовину правда? На сколько процентов, на сколько граммов здесь правды?

(Может, Вышинский рассчитывает на затемнение сознания, на полученный Крестинским укол, на его бессонные ночи? Неужели всерьез надеется запутать в словах? — **К. И.**)

Крестинский. Я не входил в состав троцкистского центра потому, что я не был троцкистом.

Вышинский. Вы не были троцкистом?

Крестинский. Не был.

Вышинский. Никогда?

Крестинский. Нет, я был троцкистом до 1927 года.

Председательствующий. В начале судебного заседания на мой вопрос вы ответили, что никогда троцкистом не были. Вы это заявили?

Крестинский. Я заявил, что я — не троцкист.

Вышинский. Итак, вы до 1927 года были троцкистом?

Крестинский. Был.

Вышинский. А в 1927 году вы когда перестали быть троцкистом?

Крестинский. Перед XV съездом партии.

Вышинский. Напомните дату.

Крестинский. Я датирую мой разрыв с Троцким и с троцкизмом 27-м ноября 1927 года, когда я через Серебрякова, возвратившегося из Америки и находившегося в Москве, направил Троцкому резкое письмо с резкой критикой...

Вышинский. Письма этого у нас нет в деле. У нас есть другое письмо — ваше письмо на имя Троцкого.

Крестинский. Письмо, о котором я говорю, находится у судебного следователя, потому что оно изъято у меня при обыске, и я прошу о приобщении этой переписки.

Вышинский. В деле есть письмо от 11 июля 1927 года, изъятое у вас при обыске.

Крестинский. Там же есть письмо от 27 ноября.

Вышинский. Нет такого письма.

Крестинский. Не может быть...

(И здесь не удалось. Прокурор вынужден вильнуть в сторону. — **К. И.**)

Вышинский. У нас сейчас ведется судебное следствие, а ведь вы на следствии не всегда говорили правду. Вы говорили на предварительном следствии, что вы формально не входили в центр. Значит, на предварительном следствии вы признали, что входили вообще, по существу, в троцкистский центр. Вы признавали это на предварительном следствии?

Крестинский. Нет, не признавал.

Вышинский. В ваших показаниях (т. 3, л. д. 9) вы показали: «Формально не входил...»

Значит, можно понимать так, что не формально входили. Верно?

Крестинский. Я не входил вообще в состав троцкистского центра.

Вышинский. Значит, вы дали неправильные показания?

Крестинский. Я же заявил, что эти мои показания не соответствуют действительности.

Вышинский. Когда я вас допрашивал на предварительном следствии, вы мне говорили правду?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Почему вы мне говорили неправду? Я вас просил говорить неправду?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Просил я вас говорить правду?

Крестинский. Просили.

Вышинский. Почему же, когда я вас прошу говорить правду, вы все-таки говорите неправду и заставляете следователя писать это, потом подписываете? Почему?

Крестинский. Я дал прежде, до вас, на предварительном следствии неправильные показания.

Вышинский. ...и потом держались?

Крестинский. ...и потом держался, потому что на опыте своем личном пришел к убеждению, что до судебного заседания, если таковое будет, мне не удастся опорочить эти мои показания. (Разрядка моя. Нужно ли еще что-нибудь для полной дискредитации этого процесса? Но нам все мало. Мы никак не можем понять, в чем дело. Почему они говорили неправду? — **К. И.**)

Вышинский. А теперь вы думаете, что вам их удалось опорочить?

Крестинский. Нет, не это важно. Важно то, что я заявляю, что не признаю себя троцкистом. Я не троцкист.

Вероятно, разумнее было бы прекратить допрос Крестинского, перенести его в конец процесса, дав возможность палачам обработать жертву. Или пускай так все и останется, как уже случилось: Крестинский отказался, но свидетели его изобличили. Мало ли случаев, когда полностью изобличенный преступник отрицает свою вину. Никакой суд в конце концов это не смущало. Но Вышинскому необходимо добиться признания. Запутать? Нет — запугать. Нажать, продемонстрировать подлость и грубую силу, напомнить этому несчастному, с кем он имеет дело, сломить волю. Галина Серебрякова уверяла меня, что в специальной ложе за занавесом кто-то видел силуэт «человека с усами» и чувствовался запах трубочного табака. Сталин, мол, лично наблюдал. Может быть, он давал и практические советы относительно пыток? Сейчас мне не так интересны отношения Сталин — Икрамов, как Сталин — Вышинский. Что один испытывал к другому?

Вышинский. Вы сообщали, что вы находились на особо конспиративном положении. Что это значит — «особо конспиративное положение»?

Крестинский. Вы же знаете...

Вышинский. Вы меня в качестве свидетеля не привлекайте к этому делу. Я вас спрашиваю, что значит — на особо конспиративном положении?

Крестинский. Это было сказано в моем показании...

Вышинский. Вы не хотите отвечать на мои вопросы?

Крестинский. Эта фраза о том, что я нахожусь на особо конспиративном положении, есть в моем показании от 5 или 9 июня, которое от начала до конца является неправильным.

Вышинский. Я не об этом вас спрашиваю, поэтому прошу не спешить с ответами. Я спрашиваю, что значит — нахожусь на особо конспиративном положении?

Крестинский. Это не соответствует действительности.

Вышинский. Это мы потом будем выяснять. Я хочу понять смысл заявления о том, что вы находитесь на особо конспиративном положении.

Крестинский. Если бы это соответствовало действительности, то это означало бы, что я, будучи действительно троцкистом, принимаю все меры для того, чтобы скрыть свою принадлежность к троцкизму.

Вышинский. Прекрасно, а чтобы скрыть, надо отрицать свой троцкизм?

Крестинский. Да.

Вышинский. Сейчас вы заявляете, что вы не троцкист. Не для того ли, чтобы скрыть, что вы троцкист?

(Очень трудно в этом случае сдержаться: не выругаться, не заплакать. — К. И.)

Крестинский. (После молчания.) Нет, я заявляю, что я не троцкист.

Вышинский. (Обращаясь к суду.) Можно спросить обвиняемого Розенгольца? Обвиняемый Розенгольц, вы слышали этот диалог?

Розенгольц. Да.

Аркадий Павлович Розенгольц — Народный комиссар внешней торговли СССР, член партии с 1905 года, работал под кличкой Степан. В Октябрьские дни он распропагандировал и привел к Моссовету первую войсковую часть — самокатный батальон.

Сейчас вряд ли нужно вспоминать все его заслуги перед партией. Но следует отметить, что А. П. Розенгольц вызвал дрожь зрителей в Октябрьском зале Дома союзов, когда во время своего последнего слова вдруг запел: «Хороша страна моя родная... нет такой другой страны на свете, где так вольно дышит человек» [1].

Но это было позже, двенадцатого марта, а на допросе второго марта Николай Николаевич Крестинский еще мог, вероятно, рассчитывать на то, что его личный пример повлияет на старого товарища по партии, поможет тому обрести себя.

Вышинский. (Розенгольцу.) Как вы считаете, Крестинский был троцкистом?

Розенгольц. Он троцкист.

Вышинский. Обвиняемый Крестинский, прошу слушать, а то потом вы будете заявлять, что не слышали.

Крестинский. Мне стало нехорошо.

Вышинский. Если обвиняемый заявляет, что ему нехорошо, я не имею права его допрашивать.

Крестинский. Мне нужно только принять таблетку, и я могу продолжать.

Вышинский. Вы просите вас пока не допрашивать?

Крестинский. Несколько минут.

Вышинский. А вы можете слушать, как я буду допрашивать других?

Крестинский. Могу.

Вышинский. Обвиняемый Розенгольц, какие у вас данные, что Крестинский троцкист и, следовательно, он говорит здесь неправду?

Розенгольц. Это подтверждается теми переговорами, которые были у меня с ним как троцкистом.

Вышинский. Когда были эти переговоры?

Розенгольц. Эти переговоры были начиная с 1929 года.

Вышинский. До какого года?

Розенгольц. До последнего периода.

Вышинский. То есть?

Розенгольц. До 1937 года.

Вышинский. Значит, переговоры велись с 1929 до 1937 года. 8 лет вы «переговаривались» с ним как с троцкистом? Правильно я вас понимаю?

Розенгольц. Да.

Вслед за наркомвнешторгом А. П. Розенгольцем Крестинского изобличает наркомфин Г. Ф. Гринько.

Забегая вперед скажу, что в тот день против Крестинского дали показания многие. Все уже были сломлены и даже раздавлены. Он стоял один.

---

[1] Несколько искаженный текст песни цитируется по стенографическому отчету. Очевидцы утверждают, что А. П. Розенгольц пел эти слова.

Нет, я не думаю, что он оказался самым мужественным и стойким. Ему повезло больше, чем другим. Ему удалось обмануть своих палачей. Тот, кто отвечал за «подготовку» Крестинского, возможно, поплатился.

Задача была в том, чтобы полностью сломить волю предназначенных к процессу. Ломать и гнуть, ломать и гнуть, убедить в бесполезности сопротивления, в полной бессмысленности всей прошлой жизни и жизни теперешней.

Люди стояли насмерть, а их ломали. Месяц, два, три, четыре, пять — год. И когда они были полностью сломлены, они шли на этот процесс. Просчет обреченных состоял в том, что они сопротивлялись, не имея в виду открытый суд, не веря в процесс. Отсюда и слова Крестинского, «что до судебного заседания, если таковое будет...»

Николай Николаевич Крестинский притворялся сломленным очень давно. То, что самооговорные показания он дал в июне, а потом, во время следствия, этих показаний держался, подтверждает мою версию.

Мой отец, как я уже писал, до конца февраля не давал показаний против Бухарина, и их вырвали у него за несколько дней до процесса. Не знаю, как это случилось, может быть, они угрожали арестовать меня (мне было десять лет) или пытать мать, или делали отцу какие-то фантастические инъекции. Так или иначе, мой отец, как и все остальные участники процесса, вышел на него полностью сломленным.

Они все боролись на предварительном следствии, один на один с палачами, в подвалах, застенках, без времени и без надежды. Только Крестинскому удалось дать бой на людях. И все остальные, все должны быть благодарны ему. Он рассказал об их муках. Но следует помнить: то, что удалось одному, могло удаться только одному из всех. Только потому, что все были сломлены, одному удалось обмануть палачей. Так среди многих расстрелянных может оказаться один живой. Он жив потому, что другие мертвы.

Но вернемся к стенограмме. После показаний Розенгольца и Гринько Крестинского опять «изобличает» Бессонов. Он говорит о свидании Крестинского с Троцким на итальянском курорте в Меране.

«Николай Николаевич предполагал, что я должен приехать в это время, но приехать я не мог, и поэтому, — говорит Бессонов, — я в этой встрече не участвовал и знаю из рассказов самого Николая Николаевича и Иогансона, который организовал эту встречу».

Вышинский. Подсудимый Крестинский, в Меране вы были?

Крестинский. Да, был.

Вышинский. В каком году?

Крестинский. В 1933 году, в октябре месяце.

Вышинский. Значит, вы были тогда, как об этом говорит Бессонов?

Крестинский. Это правильно.

Вышинский. Правильно? Место сходится?

Крестинский. Сходится.

. . . .

Вышинский. День сходится?

Крестинский. Сходится. Я был для проведения лечения и никого из троцкистов не видел.

. . . .

Вышинский. Значит, Бессонов неправ, а вы говорите правду?

Крестинский. Да, он неправ. Он повторяет мои показания, которые являются неправильными.

Тут вскрыта механика допроса. «Он повторяет мои показания». Это характерно. Заключенный под пытками оговаривает себя, а тот, кто предназначается ему в свидетели, повторяет его же слова. Нравственный барьер, который должны преодолеть в себе лжесвидетели, в таких случаях легче преодолеть. Здесь же и заключается полная нравственная реабилитация Сергея Алексеевича Бессонова. Он повторял показания Крестинского. Повторял то, что Николай Николаевич показал и на него, на самого Бессонова, «до судебного разбирательства, если таковое будет».

Еще раз прошу обратить внимание на четкость формулировок в по-

казаниях Крестинского и то достоинство, с которым он держался. Для него очень важно не выходить из себя, не дать повода прибегнуть к санкциям «за оскорбление правосудия», не поддаться на провокации.

Сейчас, по прошествии многих поучительных лет, трудно представлять себе, как можно было лучше выполнить эту задачу.

Вышинский. Когда мы на предварительном следствии спрашивали у вас, как вы говорили по этому поводу?

Крестинский. Давая показания, я не опровергал ни одного из своих прежних показаний, которые я сознательно подтверждал.

Вышинский. Сознательно подтверждали. Вы вводили прокуратуру в заблуждение. Так или нет?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Зачем вам нужно было вводить меня в заблуждение?

Крестинский. (Чтобы не тратить слов, я опять прибегаю к разрядке.— К. И.) Я просто считал, что если я расскажу то, что я сегодня говорю, что это не соответствует действительности, то это мое заявление не дойдет до руководителей партии и правительства.

Вышинский. Но ведь протокол вы подписывали?

Крестинский. Подписывал.

Вышинский. Вы помните, что я вам прямо поставил вопрос, нет ли у вас какого-либо заявления или претензии к следствию. Было так?

Крестинский. Да, было.

Вышинский. Вы мне ответили?

Крестинский. Да.

Вышинский. Я спрашивал, есть ли у вас претензии или нет?

Крестинский. Да, и я ответил, что претензий нет.

Вышинский. Если спрашивают, есть ли претензии, то вам надо было бы сказать, что есть.

Крестинский. Есть в том смысле, что я не добровольно говорил.

Вышинский. Я зачитаю ответ, который вы дали следователю Шейнину на заданный вам вопрос. Ответ Крестинского: «никаких претензий к следствию я не имею» (т. 3, л. д. 103).

А между тем существует точка зрения, что Л. Р. Шейнин совершенно непричастен ко всему этому. С Шейниным я был знаком. Мы даже встречались за праздничным столом на даче Владимира Тендрякова. Ели раков. Шейнин очень хорошо ел раков. Одни скорлупочки оставлял. Как яйца всмятку. Ложкой.

Тендряков специально устроил эту встречу, раков не пожалел: «Давай мы его допросим. Не вывернется». Шейнин вывернулся. Ел раков, изредка вытирая губы крахмальной салфеткой. «Нас к этому не допускали»,— повторял он о тридцать седьмом.

И мне все как-то неловко было спросить этого отвратительного человека: «Вы допрашивали моего отца, как это было? Почему же так получилось, что они все оговаривали себя, почему Крестинский...»

И еще мне хотелось узнать, по какой причине именно мой отец производил впечатление человека тяжело больного, находящегося в забытьи? И на всех ли заседаниях был отец? И кто писал им последние слова, кто их произносил, потому что со ссылкой на Керженцева утверждают, что двенадцатого марта во время оглашения приговора на скамье подсудимых сидели только дублеры.

Никто никогда не узнает, что думали двадцать подсудимых, когда двадцать первый шел на свою Голгофу.

Интересно отметить еще один обмен репликами. Установив, что между Крестинским, с одной стороны, и Бессоновым, Розенгольцем и Гринько, с другой, были до сих пор вполне хорошие отношения, Вышинский спрашивает:

Вышинский. И вот три человека, с хорошим отношением к вам, подсудимый Крестинский, говорят то, чего не было?

Крестинский. Да.

Я преклоняюсь перед этим человеком.

Утреннее заседание второго марта завершается диалогом поразительной силы.

До предела взвинченный, перепуганный последствиями возможного провала и возможным высочайшим гневом, Вышинский после дополнительного опроса Бессонова и Розенгольца вновь обращается к Николаю Николаевичу. Делать это — глупо, и за глупость возможна суровая кара, но Вышинский в своей службе Сталину давно уже сделал ставку только на верность.

Вышинский. Обвиняемый Крестинский, вы слышали это показание?

Крестинский. Я это отрицаю.

Вышинский. Отрицаете?

Крестинский. Отрицаю.

Вышинский. Безусловно?

Крестинский. Безусловно.

Вышинский. Конечно?

Крестинский. Конечно.

Вышинский. У меня больше нет вопросов.

Председательствующий. Объявляется перерыв на два часа.

Вечернее заседание 2 марта 1938 года, так же как и утреннее, по существу посвящено Николаю Николаевичу Крестинскому. Свидетелями против него выступают Г. Ф. Гринько и А. И. Рыков.

Прокурор, наученный первым заседанием, боится предоставлять Крестинскому трибуну, но его линия поведения все же отчетливо видна по стенограмме.

Бросается в глаза, как и прежде, спокойное достоинство Н. Н. Крестинского и злобная нервозность Прокурора СССР.

Вышинский. Выходит, что Крестинский говорит здесь неправду и пытается отвертеться от связи с троцкистами?

Рыков. Он не только говорит неправду, а хочет спутать ту правду, которая здесь есть.

Вышинский. Обвиняемый Крестинский, вы слышали это?

Крестинский. Да, слышал.

Вышинский. Вы подтверждаете это?

Крестинский. Я не подтверждаю, что я говорил неправду, и не подтверждаю, что хочу спутать правду.

Вышинский. У меня вопрос к Крестинскому. Но вам известно было, что Рыков занят подпольной борьбой?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Неизвестно?

Крестинский. То есть, я знал об этом из тех сообщений, которые делались на пленуме Центрального Комитета.

Вышинский. Ах, только так.

Крестинский. Только так.

. . . .

Вышинский (Рыкову). Разговаривали о делах нелегального порядка?

Рыков. Разговаривали о нелегальных делах.

Вышинский. Вы утверждаете, что и Крестинскому известно было о ваших делах в нелегальной партии, а Крестинский отрицает это; выходит, что Рыков говорит теперь неправду, а вы, обвиняемый Крестинский, правду?

Крестинский. Я говорю правду.

Вышинский. А вы с какого времени начали говорить правду?

Крестинский. По этому делу?

Вышинский. Да.

Крестинский. Сегодня говорю правду.

Председательствующий. С двенадцати часов?

Крестинский. Да, на заседании суда.

На целую страницу опять идут «признания» Рыкова, Бухарина, Розенгольца, Зеленского и Гринько. Затем:

Вышинский. Позвольте спросить Крестинского.

Обвиняемый Крестинский, все подсудимые находят, что в отношении их говорят правду, вы говорите, что этого не было. Вы правду говорите?

Крестинский. Я говорю правду.

Вышинский. Сегодня?

Крестинский. Да.

На последующих почти тридцати страницах стенограммы вечернего заседания 2 марта прокурор уже не обращается к Николаю Николаевичу. Видимо, убеждение, что он «одумается», долго не оставляло организаторов процесса, очень им хотелось, чтобы он «одумался». Ему могло быть даже дано время «на размышление». Этим и объясняется то, что Вышинский несколько раз повторяет свои вопросы. Но всему есть конец. Прокурор оставил его в покое. Мы даже не знаем, присутствует ли Крестинский на скамье подсудимых после очередного двадцатиминутного перерыва, объявленного председательствующим.

Итак, в течение целого дня (вечерние заседания начинались, как правило, в шесть часов), то есть с двенадцати часов дня на утреннем заседании и до восьми-девяти часов на вечернем, мы слышали четкие, сдержанные и мудрые ответы Крестинского, объясняющие причину самооговора и одновременно не дающие повода для обвинений в неуважении к закону и удалению из зала суда. Остальные тридцать страниц вечернего заседания тоже весьма интересны. Стоит, пожалуй, отметить показания подсудимых, которые предназначены для косвенного подтверждения дела Тухачевского и Гамарника, да еще слова Рыкова о том, как он, будучи Председателем Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР, давал для антисоветского «Социалистического вестника» клеветнический материал о проблемах 1928—1930 годов «в связи с теми затруднениями кулацкого порядка, которые партия в то время преодолевала». (Читатель уже знаком с точкой зрения Рыкова по цитированной выше речи Сталина на объединенном пленуме ЦК и ЦКК в апреле 1929 года.)

Мы не знаем, как провели ночь участники этого процесса. Предположения свои я стараюсь до поры не высказывать. Утреннее заседание 3 марта интересно для меня лично тем, что там идет допрос В. И. Иванова, бывшего наркома лесной промышленности, одного из старейших членов партии, работавшего вместе с отцом в двадцатых годах в должности ответственного секретаря ЦК Компартии Узбекистана.

Мне кажется, что он носил пенсне. Это единственное, что я помню. Помню несколько лучше его дочь. Ее я видел на правительственной даче в Сочи. С ней мой отец играл в теннис. Помню еще, как отец убеждал ее или кого-то из ее знакомых, что советские динамовские ракетки лучше парижских.

В. И. Иванов на процессе подробно рассказывает, что он, так же как И. А. Зеленский, агент царской охранки...

Когда заканчивается утреннее заседание, в стенограмме не указано. Объявляется перерыв до шести часов.

Подробности, детали, частности, которые могли сохраниться в памяти немногих оставшихся в живых очевидцев, к сожалению, уходят и уходят.

Некоторое весьма продолжительное время рядом со мной жил один знаменитый журналист, писавший отвратительные отчеты о процессе. Он долго лечился после душевного заболевания. Мне очень хотелось подойти к нему и спросить... Но вдруг эти воспоминания повлияют на больную психику? Я посоветовался с его лечащим врачом и с одним из его знакомых.

— Ни в коем случае,— сказали мне.— Он очень еще слаб. Он ведь много пережил во времена культа личности. Его жена была любовницей Лаврентия, и он боялся, что в один прекрасный день Берия...

Это и было в основе мучившей его мании преследования.

Жена журналиста, высокая длинноногая женщина, уже бабушка. Я видел ее с мужем, иногда с внуком. Чаще с собакой. И муж, и жена редко разговаривали с посторонними. Ходили на пруд, с мостика кормили рыбок. Что ж, и они жертвы культа личности.

Так вот и не решился я подойти и спросить. Он действительно мог расстроиться, если вспомнит, что писал.

Я не берусь судить его. Только пусть расскажет, как это все было, что он думал и что думает теперь. Пусть не содействует сокрытию. (Так я писал четверть века назад. Нет, не написал тот журналист о своих заблуждениях или своем падении. Не тому учили. А сегодня свидетелей мало, совсем мало. Но они есть.)

ДАСТАРХАН

Моя жена Оля любит рассказывать, как мы с дочкой оказались в Ташкенте на праздничной демонстрации.

Я об этом не рассказываю, не получается. Мешает «боковое зрение», сбиваюсь на объекты второго и третьего плана.

Оля рассказывает так:

«Седьмого ноября было очень тепло, просто жарко, больше двадцати градусов, и мы с утра очень радовались, что урвали кусок лета, когда в Москве холод, снег, вьюга. С утра под нашими окнами студенты Театрального института танцевали андижанскую польку — ребята собирались на демонстрацию.

Под эту польку мы завтракали, под нее же вышли из гостиницы, решили просто гулять, смотреть город — настроение было очень хорошее, как у богатых туристов. К тому же нашей игре в богатых туристов очень помогали «фирменные» длинные плащи, подаренные Камилом. На улицах продавали много всякой еды: горячая самса, плов, сладости и фрукты.

Мы пошли смотреть остатки старой крепости, могучие стены с воротами. И пока мы эту стену изучали, мы как-то очень высоко забрались, выше всех, и стала нам видна улица, по которой шли танки, бронетранспортеры, везли ракеты. Они уже миновали Аллею Парадов.

Мы стали смотреть. С земли пробиться, чтобы увидеть что-нибудь, невозможно. Началась демонстрация трудящихся, они шли районами. Один район прошел, другой... впереди несли огромный портрет того, чьим именем район назван. Я сразу подумала, ведь и Акмаль-Икрамовский район пойдет, значит, и они будут с портретом. Но вслух это не сказала почему-то. Просто говорю:

— Давайте еще постоим.

Жду и волнуюсь все сильней и сильней. А потом стоять стало невозможно, я сказала:

— Скоро Акмаль-Икрамовский район пойдет...

И мы с Аней сбежали по откосу, папочка за нами. Начали пробираться сквозь толпу зрителей, выбрались на улицу и пошли навстречу колоннам. Идем, тянем друг друга, торопимся, налетаем на кого-то, под транспаранты подныриваем, спешим так, будто нас ждет кто-то. На нас оглядываются, но не ругают: Ташкент же, не Москва. Я думаю: вот сейчас, вот сейчас, а что пла́чу — не замечаю. Заметила, когда увидела портрет Акмаля. Он молодой, в косоворотке, узколицый такой парнишка. И веселый, молодой же очень.

Портрет поднят высоко, а небо голубое-голубое. Мы навстречу портрету шли, головы задрали, ничего не видим, на людей натыкаемся, а нас все пропускают. И шепот: «Иностранцы, иностранцы». Это, конечно, из-за плащей наших, а может, из-за того, что премся против движения, не как все люди. Только вот, отчего плачем так, непонятно. С чего иностранцам плакать на демонстрации в Ташкенте...»

ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ

С утра Икрамов выступал на первомайском митинге в Маргелане. Он часто бывал там, любил этот очень узбекский и очень пролетарский город с устоявшимся бытом, с кварталами, где кустари жили, хотя и крайне бедно, но достойно, уважая себя, свой труд и свою судьбу. Тут хорошо мечталось. Мечталось, что вместо зловонных холодных мастерских с ручными станками будут фабрики с большими светлыми окнами. Не будет хозяев и скупщиков-перекупщиков, не будет нужды ткачам работать по четырнадцать часов в день, не будут трудиться в мастерских дети. Скоро это будет, очень скоро, максимум через пять — семь лет. Вот только бы с басмачами покончить, со спекуляцией!

Он стоял на трибуне, солнце светило в лицо, он жмурился и смеялся. Каждый квартал вышел со своими песнями и лозунгами. Особенно гордо и смешно выглядела колонна красильщиков. Крашение шелка было монополией бухарских евреев, живших в Маргелане с незапамятных времен. Впервые вышли на демонстрацию эти недавно еще такие забитые, втройне бесправные люди. На красном кумаче их знамени по-русски был написан известный всем лозунг с добавлением смешным и трогательным:

«Освобождение рабочих есть дело самих рабочих и красильщиков!»

И красильщиков, оказывается, тоже.

Очень уж хотелось несчастным и бесправным красильщикам, чтобы не забыли о них в такой день. А песни? Не было на той демонстрации ни одной новой песни, но ни одну старую не пели на старые слова. Мелодии, видно, более живучи. Слова заменить легче. А ведь слова — это самое главное для просвещения народа.

Икрамов утвердился в своем мнении вечером, когда в бывшем военном собрании смотрел оперетту «Кошмар буржуя». Тексты сочинили сами участники. Оформление спектакля сделал барон Фредерикс, художник-любитель и родственник министра двора, попавший в Азию и сердечно благодарный большевикам за то, что они его не расстреляли.

Задник представлял собой нечто, вдохновленное знаменитой картиной Брюллова «Последний день Помпеи», а падающая колонна из картона и папье-маше вот-вот грозила обрушиться на массивный круглый стол с резными ножками, за которым восседали и жаловались на судьбу всевозможные буржуи, изображаемые комсомольцами.

Началось представление буржуйским хором на мотив рекрутской песни «Последний нонешний денечек». Злоба дня была выражена довольно точно, представителей эксплуататорских классов ежедневно сгоняли на заготовку топлива и пели они про это:

Пришел последний мой денечек,
Реви белугой — караул!
А завтра рано чуть светочек
Рубить отправят саксаул.

Лихо под лезгинку отплясывал какой-то щуплый молодой человек с нарисованными углем усиками, в черкеске с газырями. Изображал он грузина-меньшевика. Руки у него взлетали то вправо, то влево, ичиги скользили по грязному полу сцены.

Меньшевик тифлисский
Агент я английский,
Получаю взятки
Прямо без оглядки,
Надуваю ловко,
Ждет меня веревка...

Ох, уж эта веревка! Не далее как вчера Икрамов решил помочь новой советской школе, размещенной в реквизированном у купца Боголепова роскошном доме. Хозяев выселили в дворницкую рядом с конюшней, дворнику дали комнату в поповском доме, а в саду комсомольцы стали делать качели и гигантские шаги.

Когда вкопали столбы, положили перекладину и стали крепить ее скобами, из дворницкой на коленях выползла жена Боголепова и ползком же двинулась к качелям.

Она решила, что такую длинную виселицу строят для всей их семьи, и просила пощадить не детей, а мужа.

Качели остались недостроенными. Она рыдала, билась головой об землю, рвала на себе волосы. Пришлось уйти.

А молодой человек с нарисованными углем грузинскими усиками все еще плясал и пел.

Мы совсем пропали,
Бедные эсдеки,
Слава наша в массах
Сгинула навеки.

По ходу представления после саморазоблачительных песен на сцену должен был выйти рабочий, и буржуи со страха ныряли под стол, на который падала колонна.

Конца представления Икрамов не увидел. Его вызвали на улицу, где верховой нарочный со вторым конем в поводу ждал его.

— Мятеж в крепостной отдельной роте, — доложил он.

Смеркалось, когда они подъехали к воротам.

— Стой! Кто идет? — крикнул часовой.

— Свои! — ответил нарочный.

— Пароль!

— Да говорят тебе — свои. Это я — Артамонов, со мной из обкома товарищ.

— Пароль.

...Взбунтовались красноармейцы крепостной роты из-за того, что их товарища застрелил пьяный красноармеец саперного дивизиона. Сорок человек положили свои партийные билеты, потому что начальство не хотело выдать им убийцу на суд. Еще была ночная беседа отца с курбаши Исламбеком, человеком такой жестокости, которую просто невозможно предположить в благообразном, религиозном и образованном человеке. Исламбек мстил. Мстил за отнятые земли и табуны, ему мало было золота, драгоценных камней и мехов, которые он уже успел переправить в Кашгар.

Но это длинный рассказ, и, хотя он основан на подлинных фактах, я не хочу включать его в книгу, даже изменив имена. Недостаточно мне ясны мотивы событий, которые привели к столь кровавым последствиям.

Во многих цивилизованных странах литературу не делят, как у нас, на художественную и документальную. Там иначе: фикшен и нонфикшен, выдуманное и невыдуманное.

А что, если предположить, дорогой читатель, что все здесь изложенное только выдумка, фикция, фантазия, что стенограмма, запись с магнитофона, воспоминания современников отца — все это стилизация, мистификация? История литературы знает множество таких случаев.

Всем, кому так удобнее и понятнее, или так хочется, советую отнестись к этой книге, как к чистой выдумке.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ

Икрамов прощался с Лениным в Колонном зале Дома союзов трижды. Сначала в составе делегации национальных республик. Потом — вместе со студентами-свердловцами. В третий раз он пошел к Дому союзов вместе с Женей. Она тоже уже побывала здесь со своим Институтом Красной Профессуры, но пошла снова с Замоскворецким райкомом партии, где прежде работала.

Икрамов всего полгода назад сражался со Сталиным на совещании по национальному вопросу, он сражался с генсеком, с теоретиком, с учителем своим. Возле гроба Ленина Сталин стоял среди других и ничем не выделялся.

И все-таки выделялся.

Чем? Икрамов это понять не мог. Есть в жизни ситуации, когда стыдно что-то продумывать до конца. Стыдно перед самим собой. Икрамова это остановило. А Сталина?

Они шли с Женей домой, на Пятницкую.

Через Красную площадь, где очень холодный ветер слабо шевелил снежок на брусчатке.

Через Чугунный мост над замерзшей водой.

О чем они говорили?

Наверное, о нэпе, о мелкобуржуазной стихии, которая захлестывает... Это говорила мать. А отец возражал, хотя ей возражать было трудно, потому что она экономист-аграрник. Наверное, они называли ходкие в те поры имена, которые и мы теперь стали называть.

Можно было бы написать, как из трактира на Балчуге шумно вывалилась компания сытых мужчин в расстегнутых шубах и бобровых шапках, как они оглядели двух скромно одетых молодых людей и как все поняли друг о друге.

Можно еще написать, как встретил свою дочь и будущего моего отца мой дедушка, как они пили чай с домашним печеньем и слушали детекторный приемник.

И дедушка мой говорил зятю: «Имейте в виду, Акмаль, что за большевиков я голосовал только до Октября». Дед любил это повторять.

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

Итак, всю последнюю часть вечернего заседания второго и все утреннее заседание третьего марта ни Вышинский, ни Ульрих не обращались к Крестинскому. Ни разу.

Да и к чему? Зачем его тревожить? Он полностью изобличен показаниями однодельцев. Все, все его изобличали. Достаточно, не правда ли?

Вечернее заседание 3 марта 1938 года

Комендант суда. Суд идет, прошу встать.

Председательствующий. Садитесь. Заседание суда продолжается.

Приступаем к допросу подсудимого Крестинского.

Вышинский. Позвольте мне до допроса Крестинского задать несколько вопросов обвиняемому Раковскому.

Председательствующий. Пожалуйста.

Среди причин, объясняющих бесчисленные самооговоры на этих процессах, называют две основных.

Первая — партийная сознательность.

«Так надо для партии», — будто бы говорили палачи, и жертвы соглашались взять на себя любую вину.

«Мы живем в капиталистическом окружении, в обстановке обострения классовой борьбы», — говорили им, и они становились живым примером в пользу бдительности. Даже самооговоры ради нее. В связи с этим высказывается теперь мысль о вреде идейной убежденности.

Вторую причину видят в том, что все без исключения участники процессов были людьми, которые лишились моральных устоев задолго до 1937 года, были сломлены задолго до процессов, «повязаны».

Первая версия предполагает среди участников процесса слепую и даже оголтелую идейность, какой никак нельзя ожидать от политиков типа Бухарина, Рыкова, Крестинского или от таких функционеров, как Ягода. Вторая точка зрения более обоснована. Однако предварительная моральная сломленность арестованных была явно неодинаковой, а оговаривали себя в те годы люди именно так, как того хотели палачи. Конечно, груз преступлений, совершенных во имя идеи, мог разрушить психику, но, во-первых, не у всех одинаковые преступления, одинаковая психика, одинаковые моральные нормы и устои. Во-вторых, перед лицом смерти многие люди вспоминают свои падения и терзаются морально, но это не заставляет их оговаривать себя, тщательно изобретать невероятные преступления вместо действительных.

Так что вторая точка зрения в чистом виде, несмотря на всю ее «психологичность», тоже не выдерживает критики, и ее сторонники обычно добавляют: «Ну, конечно, и пытки. Естественно, что они выработали для себя эту систему взглядов не вполне добровольно...»

Уверен, если речь идет о пытках, то «систему взглядов» жертвы вырабатывает палач... Он может избрать ту «систему взглядов», что более приемлема для сопротивляющегося, но подвластного ему сознания узника. Я согласен, что кто-то из участников процесса (кто-то, а не все, как это пытаются для простоты объяснить) действительно шел на самооговор, считая себя преступником вообще, но я согласен только со ссылкой на то, что физические пытки и лишение сна полностью разрушают сопротивляемость внушению. Это — главное. Правда, у многих участников этого процесса, и у моего отца в частности, в минуты просветления могли мелькать и видения, лишающие их возможности сопротивляться. Например, трупы в лунной казахской пустыне...

В наследие от прежних лет нам досталось удивительно легкомысленное отношение к справедливости. Один поэт говорил мне, что справедливость восторжествовала, когда Берия уничтожал следовательские кадры Ежова. Их (следователей) так же били, пытали, заставляли признаться в том, что они японские или аргентинские шпионы. Это, по словам поэта, было возмездие. С такой трактовкой можно согласиться, если установить, что возмездие — это наказание не вовремя и не за то.

Подобное «возмездие» — залог новых преступлений, новых злодеяний. Справедливость — вещь точная. Она вся именно в точности, в тонкости.

Показательно, что большинство людей, задумывающихся о прошлом нашей страны, о времени, которое еще недавно называлось периодом культа личности, мало думает о философских, этических, психологических аспектах проблемы вины.

Современный философ Карл Ясперс посвятил одну из своих основных работ этой проблеме. Но что нам до того! Это их проблемы. И мы гневно клеймим западногерманского философа, который «пытается увести нас в такие сферы, где как бы стираются грани между палачами и их жертвами и в конце концов все оказываются и палачами, и жертвами. В его трудах мы находим сплав правды и неправды, трагедии и фарса, сочувствия к жертвам и глумления над ними». Нам ли интересоваться всем этим! По Ясперсу, следует различать четыре разновидности вины: уголовную, политическую, моральную и метафизическую. Первая состоит в конкретных действиях, нарушающих сформулированные в уголовных кодексах демократических стран законы; вторая заключается в поступках, за которые определенное лицо несет ответственность как гражданин государства, совершивший те или иные преступления; третья возникает в силу того, что каждый человек как индивидуум несет ответственность за свое поведение перед собственной совестью; четвертая проистекает из ответственности не только за собственные поступки, но и за поступки других.

Мы утверждаем, что не нуждаемся в таких тонкостях. К чему они? Ликвидировали кулаков как класс. Уничтожили старых коммунистов как класс.

Есть точка зрения, что тридцать седьмой — возмездие за коллективизацию. Опять — без подробностей, хотя с подробностями получается совсем не то, что на первый взгляд. Даже наоборот, Сталин прежде всего убивал тех, кто мог припомнить ему преступления коллективизации, голод, трупы, карательные меры, кто уже в то время показал себя силой, могущей в следующий раз оказать сопротивление. Сталин не дал следующего раза. Нет, я не адвокат своему отцу и всем, кто погиб вместе с ним, но какие бы люди ни попадали тогда в одну камеру, принцип поначалу состоял в отборе лучших, наиболее способных оставаться людьми. Таков был принцип. В этом надо отдавать себе отчет, а не замахиваться на всех, не путать палачей и жертвы. Все, мол, одним миром мазаны, все виноваты. Очень уж это простой и легкий способ утверждать справедливость.

Огульное осуждение ведет к огульному всепрощению. Все одним ми-

ром мазаны! И Вышинский, и Крестинский. Ходят к нам в гости бывшие палачи, женятся на дочках из хороших семей, рассуждают о кинопремьерах и едят раков. Все одним миром мазаны.

Нет, не мой отец виновен в смерти тех тысяч казахов, которые хлынули в узбекские города, но вину свою перед теми скелетами на улицах Ташкента он ощущал всю жизнь, да и я до сих пор чувствую свою вину перед ними. Я-то сидел в «бьюике» и хлеба ел дома вволю.

(Правда, хлеб был серый, плохой и его очень берегли. Моим старшим братьям, Ургуту и Амину, хлеба не хватало. А недавно узнал, что в том году наша семья получала для меня по предписанию врача поллитра молока, обед брали из столовки, а голод утоляли дынями. Их в Ташкенте было много.)

Если у отца были минуты отдыха от пыток, от гипноза или медикаментов, то это были минуты тяжких сожалений. Однако сознательно способствовать системе, убивающей тысячи и теперь с предвиденной им последовательностью убивающей его самого, мой отец не мог никогда. Это я о нем знаю. Знаю я и то, что мрачные общественные предвидения мучили отца еще тогда, когда небо над головами многих жертв тридцать седьмого года было совершенно безоблачно.

Все это я знаю теперь совершенно точно. Но никогда мне не узнать, что думал мой отец в те трагические дни — второго и третьего марта во время допроса Н. Н. Крестинского. Повторяю лишь, что очевидец помнит моего отца отрешенным, каким-то больным и безучастным, сидящим вдали от зрителей, за спинами других.

Мне почти не снятся сны. Или я их не помню. А тогда, в 1937 году, — снились, какие-то я помню до сих пор.

Я спал в столовой на походной офицерской кровати времен первой мировой войны. Это было сложное многосуставное сооружение, складывающееся гармошкой, и в собранном виде похожее на концертный аккордеон. Сразу же после отъезда отца, — как мне кажется, в ту же ночь (я даже уверен, что в ту ночь), со мной была истерика. Эта истерика была во сне. Меня отпаивали водой, и я засыпал, но через несколько минут опять начиналась истерика. Вряд ли нужен психоанализ, чтобы понять, что происходило с десятилетним мальчиком. Хотя все, что было сказано мне отцом в гостинице «Метрополь» перед отъездом, все это дошло до моего сознания не в сентябре и не в октябре, и, пожалуй, не в марте, во время процесса. Тогда же или позже, в конце тридцать восьмого или даже в тридцать девятом, а, может быть, и в сороковом мне приснился тюремный вагон за решетками. Из вагона то выглядывала, то пряталась какая-то женщина, худая, не похожая на мою мать, и вместе с тем мне казалось, что это моя мать. Она выбросила сквозь решетку грязный треугольник письма, на котором был обратный адрес — город Кызыл. Нелепо, что я до сих пор толком не знаю, где он, Кызыл. Я долго гадал, где, в каких лагерях или тюрьмах была моя мать после Ташкента. Мне выдали свидетельство о ее смерти. Там была дата — 1941 год; как обычно, нет ни места смерти, ни причины смерти. Прочерки. Но вот письмо ее однокамерницы. Она видела мою мать в феврале 1938-го. И среди всех, видевших мать в тюрьме, никто не называет год 39-й или 40-й. Значит... Январь — февраль 38-го был особо кровавым в Ташкенте. Тогда там был приговорен к расстрелу великий советский лингвист Е. Д. Поливанов.

«Не может быть, чтобы таких людей расстреляли! Нет, это только для виду так говорят, а на самом деле их используют на какой-то секретной и ответственной работе. Может быть, их даже посылают за границу в качестве советских шпионов». Так говорили многие, и многие так думали. Потом я узнал, что в нашей литературе есть источник таких предположений: весьма посредственная повесть Тарасова-Родионова «Шоколад».

Так или иначе, я в это верил. Мне казалось очень возможным, что отец трудится сейчас где-то над освобождением от гнета капитала индийского мальчика Сами, о котором мы все знали. Только почему нет от него никакой весточки? Боже мой, разве только в голове ребенка происходила тогда эта фантасмагория.

Кстати, у Тарасова-Родионова сочиняет версию о своей якобы чрезвычайно секретной загадочной поездке приговоренный к расстрелу чекист. Он не совершил преступления, достойного расстрела, он должен быть расстрелян для пользы дела, в назидание и во искупление. А жене своей он говорит, что послан на секретную заграничную работу и чтоб писем от него она не ждала.

Он говорит: «То, что я рассказал о своем отъезде, есть величайшая тайна. Никто, кроме трех членов Цека и тебя, не будет знать об этом. Для всех остальных будет широко опубликовано всем в назидание, что за доверие белогвардейцам Зудин расстрелян...

Но все это будет неправда».

Странное представление о справедливости и любви. Искаженное и безжалостное. И отнюдь не героическое, а просто обывательское. О шпионе Пеньковском говорили почти то же самое.

Порою кажется, что стоит только не путаться в употреблении личных местоимений, делящих человечество на Я, МЫ и ТЫ, ОН, ВЫ, ОНИ, — и тогда все будет в порядке.

Нормальный человек, то есть человек в психологической норме, капитан Тушин или Платон Каратаев, вовсе не стал бы под смертной пыткой отрицать, что он вместе с Бухариным и Крестинским хотел свергнуть Советскую власть. Но он не стал бы, как чекист Зудин, морочить голову своим родным, что-де он важное государственное дело делает и пользу творит.

Это не предположение. Есть тысячи, сотни тысяч, миллионы людей, прошедших сквозь ужасы допросов, однако — пусть даже с какой-то «остаточной деформацией» — сохранивших трезвое сознание и способность отличать добро от зла.

Нормальный человек, не испорченный массированными воздействиями на сознание, не может сказать: «Мы перегнули палку в вопросе коллективизации». Даже примитивный скажет, как тот шофер такси: «Они говорят: разгружайтесь, куда хотите. А у нас мешки с мукой. Говорят: если не будете разгружаться, будем стрелять, в этом лесу ваши уже живут... Ну, мы мешки покидали... Покидали, значит, мешки в воду...»

Он не скажет: «Мы накопили такое количество расщепляющихся материалов, которое может уничтожить не только врага, но и...» Он скажет: «Они и атом кинуть могут...»

Для нормального человека деление на «мы» и «они» естественно. Он этого никогда не путал.

Рассказывают, что году в тридцать шестом в очереди за гонораром один старый русский интеллигент, писатель, человек мудрый и саркастический, сказал другому: «Кажется, скоро они начнут нас сажать». — «Кто это «они» и кого это «нас»?» — вмешался третий, интеллигент-партиец. «Прости, — возразил первый. — Я ошибся. Это мы будем сажать нас».

Все они погибли.

Меня удивила фраза в немецком рассказе о начале войны в 1939 году. Один солдат говорит другому: «Началась война, война, война — они своего добились».

Два немецких солдата говорили о гитлеровской верхушке «они». Солдатики не путались в употреблении личных местоимений и все-таки воевали шесть лет, по «их» воле. Правда, один из двух стал Генрихом Бёллем.

Конечно, не только в личных местоимениях дело, и я не хотел бы вверять свою судьбу тому простому крестьянскому сыну, который, сбежав из тайги, где дети ели кору, работал на воронке и с Лубянки возил «их» в Лефортово, в Бутырку и Сухановку. Кого — «их», он не задумывался, ибо жизнь его пошла на лад. Только мать беспокойная: «Я женился, дети у меня, а она все братьев не может простить и жену. Вот, говорит, жену и братьев там бросил. И все нудит и нудит...»

А процесс шел своим чередом. В особой ложе за шторами сидели люди, желавшие быть неузнанными. Не только Серебрякова говорила это, но будто бы писатель Лев Никулин сам увидел там Сталина... Не очень верю Льву Никулину. Может быть, он поддался версии западных журна-

листов. Это они утверждали, что обнаружили не только дым трубочного табака, но и человека, курившего трубку.

Впрочем, что эти журналисты? Им сенсацию подавай.

В тот день сенсацию ждали. Заведующий отделом печати НКИД Е. А. Гнедин передал им: сегодня Крестинский будет давать показания. Так и сказал!

А процесс идет. Раковский, Христиан Георгиевич Раковский, старый революционер, еще в девяностых годах прошлого столетия бывший активным социал-демократом, вступивший в РСДРП(б) в тысяча девятьсот семнадцатом, изобличает Николая Николаевича Крестинского в двурушничестве и в связях с троцкистами.

Вышинский. Следовательно, как вы расцениваете сделанное здесь вчера заявление подсудимого Крестинского, что он не был троцкистом по крайней мере с ноября 1927 года?

Раковский. Как не соответствующее действительности.

Вышинский. Вам известно, что обвиняемый Крестинский и позже был троцкистом?

Раковский. Известно.

Вышинский. Вы можете привести какие-нибудь факты?

Раковский. Могу. Я обращусь, если позволит суд, к самому Крестинскому.

(Почему-то ему захотелось обратиться к Крестинскому и назвать его по имени-отчеству. — **К. И.**)

Председательствующий. Пожалуйста.

Раковский (Крестинскому). Николай Николаевич, когда я был в ссылке, ты мне писал?

Крестинский. Да, через дочь, которая ехала в Саратов, я писал.

После моего отклика на реабилитацию участников «правотроцкистского блока» в «Литгазете» в январе 1988 года мне позвонил незнакомый человек.

— Мне нужен Камил Акмалевич Икрамов.

— Слушаю вас.

— С вами говорит Христиан Раковский... Алло! Алло!

— Внук? — наконец спросил я.

— Так точно! Я уж думал, нас разъединили. Надо бы встретиться. Я вообще-то полковник, но буду в штатском. Давайте у Белорусского вокзала, меня легко узнать — два метра рост.

Потом мы сидели у одного из бывших наставников Христиана Валериановича Раковского. Кабинет был увешан фотографиями С. П. Королева, Ю. Гагарина и Г. Титова, все с нежными автографами. А Христиан рассказывал. У Х. Г. Раковского был единственный ребенок — сын Валериан, живший в 1937 году в Харькове. Дочь у Раковского была приемная, до катастрофы ее мужем был известный в стране поэт, который вскоре с ней развелся.

Валериан в 1937 году приехал в Москву по делам, позвонил на работу отцу в Наркомздрав и договорился, что зайдет домой часам к шести.

Семья обедала, когда пришли арестовывать Христиана Георгиевича. Он не удивился, был спокоен и на смеси болгарского с французским сказал сыну то, чего не должны были понять посторонние: «Немедленно возвращайся в Харьков, надо спасать Христо».

Христиану было три года. Мать кинулась на вокзал к проходящему поезду, который шел в Кисловодск. Она вспомнила, что там лечился кто-то из знакомых, и со слезами умолила пассажиров довезти ребенка и передать его такому-то.

Согласились люди. Трехлетнего Раковского передавали из рук в руки, пока он не попал к деду по матери, который строил Мончегорск. Фамилия деда была Новиков — Новиковым до 1956 года был и Христиан, звали его тогда Сашей.

Христиан Георгиевич все предвидел точно: Валериан был арестован, погиб после пыток в тюрьме.

А внук стал летчиком, потом военным инженером. Разные люди помогали преодолевать барьеры, которые вставали перед внуком Христиана и сыном Валериана Раковского. Среди этих людей — маршал Рокоссовский, генерал и трижды Герой Советского Союза Кожедуб. И вот он передо мной — полковник, ученый, отец двух дочерей, сам дедушка.

И думаю я о том, как невыполнимо было желание царя Ирода, — любое тотальное истребление, кроме, конечно, ядерного. И еще о том думаю, какие прекрасные дети и внуки получились у огромного большинства погибших.

Вот пришел ко мне директор Астрономического института Академии наук Узбекистана профессор Таймаз Юлдашбаев, просил присоединиться к усилиям узбекских ученых, которые добиваются создания в Ташкенте мемориала погибшим от сталинских репрессий. Он сын погибшего в 1937-м. Установка была уничтожать не только «врагов народа», но и жен и детей. Только их не стреляли «без права переписки», а отправляли в лагеря, где шанс выжить не сильно отличался от шансов выжить, например, в Дахау. И все-таки многие остались в живых. Девочкам везло больше, остались дочери В. И. Иванова и И. А. Зеленского. Обе женщины многие годы безуспешно пытаются в архиве кинофотодокументов найти материалы процесса. Не верят они, что там их отцы были, а не двойники.

Часто перезваниваюсь с сыновьями В. Я. Чубаря. Им повезло... По малолетству они избежали лагеря, а ссылка была не слишком тяжелой. Недавно познакомился с сыновьями Осипа Пятницкого, разыскал меня сын друга моего отца, знаменитого туркменского коммуниста Атабаева, — Кемине Атабаев, близкие зовут его Кимом; руководит крупной геологической организацией. Можно привести еще многие сотни примеров — доктора наук, член-корры, директора институтов. Да хоть и Святослав Николаевич Федоров, сын репрессированного комдива... Достойные получились люди. Хочется видеть здесь закономерность. Ведь дети жертв вышли в люди не благодаря протекции, связям, авторитету, имени. А всегда — вопреки!

А дети палачей?..

Вышинский. Позвольте спросить подсудимого Крестинского: в каком году это было?

Крестинский. Это было в 1928 году.

Раковский. Это было в 1929 году, в августе или июле месяце. В 1928 году я был в Астрахани.

Вышинский. Обвиняемый Крестинский, а вы куда писали письмо?

Раковский. Он писал в Саратов.

Крестинский. Точно год я не помню. Но я просил тогда Кагановича перевести Христиана Георгиевича из Астрахани в Саратов, ссылаясь на наши с ним дружеские отношения. Это было удовлетворено. И вот, когда он переехал в Саратов, к нему поехала его дочь, я через нее написал ему письмо. Разрешите мне...

Вышинский. Виноват. У нас все делается по порядку...

(Откуда Вышинский знает, что хочет сказать подсудимый?.. — **К. И.**)

Крестинский. Может быть, я сократил бы вам работу.

Вышинский. Я не нуждаюсь в сокращении, тем более что ваши вчерашние заявления не свидетельствуют, чтобы вы хотели сокращать процесс.

Крестинский. Но, может быть, я...

Председательствующий. Дойдет еще до вас очередь, обвиняемый Крестинский.

«Как они его сломали! — скажет внимательный читатель стенограммы. — Как его сломали!»

Возможно, и сломали.

Может быть, загипнотизировали.

Когда говорят о возможности гипнотического внушения как средстве столь гладкого проведения процессов, всегда есть оттенок невероятности, так сказать, крайнего предположения.

«Да нет, — возражают сами себе. — Это как-то уж слишком... Да и выглядели они весьма бодро. Вот и Фейхтвангер...»

Современная наука знает замечательные примеры внушения под гипнозом. Некоему гражданину, не умеющему рисовать, внушили, что он Рафаэль. Подопытный стал вести себя соответственно внушению и своему представлению о том, как должен вести себя великий художник. Даже пытался рисовать. Известны случаи, когда подопытный, находящийся в состоянии гипноза, спорит с гипнологом, возражает ему и вообще ведет себя активно. И вид у такого подопытного не сонный. Профессор Протопопов, например, считает, что гипноз не сон, а высшее состояние бодрствования. Вот так!

Это ли не еще одно свидетельство всемогущества современной науки и техники и бессилия человека?

Однако я вовсе не хочу утверждать и сам не думаю, будто все подсудимые на процессах тех и последующих лет были обязательно загипнотизированы. Но что мешало палачам применить гипноз? Слухи о связях гипнотизеров с «органами» не зря, видимо, так упрямо ходили тогда среди обывателей, не зря, видимо, проблемы гипноза были запретны для широкой печати.

Да, возможно, что и гипноз.

Но дело в том, что Е. А. Гнедин, шеф информации НКИД, который предупредил иностранных корреспондентов, что Крестинский будет давать показания, человек, хорошо знавший Николая Николаевича по совместной работе в Наркоминделе (оба занимались Германией), в лагере на Северном Урале говорил мне: «Вы знаете, они, вероятно, сделали с ним что-то ужасное, потому что на второй день я просто не узнал Николая Николаевича. У него даже голос был какой-то другой».

Ни он, ни я тогда не поняли того, что он сказал, иначе, чем он сказал; Крестинский, мол, так изменился за эти сутки, что его даже нельзя было узнать, что у него даже голос был другой.

А вот еще одно свидетельство. Это рассказывала старая женщина, бывшая врачом Лефортовской тюремной больницы. Ее рассказ передала мне Е. Я. Драбкина, когда нашла меня как сына своих друзей Жени и Акмаля. Елизавета Яковлевна в ту пору начинала серию своих воспоминаний о первых годах Советской власти.

Врач Лефортовской тюрьмы говорила ей, что в ночь со второго на третье марта тысяча девятьсот тридцать восьмого года, то есть после первого дня заседаний, Н. Н. Крестинский был доставлен к ней в таком состоянии, что не мог бы говорить ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Это был мешок костей[1].

Если сопоставить высказывание человека, который хорошо знал Николая Николаевича до ареста, и показания бывшего тюремного врача, следует предположить, что, в о з м о ж н о, на второй день в Октябрьском зале Дома союзов был н е Крестинский. И, может быть, фраза Х. Г. Раковского: «Я обращусь, если позволит суд, к самому Крестинскому». И дальше: «Николай Николаевич, когда я был в ссылке, ты мне писал?» — может быть, это срепетированный ввод дублера?

Я не настаиваю на этой версии. Когда-нибудь, когда откроют архивы, мы найдем полный ответ. Я не хочу ошибаться. Я только указываю возможные варианты.

...Х. Г. Раковский продолжает изобличать Н. Н. Крестинского. И тот поддакивает, говоря: «правильно», «подтверждаю», «это то самое письмо», «это было восьмого апреля», «да, так». Подытоживая показания Раковского, председательствующий спрашивает Николая Николаевича:

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й: Вы подтверждаете то, что говорил Раковский?

К р е с т и н с к и й. Да, подтверждаю.

В ы ш и н с к и й. Если верно то, что говорил Раковский, то будете ли вы продолжать обманывать суд и отрицать правильность данных вами на предварительном следствии показаний?

[1] Сегодня этот факт опубликован, но никто не отметил пока, какое мужество надо было иметь, чтобы раскрыть эту тайну. Тюремный врач — очень плохая должность, но... Ведь был все же доктор Гааз.

К р е с т и н с к и й. Свои показания на предварительном следствии я полностью подтверждаю.

В ы ш и н с к и й. К Раковскому у меня вопросов нет.

У меня вопрос к Крестинскому: что значит в таком случае ваше вчерашнее заявление, которое нельзя иначе рассматривать как троцкистскую провокацию на процессе?

(Ответ Крестинского невероятен. Это поразительная фраза, которую я безуспешно стараюсь выучить наизусть. Прошу прочесть ее внимательно. — **К. И.**)

К р е с т и н с к и й. В ч е р а п о д в л и я н и е м м и н у т н о г о о с т р о г о ч у в с т в а л о ж н о г о с т ы д а, в ы з в а н н о г о о б с т а н о в к о й с к а м ь и п о д с у д и м ы х и т я ж е л ы м в п е ч а т л е н и е м о т о г л а ш е н и я о б в и н и т е л ь н о г о а к т а, у с у г у б л е н н ы м м о и м б о л е з н е н н ы м с о с т о я н и е м, я н е в с о с т о я н и и б ы л с к а з а т ь п р а в д у, н е в с о с т о я н и и б ы л с к а з а т ь, ч т о я в и н о в е н. И в м е с т о т о г о, ч т о б ы с к а з а т ь — д а, я в и н о в е н, я п о ч т и м а ш и н а л ь н о о т в е т и л — н е т, н е в и н о в е н.

(И тут прокурор считает нужным переспросить. — **К. И.**)

В ы ш и н с к и й. Машинально?

К р е с т и н с к и й. Я не в силах был перед лицом мирового общественного мнения сказать правду, что я вел все время троцкистскую борьбу. Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенные мною измену и предательство.

В ы ш и н с к и й. У меня больше вопросов к подсудимому Крестинскому пока нет.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й. Садитесь, обвиняемый Крестинский. Переходим к допросу подсудимого Рыкова.

Подсудимый Рыков, ваши показания, данные на предварительном следствии, вы подтверждаете?

Р ы к о в. Да, подтверждаю.

Все это происходило перед глазами отца. Все было сделано для него, для всех, кто был рядом с ним. Чтобы не было соблазна.

Шараф Рашидов дважды или трижды в разговоре со мной упорно без моих вопросов говорил мне, что процесса вообще не было.

— Как не было?

— Не было. Поверь, Камильджан. Не было. И отца там твоего не было. Ты мне поверь, я все документы видел.

Мне часто говорят: ты пишешь об отце, но ты понимаешь, что ты обязан быть объективным?

Я стараюсь.

Почти тридцать лет назад я приехал в Самарканд, город, где я научился ходить и говорить, и встретился там со старыми большевиками, работавшими с моим отцом. Мирзаходжа Урунходжаев знал отца с восемнадцатого года, часто ругался с ним, но любил его всю жизнь. Раджаб Абдугафаров был секретарем райкома в начале тридцатых годов.

Не знаю, как теперь, а тогда секретарям райкомов посылали стенограммы пленумов ЦК и совещаний. Бывший секретарь райкома рассказал мне историю, которую я знал и уже упоминал в этой книге, — еще один случай, подтверждающий мою уверенность, что воспоминатели часто заслуживают такого же доверия, как и документы. А иногда и большего.

— И вот я получил стенограмму. Обсуждался вопрос о снабжении Узбекистана. Икрамов говорит, что Узбекистан — хлопкосеющая республика, поставляет сырье для промышленности и поэтому снабжаться должна как промышленные районы. А если не будет снабжаться как промышленные районы, то пусть разрешат нам сеять хлеб. Справедливо говорил, мне понравилось. А Сталин его все время перебивает, прямо не дает ему гово-

рить. А Икрамов свое продолжает. А Сталин его опять перебивает: «Почему машинизация срывается? Почему не использовали всех машин?» Тогда Икрамов резко выступил: «Ну, товарищ Сталин, дайте мне высказаться до конца. В конце концов вы дадите мне сказать? Я вам все скажу, ничего не оставлю себе».

На этом Сталин замолчал и больше ни слова не сказал. Я, когда читал стенографический отчет, думал: «Акмаль-ака нехорошо поступил, оборвал Сталина как следует. Нехорошо поступил. Насчет хлеба Сталин объяснил таким образом, что для Средней Азии отправленный хлеб Куйбышевский крайисполком[1] с железной дороги снял и использовал для своего края, а до Средней Азии не дошли эти эшелоны. Вот этим он объяснил все».

— В 1934 году снег выпал в октябре,— продолжал этот секретарь.— Хлопок мы не собрали, недовыполнение у меня, а в Ташкенте был уполномоченный ЦК. И вдруг приходит решение бюро ЦК Узбекистана, что меня заочно исключили из партии и сняли с работы за срыв хлопкоуборочной кампании. А я разве виноват, что такой год?.. Я сажусь в поезд, приезжаю в Ташкент. Вечером это было. Вижу, у перрона стоит ваш вагон, правительственный. Свет горит. Я подхожу к вагону, спрашиваю: кто здесь? Охрана говорит — Икрамов и уполномоченный ЦК. Ну, я свое удостоверение предъявляю, у меня же ничего еще не отобрали. А они меня не пускают, говорят — сейчас выходят уже. Действительно, гляжу, выходят уполномоченный и твой отец. Я сразу к ним, говорю: «Акмаль-ака, что же это получается — не вызвали меня на бюро, исключили, не выслушали даже!» Он мне по-узбекски говорит: «Молчи, молчи...» Я опять говорю. А он: «Помолчи». На улицу выходим. Отец твой меня под руку взял, крепко руку сжал, немножко мы от уполномоченного отстали. Отец твой мне по-узбекски говорит: «Вот погоди, этот ч у л а к (хромой) уедет, тогда разберемся...» Ну, потом разобрались.

Два старых партийца сказали мне:

— Поедем, посмотрим дом, в котором твой отец жил, когда ты родился. Еще с одним человеком встретимся, хороший человек, старый коммунист.

Там, возле сырцового, плохо оштукатуренного и давно не беленного дома, где прошли первые месяцы моей жизни, нас уже ждал невысокий, щупленький и очень симпатичный человек — Рахимбек Шакирбеков. Выяснилось, что, как и два первых моих знакомца, он также сидел в лагерях.

— Тоже семнадцать лет?— спросил я его, называя эту сакраментальную цифру.

— Нет, я сидел двадцать пять лет, с тридцатого года. Я тогда в Наркомпросе работал.

В тридцатом году мой отец был еще в полной власти, в тридцатом году...

— По делу Рамзи и Бату,— сказал новый знакомый,— может быть, слышали?

О деле Рамзи и Бату я знал очень мало. Но, что бы ни было, ни Рамзи, ни Бату не были враги народа.

— Этого я не могу простить отцу. Это мрачная история,— сказал я, стараясь быть объективным.

Мне стало стыдно за отца, я сразу же обвинил его с той легкостью, с какой вопреки общепринятому заблуждению дети часто обвиняют родителей.

Шутка ли, арестовали замечательных людей, первых узбекских партийных интеллигентов, а отец, хотя и пытался (смотри об этом в протоколе допроса) спасти их, но горой все-таки не встал.

— Как мог отец допустить эти аресты?! Мне очень трудно,— сказал я новому знакомому.— Этого простить отцу я не могу.

— Ой, Камиль,— строго сказал Шакирбеков.— Ты мало знаешь, чтобы судить. Это была большая провокация. Может быть, первая большая провокация. Это они его хотели арестовать, а смогли только нас.

[1] Характерная ошибка — назвать тогдашнюю Самару Куйбышевом. Такая ошибка — свидетельство в пользу истинности самого факта.

Я стараюсь быть объективным. Я ничего не скрываю от читателя. Меня интересует все. Я хочу писать только правду. Но как мне быть объективным... Старики спросили меня:

— Когда ты уезжаешь?

Я сказал, что скорее всего завтра улечу.

— Каким рейсом?— спросили они меня.— В Ташкент много рейсов. Мы придем тебя провожать.

Это был разгар лета. Термометр показывал сорок градусов в тени, и я не мог допустить, чтобы эти старики, повинуясь законам гостеприимства, поехали в аэропорт провожать меня.

— Я еще не знаю,— солгал я.— Может быть, утром, а может быть, вечером. Но провожать ни в коем случае не надо.

На следующий день в самый зной, часа в три, я приехал в аэропорт. Под пыльным деревом возле остановки автобуса молчаливо стояли старики.

— Ты не сердись на нас,— сказали они.— Мы не тебя провожаем. Мы провожаем сына твоего отца.

Мне трудно быть объективным, когда я пишу об отце.

16 мая 1967 года на один только день я вновь прилетел в Самарканд. Я летел в Самарканд с сознанием вины. Я не отвечал на поздравительные открытки, которые регулярно получал оттуда. Я летел с сознанием своей вины перед стариками и с эгоистическим страхом, что кто-нибудь из стариков умер, а я так и не записал их рассказы.

Минуя гостиницу, я прямо из аэропорта направился на квартиру Мирзаходжи Урунходжаева. Вопреки обычаю, деловой разговор начался еще до того, как жена его накрыла на стол. Узнав, что у меня на Самарканд только один день и что меня интересуют события 20-х и 30-х годов, старик позвонил Шакирбекову и Абдугафарову. Через час и они сидели за столом.

В первую встречу я записывал некоторые их рассказы по памяти и не был уверен, что могу писать подробно и называть эти имена.

— Пиши, пиши. Люди должны знать правду,— сказали мне старики.

— У нас все давно началось,— сказал Раджаб Абдугафаров.

— Разве только у нас так рано началось?— возразил Рахимбек Шакирбеков.— Это и в Белоруссии, и на Украине, и в Грузии так же рано началось. Просто уничтожали партийную интеллигенцию.

М. Урунходжаев рассказывает:

— В 1933 году я как нарком земледелия Таджикистана ездил в Ферганскую долину, чтобы забрать переселенцев на Вахш. Акмаль и Файзулла мне тогда очень помогали, и я все выполнил — отобрал самых лучших хлопкоробов с семьями. Мы тогда снабдили их и мануфактурой, и продовольствием, и они стали первыми хлопкоробами в долине Вахша, тонковолокнистый хлопок осваивали.

Так вот, в 1933 году на станции Урсатьевской я пересел в вагон, где ехал Усман Юсупов. Мы встретились как старые друзья. Он только что вернулся из Москвы. «Я окончил курсы марксизма,— сказал Усман Юсупов.— Был у ОТЦА». Отцом он называл Сталина.

«Обязательно поезжай в Узбекистан,— сказал Сталин Юсупову.— Если Икрамов назначит тебя сторожем, соглашайся и жди моего сигнала».

Эту историю Урунходжаев рассказывал мне и прежде. Но сейчас я записал его слова под диктовку.

Значит, в 1933 году Сталин держал Усмана Юсупова в качестве засады. Не рано ли — за четыре года предвидеть? Нет, не рано. Я думаю, что и в 1925-м, и в 1927-м, да в любом из тех годов, когда Сталин уже безраздельно хозяйничал в стране, он готовил и имел «запасных». Они существовали наряду с теми, кто уже в то время выполнял самые мрачные и самые страшные поручения. Видимо, такими были Ягода, Вышинский и Бройдо — человек, о котором сейчас мало кто помнит, личность в прошлом очень заметная и вполне растленная. О Бройдо мне известно многое, но не о нем разговор.

Итак, в 1933-м Сталин уже готовился к 1937 году и вполне сознательно подбирал кадры.

Подробный рассказ Мирзаходжи Урунходжаева я записал на пленку и ни словом не могу отступить от этой записи. Только кое-где вставляю предлоги, которые узбеки часто опускают в русской речи. Тут возможны неточности в деталях и даже в начертании имен.

«В 1933 году я работал Таджикистане. Я был членом бюро Центрального Комитета, нарком земледелия Таджикистана.

Каждую ночь после двух часов у нас собирали бюро, обязательно после двух часов, с целью, чтобы, понимаете, Хаджибаев и Нусратулла Максум не участвовали на заседаниях бюро ЦК. Каждый раз председатель ГПУ Солоницын информировал бюро ЦК, что тот или другой из руководящих работников имеет связь с заграницей и арестован. Без всяких разъяснений. И принимается решение — доверяя товарищу Солоницыну, исключить этого члена партии из партии и дело его передать органам ГПУ. Таким образом, в Таджикистане в 1933 году было арестовано 662 руководящих партийных, советских и хозяйственных работника. Хаджибаев и Максум подавали заявления на имя Сталина. Тогда с подписью Кагановича и Молотова поступила телеграмма: немедленно выехать в Москву первому секретарю ЦК Гусейнову, второму секретарю Исмаилову, Хаджибаеву и Максуму. И председателю ГПУ Солоницыну.

В ЦК ВКП(б) состоялось заседание, стенограмму которого я, как член бюро, читал.

Сталин задает вопрос Солоницыну: «Товарищ Солоницын, сколько человек вы арестовали?» Он ответил: «Пока 662. Пока». «А где у вас было вооруженное восстание?» — Сталин задает такой вопрос. «Товарищ Сталин, вооруженного восстания Таджикистане нигде не было», — отвечает Солоницын. Потом Сталин опять спрашивает: «А при наличии вооруженного восстания столько руководящих работников не арестуют же?» Солоницын говорит: «Это наша ошибка».

Принимается особое решение, где констатируется: «ГПУ Таджикистана, злоупотребляя правами ареста, без ведома ЦК ВКП(б) производило массовые аресты руководящих партийных, советских и хозяйственных работников, в скобках — 662 человека». Решение приняли такое: «Поручить тов. Ягоде отозвать тов. Солоницына из Таджикской республики, укрепить ГПУ Таджикистана более сильными работниками. Для разбора дела арестованных создать комиссию под председательством Бройдо. Члены комиссии Рахимбаев и Шатемор. Предложить комиссии в двухмесячный срок разобрать дела арестованных».

После заседания ЦК Сталин лично дает указание Бройдо, чтобы никто из руководящих республиканских работников, которые арестованы, не был освобожден.

(Выясняя подробности, я узнал, что о словах Сталина Урунходжаеву рассказал сам Бройдо. — **К. И.**)

Таким, как Ходжияров, и другим наркомам комиссия дала по десять лет, а относительно тех республиканских работников, на которых были подготовлены дела и санкции на арест, было решение — дела прекратить. Районных работников — директоров МТС, совхозов и т. д. — освободить.

Когда комиссия приехала, Визирову, наркому коммунального хозяйства, дали десять лет, Хаджибаеву, наркомюсту, дали десять лет, и всем остальным также. В отношении меня дело, как недоказанное, было прекращено. Все остальные районные работники были освобождены из заключения. А в 1937 году все реабилитированные и освобожденные, все, в том числе и я, были арестованы».

Рахимбек Шакирбеков подробнее рассказал о деле Рамзи и Бату.

В 1929 году, в период подготовки к IV съезду Компартии Узбекистана, в республике началась кампания против национализма среди руководящих кадров.

Значительную роль в этом деле сыграл аппарат ОГПУ, и Средазбюро ЦК ВКП(б), видимо, вполне верило органам и совершенно не доверяло руководству ЦК Узбекистана.

Некоторых работников местных национальностей принуждали выступить против ЦК Узбекистана, отказавшихся выступить отзывали с занимаемых постов. Были созданы «дела» в Бухарской, Кокандской, Наманганской и Хорезмской партийных организациях. Начались отдельные аресты. На местах находились ПП ОГПУ (полномочные представители Объединенного Государственного политического управления).

Уже в то время ПП имели неограниченные права, не подчинялись местным партийным и советским властям, согласовывая свои действия только с Москвой. Потому они и назывались полномочными представителями. Такой ПП чисто формально, в общих выражениях информировал обком о своих действиях, и даже члены бюро обкома не имели права задавать ему вопросы по существу дела.

В этой обстановке Шакирбекова принуждали к политическим обвинениям против ЦК Компартии Узбекистана, но он на съезде не выступил. Тогда его отозвали с работы из Каттакургана и отправили в отпуск. Сделано это было комиссией Средазбюро, когда мой отец отсутствовал в Самарканде.

Находясь в отпуске, Шакирбеков узнал, что орготдел ЦК ВКП(б) по докладу Икрамова осудил практику Средазбюро по огульному охаиванию национальных кадров. Шакирбеков очень обрадовался.

Когда отец возвратился из Москвы в Самарканд, Шакирбеков пришел к нему и просил вернуть его на работу, во всяком случае, разобраться в причинах отзыва.

— Твой отец сказал мне тогда: «Я ничего не могу сделать. Решение принято в Москве, а положение здесь продолжает оставаться тяжелым. Моего родного брата в Ташкенте судят, фабрикуют фальшивое обвинение, нашли лжесвидетелей. А я, секретарь ЦК, сижу здесь, в Самарканде, и, когда судят моего родного брата, ничего не могу сделать. Положение мало изменилось».

Примерно в то же время было сфабриковано обвинение против Манона Рамзи, который был руководителем Научно-исследовательского института (прообраз Академии наук Узбекистана), и против Бату, который был заместителем наркома просвещения республики. В это же время был исключен из партии заведующий отделом Наркомпроса Насыр Саидов. Его обвинили в национализме и сокрытии социального происхождения. Обком отменил это решение партийного собрания и поручил рассмотреть дело второй раз. Насыра Саидова оставили в партии.

— Ну, а я, — рассказывает Шакирбеков, — стал секретарем партийной организации наркомата.

О каждом из этих моих собеседников, вероятно, можно было бы написать прекрасную книгу. Так, например, совершенно случайно я узнал, что Шакирбеков был близким другом и соратником замечательного турецкого революционера Мустафы Субхи, которого турецкие коммунисты считают создателем своей партии.

— В чем же провинились Рамзи и Бату? — спросил я у него.

— Они ставили один вопрос, — ответил Шакирбеков, — Почему национальным кадрам нет доверия?

— Эта постановка вопроса угробила не только их самих, но и многие-многие поколения, — с усмешкой вставил Мирзаходжа Урунходжаев.

Репрессии 1929—1930 годов в Наркомпросе начались с ареста начальника отдела кадров Сабира Кадырова. Потом исчез Бату.

В 1930 году был арестован Шакирбеков. В Ташкенте его вызвали в ГПУ. Он пришел сам, и его больше не выпустили. Год и восемь месяцев он сидел в одиночке без прогулок и передач. Только через год и восемь месяцев разрешили прогулку. Потом еще шесть месяцев в Бутырской тюрьме в Москве. Суда не было. Приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Во время прогулки в Бутырской тюрьме увидел Бату. Шакирбеков показал ему на пальцах пять. Бату показал ему два раза по пять.

Когда Шакирбекова арестовали второй раз в 1940 году, свидетелем против него был Насыр Саидов. Он лжесвидетельствовал напропалую. За это его прикармливали в тюрьме и носили обеды из ресторана.

Насыр Саидов умер, Шакирбеков жив.

Бывший следователь ташкентского ГПУ говорил мне, что не могли в 1930 году осудить без достаточных оснований, и обещал ознакомить ме-

ня с материалами этого дела. Он-то знал, что до этого нам не дожить. Он не дожил. Ну и я, кажется, не доживу до времени, когда откроют те архивы. Но характерно, и этот следователь рассказывал: судов не было, Москва решала по представлениям с мест.

Так что я больше верю Шакирбекову.

Кстати, это тот самый следователь, который неделями не давал пить Шакирбекову, морил его голодом и не разрешил прогулки. Импозантный старик с бородой, как у библейского пророка, он до самой смерти писал научные труды и гордился, что у него есть своя научная школа,— член Союза писателей СССР Станишевский.

Еще одна невыправленная запись с магнитофона «Ревю».

— Когда меня назначили курорт, я не знал слова «курорт», не знал, что такое курорт. Я говорю твоему отцу: «Что такое курорт?» — «Это лечение». — «Где?» — «Кисловодске». А я говорю: «Знаешь, я же не больной. Я говорю, как бык я здоровый. Я не поеду». И я обиделся, хлопнул дверью (дело было в здании ЦК Узбекистана в кабинете моего отца. В этом здании потом находился филиал самаркандского Исторического музея имени Акмаля Икрамова. — **К. И.**). Хлопнул дверью и поехал к себе в кишлак в горы. Там я лежал дома в кишлаке в своей кибитке.

Вдруг, понимаете, Акмаль и Мураджан Файзуллин под вечер приезжают: «Салам алейкум!»

Они зашли, посидели, ночевать остались.

Знаете кишлачную жизнь. У нас ни стола нет, ни стульев. Трое под одним одеялом спали.

Твой отец мне тогда говорил: «Товарищ Урунходжаев, ты знаешь, Россия аграрная, отсталая, в Европе — самое отсталое государство. Потом мировая война. Потом гражданская война. Разруха очень большая. Когда создавалась Туркестанская автономная республика, она была меньше шести миллионов. РСФСР, Россия хочет восстановить свое народное хозяйство. Но у нас положение еще хуже, чем в РСФСР. У нас двадцать первом году единственный источник дохода государства это был НЕБО (сначала я не понял, что так М. Урунходжаев произносит слово «НЭПО»[1]. — **К. И.**). Потому в сельском хозяйстве развал, промышленность у нас отсутствует. А РСФСР делает так. От всех доходов 51 процент забирает в Москву, 49 процентов оставляет нам. И расходы тоже нам. А у нас, говорит, 99 процентов неграмотных. Надо свое хозяйство восстановить. Поэтому мы говорили, мы выступали и говорили: «Ну, при царизме была такая несправедливость, а сейчас у нас Советская власть. Почему, понимаете, вот этот доход от НЕБО не распределить поровну, и прибыли и расходы. Неужели можно, чтобы при советском строе существовала такая несправедливость! Вот это мы говорили. И Сталин тогда на нас напал...»

Тогда твой отец мне еще так сказал: «Я, товарищ Урунходжаев, не вечно секретарем ЦК. Могут меня перебросить в другую республику, в другие города. Но я этого не боюсь, потому что я коммунист, говорит, солдат партии. Но я одного боюсь, одного боюсь. Когда меня переведут из Узбекистана, скажут, что, понимаете, икрамовщина. Икрамовщина. Много наших кадров, которые партия воспитывает, подрастающее поколение фактически пострадает. Я этого боюсь. Я об себе абсолютно не думаю. Я боюсь за те кадры, которые под предлогом икрамовщины будут страдать».

— Это в каком году было?

— Это в двадцать пятом году было.

Слово «икрамовщина» появилось в конце 1937 года и стоило жизни десяткам тысяч людей в Узбекистане. На первый взгляд кажется невероятным предвидение отца в двадцатых годах. Однако только на первый взгляд. Узбекистан к тому времени уже пережил «рыскуловщину» и «иногамовщину».

[1] В первые годы Новая экономическая политика обозначалась аббревиатурой из четырех букв — НЭПО.

Итак, для отца все это началось задолго до пресловутого тридцать седьмого, задолго до того дня 19 или 20 сентября, когда Акмаль Икрамов из конференц-зала, где проходил последний в его жизни партийный пленум, вышел уже беспартийным.

В архивах нет стенограммы или даже протокола пленума. Вместо стенограммы и протокола (а надо сказать, что ЦК Узбекистана обладал штатом весьма квалифицированных стенографисток) имеется «Справка». В справке сказано, что стенограмма и протокол на пленуме не велись.

О том, как все это происходило, рассказывают Таджихон Шадиева и Вера Серафимовна Хоромская.

Строго говоря, тот пленум был неправомочен или вообще это был не пленум, ибо большинство членов ЦК КП(б) Узбекистана находилось в это время в ташкентских тюрьмах. Кворум был там, а не в здании ЦК. Именно поэтому участников не регистрировали и не велось протокола.

Открыл собрание специально прибывший из Москвы А. А. Андреев. Он сказал: «Фамилий не регистрируем, протокол не ведем. Никому ничего не будет. Можете высказываться свободно». И зачитал письмо Политбюро за подписью Сталина и Молотова.

На трибуну выходили какие-то незначительные люди и обвиняли А. Икрамова. Обвинения были нелепые и страшные.

— Из всех речей самой тяжелой и даже, прямо сказать, наглой была речь Усмана Юсупова, — вспоминает Вера Серафимовна Хоромская.

— Я сидела в последнем ряду и плакала, — говорит Таджихон Шадиева. — Один секретарь райкома, кажется, Алмазов, выступил против обвинений. Сказал, что не верит, что все мы знаем Икрамова. Его с трибуны стащили, и больше его никто не видел.

Отец выступал два или три раза. Закончил так: «Я был преданным, верным сыном партии Ленина. Что бы меня ни постигло, я останусь коммунистом до конца!»

— Мы расходились подавленные, — рассказывает В. С. Хоромская. — В коридоре я увидела его и пошла за ним. На стуле в приемной стояла уборщица тетя Дуня и протирала тряпкой портрет твоего отца. Отец сказал ей: «Снимайте портрет, тетя Дуня. К черту его надо выбросить». Тетя Дуня не поняла, что он сказал. Я зашла за ним в кабинет.

«Зачем вы вошли сюда? Вы знаете, чем это грозит? — сказал ей отец. И тут же: — Вам известно, что вас собираются назначить секретарем обкома в Новый Ургенч? Ни в коем случае не принимайте назначения. Вас сразу арестуют. Заболейте, уезжайте, что хотите. Им надо выполнить план по номенклатуре».

— Я тогда так разволновалась, всю ночь не спала. А на другой день — городской актив. Опять выступал А. А. Андреев. На узбекский переводил Касым Сорокин... Через несколько дней я действительно тяжело заболела. У меня отнялись ноги.

БРОШЮРА И ПИСЬМА

Неужто где-нибудь, кроме нашей страны, есть люди, полагающие, что жертвы палачей, жены и дети убитых и замученных не имеют морального права свидетельствовать о том, что знают? У нас таких «гуманистов» полным-полно.

Как всегда бывает, случайно, но кстати, попался «Новый мир» десятилетней давности, где Лев Гинзбург писал о «потусторонних встречах» с бывшими главарями Третьего рейха, о беседах, которые он вел с оставшимися в живых, но осужденными Нюрнбергским процессом крупнейшими функционерами и идеологами фашизма, с родственниками Евы Браун. Хитрили, конечно, от чего-то открещивались, но о главном говорили правду. Однако самое поразительное, что не отказывались, никак не могли отказаться от встречи с писателем. С писателем из СССР. И к тому же — евреем.

А наши?..

Не страх наказания заставляет их молчать. Им позволяет молчать и поджимать губы уверенность в безнаказанности на этом и на том свете. Впрочем, свой путь к обличению палачей мы начали с непростительной лжи, которой никто не поверил: «Берия — агент иностранных разведок».

Нет, нет, совсем не жажда мести движет мной, даже не за справедливость ради справедливости ратую, — мне страшно! Вижу: не боятся возмездия новые когорты палачей и клеветников, которые прямо от того корня произошли или ходят в названых племянниках у безнаказанных преступников. Они готовы действовать теми же методами, что во времена Ежова и Берии, Абакумова и Рюмина.

А цели? Цели только теперь названы уголовными, хотя чисто уголовными были и цели, которые преследовал Сталин.

Я уже упоминал в этой книге Ш. Рашидова, и вынужден буду несколько слов сказать о его наставнике — Усмане Юсупове.

Сегодня у Юсупова защитников и даже апологетов в Узбекистане куда больше, чем, к примеру, у Жданова в Жданове и Ленинграде. О личной роли Юсупова в уничтожении тысяч и тысяч людей не упоминают вовсе, а когда приходится говорить на эту тему, то утверждают, что был Юсупов не лучше и не хуже других, зато-де построил Большой Ферганский канал и во время войны проявлял чувство интернационализма, помогая эвакуированным. В связи с одним моим ироническим абзацем в небольшой печатной рецензии на фильм о У. Юсупове я получил довольно много протестующих писем, написанных явно под диктовку и явно затрагивающих не то, что я написал, а то, что подумал. По старым канонам, мне клеили ярлыки и предъявляли страшные политические обвинения: сею вражду между русским и узбекским народами, озлоблен на Советскую власть, злостно на нее клевещу.

Это же мне опять срок лепят! Это же моя родная 58-я, пункт 10, антисоветская агитация! Какая знаменательная встреча в 1988 году! И подписи под свидетельствами солидные, тянут на приговор. Можно через трибунал, через тройку, а уж ОСО обязательно.

Но больше было других писем.

Бандеролью пришла брошюрка, выпущенная в октябре 1937-го, сразу вслед за пленумом, притом — срочно, в течение нескольких дней. По многим причинам я чувствую себя обязанным процитировать ее здесь. Назову пока первую причину: не надо думать, что все шло лишь сверху, лишь из Москвы, лишь от Сталина и Ежова, а внизу были только палачи по должности, клеветники по приказу, без личной инициативы и заинтересованности... Например, У. Юсупов — наркомпищепром республики до 20 сентября того самого года, а с 20-го — первый секретарь ЦК.

Итак: «Усман Юсупов. До конца истребить контрреволюционную банду. Издательство ЦК КП(б) Уз., Ташкент — 1937 г.

Разоблачая контрреволюционную «теорию затухания классовой борьбы», товарищ Сталин неоднократно учил нас, что по мере того, как эксплуататорские классы и их идеологи будут терять свои последние позиции, классовая борьба будет обостряться, все изворотливее и подлее будут формы и методы сопротивления осколков классовых врагов. Однако эти ясные указания товарища Сталина многие наши партийные организации в Узбекистане недооценили, забыли. И это облегчило возможность агентам японо-германской разведки вести свою шпионскую, диверсионную вредительскую работу...

...Увлекшись успехами социалистического строительства, заразившись идиотской болезнью — беспечностью, мы, коммунисты Узбекистана, дали возможность врагам овладеть руководящими постами в партийной организации и правительстве, облегчили врагам вредительскую, шпионскую работу на пользу фашистских разведок.

Только благодаря неусыпной бдительности ЦК ВКП(б), лично товарища Сталина и его непреклонного соратника тов. Ежова узбекскому народу удалось вскрыть и ликвидировать узбекистанскую банду контрреволюционных националистов, троцкистов и бухаринских шпионов.

Разоблаченная банда врагов народа, гнуснейшие контрреволюционные националисты — Икрамов, Файзулла Ходжаев, Исламов, Балтабаев, Каримов, Ширмухамедов, Турсун Ходжаев, Усманов, Тюрябеков, Сорокин, Хасанов, Мирза-Ахмедов и другие... Эту кучку негодяев возглавлял самый подлый из подлых бандитов, самый циничный двурушник и предатель — Акмаль Икрамов.

...Руководимая Икрамовым банда преступников, вступив в сговор с троцкистами и бухаринцами, по прямому заданию фашистских государств вела шпионскую, разведывательную работу, подготовляла отторжение Узбекистана от Советского Союза, восстановление эксплуататорского, помещичье-капиталистического строя в нашей стране и превращение Узбекистана и других республик Средней Азии в колонию империалистических стран.

...Используя свое положение и занимаемые посты, эти люди организуют пополнение басмаческих отрядов, снабжение их оружием и деньгами, выдают им планы расположения военных сил и намечаемые советскими органами мероприятия, вербуют новых курбашей и т. д.

...Основное внимание сосредоточивается на собирании сил и подготовке кадров. В эти годы Икрамов и Файзулла Ходжаев подбирают группу буржуазной националистической молодежи и направляют для обучения в Германию, оплачивая их учебу золотом, принадлежавшим нашему народу. Впоследствии из этих кадров выковались фашистские разведчики.

...Особенно тщательно конспирировались руководители «Милли-истиклял», занимавшие одновременно руководящие посты в ЦК КП(б) Уз. и правительстве Узбекистана.

Характерно, что после разоблачения Бату, Рамзи и других деятелей подпольной националистической партии, занимавших крупные посты в партийных и советских органах, Икрамов, Каримов и другие разоблаченные ныне руководители «Милли-истиклял» принимают все меры к тому, чтобы замазать это дело, заглушить развернувшуюся на основе этого дела критику и самокритику, задержать активизацию партийных масс.

Икрамов и Каримов, для того чтобы притупить бдительность, в своих выступлениях пытаются уверить партийную организацию, что основная нить поймана и главари разоблачены. Одновременно чья-то «неведомая» рука физически уничтожает свидетелей (Саид Абидов), которые знают и могут рассказать нечто большее.

...Это они в период поворота трудовых масс дехканства на путь коллективизации и ликвидации кулачества как класса подхватили и применили в Узбекистане провокационный лозунг — «немедленной 100-процентной коллективизации». Это они организовали вредительство в области ирригации, животноводства, семенного хозяйства, срывали развитие садоводства и виноградарства, разрушали базу шелководства, тормозили развитие пищевой промышленности, срывали товарооборот и т. п.».

По ходу переписывания цитат из брошюры У. Юсупова я выбросил половину того, что ранее наметил переписать. Жаль места, где упоминается моя мать Е. Л. Зелькина, жаль специфической фразеологии, которая наиболее ярко представлена в рассуждениях и обвинениях, основанных не на фактах.

Но основное сказано.

Полагаю, читателю уже ясно: текст брошюры У. Юсупова — основная шпаргалка, написанная почти за полгода до московского процесса. Именно по этой шпаргалке «работал» А. Вышинский. Все, начиная от «связи с троцкистами и бухаринцами» до дела Рамзи и Бату с убийством Абида Саидова (или Саида Абидова — какая разница!), до вранья о вредительстве в хлопководстве и оценок провокационного лозунга насчет 100-процентной коллективизации, который в Узбекистане «подхватили».

Невольно вспоминаю сказанное У. Юсуповым в 1933 году на станции Урсатьевская. Вот когда Сталин готовил его, а Юсупов готовился к своему звездному часу. Не могу не высказать своего самого страшного предположения: У. Юсупов «зачитал» текст доноса, который послал Сталину за несколько месяцев до начала главной мясорубки.

Письмо незнакомого пенсионера, члена партии с 1928 года А. Низамханова. Он был наборщиком, затем на низовой партийной работе,

очень тепло пишет об отце, и вот продолжает: «Несколько слов об Усмане Юсупове. В 1937 году в Ташкенте, в театре им. Горького открылся VII съезд Компартии Узбекистана, я был его делегатом. Тайным голосованием следовало избрать членов ЦК. Стали обсуждать кандидатуры для включения в список тайного голосования, в числе других был назван и У. Юсупов. Председательствующий на заседании съезда тов. Ширмухамедов объявил, что Юсупов не собрал нужного количества голосов для включения в список тайного голосования. Тогда поднялся на трибуну А. Икрамов. «Товарищи! Усман Юсупов только что вернулся с учебы в Москве, сейчас работает наркомом пищевой промышленности. Поэтому я настоятельно прошу вас включить его имя в список будущих членов ЦК КП(б) Узбекистана».

Ширмухамедов предложил голосовать еще раз, посчитал поднятые мандаты и объявил, что для включения в список Юсупова голосов явно недостаточно.

А. Икрамов второй раз поднялся с места и подошел к трибуне: «Вы, по всей вероятности, не совсем хорошо меня поняли: тов. У. Юсупов будет работать с нами рука об руку. Поэтому прошу вас, кто относится ко мне с уважением, голосовать за включение У. Юсупова в список тайного голосования».

При третьем голосовании большинством в один голос Юсупов попал в список. А. Низамханов вспоминает, что именно одним голосом и решилось его избрание в члены ЦК. Факт этот мне не был известен, но не сомневаюсь, что отец выполнял прямое указание Сталина.

А. Низамханов присутствовал и на пленуме в сентябре. Рассказывает об этом подробнее, чем другие. Так, ему запомнилось, что, несмотря на присутствие А. А. Андреева, выступавшие долгое время не хотели понимать, что от них требуется, в основном занимались самокритикой, ничего плохого в адрес Икрамова сказано не было. Но дали слово Загвоздину, руководителю НКВД, и он огласил явно клеветнические показания незадолго перед тем арестованных ответственных работников. Наступила растерянность. Никто не думал, что в НКВД работают фашисты и подонки.

А. А. Андреев предложил предоставить слово У. Юсупову. Усман начал свою речь со старых клеветнических измышлений. Речь его была пронизана ложью.

До выступления Загвоздина А. Икрамов сидел в президиуме очень спокойно, а после собрал бумаги в свою папку, закрыл ее, сложил руки, и было видно, как сразу упало его настроение... В последнем слове Икрамов сказал: «Товарищи, я только теперь понял, о чем идет речь. Я сын партии и до конца своей жизни останусь им».

По-разному люди запомнили слова отца, разночтения естественны. Некоторые утверждают, что отец трижды или четырежды говорил о своей невиновности.

А. Низамханов писал мне еще и о личных качествах У. Юсупова, о стяжательстве и разврате. Письмо не содержало ничего для меня нового, просто еще одно подтверждение того, что правду не утаить.

Почти одновременно с письмом из Ташкента я получил из «Литгазеты» письмо москвича, члена партии с 1920 года, персонального пенсионера Петра Федоровича Андреева. Это был отклик на отрицательную оценку фильма об У. Юсупове, выпущенного «Узбекфильмом» к семидесятилетию Октября.

Петр Федорович живет в «доме на набережной», названном так Ю. Трифоновым, но до того называвшемся Эльсинором, или допром — домом предварительного заключения. П. Ф. Андреев сохранил отличную память и ясное сознание. Опытный финансист, он после тяжелой контузии на фронте был приглашен на работу в ЦК ВКП(б) в качестве инспектора хозяйственной деятельности. В 1944 году Петра Федоровича послали в Ташкент, где он обнаружил, что у руководителя Узбекской компартии имеется подпольная артель, производящая вино, которое сбывают за наличные в городах индустриального Урала. Кроме того, была у Юсупова своя животноводческая ферма и табун скакунов... Инспектор ЦК ВКП(б) дал шифровку Маленкову и получил приказ: проверку прекратить, немедленно возвращаться.

Можно размышлять, откуда, мол, взялся Рашидов и другие современные феодалы, но без анализа той коррупции, которую насаждал и узаконил Сталин для своих верных сатрапов, мы не сделаем ни одного серьезного вывода. Кстати, П. Ф. Андреев чуть позже вскрыл хищения и взяточничество на самой Старой площади, за что был не только изгнан с работы, но и исключен из партии. Восстановили его после XX съезда.

Третьим в своей проскрипционной брошюре Усман Юсупов назвал Акбара Исламова, своего товарища, наркома финансов республики. Жена Исламова, грузинка Кетеван Давыдовна, после освобождения из тюрьмы вместе с сыном Темуром уехала в Тбилиси.

После посмертной реабилитации Акбара Исламова в 1957 году мать с сыном решили в Узбекистане устроить поминки. Ехали через Москву поездом, и рядом в мягком вагоне оказался У. Юсупов, снятый со всех высоких постов, — директор совхоза. Несмотря на сопротивление матери, Темур отправился в соседний вагон, чтобы узнать время гибели отца и где он похоронен, чтоб сделать ему могилу, как честному гражданину.

«Если бы ты знал, — пишет мне Темур, — как он искренне убеждал меня, что не причастен к расстрелам. Я сказал ему, что поскольку эти люди не были ни в чем виноваты, можно было их сместить с партийной и руководящей работы, но не убивать. На это он ответил, что эти люди были очень популярны, уважаемы и любимы народом и если бы им не сфабриковали таких тяжких обвинений, то народ бы не поверил, а они нам мешали, и надо было их убирать...»

А вот письмо от сына Бату из Ташкента, хирурга, доктора медицинских наук Эркли Ходиева. Я читал его с чувством стыда за себя и вдруг вспомнил, что среди лекарств, которыми пичкал меня тогда дедушка Лев Захарович, большую дозу составлял бром. А Эркли брома никто не давал. Он рассказывает, что к ним в третий класс школы имени Шумилова вошла учительница Мунавар Ахмеджановна, преподававшая узбекский язык, и сказала: «Дети, в нашем правительстве — враги народа, — и начала перечислять: — А. Икрамов, Ф. Ходжаев, Манжара, Сагизбаев... Вот и у нас есть Эрик, он хороший мальчик, но его папа тоже хотел, чтобы вернулись буржуи, капиталисты, баи и басмачи».

Эркли вспоминает, что сидел на третьей парте в среднем ряду, но не помнит, как вырвал из парты доску, кинулся к Мунавар Ахмеджановне и изо всей силы ударил ее этой доской. Учительница упала, Эркли убежал, а ночью хотел поджечь школу. Облил кирпичные ступени керосином, поджег, но... сгорел только керосин. Потом были у сына Бату скитания, беспризорность, потом он стал студентом и встретил Мунавар Ахмеджановну на одной из главных улиц Ташкента, около кондитерской. Он узнал ее по огромному шраму на лбу справа.

Добрый человек Эркли, детский хирург... А мне горько, что со мной такого взрыва не было.

Бедная Мунавар Ахмеджановна! Конечно, она пострадала зря. Но так бывает всегда, если главные виновники остаются безнаказанными.

ИНЕРЦИЯ СТИЛЯ

В 1935 году или в начале 1936 года мы жили в Москве в гостинице. Делегация Таджикистана размещалась в другой, и моя мать, вернувшись оттуда, попросила отца позвонить кому-то из таджикских руководителей.

— Ты понимаешь, — сказала она, — иду по коридору, а навстречу едет на трехколесном велосипеде Мамлакат. На кофте у нее орден Ленина. Говорит, что велосипед — подарок Сталина. Скажи, что так нельзя.

Кто тогда не знал об одиннадцатилетней девочке Мамлакат Нахангововой из Сталинабадского района! Она была сфотографирована со Сталиным

после вручения ей самой высокой награды Родины. Она изобрела, как писала журналистская братия, новый способ сбора хлопка — сразу двумя руками, по 100 килограммов в день. Цифра эта сама по себе вызывает большие сомнения, но если в ней и была доля правды, представить себе такое страшно. Это тысячи и тысячи движений руками, это 12 часов работы. А непомерные 100 килограммов должна дать маленькая, худенькая девочка, ученица четвертого класса. И чему мы удивляемся, когда дети нашего региона в течение десятилетий всю длинную среднеазиатскую осень собирают хлопок вместо того, чтобы сидеть за школьными партами. Правда, собирают не по сто, а по десять, потом и по пять килограммов в день. Где им до Мамлакат! И ордена за них получают другие.

Тогда вот и начались первые приписки и первая показуха с хлопком. Это было, повторяю, самое начало. Потом под руководством Усмана Юсупова создавались показатели и вовсе фантастические — многие колхозы отчитывались за стоцентнеровые урожаи.

Наглая ложь, скрытые десятки гектаров посевов и — ордена, ордена, ордена... А кто бы посмел сказать правду? Кому не памятен был 37-й? А «рекорды» тоже, как и все, «планировались от достигнутого». Инерция всеми создаваемой лжи приобретала все большую скорость, апогея же достигла при Ш. Рашидове, верном ученике и выкормыше У. Юсупова.

В последние годы правления Рашидова меня все чаще и чаще спрашивали:

— Если б ваш отец увидел сегодняшний Узбекистан, что бы он сказал?

Однажды и сам Рашидов задал мне подобный вопрос.

Что бы он сказал? Как бы это могло случиться, чтобы отец вдруг в какое-то окошко увидел новый, сказочно красивый Ташкент с его высотными домами и фонтанами, каких я, например, и в Париже не видел?

Или из этого же окошка, какие в самолетах, с птичьего полета увидел бы Голодную степь, засеянную хлопком, степь, по которой идут диковинные хлопкоуборочные машины, похожие на слонов, мчатся сотни автомобилей, сверкает шоссе Ташкент — Термез.

Или бы отец увидел молодежь на улицах Ташкента, парней и девушек в сплошном «импорте» и жаждущих только «импорта». Вот они идут с «дипломатами» и с сумками «адидас». Куда идут? В университеты, в институты, в НИИ. О чем говорят эти молодые люди?

...А вот дети, школьники в мокрых телогрейках и пудовых от грязи сапогах, собирающие хлопок из-под снега, выбирающие белое и мокрое из белого и мокрого.

Нет, с птичьего полета да вдруг всего не понять. Не знаю, что увидел бы отец, что бы он подумал, что сказал. А дожить нормально до сегодняшнего дня вполне мог. Сестры его, Русора и Садыка, умерли, когда им было за девяносто. Среди мужчин долгожителей не обнаружишь, все пять сыновей домлы Икрама умерли насильственной смертью.

Вот стоит мой отец на площади, венчающей широкий проспект, — это одна из новых улиц нового Самарканда.

Стоит отец — гранитный постамент, пятиметровая фигура из бронзы, лицо молодое, как на почтовой марке, выпущенной к его семидесятилетию. На той марке ему двадцать пять лет, он слушатель Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова.

Хороший памятник, очень хороший. Он выделяется какой-то легкостью, свободой движения, да и руки застыли в жесте необычном. То ли приглашает он, то ли отдает людям все, что есть у него.

Скульптор — ленинградец, фамилия его Николаев. Я его никогда не видел, говорили по телефону. Он умер, памятник отливали без него. Николаев звонил мне, только когда бывал сильно пьян, говорил одно и то же: «Хочу, чтобы он стоял, раскинув руки. Как распятый Христос. Понимаете, креста нет, но распятие — вот оно! Распят, как Христос. Согласны?»

Кто он был, Николаев? И кто ему разрешил бы сделать распятие? Спасибо, скульптор Николаев!

В Ташкенте, на площади возле Акмаль-Икрамовского райкома партии, памятник будет другой. Мне показывали эскизы и фотографию макета. Портретного сходства — ноль, тяжелое, «волевое» лицо, сталинская шинель, а сапоги, кажется, кирзовые.

Говорят, нигде нет такой коррупции, как вокруг монументов. Коррупция вокруг памятников — явление символическое, но мне не до этого.

Каким был бы мой отец, доживя до наших дней? Думать об этом не могу. Почему-то кажется, что он ни при каких обстоятельствах не дожил бы.

И что же все-таки отец сказал бы об Узбекистане семидесятых и восьмидесятых годов?

Не только по незнанию я уклонялся от ответа. Понимал, что большинство задает этот вопрос искренне, но если в разговоре участвовало несколько человек, то, казалось мне, следует полагать, что кто-то обязательно донесет. Я не отвечал на вопрос, а сейчас понял, что и об этом можно было «доложить». И наверняка «докладывали». Доносили.

Конечно, масштабов преступлений в республике, о которых нынче говорят все, я не представлял, но атмосфера была пропитана ложью, ложью, ложью. Самое удивительное, не удавалось и понять, зачем лгут.

О преступлениях Рашидова я писал несколько раз, писали и другие, но это было после его до сих пор таинственной смерти. Писали мы много, но далеко не обо всем. Да, состоялось-таки перенесение его трупа из центра города Ташкента на почетное кладбище «Фараби», но ведь в семье Рашидова до сих пор хранятся Золотые Звезды Героя Социалистического Труда, знак лауреата Ленинской премии и десяток орденов Ленина. Других орденов я не считал.

Мы толкуем о гипнозе сильной личности, а не стоит ли обратиться к вещам более простым? Это утеря достоинства, нежелание думать и невозможность сказать, что думаешь. Все это вбивали в нас десятилетиями, и я сейчас не могу избавиться от вполне осознанного страха: *не слишком ли я?*

Вопрос о Рашидове нельзя рассматривать в отрыве от истории и — конкретнее — от истории того же 37-го года.

Да, кадры решают все. Все они и решают, если их подбирают сверху, единолично, без всякого намека не только на демократию, но и на демократизацию. Писатели, служащие, рабочие, мы знаем, как организовывались выборы, как ловко составлялись выборные списки. Ни своего директора, ни секретаря парткома, ни даже председателя местного комитета профсоюза нигде фактически не выбирали.

Рашидов сумел втереться в доверие к Хрущеву, заручиться его поддержкой. Но после октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС в республике возникла надежда, что теперь придет конец преступлениям Рашидова в Узбекистане. О его покровительстве ворам в Президиуме Верховного Совета, о беспринципном подборе кадров, о личной нечестности первого секретаря говорили на Ташкентской областной партконференции. Рашидов запаниковал, кинулся мириться с теми, кого обидел и унизил.

...Надежды на благие перемены в жизни республики не оправдались. Наоборот, под лозунгом борьбы с волюнтаризмом махровым цветом расцвело все то, что породило серию преступлений и крайнее моральное разложение. Рашидов проник к самым верхам и пользовался безраздельным доверием Брежнева, Суслова, Щелокова, затем и зятя Брежнева — заместителя министра внутренних дел СССР Чурбанова.

В республике росли масштабы приписок и коррупции, тут хищнически и бездумно использовали землю и воду, тут засолялись десятки тысяч гектаров ранее плодородных полей и резко снизился уровень жизни крестьян и рабочих.

Сознавал ли Рашидов значение и масштабы своих деяний? Кажется, он об этом и думать не хотел. Его цель была власть, для удержания которой его предшественники подготовили сильные средства. Он возглав-

лял большой клан преступников, имел главный штаб и штабы в каждой области.

Ясно, что не работа в газете, партийных и советских органах сделала Рашидова лживым, корыстолюбивым и беспринципным. Эти качества, как я понимаю, были присущи ему изначально; благодаря им он и сумел выдвинуться в конце тридцатых годов, а далее лишь развивал их с помощью наставников. Теперь говорят, что, вступая в партию в 1939 году, Рашидов скрыл, что его отец был царским жандармом. Не в том, вероятно, беда, что он скрыл это и что-то еще, а в том, что он жил во лжи, дышал ложью. В годы Великой Отечественной войны Рашидов загадочно быстро вернулся из армии и будто бы на него было даже заведено дело о дезертирстве, потом внезапно прекращенное. Но это слухи, слухи...

Думаю, проверить их очень трудно. Рашидов имел достаточно возможностей, чтобы уничтожить документы и физически убрать свидетелей. Так или иначе, версии, о которых упоминаю, достаточно правдоподобны. В сравнении с тем, что Рашидов вершил, находясь на высоком посту, сокрытие происхождения или дезертирство из армии, с фронта—факты ничтожные, и если они подтвердятся, отношения к Рашидову, самого его портрета уже не изменят. Но ведь темное и предательское прошлое было очень характерной чертой биографии Берии, М. Д. Багирова, много постыдного содержит в себе история жизни и возвышения А. Я. Вышинского.

Спрос рождал предложение, а кадры...

Воры в законе, профессиональные преступники называли Сталина «пахан». Пахан—главарь шайки, держащий в руках все нити, бог и отец, верховный и тайный судья. А подчиняются ему люди, лишенные чести и достоинства, знающие, что их жизнь может прекратиться в одну ночь. Да. И палачи, те, кто пытал, ежесекундно сознавали, что, может быть, уже завтра и им самим будут загонять иголки под ногти, их самих топтать ногами и другие—такие же—палачи будут мочиться им в лицо.

Люди, пришедшие к власти в годы сталинского террора, были в значительной степени из этой породы. Не все, но многие.

ДАСТАРХАН

— Ты помнишь милиционера Ермоленко?..

(Я предупреждал, что некоторые имена вынужден изменить. Не всегда понимаю мотивы, по которым люди просят изменить их имена, но приходится это делать.)

— Ты помнишь милиционера Ермоленко?—спросил мой двоюродный брат Амин.

— Еще бы,—сказал я,—конечно, помню.

Из многих милиционеров, охранявших дом секретаря ЦК Узбекистана в Ташкенте на Уездной и на Гоголя, я дружил с двумя—с Ермоленко и Ефремовым. Ермоленко—здоровенный украинец с квадратным подбородком; Ефремов из-под Саратова, курносый, веселый, бесшабашный, его я особенно любил.

— Так вот, этот Ермоленко,—говорит Амин,—работает кладовщиком недалеко от товарной станции. Между прочим, это он дежурил, когда арестовали твоего отца.

В тот приезд я не стал разыскивать Ермоленко. Нашел его позже. Он живет в мазанке, и на улице его знают потому, что семья держит корову. «Это которые Ермоленки? Которые корову держат?» В низеньких комнатках меня встретили два рослых парня с квадратными подбородками, в узконосых ботинках, белых рубашках с галстуками, модно остриженные. Это были сыновья Ермоленко, студенты. Они собирались на танцы.

Получилось, что Ермоленко и Ефремов живут в Ташкенте, как и до войны.

Один мой друг часто говорил, что жизнь значительно более сюжетна, чем мы, литераторы, это себе представляем.

Оба они служили в правительственной охране, когда арестовали моего отца. Оба попали на фронт. Ермоленко взяли в январе 1942 года; просто разбронировали и призвали. Ефремова—в 1943-м, как он сам говорит, по глупости.

— Я тогда кабана держал. И зарезал его. А наш взводный говорит: «Ну, что ж, могу я на сало рассчитывать, килограммчиков на двадцать — тридцать?» Такое меня зло взяло. Говорю: «Да нет, заходи, угощу, а на сало не рассчитывай». А он мне и говорит: «Ну, Ефремов, значит, не хочешь ты на свете жить». Разбронировали меня и — на фронт.

Неудивительно, конечно, что милиционеры из правительственной охраны оказались на фронте. Удивительно другое: встретились в немецком плену.

Ермоленко рассказывает так:

— Лагерь был под Борисовом. Тысяч пять нас. Пригнали новеньких. Мы, значит, шеренгами стоим, а их мимо гонят. Ефремов как увидел меня, да как закричит: «Ермоленко! Ермоленко!»—и ко мне. Полицаи растерялись, даже ударить его ни разу не успели. Так он ко мне прорвался и рядом со мной стал... Он же тихий, без меня, может, и помер бы. Чего стащить—картошку или свеклу, это я. Но мы все пополам. Мы друг от дружки никуда. И все боимся, как бы не узнали, что мы чекисты. Если бы разоблачили нас, нам бы худо было. Они с чекистами, знаешь, как... Потом увезли нас с Березины под Берлин. С месяц под Берлином были. А потом под Франфурх. Там на работу сначала не гоняли, а только били, по-пластунски заставляли ползать. Меня сильно били... Ты, говорят, оскорбляешь нашу личность, что скрываешь, что командир. А Ефремова не били.

Я несколько раз встречался и с Ермоленко, и с Ефремовым, который работает слесарем-сантехником.

Ефремов рассказывает:

— Месяца за два до ареста твоего папы меня вдруг вызвали и говорят: будешь ходить в гражданской одежде по другой стороне улицы, чтобы никто тебя не видел, и будешь за домом Икрамова следить. Кто входит, кто выходит, все записывай и доноси. Мне дали шелковую рубашку украинскую, под рубашкой, значит, у меня наган торчит. Хожу я по другой стороне улицы. Ну, а ваши-то все—и дворник, и Лиза, твоя нянька,—видят меня. Вроде должен я секретно ходить, но куда ж там спрячешься. Как обед, Лиза, бывало, кричит: «Ефремов, иди обедать!»

— Власовцы сильно били,—говорит Ермоленко.

— Да как же нас не бить,—говорит Ефремов,—как же нас не бить! Помнишь, дали нам одеяла, а мы из них рукавицы наделали. Или вот с кранами...

Ермоленко смеется:

— А что с кранами! И правильно сделали.

— Да чего ж правильно,—говорит Ефремов.—Краны по всему дому отломали, и вода течет. Это ж безобразие одно.

Ермоленко говорит:

— Мы из них немцам кольца делали, они очень кольца любят. Они же бронзовые... Потом стали нас гонять в порт баржи разгружать, цемент. Там же и зерно разгружали. Подошли к баржам индюки, штук сорок. Я у часового попросился в уборную, там выломал палку, под шинель спрятал и пошел к индюкам. Часовой спиной ко мне сидел. Я в самую гущу индюков эту палку запустил. Двое упали и кувыркаются. Я подскочил, шинелью прикрыл и головы им набок. Придушил—и в штаны. У меня итальянские галифе были. Широкие. Я до вечера работал, никто и не заметил. А вечером сварили.

На другой день к нашему начальнику конвоя немка пришла, плачет: «Нейн, нейн, цвай фугель никс». Конвойный сразу узнал, что я. Видел, что ли. Подошел ко мне, как хлобыстнет по роже. Он мне губу прямо разрубил. Здорово хлобыстнул...

— Ты даже говорить долго не мог,—замечает Ефремов.

— Ну, рожа у меня вся в крови, а нас уже обратно ведут. Сейчас, думаю, в лагерь приведут. Посмотрят — я весь в крови, спросят — чего, и могли плетей дать. До кости секли. Если б убили-расстреляли, это бы ладно, а то плетьми засекали... Нас ведут, а я говорю (у нас там фармацевт был один — Толя): «Ты скажи немцу, чтоб умыться разрешил». Толя говорит: постен, Ермоленко шпрехен, что умыться, мол, хочу. Разрешил. Ну, я пошел, там вода была близко — Одер, умылся. Так никто ничего и не узнал. Спасибо, постен хороший попался.

— Хороший! — сказал Ефремов. — Он тебе губу рассек, ты и говорить не мог.

— Нет, хороший, — возразил Ермоленко. — Если б он в лагере сказал, засекли ба. До кости секли ведь.

— Хороший! — не согласился Ефремов. — Он тебе всю рожу разворотил.

И они долго спорили, правильно поступил тот немец или нет.

Этот разговор происходил за праздничным столом в летний вечер. Из окна доносился запах коровы. Жена Ермоленко — толстенькая добродушная женщина — суетилась, подкладывала нам малосольных огурцов вперемешку с урюком, яблоками, доставала откуда-то новые бутылки. Меня поила квасом. Она заставила меня записать рецепт.

— Запиши, запиши! Чего не надо пишешь. Так вот запиши: на триста граммов воды две столовых ложки сухих дрожжей, три столовых ложки сахару, полстакана муки. Когда дрожжи разойдутся, две булки хлеба... У нас с младшим беда, — говорит она мне про сына. — Лазил он на Эльбрус в каникулы, спознался там с одной... Она его в свою Махачкалу тянет. У нее теперь ребенок будет.

— Да, в тот год трупы-то валялись, — продолжает Ефремов, — чего не валялись. Возле вокзала. Как приедут, сил больше нет, вот и валялись.

Ермоленко перебивает его:

— Ты маленький, глупый был. Говоришь бывало: вот папа день и ночь не спит, хочет искусственное солнце изобрести. Это, помнится, когда курак[1] драли. Весь город драл. В вашем доме тоже все драли курак. Эта зима рано пришла, вы скромно жили. Я ж на кухне часто бывал, весь ваш меню знаю, часто ел, все та же шавля.

— А дворника Спиридона помнишь? — спрашивает он. — Агент он был, мы его боялись. Вокруг много агентов было. Я не говорил тебе: я ведь последний был, кто твоего отца видел. Вернулся он еще за солнце, перед вечером. Я тогда со двора дежурил. Мне сказали, чтоб я в окна поглядывал... Вижу, вошел в столовую. Посидели они за столом — он, комиссар Фролов и Лиза. Вдруг слышу гудок у ворот. Там у ворот новенький стоял, ничего не понимал. Я слышу — Загвоздин приехал. По гудку узнал. Бегу к воротам, отворяю. Загвоздин во двор заезжает. Велел ворота притворить, а сам в дом вошел. Вышли они с твоим батькой, в машину сели, помнишь, красная у Загвоздина была. Я сзади стоял, так что кто с кем сел, не знаю. На вокзал поехали, так мне Лиза сказала.

Думаю, наша домработница Лиза тогда ошиблась. Когда-то и я полагал, что отца сразу отвезли на вокзал и в Москву. Но, говорят, что два-три дня он еще сидел в Ташкенте. Член ЦК Узбекистана, секретарь одного из райкомов, знаменитая женщина-орденоноска Таджихон Шаднева, о которой писали многие, от Юлиуса Фучика до Евгении Гинзбург, вспоминала, как в Ташкенте во внутренней тюрьме она слышала в соседней камере в одиночке кашель моего отца: «Э, Камильджан, я же не ошибаюсь, я же его кашель знаю...»

— У нас на базе один коммунист есть, — рассказывает Ермоленко. — Он человек политический, бывший военный. Пенсия чуть не три сотни. Он говорит: самых лучших брали, как военных, так и гражданских. Это точно... Помню, история была с вашим шофером, с Робертом. На май зашел он к вам. Видно, Лиза ему поднесла. Он выпил, а потом

[1] Курак — нераскрывшиеся коробочки хлопка. Мешками на арбах развозили курак по всем домам Ташкента, и жители должны были руками разрывать, разламывать коробочки, добывая оттуда влажную недозревшую вату. Потом те же арбы собирали по домам «продукцию». Наш дом не был исключением в этой всеобщей повинности.

еще пошел к Спиридону выпил. Подхожу я к Спиридону, а Роберт лыка не вяжет. Положили мы его в угол, пусть отсыпается. А отец твой вышел вдруг. Думали, он никуда не поедет, а он поехать решил. Говорит: «Где Роберт?» Я испугался. Говорю ему: «Товарищ Икрамов, он вроде заболел». Он посмотрел на меня, отец твой, и говорит: «Правильно сказал, так и надо говорить в подобных случаях — заболел». И все, никакого разговору не было. Сел сам за руль и поехал... Это верно, самых лучших забирали...

Вечером Ермоленко вывел меня во двор и шепотом сказал:

— Если тебе деньги надо, я тебе дам. Только ты Ефремову не говори, а то он бедствует. Я тебе дам, хоть пять тыщ дам. А ему чего давать, он же нищий.

Я рассказываю о том, что знаю, о том, от кого и как я это узнал. Мои заметки никак не претендуют на то, чтобы дать полный, ясный ответ на то, каким был мой отец в повседневной политической жизни, какова была его роль во всех актах великой трагедии нашего народа.

Я приступил к этой книге с дрожью, но без жалости к отцу. Я установил, что он не был виновен в том, за что его судили.

С каждым днем я все больше верю в чистоту его помыслов, в его полное бескорыстие.

Мы часто сетуем на то, что люди, сделавшие революцию, исчезли, что теперь-де нет тех святых. Мы часто в видимом противоречии с этим говорим, что и они были не без пятнышка и потому-де все произошло.

Но вернемся к процессу.

Моя книга, вероятно, чем-то напоминает труды палеонтолога, пытающегося по концевой фаланге неизвестного чудовища реконструировать картины прошлой жизни. Странная работа, когда живы и ходят среди нас свидетели, участники и организаторы тех событий.

Для моей работы несущественно, кто был на второй день процесса на месте Крестинского: он ли после пыток или его двойник. Я пытаюсь проникнуть в состояние тех двадцати, которые сидели рядом с Николаем Николаевичем. Или с его двойником. Одним из двадцати был мой отец. Он видел Николая Николаевича второго марта и третьего марта. Видел его или его двойника.

Палачам было необходимо раздавить Крестинского, они боялись, что его примеру последуют другие, что может рухнуть весь процесс, основанный на самооговоре.

Люди, сидевшие на скамье подсудимых рядом с Н. Н. Крестинским, видели: вчера он отказывался от всего, а сегодня сам все признает и еще просит разрешения помочь Вышинскому. Или: вчера все отрицал, геройствовал, а сегодня сидит двойник. И все идет как надо. «И у тебя будет так. Хочешь, я покажу тебе твоего двойника? Вот твой двойник. Непохож? Но разве тебя так хорошо знают? Тебя же никто из сидящих в зале толком не знает! Кто тебя знает, Икрамов? А кто узнает — не пикнет».

Вместе с моим отцом были арестованы все пять братьев Икрамовых. «Хочешь, я заставлю за тебя сидеть на суде Карима, или Нугмана, или Усмана, или даже самого молодого — Юсупа? А ведь братьев необязательно. Можно любого узбека, любого...»

Нет, не слабость подсудимых перед лицом пыток решала исходы тогдашних процессов в конкретном и более широком смысле слова «процесс». Не слабость подсудимых, а слабость зрителей, слушателей, читателей. Хотел было поподробнее перечислить известных мне и всей стране людей, допущенных в Октябрьский зал Дома Союзов. Что их винить за тогдашнее молчание, если мы все до недавних пор молчали. Чем мы рисковали при Брежневе? Малым, очень малым, если сопоставить цену нашего риска с ценой, которую могут заплатить за это наше молчание наши дети и внуки. Эту мысль я повторяю часто, обращаясь с ней к читателям всех рангов, потому что жизнь длинна, а если учесть, что она продолжается в наших детях и внуках, то она бесконечна. Бесконечна, если свойственная всем людям мира социальная безответственность каждого из нас не приведет к концу света, к ядерной катастрофе, к тому, что перед собственной смертью мы увидим обугленные трупы наших детей и внуков.

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

Может быть, на процессе был Н. Н. Крестинский, может быть, был его двойник.

Может быть, дело в том, что, как полагают некоторые, процесс этот шел колесом больше месяца. Зал был полон. Вышинский с Ульрихом на месте, в первых рядах — следователи, и обвиняемые не могли знать, когда репетиция, а когда спектакль. Есть такая версия. Может быть.

Может быть, им обещали жизнь и еще что-нибудь за послушание? Что им обещали?

Этого быть не может. Дурачков там не было, чтобы верить.

У меня все не идет из головы то, с какой заботой моему отцу доставляли весточки от моего дедушки. А ведь никто из тысяч «идущих по тройкам и ОСО» вообще не получал писем и передач.

Я помню огромного широкоплечего дядю, который во время процесса таинственно приходил, запирался с дедушкой в его врачебном кабинете и потом уходил с письмом к отцу.

«Вот, видите, ваш сын жив. На свободе. Вчера ходил в Центральный детский театр на пьеску «Негритенок и обезьяна». Он получил значок БГСО». — «Что такое БГСО?» — мог спросить отец, глядя на фотографию сына с непонятным значком на бархатной курточке. «БГСО — будь готов к санитарной обороне СССР, — объясняли ему и добавляли: — А ведь все может быть иначе...»

Я почему-то запомнил отца суровым и сдержанным. Но все в один голос, начиная от знаменитого профессора И. А. Кассирского, лечившего меня в детстве, и кончая милиционером Ефремовым, охранявшим наш дом, говорят, что отец обожал меня, трясся надо мной и сходил с ума, когда я болел или долго не возвращался домой. Может, угрожая моей жизни, заставили его быть послушным?

Не могу отвязаться и еще от одного страшного предположения. Не замучили ли они на глазах жертв процесса одну из известных им всем женщин. Почему-то я всегда думаю о вполне реальном человеке — жене Николая Антипова [1].

Я помню ее в серой шубке с пуговицами, похожими на срезы древесных сучков. Говорят, это было модно. Она казалась мне очень красивой и подарила мне автомобильные гонки — заграничную игрушку. Звали ее тоже интересно — Степа.

Она приезжала с мужем в Ташкент, когда мы жили еще на Уездной. Н. К. Антипов потом ведал, кажется, комитетом по физкультуре и спорту. Как-то я оказался у них на даче зимой. Там была комната И. Д. Папанина, он жил на даче Антипова, подарил тому шкуру белого медведя.

Последний раз я помню Степу в гостинице «Москва». Очевидно, это май — июнь [2] тридцать седьмого.

Она пришла какая-то бледная, и отец выставил меня в соседнюю комнату нашего огромного номера.

Из любви к тете Степе я крутился поближе к двери.

«Ты понимаешь, они пришли, все перерыли... Помнишь, всем нашим рассылали для сведения «Майн Кампф»? Они схватили и тычут мне в нос. Помнишь, ведь всем членам правительства рассылали?» — «Да». — «Акмаль! Пойди к нему! (Я понимал уже тогда, речь идет о Сталине. — **К. И.**) Скажи ему. Ты же знаешь, что Николай невиновен». — «Я ничего не могу сделать». — «Но ты же понимаешь...» — «Понимаю. Я ничего не могу сделать». — «Но он ведь тебя любит. Он же тебя обнимал в театре». — «Пойми, Степа, я ничего не могу сделать».

Когда тетя Степа вышла, я выглянул в коридор. Она шла по ковровой дорожке, как пьяная. Ее шатало от стенки к стенке.

Степа исчезла бесследно.

Мало ли жен исчезли бесследно в те годы, но я все время думаю о ней.

И еще я думаю, что отец не сказал ей: «Если его взяли, значит, он — сволочь». А ведь в эти самые дни мать сказала так. Мать и отец незадолго до ареста думали по-разному. Есть и другие тому свидетельства. Например, еще один рассказ З. Д. Кастельской.

— ...Это было в самом начале весны тридцать седьмого. Отец твой решил погулять вечером, а я собиралась домой. Мы пошли вместе.

«Скажите, Акмаль, что же это?» — спрашивала я о сенсационных арестах тех дней, а он отвечал как-то очень неопределенно, а потом вдруг обернулся ко мне и сказал: «Неужели, Зинушка, вы не понимаете, что если я завтра скажу, что вы троцкистка, то поверят мне, а не вам?» — «Что вы говорите! При чем здесь это?» — «Если я скажу, что вы троцкистка или еще что-нибудь, то поверят мне. Вам уже никто не поверит. Понятно?» — раздраженно спросил отец. — «Что вы говорите! Что вы говорите!» — «Ладно, — сказал отец. — Хватит. Я вам ничего не говорил».

Прежде чем закончить рассказ о том, как я читал стенограмму процесса, еще две цитаты.

Из последнего слова Н. И. Бухарина:

«Мне кажется, что когда по поводу процессов, происходящих в СССР, среди части западноевропейской и американской интеллигенции начинаются различные сомнения и шатания, то они в первую очередь происходят из-за того, что эта публика не понимает того коренного отличия, что в нашей стране противник, враг, в то же самое время имеет это раздвоенное, двойственное сознание. И мне кажется, что это нужно в первую очередь понять.

Я позволяю себе на этих вопросах остановиться потому, что у меня были за границей среди этой квалифицированной интеллигенции значительные связи, в особенности среди ученых, и я должен и им объяснить то, что у нас в СССР знает каждый пионер.

Часто объясняют раскаяние различными, совершенно вздорными вещами вроде тибетских порошков и так далее. Я про себя скажу, в тюрьме, в которой я просидел около года, я работал, занимался, сохранил голову. Это есть фактическое опровержение всех небылиц и вздорных контрреволюционных россказней.

Говорят о гипнозе. Но я на суде, на процессе вел и юридически свою защиту, ориентировался на месте, полемизировал с государственным обвинителем, и всякий, даже не особенно опытный человек в соответствующих отделах медицины, должен будет признать, что такого гипноза вообще не может быть».

Подумать только, как обстоятельно и последовательно Бухарин опровергает измышления западных профессоров, объясняет им то, что «у нас в СССР знает каждый пионер». Интересно, кто писал ему этот текст? Неужто Лев Романович Шейнин не знал, кто это писал? Неужто мы не вправе знать это, как это было на самом деле?

Почему же не спрашиваем?

Перечитывая, не могу отделаться от ощущения, что этот текст писал или продиктовал сам Сталин. Его фразеология, его интонация. Впрочем, и у Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите» я ее услышал. Очень я доверяю собственному слуху и прошу за это прощения у читателя.

«Очень часто объясняют эти раскаяния достоевщиной, специфическими свойствами души (так называемой l'âme slave [1]), что можно сказать

[1] «Антипов Николай Кириллович (1894—1941) сов. гос. парт. деятель. Чл. КПСС с 1912 г. Участник Окт. рев-ции 1917 г. в Петрограде. С 1919 секр. губ. (обл.) парт. к-тов (Казань, Москва, Урал, Ленинград) и Сев.-Зап. бюро ЦК. С 1928 нарком почт и телеграфов, с 1931 зам. наркома РКИ СССР. С 1935 пред. Комиссии сов. контроля, одноврем. зам. пред. СНК и СТО СССР. Чл. ЦК партии с 1924, През. ЦКК с 1931. Чл. ЦИК, ВЦИК» («СЭС»).

Думаю, что дата смерти и здесь условная.

[2] Думаю, июнь, июньский пленум ЦК ВКП(б), на котором, уверяют многие, был решен вопрос о предоставлении Ежову чрезвычайных полномочий.

[1] Славянская душа (фр.).

о типах вроде Алеши Карамазова, героев «Идиота» и других персонажей Достоевского, которые готовы выйти на площадь и кричать: «бейте меня, православные, я злодей».

Но здесь дело совершенно не в этом. В нашей стране так называемая l'âme slave и психология героев Достоевского есть давно прошедшее время, плюсквамперфектум».

Дочь Николая Ивановича — историк, кандидат наук — уверена, что ни одна фраза в последнем слове Бухарина ему не принадлежит. Мне и то кажется, что стилизация под Бухарина здесь очень недостоверна. Слишком уж он усердно проявляет эрудицию.

«Такие типы, — продолжает он в стенограмме, — не существуют у нас, они существуют разве на задворках маленьких провинциальных флигельков, да вряд ли и там существуют. Наоборот, в Западной Европе имеет место такая психология.

Я буду говорить теперь о самом себе, о причинах своего раскаяния. Конечно, надо сказать, что и улики играют очень крупную роль. Я около 3 месяцев запирался. Потом я стал давать показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что я в тюрьме переоценил все свое прошлое. Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись. И, наоборот, все то положительное, что в Советском Союзе сверкает, все это приобретает другие размеры в сознании человека. Это меня в конце концов разоружило окончательно, побудило склонить свои колени перед партией и страной. И когда спрашиваешь себя: ну, хорошо, ты не умрешь; если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего?»

Ни о чем не прошу, только — читайте внимательно.

«Изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни... И тотчас же на этот вопрос получается тот же ответ. И в такие моменты, граждане судьи, все личное, вся личная накипь, остатки озлобления, самолюбия и целый ряд других вещей, они снимаются, они исчезают. А когда еще до тебя доходят отзвуки широкой международной борьбы, то все это в совокупности делает свое дело, и получается полная внутренняя моральная победа СССР над своими коленопреклоненными противниками. Мне случайно из тюремной библиотеки попала книжка Фейхтвангера, в которой речь идет относительно процессов троцкистов».

(Бухарин, наверно, сказал бы: «Мне дали книжку Фейхтвангера». Он бы понял, как фальшиво звучит: «случайно из тюремной библиотеки». Кстати, книга подписана к печати в самом конце 37 года, 24 ноября. Бухарин заметил бы и это. — **К. И.**)

«Она на меня произвела большое впечатление. (Тот, кто звонил среди ночи в издательство Митину, лично же и приказал дать книгу Николаю Ивановичу, сомнений тут нет. — **К. И.**) Но я должен сказать, что Фейхтвангер не дошел до самой сути дела, он остановился на полдороге, для него не все ясно, а на самом деле все ясно».

Сталинский стиль!

А что думал про все это Лион Фейхтвангер в своем комфортабельном далеке? Промолчал? Если б не промолчал, мы бы об этом знали.

Мой отец в своем последнем слове говорил: «Перед тем, как меня арестовать, мне показали кучу материалов Наркомвнудела. Это — показания людей, данные в 1937 году, это — материалы, касающиеся меня. (Среди них самые страшные и невероятные — показания Николая Антипова, мужа тети Степы. — **К. И.**) Читай и скажи, что правильно, что нет.

Я должен сказать, что в этом отношении очень внимательным ко мне был Николай Иванович Ежов, который 4 раза со мной разговаривал. А я что сделал? Начисто все отрицал. Поэтому этот позор никак не может смягчить того обстоятельства, что я на 6-ой или 7-ой день одумался и стал давать чистосердечные показания. (А как же то, что Бухарин заставил отца сознаться на очной ставке? Это было в феврале. — **К. И.**) Это ни в коем случае не уменьшает и не облегчает в какой-либо степени мое падение.

Дальше я вам скажу, что я никак не хочу прикрываться Бухариным или «право-троцкистским блоком», но я должен сказать, что наша националистическая программа значительно обогатилась и активизировалась на контрреволюционные действия именно благодаря сидящим здесь со мной участникам «право-троцкистского блока» и особенно его правой части под руководством Бухарина и Антипова...

Нам дано совершенно справедливое звание врагов народа, предателей родины, шпионов, убийц.

...я все, что знал, раскрыл, всех участников преступлений назвал и сам себя разоружил. Поэтому, если что можно сказать в свою пользу, прося о защите, о пощаде, так это то, что я сейчас — раздетый человекоподобный зверь».

И тогда, в пятьдесят пятом году, в газетном зале Исторической библиотеки, и сейчас мне страшно читать эти слова. Вернее, тогда было страшно читать, а сейчас страшно переписывать в книгу об отце.

Так вот, слова, которые приведены в стенограмме, страшны и важны. А был ли на процессе в день, когда произносились «последние слова», мой отец или его двойник — совершенно несущественно.

МЕЖДУ СТРОК

Жить надо долго.

Это я понял не так давно. Стоял я в старом Московском крематории возле многоячеистого шкафа, где в одной урне уместился прах моего деда по матери, его жены, моей бабушки, которую я почти не помню, и еще прах моей бездетной тети Нади, сводной сестры матери.

Где-то совсем рядом вдруг заиграл орган. Потом я услышал еще скрипку и виолончель. Кого-то хоронили.

Я часто бывал здесь, но то ли музыка так подействовала, то ли мысль пришла страшная, я заплакал. Я плакал, потому что впервые, будучи уже сам отцом, понял, в каком горе погибал мой отец. Я плакал о том, что нет загробной жизни, что мой отец, когда его вели на расстрел, провидел только часть моей судьбы, только самое плохое: сиротство, гонения в школе, опасность специального детдома, попытки вовсе стереть с лица земли весь род Икрамовых, о чем громогласно заявляли с трибун в конце тридцатых годов. Да, это была не тайная цель, а запечатленная в миллионных тиражах газет задача.

Отец мог провидеть и лагеря, в которых я должен был «дойти» и погибнуть.

А моя мать? Что она могла думать о будущем своего очкастенького, рыхловатого, не слишком трудолюбивого и не очень-то способного, судя по школьным отметкам, сына? Что она могла думать обо мне, когда ее вели на расстрел? Что она думала, когда в нее целились?

В моем доме нет ни одной вещи, принадлежавшей отцу или матери.

...Но вот зимой 1988 года пришла бандероль из Ленинграда от некой Марии Николаевны Савиной. Фамилия вначале ничего мне не сказала, я отложил бандероль в сторону, а потом, читая какое-то деловое письмо, вспомнил, вернее, предположил: не родственница ли это тети Лизы, нашей домработницы в Ташкенте. В соответствии с поздними пред-

ставлениями о людях из обслуги видных партийных работников, а также потому, что тетя Даша, служившая у дедушки, недолюбливала тетю Лизу, как теперь понимаю, ревновала ее, ибо сама любила нашу семью как родную до самой своей смерти, я одно время думал, что тетя Лиза была «приставлена к нам» ГПУ. А в детстве я очень ее любил, любил ее рассказы о ее родном Угличе, а еще больше за то, что она читала мне перед сном интересные книжки — «Маугли», романы Жюля Верна, что-то очень красивое и сентиментальное из «Чтеца-декламатора»...

В начале шестидесятых годов тетя Лиза написала письмо на адрес деда, нашла меня, чтобы получить письменное подтверждение о работе в нашей семье. Нужно было для стажа, для пенсии. Жила она в Ленинграде. Я поехал туда.

«Тетя Лиза, — сказал я, — ты напиши, что надо, а я подпишу» — «Камилушка, милый, как же напишу, когда неграмотная?» — «Как это неграмотная? Ты же мне все детство книжки читала. Разучилась, что ли?» — «Читать-то я научилась давно, а писать не умею совсем, только фамилию».

Справку я написал, проследил за исходом борьбы за пенсию, еще какие-то документы добыл для нее, но больше не встречался, а она о себе не напоминала. Прости меня, ради бога, милая, верная, преданная тетя Лиза Соловьева!

...Вскрыл бандероль. Там была кремовая, из хорошего репса, художественно отстроченная панамка с шелковой коричневой ленточкой. А в письме, приложенном к бандероли, Мария Николаевна объяснила, что она очень плохо себя чувствует, собирается помирать и боится, что самую дорогую ей вещь после смерти выкинут. Вот почему она решила с панамкой расстаться. Как я уже писал, мы с отцом уехали в Москву в конце августа 1937-го, а мать арестовали пятого сентября в наше отсутствие. Тогда же, рассказывала тетя Лиза племяннице, в доме отключили телефон, был обыск. Изъяли много книг, писем, фотографий и оружие отца — пистолеты, винтовки, охотничьи ружья, которых в доме было много. Несколько комнат опечатали. Когда маму увели, на полу тетя Лиза увидела эту панамку и взяла ее на память, это единственная вещь, которую она потом вывезла из Ташкента.

Тетя Лиза была и при аресте отца. В противоречие с рассказом милиционера Ермоленко тетя Лиза говорила племяннице, что отец не с Загвоздиным уехал, а его посадили в обычный воронок.

Сначала тетя Лиза уехала в Углич, потом с племянницей в Ленинград, попала в блокаду, ходила строить укрепления, едва осталась жива, но панамку хранила. Умерла тетя Лиза двадцать лет назад и поручила племяннице панамку беречь.

Мария Николаевна человек интеллигентный, работала на важных должностях, вдова фронтовика, мечтает перед смертью поглядеть на меня, а то видела лишь однажды по телевизору, все собирается в Москву, да очень плохо передвигается — тяжелый полиартрит. Она пишет, что тетя Лиза после войны стала очень верующей и вряд ли в Ленинграде есть хоть одна церковь, где бы тетя Лиза не ставила свечек, где не молилась бы о моих отце и матери, а особенно о моем здравии. Может, потому, пишет Мария Николаевна, ты и остался живой?

Мне невыносимо тяжело перечитывать письмо Марии Николаевны, а когда вновь читаю, то с какой-то неведомой прежде силой хочу верить в существование жизни по ту сторону смерти.

Моя жена Ольга взяла в руки кремовую панамку, долго рассматривала и сказала:

— Что же это за страна такая, когда от человека остается одна панамка?

Она думает, естественно, о своей стране, а не о других, где подобное тоже бывало.

Я стою и плачу в крематории, где находится прах моего деда. А где похоронены отец и мать?

Я плачу потому, что нет загробной жизни.

А мой дедушка Лев Захарович? Может быть, он верил в нее? Как он там, что знает обо мне? В тридцать седьмом он лишился единственной дочери, любимого зятя, но жил на удивление всем мужественно, стойко, гордо. Он верил в добро и преклонялся перед учением Льва Толстого. Вслух, сдвинув толстые очки на лоб и уткнувшись коротким носом в страницу, он читал мне сказку «Чем люди живы». Еще он читал мне Шолом-Алейхема и рассказал о том, как играли в театре Михоэлс и Зускин.

Когда меня пришли забирать, дед не суетился, сосредоточенно укладывал в наволочку разрешенные вещи, не забыл зубной порошок и щетку.

Шестеро в шинелях с оружием и погонами, плачущие понятые... Дед был известным врачом, блистательным диагностом, имел элитарную клиентуру, которая хорошо оплачивала его труд, а всех в округе своего бывшего врачебного участка дед лечил бесплатно. Понятые сами лечились у него, и детей их дедушка спасал от скарлатины, дифтерита, ангин и пневмоний.

Понятые плакали, жалея его и меня, а дед старался ничего не забыть, но не боялся предвидеть, что меня берут надолго и увезут далеко.

Я спросонья думал, что это все ошибка, а дед знал, что в этом деле ошибок не бывает. Он очень многое понимал. Не знаю, откуда бралось это понимание, но четко помню, как в мае сорок первого он сказал, что скоро будет война с немцами.

Не помню, поцеловал ли я его, когда меня уводили. Кажется, я спешил.

Дед очень надеялся, что в честь Победы объявят амнистию и его несовершеннолетний внук будет освобожден. Амнистия была для воров, грабителей, насильников, растратчиков и мошенников. Враги народа и дети врагов народа под амнистию не подпали.

Представляю себе горе старика по его утешительным письмам ко мне в лагерь. Так вот, вскоре после этой амнистии летом сорок пятого дедушка нес на почту продуктовую посылку, чтобы подкормить едва не умершего в лагере с голоду единственного внука. Он нес посылку, в которой были лендлизовские консервы, сухари и сахар. Ему было семьдесят шесть, и он очень плохо видел.

Он нес посылку, переходил улицу, и его сшибла какая-то военная легковая машина. Сшибла и скрылась. Много людей видели это.

Дед умер в тот же день, но до самой смерти был в сознании. Что он думал обо мне?

А посылку я получил, ее отправила соседка — тетя Даша.

...Орган, скрипка и виолончель.

Я стою у высокого стеллажа с фаянсовыми урнами и плачу. Сердце мое сжимается, у горла ком от жалости к близким, к отцу, к матери, к деду. Если бы они могли видеть меня теперь, видеть таким вот, нет, не плачущим, а вполне респектабельным жителем столицы.

Вот я, лениво приподняв руку, остановил сверкающую новую машину, сел в нее, и, только усевшись на ковровое сиденье, понял, что сослепу остановил не такси, а «левака». Может, им оттуда, сверху, тоже не видно, что это не моя машина. Вот бы они порадовались. А дальше — все правда, я еду домой, в свою четырехкомнатную квартиру. Если бы отец и мать знали, что я переживу их возраст, что у меня будет любимая жена, удивительная дочка, гостеприимная теща...

Боже мой! Как мало они могли надеяться, что я вообще останусь жив! Нет, они не виноваты, никто не мог бы предположить; и прокурор (не то Трофимов, не то Тимофеев), жалея меня, сказал в пятьдесят первом году: «Я знаю, что вы не виноваты. И он, — кивок в сторону следователя, — знает, что вы не виноваты, но вы будете сидеть всю свою жизнь».

Зачем я пишу об этом в книге об отце? Да затем, чтобы нынешние отцы думали о своих детях, и, самое главное, я пишу, выполняя свой долг перед Родиной.

Только память — основа сознания, только память о прошлых наших ошибках может предостеречь от ошибок сегодняшних и завтрашних.

Поезд можно остановить, если он идет не слишком быстро, если уклон не так велик. Может быть, не надо трогать поезд с места, если путь не тот? Наконец, в поезд можно не садиться, пока в него не загоняют силой.

Думаю о тридцать седьмом. Уверен, что очень малое число его жертв за год или за два могли полагать, что навсегда исчезнут с лица земли, что дети их отрекутся от родителей, что родственники не пустят их на порог. Им казалось, что несправедливость — справедлива.

Мой отец был из другой породы. Он хотел остановить поезд, но было поздно.

Читатель! Если у тебя есть дети и внуки, читай эту книгу как предостережение. И не думай, что судьба твоих детей сложится так же удачно, как моя.

Мне несказанно повезло: я остался жив, хотя, как и многие миллионы ни в чем не повинных людей, был обречен на смерть. Я остался жив и обязан рассказать об этом. Вот почему я пишу о том, что помню, что знаю.

ДЕЛО МОЕГО ОТЦА

Количество мелких «в масштабе великих преобразований» несправедливостей множилось, к ним привыкали, к ним относились как к жертвоприношениям Минотавру. Тридцать седьмой знаменателен тем, что его жертвы в своем чудовищном большинстве не подходили ни к одной из групп, погибавших раньше, но шли вслед за ними и погибали вместе с ними.

Когда я думаю об этом, то чаще всего вспоминаю наркома внутренних дел Узбекистана Загвоздина. Звали его, кажется, Николай Алексеевич, был он комиссаром госбезопасности какого-то ранга, а раньше, как мне говорили, матросом.

Летом тридцать седьмого он часто бывал у нас дома и на даче. Иногда они долго вдвоем с отцом играли на бильярде и оба были одинаково мрачными. Не помню я никакой враждебности между тем, кто ждал ареста, и тем, кто ждал, когда ему дадут приказ об аресте.

Загвоздин погиб.

Помню, как он мрачнел и мрачнел в то лето. Не знаю, есть ли у него дети, есть ли внуки. Как пережили они то время, что они думают про это?

А лето тридцать седьмого года в Ташкенте было страшным.

Спешно уехал в Москву искать правду снятый с работы председатель Совнаркома Узбекистана Файзулла Ходжаев. На место Ходжаева был назначен новый председатель Совета народных комиссаров Абдулла Каримов. (Я упоминал о нем. После ареста он выбросился из окна.) Он принадлежал к породе черных узбеков, был очень смуглый, крепкий, уверенный в себе человек. Абдулла Каримов был другом моего отца. В газетах появились статьи о новом председателе Совнаркома, его большой портрет, а через две-три недели после этого Каримова арестовали. Был арестован и давний друг отца Акбар Исламов, рабочий-наборщик в 1917 году, потом активный коммунист, человек по тем временам весьма образованный и до того красивый и обаятельный, что, учась в Москве, увлек красавицу-грузинку, женился на ней и родил сына Темура. Это единственный узбек, который так хорошо знает грузинский язык и обычаи. Темур по-русски говорит с красивым грузинским акцентом и поднимает тосты за то, чтобы наши отцы на том свете дружили так же, как они дружили на этом.

Вместе с А. Каримовым и А. Исламовым — почти одновременно — арестовали еще двух членов ЦК Узбекистана. Отец позвонил Сталину.

Знаком его близости к Сталину всегда было то, что отца беспрепятственно соединяли с ним. Отец позвонил Сталину и сказал, что он не понимает действий НКВД, ибо Абдулла Каримов — человек вполне проверенный, безупречный и не может быть замешан ни в каких контрреволюционных делах. Не знаю, говорил ли отец о других, но о Каримове — точно. Я не знаю, что отвечал ему Сталин, знаю зато, что после этого разговора, кажется, в июле 1937 года или в августе, отца со Сталиным больше не соединяли.

Отец знал, что это значит, и не сомневался, что теперь и самого его арестуют.

Где-то в августе учительница музыки пожаловалась отцу, что я ленив и непослушен. Я действительно был ленив и непослушен. Отец позвал меня к себе в кабинет и долго с какой-то тревогой втолковывал, что я должен учиться, что я должен научиться работать, что я должен приготовиться к трудной самостоятельной жизни, ведь мало ли что может случиться.

«Ну, что может случиться?» — спросил я у папы.

«Мало ли что, — сказал отец. — Ну, а вдруг я помру».

«Мама будет», — ответил я. У меня выработался иммунитет к воспитательным разговорам.

«Ну, а если мама помрет?»

Предположение показалось мне невероятным, казалось абстрактной задачей, книги про сирот я читал, и сказал: «Тогда я буду вещи продавать».

Отец махнул рукой.

В конце августа он сказал моей няне: «Лиза, соберите Рыжкины учебники и одежку, он будет жить у дедушки в Москве».

Я страшно обрадовался. Дедушка меня баловал, а отец держал в строгости. Я и не задумался тогда, почему это отец отправляет меня из Ташкента в Москву. В этом не было резона, но я и не искал его. Думал, что мне повезло.

Мы ехали салон-вагоном. Вместе с нами ехали несколько партийных работников из ЦК Узбекистана — кто на курорт, кто просто в Москву по делам. Ехала и секретарша отца — Лена. Мы с Леной играли в подкидного дурака, а отец со своими товарищами — в преферанс.

Однажды он послал меня в свое купе не то за карандашом, не то за бумагой. На письменном столе я увидел ужасную картину: флакон с одеколоном упал, притертая пробка выпала, одеколон растекся по столу и залил удостоверение члена ЦК ВКП(б). Отец очень дорожил и гордился этим удостоверением, а тут я увидел, что буковки на нем расплылись, чернила затекли и фотокарточка намокла. В страхе я прибежал к отцу. Я боялся, что он подумает, что это я опрокинул флакон. Отец только махнул рукой: «А, пусть...»

Странно было и в Москве.

Отец никогда не баловал меня, а тут вдруг проявлял ко мне особую нежность.

«Лена, — сказал он, — вот вам деньги, походите по магазинам и купите Рыжке игрушек. Какие он захочет, такие и купите».

Мы ходили с Леной по магазинам. Там была масса игрушек. Мне нравились многие. Но я не решался попросить их. Я боялся, что отец скажет, как говорил часто: «Ну и барчук! Просто безобразие».

Особенно мне приглянулся гоночный заводной автомобиль с рулем, поворачивающим колеса. Он был цвета кофе с молоком, у него были резиновые шины, настоящее ветровое стекло и черное сиденье, похожее на кожаное. Как сейчас помню, автомобиль этот стоил тридцать рублей. Я не решился сказать Лене, чтобы она его мне купила.

Мы долго ходили по магазинам и вернулись в «Метрополь» к вечеру. От шума и массы впечатлений у меня началась сильная головная боль, я страдал тогда мигренями.

Этот номер в «Метрополе» я вспоминаю часто. Это были три комнаты и холл. Кабинет выходил окнами на бензоколонку. Угловой, с «фонарем». Отец заказал обед в номер. Он непривычно суетился, спрашивал меня, что я хочу есть (меня никогда не спрашивали, чего я хочу, считалось необходимым приучать меня есть все то, что едят другие, только так).

«Чего ты еще хочешь? — спрашивал отец. — Ну, говори, говори, чего ты еще хочешь?» И я решился сказать, что я хочу еще лимонную воду. Я имел в виду лимонад, который в Ташкенте почему-то назывался лимонной водой.

«А мороженое? Хочешь мороженое?» — «Хочу»,— сказал я. «Какое ты хочешь мороженое? — отец назвал, читая меню, несколько сортов, о которых я и представления не имел.— Хочешь шоколадное с орехами?»

Лимонная вода превзошла все мои ожидания. Отец не мог догадаться, что я просил лимонад. Подали графин лимонного сока с кусками льда. Подали мороженое с миндалем.

А у меня все сильнее болела голова. Отец увел меня в угловую комнату, как раз в ту самую, где фонарь, посадил к себе на колени, стал целовать меня и плакать.

Был вечер, света он не зажигал, темная мебель, черный диван. Отец плакал и целовал меня, а у меня дико, нестерпимо болела голова.

«Рыжка,—говорил он,—что бы ни случилось со мной, помни, что я всегда был честным человеком. Я всегда был честным коммунистом. Ленинцем, Рыжка,—говорил он мне.—Я хочу подарить тебе что-нибудь на память, потому что, наверно, мы больше с тобой не увидимся».

Сначала он хотел подарить мне свои очень плоские вороненые карманные часы, а потом подарил перочинный ножик о четырнадцати лезвиях. Этот нож у меня украли, когда я был учеником ремесленного училища.

С номером в «Метрополе» связано еще одно воспоминание. Отец разговаривал с кем-то по телефону. Телефон был старомодный, с тонкими рычажками, на которых лежала трубка. Отец разговаривал, сердился, что-то доказывал, нервничал, а потом с маху ударил трубкой по рычагам. Никелированные рычаги разошлись в разные стороны. Человека, с которым отец разговаривал, он называл Николай Иванович. Видимо, это был Николай Иванович Ежов, потому что Николай Иванович Бухарин уже был арестован.

В той угловой комнате отец разговаривал со мной долго. А у меня все сильнее болела голова, и я никак не понимал того, что говорил мне отец. Он просил меня не верить тому, что будут о нем говорить и писать, просил меня слушаться дедушку и хорошо учиться, научиться работать, потому что я очень ленив, и это ужасно. Сейчас, вспоминая все это, я с болью думаю, сколько горя я причинял своему отцу тем, что, расставаясь со мной, он не был уверен во мне, не знал, получится ли из меня человек.

Мою дочь зовут Анной. Она А. Икрамова. В ее комнате на видном месте—фотография памятника Акмалю Икрамову. Деду.

Она московская девочка, теперь уже студентка. И в хорошей школе училась, в прекрасной английской школе. Это близко от нашего дома, а в эту школу не ленятся возить детей издалека. Директор—замечательный педагог, он до сих пор любит и помнит нашу дочь, всегда спрашивает про нее, зовет Анютой.

В этой школе переполох. Говорят, в ней будет учиться американка, которая совсем не знает русского языка, дочка Светланы Иосифовны, внучка Сталина. По знакомым коридорам дочкиной школы будет ходить девочка-американка с русским именем Ольга. В этом же буфете будет на переменах жевать пирожки и бутерброды.

Вот ведь какая выходит история! Две внучки, почти ровесницы, обе—в джинсах и кроссовках... У одной в комнате фотография памятника—человек с раскинутыми добрыми руками и надпись на цоколе—Акмаль Икрамов. А у другой?..

У нее может быть огромная коллекция фотографий памятников, стоявших на всех углах и во всех скверах всех городов нашей страны и во многих других местах.

Сегодня день рождения Олиного деда, ему сто пять лет, и мне сказали, что Олю ее мама увозит в Грузию. Значит, будет она учиться в другой школе. Но и в той школе сойдутся судьбы совсем разные, из которых сложится завтрашний день страны. Моя дочь гордится своим дедом. Интересно, будет ли Оля гордиться своим?

Это очень важно.

О приезде Светланы с дочерью, о школе № 45 я писал 21 декабря 1984 года. Переделывать в прошедшее время уже не могу.

Зачем и кому, для какой нелепой или страшной цели нужно было выманивать к нам эту больную, несчастную пожилую женщину с дочерью? Сознаем ли мы это как часть замысла реставрации сталинизма, реально грозившее стране и народу будущее?

Слышал, будто Светлана, вновь оказавшись на Западе, не собирается писать книгу о своем втором пришествии, а ее дочка вела дневник и, возможно, будет его публиковать. Интересно, что увидела и поняла девочка-подросток в Москве и в Грузии? Не досужий интерес, хотя, как сказано в удивительном и загадочном «последнем слове» Н. И. Бухарина, все это—плюсквамперфектум, давно прошедшее.

(А вдруг—нет?)

Только теперь понимаю, что подарки, которые мы не купили тогда, в сентябре тридцать седьмого, предназначались к моему дню рождения. Десятого сентября мне исполнялось десять лет. Кажется, вечером того дня мы провожали отца из Москвы в Ташкент. По дороге остановились возле здания на площади Дзержинского, отец зашел в боковой подъезд, вышел оттуда скоро, и в молчании мы доехали до вокзала.

Люди, провожавшие отца, были хмурыми и молчаливыми. Его вагон был не в самом хвосте состава. К нему прицепили еще один салон-вагон. Потом я узнал, что в нем ехал Андрей Андреевич Андреев. Узнал и то, что вез он с собой письмо, датированное 10 сентября 1937 года.

«Пленуму ЦК КП(б) Узбекистана

Ознакомившись: а) с показаниями арестованных Бухарина, Ф. Ходжаева, Разумова, Румянцева, Полонского, Ходжанова, Антипова, Рыскулова

б) протоколами очной ставки т. Икрамова с Бухариным, Ф. Ходжаевым, Антиповым, Разумовым, Румянцевым и

в) заявлением т. Икрамова

ЦК ВКП(б) установил, что

1) т. Икрамов не только проявил политическую слепоту и близорукость в отношении буржуазных националистов врагов узбекского народа Ф. Ходжаева, Ходжанова, Балтабаева, Таджиева, Каримова и др., но иногда даже покровительствовал им.

2) у т. Икрамова, по-видимому, были связи с руководителями троцкистско-правых групп в Москве (Бухарин, Антипов и др.).

ЦК ВКП(б) постановляет:

1) Предложить пленуму ЦК КП(б) Узбекистана обсудить вопрос тов. Икрамова и сообщить свое мнение ЦК ВКП(б).

2) Командировать члена Политбюро ЦК ВКП(б) т. Андреева А. А. для разъяснения вопросов, связанных с настоящим письмом.

И. Сталин, В. Молотов».

Поезд тронулся, в руках у меня остался последний подарок отца—зеленый свитер-безрукавка. Потом из него сшили шарфик, который передали мне в тюрьму, чтобы я не простудился, когда отправят на Север...

Ольга Постникова

ЛИРИКА

●

«Не выкупайся без земли».
Из письма Тараса Шевченко сестре.

Когда почти до смерти довели
И посулили волю дать на Спаса,
«Сестра, не выкупайся без земли.
На волю без земли не выкупайся!» —

Так ей писал расслабленный старик,
Седой вольноотпущенник несчастный.
Во мне живет его последний крик
Заклятием и просьбой ежечасной:

Не уезжай в свободные края,
Хоть миновало только две минуты
С тех пор, как не назначены друзья
В узилища, в бутырские закуты.

Свободы большей не бывало тут,
Чем в этот час безудержных молений:
В смирительной рубахе не везут
Уколами лечить от размышлений.

Полжизни стоит воля, но вдали
Ты не забудешь это рабство сроду.
Прошу, не выкупайся без земли,
Без родины не выйди на свободу.

Вот вся она с тобой, она со мной —
С листвою этой пушкинской багряной,
Той боровской тюрьмою земляной,
С бетонною адыловскою ямой.

В смертельной задыхается пыли.
Услышь ее больную укоризну.
Не выкупайся, не оставь земли,
Не покидай бессчастную отчизну.

●

Не дворянская стать,
не рылеевский жар,
Не броженье крови голубой, —
Нам дарован плебейский
рыдательный дар,
Брат мой вечный,
мы крови другой!

Наши тайны
бодлеровских тайн пострашней,
Но отчаянья не береги!

Всё же вырвались мы
из гигантских клешней,
Хоть и торжествовали враги.

Ты иссохнул уже
от смертей и потерь,
Самых близких павек отпустив,
Ты некрасовской болью
страницы проверь,
Ты Владимиркой вымеряй стих.

Нет прививки для нас
от вселенской беды,
Но и плачу и пенью внемли!
Только ужас не знай
той сыновней вражды. —
Он Марину довел до петли,

Ту курящую бабу
в железных очках,
Что сказала себе: «Не живи!»...
Как несчастный Шевченко,
пиши на клочках
Безответные песни любви.

Для того ты воззван
из московских трущоб,
Перемучен в стыде и во зле,
И комета Галлея
стремится к Земле
Льдистым светом
обвеять твой лоб.

●

Вот просвирник в листе,
точно в чашечке, держит росу,
А когда-то алхимики воду с травы собирали...
И безродная радуга
каплей дрожит на весу,
Обязательный штрих
подмосковной лесной пасторали.

В этой тяжести, круглой, как ртуть,
воспарения дар,
В ней прохлада всего,
что жара поглотила когда-то,
В ней дыханье твое и мое —
легкий шепот и пар —
Наконец-то слились! —
в этот зыбкий алмаз конденсата.

О, хрусталик глазной,
что от долгих рыданий незряч!
И куда из-под ног
этой влаге невиннейшей деться!
Пал пречистой водою
на землю неслышимый плач
Всех детей,
матерями оставленных
в Доме младенца.

Криста Вольф

ОБРАЗЫ ДЕТСТВА

РОМАН

Начиналось чтение романа нелегко. Текст сопротивлялся. Никак было не войти в роман. Не схватывало. Роман шел от первого лица. Затем это лицо расщеплялось. Героиня нынешняя встречается с собою-девочкой, то с маленькой, то с подростком. Узнает себя и не узнает. Несколько разновозрастных «Я» окружают рассказчицу, она пытается распознать их, воспоминания ранние мешаются с поздними, и все это — с нынешними переживаниями.

Дочь героини, Ленка, соседствует с юной Нелли, они одногодки. Ребенок Нелли живет где-то в сороковых годах, в военной, затем в послевоенной Германии. Рассказчица присутствует в романе и как мать, и как дочь, она и вспоминает, и анализирует процесс воспоминания, и контролирует этот анализ... Как в противостоящих зеркалах: бесконечно повторяется отражение, а отражается все тот же ищущий, устремленный в сёбя взгляд героини, охваченной истовым желанием понять ту девочку, которой она когда-то была. От этого вглядывания кружится голова. Чередование возвращения к себе, нет, не к себе — к своему отражению, попытки заглянуть в зазеркалье, понять себя, попытки очистить воспоминания от поздних знаний, все это, как водоворот, вдруг стало затягивать, оторваться было уже невозможно. Слишком мучительно сама героиня пробивалась к своим истокам, и в этой работе — с какого-то момента — бросить ее было нельзя.

Наверное, я приотвык от сложностей в нашей прозе. Сложность стилистическая, структурная, композиционная, а еще сложность психологического исследования свойств памяти требовали чтения вникающего. Криста Вольф ставит задачей воссоединить разорванное прошлое, разрыв героини со своим прошлым. Каким образом восстановить единство личности, состыковать детство с юностью, с превращением ребенка в образцовую маленькую фашистку, как их обеих соединить со зрелостью, с той женщиной, которая удивляется и не верит, и тоскует, не в силах представить, что это была она. Извечное, мучительное усилие человеческого «Я» понять — что же стало со мною. Как у В. Ходасевича:

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Только здесь наоборот — господи, неужели то была я, неужели я так могла думать, так чувствовать, так поступать? Она ужасается, прослеживая становление немецкой девочки, которая росла вместе с фашизмом в Германии, в своем маленьком провинциальном, казалось бы, таком патриархальном городке.

Сегодняшнее антифашистское сознание Нелли не может примириться, даже понять не может своего фашистского прошлого. Каким образом можно было так верить в фюрера, так стремиться быть образцовым членом гитлерюгенда, так принимать нацизм?..

Надо иметь немалое мужество, чтобы увидеть себя фашисткой, добраться до такой — и не сваливать вину на взрослых, на окружение, на

засилие пропаганды. Творчество Кристы Вольф всегда было в каком-то смысле подвигом духа, она не боялась касаться самого больного. Не вообще больного, а своего личного больного, того, что было, мучило, терзало ее саму.

Она не дает себе ни малейшего послабления ни в чем, не облегчает работу, восстанавливая истинный образ покалеченной детской души.

Иногда кажется, что маленькая Нелли извлекается откуда-то из древности. Ландшафт ее детства был уставлен лагерями смерти, школьные годы заполнены муштрой, песнями, тоже под стать этой муштре, песнями, которые запомнились: «Вперед, вперед, опасность юным не страшна. Германия, ты будешь жить в сиянье славы, пусть даже нам погибнуть суждено» — и в таком духе множество песен, которые упоенно распевала юная Германия.

Модный, в современной литературе почти обязательный для каждого писателя туризм в детство у Кристы Вольф получает иное назначение: она показывает, как подменили детство, как формировали фашистское сознание, как изготавливали антисемитов, будущих убийц. Так что это отнюдь не умилительная прогулка. Фашизм как идеология, сказал польский писатель Казимеж Брандыс, характерен не только для немцев, но немцы были в нем классиками. А классики — это образцовая методика, образцовая система обработки сознания, души. Начиная от «Хайль Гитлер», которое заменило «здравствуйте» и «до свидания». Постепенная обработка страхом, разного рода страхами. Один за другим подчиняются наступающему фашизму члены семьи Йорданов, их родные, дяди, тетки, деды, бабушки, соседи. Надо обтираться по утрам до пояса ледяной водой, как подобает немецкой девочке. Закаленные спортом люди обоего пола — вот граждане будущего (Адольф Гитлер). На все есть цитаты. По любому поводу приводятся соответствующие высказывания Адольфа Гитлера. Случись второе пришествие, Иисус Христос был бы приверженцем фюрера. Марш-бросок, участвовать в нем важнее, чем встретить мать из больницы. Гитлерюгенд диктует правила морали, ценности, поведение. Слова звучат, казалось бы, правильные: «Свободе наши жизни отдадим»... Правда, там все чаще встречается «Скачут кони на восток», «Восточному ветру подставьте знамена» — песни, которые помаленьку-потихоньку готовили марш немцев на Восток, на Россию. «В вечность ведет наше знамя, оно для нас больше, чем смерть». Слабость надо вырубать с корнем (Адольф Гитлер).

Немецкая литература тему фашизма разрабатывает почти полвека. Писатели-антифашисты, и в первую очередь немецкие писатели — Томас Манн, Лион Фейхтвангер, Анна Зегерс, Генрих Бёлль, Зигфрид Ленц, Гюнтер Грасс и многие другие, — создали замечательную антифашистскую антологию. Составилась как бы карта, которая охватила все области, все акты трагедии немецкого народа. Что нового здесь можно рассказать? Представляю себе, что сегодня писать о Великой Отечественной войне куда труднее, чем в шестидесятые годы. Нельзя повторяться, планка поднята достаточно высоко.

Криста Вольф открыла для меня совершенно неизвестный облик немецкого фашизма. Сейчас, после прочтения романа, изображение выглядит естественным: вот как семя фашизма прорастало в недрах семьи, в школе, как росло вместе с трехлетней девочкой — до этого возраста добирается глаз художника. Свойство настоящего открытия — вскоре оно воспринимается как само собой разумеющееся.

Роман «Образы детства» был издан в ГДР в 1976 году. Прошло тринадцать лет. Не знаю почему, как так получилось, что книга эта тоже стала з а д е р ж а н н о й литературой и только сейчас публикуется у нас. На мой взгляд, это одно из лучших произведений замечательной писательницы. Но как ни странно, в чем-то мы и выиграли от этой задержки. Роман ныне читается с куда большим чувством и воздействием, чем раньше. Почему так? Да потому, что социальный наш опыт резко возрос за последние годы. И как это ни больно, читая роман Кристы Вольф, мы невольно сравниваем. Хотим мы или нет, появляются одно за другим сравнения той немецкой жизни 1932 — 1945 годов и нашей жизни в годы сталинщины. Неприятные сравнения, обидные, недопустимые, но как бы

мы их ни заклинали, они появляются и никуда от них не денешься. Слишком многое можно сопоставить — и страхи, и школьные порядки, и доносительство, и шовинизм... нет, пожалуй, прямое называние ни к чему, оно грубее и сомнительнее, чем дух, сходная атмосфера жизни...

Жизнь наша — духовная, нравственная прежде всего — так переломилась, что и мы, подобно героине романа, зачастую не можем понять, не можем представить себя — как мы могли существовать в той сталинской системе жизни, в годы застоя и принимать их; почему мирились, оправдывали, гордились? Какова должна быть природа обстоятельств, приводящих к массовой потере совести? — вот вопрос, которым задается автор и мы вслед за ним, по раздумывая уже над фактами нашей отечественной истории. Вопрос за вопросом встает по мере чтения, у каждого читателя возникает своя мера сопоставления. Главное же, растут раздумья над прожитыми годами, над тем, такие ли мы на самом деле, какими себе кажемся, какими видим себя?.. Мы с удовольствием читаем чужие биографии, волнуемся чужими судьбами и лишь в каких-то безопасных дозах примеряем их к собственной судьбе. Роман «Образы детства» в этом смысле неудобен, он принуждает заняться собой отнюдь не ради теплых воспоминаний о детстве. У Нелли Йордан оно было счастливым, пока та, которая выросла, не высветила его иначе светом своей совести Больная совесть — это и есть, может, действующая совесть? Наверное, нам куда лучше, выносимее представлять, что в концлагерях люди непременно становились героями. «Будто достойно презрения — склониться под невыносимой тяжестью». Презрения — нет, но раздумья — да.

Криста Вольф не ищет выводов, не извлекает уроков. Она, как археолог, извлекает и очищает от завалов времени черепки — образы детства, из которых и не пытается сложить целое.

В тех образах, которые извлечены, не хватает, по крайней мере мне не хватает, детской любви к близким, к отцу и до его ухода в армию, и при его возвращении из плена: душа Нелли бедна любовью, счастьем, мечтами. Может, их недостает ее натуре, как знать, но может, они были иссушены, искажены в миропорядке тех лет. А может, и другое — они не вспоминаются, ибо перед нами воспоминания другого сердца, опаленного ненавистью к фашизму и поглощенного ныне лишь тем, чтобы уличить, разделаться с прошлым? Ибо беспристрастности тут не добиться, как ни стремись, как ни ищи ее.

Особенность романа — насыщенность мыслью этической, размышлениями о неодолимой силе нравственных начал, о механизме человеческой памяти и, следовательно, границ личности, ибо память это и есть хранилище «Я». Глубокая, выношенная мысль придает повествованию сочность и какую-то особую терпкость.

Говорить о недостатках романа Кристы Вольф имеет смысл прежде всего потому, что речь идет о произведении значительном. У значительного произведения интересны и поучительны слабости — или, вернее, наши претензии, наши требования к нему. Порой мне мешают излишние погружения в злободневную политику семидесятых годов. Газетный лист не пришивается к романной ткани. Хроника сегодняшних событий через десять, двадцать лет далеко не вся годится для чтения. Прошлое маленькой Нелли захватывает, оно драматично, оно открывает забытое, неизвестное, оно значительно. Нынешнее взрослой героини, оно проигрывает, оно кажется скучным, оно не осмыслено и не пережито, оно всего лишь старые газетные сведения, частично опровергнутые, исправленные жизнью.

Почти до самого конца нарастает драматичность романа. Хотя сюжет его неощутим и вопросы, поставленные автором, остаются без ответа. Мы так до конца не поймем, что же преобразило подростка Неллю, свято верящую в непогрешимость своего фюрера, не поймем, как происходит избавление от фашизма в этой семье? Человек — это тайна, о многом можно лишь догадываться, и хорошо, что Криста Вольф не выносит приговора над жизнью своей героини. Важно добраться до тайны, ощутить ее влекущую силу, волнующую нас соприкосновением с нашей собственной жизнью.

Даниил ГРАНИН

Аннетте и Тинке

Все персонажи этой книги вымышлены. Ни один не тождествен кому-либо из живых или ныне покойных лиц. Точно так же и рассказанные здесь эпизоды не повторяют реальных событий.

Если кто-нибудь обнаружит сходство героев повествования с собой лично или с кем-то из знакомых, ему следует отнести это за счет странной нехватки своеобразия, присущей поступкам многих современников. Узнаваемость поведения возникает по вине обстоятельств.

К. В.

Где мальчик, которым я был,—
во мне еще или ушел?

Он знает, что мы никогда
не любили друг друга?

Зачем мы так долго росли
вместе — чтобы расстаться?

Почему мы не умерли оба,
когда умерло мое детство?

Когда я падаю духом,
почему стоит мой скелет?

. . . .

Читает ли бабочка книгу
своих порхающих крыльев?

Пабло Неруда. Книга вопросов[1]

1. УЧИТЬСЯ ЖИТЬ В ТРЕТЬЕМ ЛИЦЕ. ПОЯВЛЕНИЕ ДЕВОЧКИ

Прошлое не умерло. И даже не прошло. Мы отторгаем его от себя, отчуждаем.

Нашим предшественникам вспоминалось легче — это догадка, утверждение, справедливое разве что наполовину. Очередная попытка воздвигнуть заслон. Постепенно, с течением месяцев, обнаружилась дилемма: остаться бессловесной или жить в третьем лице — вот, похоже, и весь выбор. Одно — невозможно, другое — жутко. А что менее для тебя несносно, выяснится, как обычно, по ходу дела. По ходу того, что ты начинаешь в этот хмурый день 3 ноября 1972 года, сдвигая в сторону кипы черновиков, заправляя в машинку чистый лист и вновь помечая его цифрой 1: глава 1. Как уже не раз за последние полтора года, на протяжении которых ты волей-неволей постигла: трудности еще впереди. Дерзни кто-нибудь честно уведомлять тебя о них, ты бы, как всегда, оставила его слова без внимания. Будто чужой, посторонний смог бы оборвать твою речь.

В перекрестном самодопросе открывается подлинная причина расстройства речи: между монологом и обращением к другому лицу происходит роковое изменение грамматических отношений. Я, ты, она, в мыслях сливающиеся воедино, в произнесенной фразе будут разобщены. Задушевность, к которой, казалось бы, стремится речь, гибнет, засушенная механическими упражнениями голосовых связок. Отвращение к речи. И его противоположность — почти неодолимое влечение к трескотне молитвенной мельницы: в том же лице.

Прибегать к предварительным уведомлениям, остерегаться категоричности, подставлять впечатления вместо клятвенных свидетельств — вот способ оказать трещине, проходящей сквозь время, заслуженный почет.

[1] Перевод П. Грушко.

В воспоминание вторгается Настоящее, и нынешний день есть, конечно же, последний день Прошлого. Потому-то мы бы непременно стали себе чужими — без нашей памяти о том, что нами сделано, что с нами происходило. Без нашей памяти о самих себе.

И вот — голос, решившийся заговорить об этом.

Тогда, летом 1971 года, поступило предложение съездить наконец-то в Л., ныне Г., и ты согласилась.

Хоть и повторяла себе, что это никчемная затея. Ну да пусть их как хотят. Туризм в родные некогда края переживал пору расцвета. Вернувшиеся хвалили почти сплошь дружелюбный прием со стороны нового населения и называли состояние дорог, питание и жилье «хорошими», «сносными», «приличными», и ты спокойно выслушивала все это. Что касается топографии, говорила ты, стараясь заодно создать видимость искреннего интереса, — что до топографии, то лично ты вполне можешь положиться на свою память: дома, улицы, церкви, парки, скверы, площади — план этого в общем непримечательного города запал в нее целиком и навсегда. Тебе экскурсия не нужна. И все же, сказал Х. Тогда ты принялась добросовестно готовиться к поездке. Свободное пересечение границы еще не было разрешено, однако предписания уже в то время соблюдались небрежно, так что ничего не говорящая запись «осмотр города» в графе «цель поездки» заполняемого в двух экземплярах ходатайства прошла на ура. Более точные формулировки типа «рабочая поездка» или «проверка памяти» вызвали бы недоумение. (Осмотр так называемого родного города!) Новые паспортные фотографии вы — не в пример сотрудникам бюро прописки народной полиции — сочли непохожими и даже отвратительными, поскольку они обгоняли ваше собственное представление о самих себе на очередной и решающий шаг к старости. Ленка вышла, как всегда, замечательно, тут вы были единодушны. Сама она закатила глаза, лишь бы не высказываться насчет ваших фотографий.

Пока ходатайства о выезде двигались по инстанциям, а Промышленно-торговый банк изучал прошения об обмене денег, твой брат Лутц на всякий случай по телеграфу заказал в том городе, который в твоих бумагах фигурировал на двух языках и под разными названиями — как «место рождения Л.» и как «цель поездки Г.», — гостиничные номера, ведь в твоем родном городе знакомых у вас ни души, переночевать не у кого. В положенный срок вы получили как документы, удостоверяющие личность, так и деньги, по триста злотых на каждого, и только накануне запланированного дня отъезда, когда позвонил Лутц и сообщил, что не успел получить свои документы, ты себя выдала: на целую неделю отложить отъезд — да ради бога!

И вот настала суббота, 10 июля 1971 года, самый жаркий день месяца, который, в свою очередь, был самым жарким в году. Ленка, в ее неполные пятнадцать лет уже привычная к поездкам за границу, в ответ на расспросы вежливо говорила, что да, ей это любопытно, она испытывает интерес, да-да, конечно. Х., такой же невыспавшийся, как и ты, сел за руль. В условленном месте у вокзала Шёнефельд ждал Лутц. Он поместился рядом с Х., за его спиной — ты, положив к себе на колени голову Ленки, которая по давней детской привычке до самой границы спала.

Прежние варианты начинались по-другому: с бегства — когда девочке было почти шестнадцать — или с попытки изобразить работу памяти как дорогу вспять, как изнурительное движение назад, как падение в колодец времен, на дне которого девочка, ни о чем не подозревая, сидит на каменной ступеньке и впервые в жизни мысленно говорит себе: *Я*. Да, большей частью ты начинала с описания этого мига, который, как ты убедилась путем расспросов, вспоминается крайне редко. У тебя же в запасе хоть и пообтрепанное, зато подлинное воспоминание, ведь более чем невероятно, чтобы некто посторонний наблюдал в тот миг за этой девочкой, а потом рассказал ей, как она сидела у дверей отцовского магазина и мысленно опробовала новое слово, Я Я Я Я Я, каждый раз со сладостным ужасом, в котором никому нельзя признаваться. Это она сразу поняла.

Нет. Нет такого стороннего очевидца, что перенес бы в сегодняшний день все те наши воспоминания о раннем детстве, какие мы считаем настоящими. Эта сцена достоверна. Каменная ступенька (она вправду существует, спустя тридцать шесть лет ты снова увидишь ее, она ниже, чем ты думала, — но кто теперь не знает, что места, где прошло детство, имеют обыкновение уменьшаться в размерах?). Неровный клинкер дорожки, ведущей к двери отцовского магазина, тропка в песке Зонненплац, Солнечной площади. Предвечерний свет падает на улицу откуда-то справа и отражается от желтоватых фасадов пфлессеровских домов. Негнущаяся кукла Лизелотта с золотистыми косами, в неизменном красном шелковом платье с оборками. Запах волос этой куклы, после стольких-то лет, как явственно и как невыгодно он отличался от запаха настоящих, коротких, темно-каштановых локонов куда более старой куклы Шарлотты, которая досталась девочке от мамы, носила мамино имя и была самой любимой. Ну а что же девочка, пора бы появиться и ей? Портрета нет. Здесь бы началась фальсификация. Память таилась в этой девочке и пережила ее. Тебе пришлось бы вырезать ее из фотографии и вклеить в воспоминание, тем самым испортив его. А ты ведь наверняка не собираешься мастерить коллаж.

До первой фразы, еще за кулисами, все было бы решено. Девочка стала бы выполнять указания режиссера: ее приучили к послушанию. Сколько бы тебе ни потребовалось — первые пробы всегда неудачны, — столько бы раз она и садилась на каменную ступеньку, брала на руки куклу и, по договоренности, в заранее разученном внутреннем монологе дивилась тому, что ей выпало счастье родиться в семье своих родителей, торговца Бруно Йордана и его законной жены Шарлотты, а, к примеру, не в семье этого ужасного торговца Рамбова с Веприцершоссе. (Торговец Рамбов — тот самый, что сбивал цену сахара с тридцати восьми пфеннигов за фунт на полпфеннига и даже на несколько пфеннигов, только бы насолить сопернику, Йордану с Зонненплац; девочка не знает, откуда взялся ее страх перед торговцем Рамбовом.) А потом из окна большой комнаты мама кликнула бы девочку ужинать и впервые назвала бы ее по имени, которое не раз еще встретится на этих страницах: Нелли! (И вот так, невзначай, свершилось бы крещение, без всяких упоминаний о кропотливых поисках подходящих имен.)

Теперь Нелли пора войти в дом, медленнее, чем всегда, потому что для ребенка, впервые в жизни мысленно произнесшего Я и ощутившего при этом трепет ужаса, голос матери уже не крепкая привязь, не поводок. Девочка идет мимо угловой витрины отцовского магазина, наверное, украшенной пачками ячменного кофе фирмы «Катрайнер» и кнорровскими суповыми колбасками, а ныне (тебе известно об этом с той июльской субботы 1971 года) превращенной в ворота гаража, где в десять утра, когда вы подъехали, какой-то мужчина, засучив рукава зеленой рабочей рубахи, мыл свою машину. Вы сделали вывод, что люди, проживающие сейчас на Зонненплац — в том числе и обитатели домов-новостроек, — покупают продукты в кооперативе на Веприцершоссе, где некогда торговал Рамбов. (Веприц зовется теперь Веприце, как, видимо, звался и раньше, ведь даже в твои школьные годы не оспаривалось, что географические названия на «-иц» и «-ов» имеют славянское происхождение.) Девочка Нелли сворачивает за угол, поднимается по трем ступенькам и исчезает за дверью своего дома, Зонненплац, 5.

Так-то вот. Она двигается, ходит, лежит, сидит, ест, спит, пьет. Умеет смеяться и плакать, строить пещерки в песке, слушать сказки, играть в куклы, пугаться, быть счастливой, говорить «мама» и «папа», любить, и ненавидеть, и молиться богу. И все это с обманчивой достоверностью. До той поры, пока не случится ей попасть впросак, не по годам умно высказаться, да что там — всего лишь допустить мысль или жест и разоблачить тем самым подделку, на которую ты едва не пошла.

Ведь трудно признать, что эта девочка — трех лет от роду, беззащитная, одинокая — для тебя недосягаема. Мало того, что вас разделяет сорок лет, мало того, что тебе мешает ненадежность собственной памяти, которая работает по принципу островков и задача которой: забывать, фальсифицировать! Девочка еще и покинута тобою. Сначала другими, пусть так. Но в итоге и тем взрослым человеком, который из нее вылупился и мало-помалу сумел нанести ей все обиды, какие взрослые обыкновенно

наносят детям: превзошел ее, отстранил, забыл, вытеснил, отрекся от нее, перекроил, подделал, избаловал и пренебрег ею, стыдился ее и хвастал ею, лживо любил и лживо ненавидел. А теперь, хоть это и невозможно, вздумал с нею познакомиться.

Туризм в полузабытое детство, как ты знаешь, тоже переживает пору расцвета, нравится тебе это или нет. Девочке безразлично, почему ты затеваешь эту поисково-спасательную акцию. Она будет невозмутимо сидеть, играя тремя своими куклами (третья, Ингеборг, — целлулоидный голыш, без волос, в голубых байковых ползунках). Главные приметы разных возрастов прекрасно тебе знакомы. Нормально развитой трехлетний ребенок расстается с третьим лицом, каковым считал себя до сих пор. Но отчего впервые осознанно произнесенное в мыслях *Я* наносит ему такой удар? (Всего не упомнишь. Но почему память сохранила это? Почему, к примеру, не рождение брата, немного спустя?) Почему испуг и триумф, удовольствие и страх так тесно сплетены для этого ребенка, что никакая сила в мире, никакая химическая лаборатория и, безусловно, никакой психоанализ не смогут вновь отделить их друг от друга?

Этого ты не знаешь. Весь материал, собранный и изученный, не дает ответа на подобные вопросы. И однако же не говори, будто напрасно ты неделями просматривала в Государственной библиотеке запыленные подшивки местной л-ской газеты, которые — и ты, и услужливая библиотекарша просто глазам своим не поверили! — действительно обнаружились в фондах. Не говори, будто напрасно требовала в Доме учителя доступа в опечатанное помещение, где от пола до потолка громоздятся школьные учебники твоего детства, упрятанные под замок, точно отрава, выдаваемые только по особому разрешению: немецкий язык, история, биология.

(Помнишь, что сказала Ленка, внимательно рассмотрев в учебнике биологии для десятого класса страницы с изображением представителей «низших» рас — семитской, восточной? Она не сказала ничего. Молча отдала тебе книгу, которую взяла тайком, и не выказала ни малейшего желания заглянуть туда еще раз. Да и смотрела она на тебя в тот день вроде бы не так, как всегда.)

Помощники воспоминаний. Перечни имен и фамилий, схемы городов, карточки с диалектальными выражениями, со словечками из семейного жаргона (кстати, так и не использованные), с пословицами, слышанными от матери или от бабушки, с обрывками песен. Ты начала разбирать фотографии, весьма немногочисленные, ведь толстый коричневый семейный альбом, вероятно, был сожжен позднейшими обитателями дома по Зольдинерштрассе. А стоит ли говорить о несметном количестве хроникальных сведений, которые, если приглядеться да прислушаться, широким потоком льются из книг, телепередач и старых фильмов, — все это наверняка было не напрасно. И, разумеется, не напрасно заодно всмотреться в то, что́ мы зовем «Настоящим», в день сегодняшний. «Массированные налеты авиации США на Северный Вьетнам». Не ровен час, и это канет в забвение.

Примечательно, что в свою защиту мы либо вдохновенно лжем, либо говорим с запинкой, сиплым голосом. Вероятно, не без причины мы не желаем ничего о себе знать (или по крайней мере знать не все, что фактически то же самое). Но даже когда совсем мало надежды исподволь оправдаться и таким образом обрести право на использование материала, неразрывно связанного с живыми людьми, — лишь одна эта крохотная надежда, если хватит у нее стойкости, и смогла бы выдержать соблазн молчания и умолчания.

В общем, для начала придется рассказать о множестве простых и незамысловатых вещей. Взять хотя бы площадь Зонненплац, давнее название которой ты не без умиления обнаружила в польском переводе на новеньких синих табличках. (Все, что осталось в употреблении, радовало тебя, особенно названия; ведь чересчур уж многое — в том числе названия вроде Адольф-Гитлерштрассе, школа им. Германа Геринга или Шлагетерплац [1] — было для новых обитателей этого города неприемлемо.) Возможно, площадь и раньше была довольно неказистой. Окраина все-таки. Двухэтажные дома ОЖИСКО (волшебное слово, значение его — Общеполезный жилищно-строительный кооператив — сильно разочаровало Нелли), возведенные в начале тридцатых годов на белом аллювиальном песке конечной морены, каковую с точки зрения геологии представляли собой Веприцкие горы. Тут все на честном слове держится, говаривала мать, поскольку песчаная пустыня всегда почти находилась в движении. С каждой песчинкой, скрипящей на зубах, ты пробуешь на вкус песок площади Зонненплац. Нелли часто пекла из него пирожки и даже лакомилась ими. Песок очищает желудок.

[1] Шлагетер Лео (1894—1923) — немецкий офицер; за диверсионную деятельность в Рурской области расстрелян по приговору французского военного суда. — **Здесь и далее прим. переводчика.**

В ту знойную субботу семьдесят первого года — ни дуновения. Пылинки и те не шелохнутся. Вы подъехали, точь-в-точь как раньше, «снизу», то есть от шоссе, где под заматеревшими липами кончается первый маршрут городского трамвая, по которому до сих пор курсируют старые желто-красные вагоны. Машину вы оставили на улице, возле пфлессеровских домов, а дома эти — неважно, как они называются теперь, — образуя гигантский квадрат со стороной двести метров, окаймляют большущий двор, в который вы, шагая по Зонненвег, привычно заглядывали через подворотни: старики сидят на лавочках, наблюдают за детскими играми. Красные бобы и ноготки на клумбах.

Как прежде — когда в этих домах, тихонько постаревших на без малого сорок лет, проживала неимущая клиентура Бруно Йордана, — как прежде, был в силе запрет входить в эти подворотни, ступать в эти дворы. Появление ребятишек ОЖИСКО на пфлессеровской территории безнаказанным не останется — таков был раз навсегда установленный неписаный закон, которого никто не понимал, но все соблюдали. Заклятье развеялось, вражда детских ватаг канула в прошлое. Не слышно свиста «пфлессеровских», не летят в воздух камни — вместо этого безмолвные взгляды стариков на лавках стерегут дворы от чужих. Давняя мечта посидеть когда-нибудь на одной из этих лавочек, не померкшая за столько лет, сегодня так же несбыточна, как прежде, пусть даже по совсем иным причинам.

Странно, что твой брат Лутц, хоть он и четырьмя годами моложе, не только понимал эту робость, но, казалось, и разделял ее, ведь именно он удержал Ленку, когда она с независимым видом шагнула в подворотню, на песшиеся со двора звуки бит-музыки, на зов ровесников. Не надо, сказал Лутц, останься здесь. — Почему это? — Так будет лучше. Вы двинулись дальше, и по дороге ты высчитала, что с Зонненплац он уехал ровно в четыре года и после там уже не бывал — повода не возникало. Верно, сказал он, однако же не соблаговолил объяснить, откуда ему было известно, что на пфлессеровские дворы ходить нельзя.

В соблазнительных приглашениях, кстати, недостатка не было. Неллин отец, не в пример матери, охотно знакомил дочку с «традициями» будничной жизни, и воскресными утрами, когда он, зажав под мышкой пухлую черную книгу счетов, отправлялся взимать долги, Нелли спокойно могла бы войти вместе с ним в любой вонючий подъезд, в любой заросший красными бобами двор. Но от чрезмерной застенчивости, которую девочка, как в один голос твердили все Йорданы, унаследовала от матери, она наотрез отказывалась сопровождать отца в этих походах; с таким же точно упрямством она противилась унизительному требованию разносить горшки с цветами и поздравительные либо траурные открытки, когда у отцовской клиентуры случались крестины, конфирмации, свадьбы или похороны.

Память. В теперешнем смысле: «Сохранение ранее узнанного и соответствующая способность». То есть не орган, а деятельность и предпосылка к выполнению этой деятельности, все в одном слове. Без тренировки память утрачивается, более не существует, обращается в ничто — гнетущая, тревожная картина. Значит, надо развивать способность к сохранению, к воспоминанию. Перед твоим внутренним взором являются призрачные руки, шарящие в мутном тумане, наугад. Ты не знаешь способа методично пройти все пласты, до дна. Энергия растрачивается впустую, единственный результат — усталость, которая средь бела дня нагоняет на тебя сон.

Тогда приходит твоя мама и, хоть нет ее уже на свете, устраивает-

ся с вами вместе в большой комнате,— в глубине души так бы этого хотелось. Вся семья в сборе, живые и мертвые. Ты единственная способна отличить, где одни, где другие, но самой же тебе и достается идти на кухню мыть гору посуды. Солнце светит в окно, а тебе грустно, и ты запираешь дверь, чтобы никто не совался со своей помощью.

Как удар тока, внезапный ужас: на столе в большой комнате—рукопись, и на первой ее странице крупными буквами написано одно только слово: «мама». Она прочтет его, полностью разгадает твой замысел и обидится...

(Начни с этого, советовал X. Ты отказалась. Кому охота, тот пусть и выдает себя с головой. Был январь 1971 года. Ты ходила на все совещания, заседала во всех комиссиях, президиумах и правлениях, которые в каждом новом году обуревает лихорадочная жажда деятельности. Письменный стол покрывался пылью, конечно же, дело дошло до упреков, а их ты могла лишь отвести, сославшись на неотложные обязательства.)

Насколько тебе известно, площадь Зонненплац никогда не возникала в твоих снах. Ни разу ты не стояла во сне перед угловым домом № 5, который ныне, бесстрастно сообразуясь с фактами, дважды предъявляет этот свой номер: давно знакомой, побледневшей от непогоды цементной пятеркой на стене и новенькой белой эмалированной табличкой с тою же, только черной цифрой. Ни разу не снились тебе красные герани, цветущие теперь и цветшие тогда чуть не на каждом окне. Непривычны лишь белые занавески от солнца за стеклами. Шарлотта Йордан в свое время купила в комнату модные жалюзи. Гардины из родительской спальни начисто забыты. В детской висела полосатая, голубая с желтым штора, которая так процеживала утренний свет, что Нелли просыпалась веселая. Если только в этом самом сумеречном свете, как однажды случилось на пятом году Неллиной жизни, в комнату не прокрадывался убийца, горбатенький дедок («Я в светелку захожу, кисельку поесть хочу, глядь—горбатенький дедок киселечек уволок»), он склонился над братишкиным изголовьем и целится блестящим ножиком прямо братишке в сердце, вот-вот пронзит—разве что сестричка Нелли в последнюю секунду бросит притворяться спящей, соберется с духом (боже мой, она ведь так и делает!) и до невозможности медленно, до невозможности осторожно прокрадется за спиною убийцы в переднюю, позовет на помощь маму, а та, в нижней юбке, недоверчиво выйдет из ванной и, смеясь, разворошит рукой кучку одежды на стуле возле кроватки брата, одежды, которая ненароком приняла вид человечка в капюшоне. (Это что, первое воспоминание о брате?)

Ни слова о том, что мама треплет Нелли по щеке, полусочувственно называет ее молодчиной, ведь она так любит братика, так за него боится, а Нелли разражается слезами, хотя все уже «хорошо». Чего хорошего-то, раз она сплоховала.

В дом вы не заходили. Бог весть почему ты остановилась по правую руку от лестницы, прислонясь к новому восьмигранному фонарному столбу, возле низенького обветшалого штакетника, за которым прозябают остатки палисадника. Женщина с ребенком на коленях, сидевшая на верхней ступеньке, не помешала бы вам войти. Она, верно, по-своему рассудила насчет того, зачем вы, вполголоса переговариваясь на чужом для нее языке, сделали несколько снимков, на которых—такие они четкие—ты сейчас можешь пересчитать ступеньки, ведущие к красновато-коричневой входной двери: их пять. При необходимости можно разглядеть и номер автомашины, которую моют в гараже, на месте бывшей витрины, это старая «варшава» с номером «ZG 84-61», а в глубине кадра — хотя резкость там падает—ты угадываешь на табличке, прикрепленной к стене дома, польское название площади Зонненплац — plac Słoneczny,— без помощи русского языка тебе вряд ли удалось бы его расшифровать.

Вроде бы стоя неподвижно, ты мысленно трудишься над планировкой квартиры в бельэтаже, представление о которой, при всей твоей сосредоточенности, упорно остается неполным и размытым. Ты всегда плоховато ориентировалась в помещениях. Так продолжается до тех пор, пока по воле «случая»—случай непременно в кавычках—не возник тот горбатенький, грозивший убить брата, и не забросил тебя в детскую, где, стало быть, справа от двери помещается кроватка брата, а слева—белый

шкаф, мимо которого Нелли пробирается в коридор и на который сбоку, из ванной, падает желтый отсвет.

И так далее. Женщину на ступеньках—как по-польски здороваются?—беспокоить незачем. Ты можешь невидимкой прокрасться в забытую квартиру и разведать ее планировку, снова отдавшись во власть стародавних эпизодических треволнений. Так ты увидишь то, что видел трех-, пяти-, семилетний ребенок, трепеща от страха, разочарования, радости или торжества.

Репетиция: большая комната. В конце коридора, это уж точно. Утренний свет. Стенные часы справа за светло-коричневой изразцовой печью. Маленькая стрелка приближается к десяти. Девочка задерживает дыхание. Едва часы начинают бить, звонко, торопливо, Нелли корчит зверскую гримасу; с надеждой и страхом она ждет, что сбудется угроза госпожи Эльсте: когда бьют часы, у человека-де «застывает лицо». Все, и первым делом мама, до смерти испугаются. Начнут упрашивать, стань, мол, такой, как раньше, а когда окажется, что все это без толку, уложат ее в постель и вызовут по телефону доктора Ноймана, тот вихрем примчится на своем автомобильчике и, длинный, как каланча, склонится над нею, с изумлением вглядываясь в «застывшее лицо», потом смерит температуру и назначит прогревающие укутывания, от которых лицо снова должно оттаять: Выше нос, человечек, мы найдем выход. Но выхода они не найдут, придется привыкать к тому, что ее нежное, милое, послушное личико так и останется зверской образиной. Человек ко всему привыкает, говорила госпожа Эльсте.

Бой часов умолк, Нелли стремглав бежит в переднюю к зеркалу и без труда разглаживает лицо. (Значит, там уже стояла белая вешалка с прямоугольным зеркалом.) К ответу на жгучий вопрос, правда ли, что любовь ничуть не становится меньше, если ее делят на несколько человек, она не приблизилась. Дурочка, говорит мама, моей любви хватит и на тебя, и на братишку. А вот масла, которым она торговала в магазине, на всех не хватало, потому что Лизелотта Борнов ела бутерброды с маргарином.

Теперь Нелли стоит возле кухонного стола (единственный шанс бросить взгляд в кухню, на обтянутый зеленым линолеумом стол у окна), откусывает от большого желтого куска масла, чувствует, как оно тает во рту и ласковым жирным ручейком течет в горло, откусывает еще раз, вылизывает ладошку, лижет и глотает, пока ничего не остается.

И радости как не бывало. Не стала она в тот же миг взрослой, большой и сильной. Ее затошнило. Ненасытное желтое упоение было истолковано как нехватка жиров и разделено на множество мерзких бутербродов с маслом. Она их ела, а госпожа Эльсте между тем гладила белье на столе в детской и втолковывала ей, как нужно складывать мужские носовые платки: Так, так, так и так, готово. Когда госпожа Эльсте пела: «Утренняя зо-о-оренька, смерть ли мне сули-и-ишь»,—ее ласковые карие глаза против воли устрашающе выкатывались из орбит, а большая, с теннисный мяч, опухоль на шее совершала престранные рывки, неожиданные и для самой госпожи Эльсте.

С расположением комнат за этими тремя окнами в бельэтаже все более или менее ясно, да и нельзя же стоять тут до скончания века. Вы медленно тащитесь в сторону Веприцких гор. Медяницы! Кто-то сказал «медяницы»? На Веприцких горах, если верить госпоже Буш, эти ящерки-медяницы так прямо и кишели. (Буш! Впервые за тридцать шесть лет появляется говорливая мамаша Эллы Буш из пфлессеровских домов, насмешливо кривит губы: Что ты, девонька, медяницы вовсе не из меди!) Только люди почему-то упускали из виду, что никогда не то что не трогали, но даже и не видали ни одной из бесчисленных этих медяниц! Единственное объяснение напрашивалось само собой: медяницы—это зачарованные королевские дети, которые прятались подальше от глаз, носили на узеньких змеиных головках крохотные золотые короны и, пришепетывая раздвоенным язычком, звали своих, тоже зачарованных, любимых.

Еще говорят, будто они слепые,—так это они от отчаяния прикидываются, только и всего. И что на глаза норовят не попадаться—тоже неудивительно. Нелли сама страстно мечтала о шапке-невидимке, которая

помогла бы ей скрываться от чудовищ, злодеев, колдунов и ведьм, а главное, от собственной надоедливой души. Пусть бы она — бледная, как кишка, недаром ведь и живет где-то там, под ложечкой, — парила в воздухе, отлученная от тела, одна-одинешенька, голая да босая, то-то бы Нелли позлорадствовала!

Может, и пожарные прикатили бы, как в тот раз, когда у госпожи Каслицки улетел попугайчик, и стали бы ловить неприкаянную душу. Все бы кинулись на поиски тела, которому эта душа принадлежит. А Нелли отослала бы свою душу к зачарованным медяницам и бросила бы ее там на произвол весьма безрадостной судьбы, сама же, вот как сейчас, лежала бы в постели и спокойно, без помех предавалась ярким, буйным, запретным мыслям. И ничего теперь внутри не екнет, если соврешь, не сожмется от страха и не пронзит болью, если станет до слез себя жалко, ведь она не иначе как ребенок-подменыш — найденка, безродная, нелюбимая вопреки всем уверениям. (Хоть и замазала она в книжке сказок ту страницу, где родители Гензеля и Гретель обдумывают, как бы им заманить своих детишек в лес, — все равно, этот жуткий разговор целиком, слово в слово, запечатлен у нее в голове, вот и приходится вечерами, когда у взрослых начинается подлинная жизнь, напрягать слух, ловить разговоры в большой комнате.)

Да, избавиться от собственной души и дерзко смотреть маме в глаза, когда она сидит вечером возле кровати и выспрашивает, все ли ей рассказано: Ты же знаешь, что каждый вечер должна мне все-все рассказывать! Нахально врать: Да, я все-все рассказала! А при этом втайне думать: никогда больше всего не расскажу. Ведь это невозможно.

Благоразумная девочка забывает первые три года своей жизни. Из пестрящих яркими фигурами добрых сказок она с добродетельным видом выходит, чтобы стать перед объективом фотоаппарата. Когда-то успела узнать, что быть послушной значит быть любимой. На себя не похожая из-за прически, именуемой «валик», в красном свитерке фирмы «Бляйле», рядом с братишкиной коляской. Придурковатая ухмылка, гримаса сестринской любви. Память после надлежащих уговоров (то есть не под страхом наказания или там чувства вины) предоставляет доказательства братовражды, братопредательства и братовредительства, но хоть ты сдохни — не желает показать ни беременной матери, ни младенца у ее груди. О рождении брата воспоминаний нет.

А вот и портной Борнов — ковыляет через Зонненплац. Новые дома как ветром сдуло, все по-старому: заросший сорняками пустырь, тропинки, ямы в песке. У детей и у пьяных есть ангел-хранитель, портной Борнов не падает. И свою черную фуражку с галуном не теряет. Над площадью разносится песня, и слетает она с уст портного Борнова. Утверждать, что портной Борнов любит петь, было бы совершенно неправомерно. Ведь на портновском столе и вообще в кругу семьи он никогда не поет, это просто немыслимо, поневоле призналась Неллина подружка Лизелотта Борнов. Царь Алкоголь — вот кто заставляет его петь, людям на смех, говорит мама. У Нелли на этот счет свои соображения. Каждую субботу, думает она, песня караулит портного внизу, на шоссе, возле угловой пивнушки, и, едва он выходит за порог, мигом садится ему на шею, именно ему, — крупная, увесистая птица, под тяжестью которой господин Борнов пошатывается на ходу и всегда тянет одно и то же: «Пускай уста твои в любви клянутся, ты изменяешь мне, увы, ты неверна!» Жалоба, берущая Нелли за сердце и раз навсегда относящая эту песню к разряду трагических. Солнце светило на господина Борнова — помнишь? — и он начал громко толковать сам с собой и сквернословить, а из дома № 6 выбежала Лизелотта Борнов — косички тоненькие, торчат как проволока — и, даже не удостоив подружку взглядом, за рукав потащила отца домой. «И в сердце у тебя для многих хватит места», пел Лизелоттин папаша, и печаль, которая регулярно, каждый субботний вечер, лишала его твердости в ногах, перекинулась на Нелли.

Нет, Ленка не вспомнит первого в ее жизни пьяного. Вы приближаетесь к концу коротенькой линии домов ОЖИСКО, к краю обитаемого мира, что тогда, что сейчас. В тебе оживает давнее чувство, овладевавшее Нелли всякий раз, как она переступала этот край, — смесь удали, любопытства, страха и одиночества. А потеряла ли бы Нелли что-нибудь, если б выросла не с краю, а посередке, спрашиваешь ты себя, придумала ли бы она, ради этого чувства, собственный край мира? Лизелотта Борнов — первый ребенок, который стыдится своего отца и слишком горд, чтобы в этом сознаться; она делается капризной, привередливой, все время требует каких-то немыслимых доказательств дружбы, чтобы в тот миг, когда Нелли приносит эти доказательства, порвать дружбу, а потом сама страдает от этого, как и Нелли, но изменить ничего не в силах. Мое первое воспоминание? Ленка помнит ужас, охвативший ее, когда в углублении детской ложки она увидела свое лицо, перевернутое вверх ногами, и все попытки вернуть его в нормальное положение закончились неудачей. Неожиданно для себя ты начала опрашивать всех своих спутников о самых ранних воспоминаниях, но Х. затрудняется сказать что-либо определенное. «Разве что» утренние домашние сцены, стычки между родителями из-за переваренных яиц и засунутых куда-то запонок от воротничка, облегченный вздох матери, когда отец уходил и можно было сесть за швейную машинку. Твой брат Лутц, не привыкший и не склонный копаться в недрах своей памяти, произносит одно-единственное слово: Корь.

Но, сказала ты, тогда тебе уже три с половиной сравнялось, ты и Нелли заразил, только отпраздновали постройку нового дома, а тут эта корь, нет, ты обязательно должен помнить что-то еще, более раннее. Увы, сказал Лутц. Нет у меня для вас, сударыня сестрица, душещипательных подробностей.

Вот здесь, сказала ты немного погодя, начинаются знаменитые Веприцкие горы, и вложила ты в эту фразу ровно столько иронии, сколько надо, чтобы пресечь у других всякое поползновение иронизировать. Ныне тут совершенно некстати пролегает бетонка, ведущая прямиком к ближней гряде холмов, где высится некий «объект», к сожалению, изменивший линию горизонта. Ковылять по этим песчаным взгорьям явно не имело смысла. Дрока и в иных местах сколько хочешь. Достаточно уже насмотрелись. Да и интересовал тебя сущий пустяк: сохранились ли три акации? Робинии, наугад поправил Х., потому что здесь всюду робинии называют акациями. Акации! — сказала ты. Они должны быть целы.

Может, вон та?

Из трех акаций, под которыми Нелли воспитывала кукол и выучила первую английскую песенку, осталась одна, и это, конечно, робиния, но Х. не говорит ни слова. Давно прошли времена, когда он козырял своим знанием природы. В одно мгновение — два мотива, очень разные, из разных времен. Ты, совсем девочка, тянешь сок из цветков акации — до чего же сладкий! И твое обиженное молчание, на давней прогулке с Х., когда он уличил тебя, гордо рассуждавшую о своей любви к сосновым борам Бранденбурга, в том, что ты путаешь сосну с пихтой.

А Лутцу ты сказала, что твои первые воспоминания о нем сплошь связаны с несправедливостью, членовредительством и ссорами.

Ничего не поделаешь, сказал он, однако ж напомнил тебе о грандиозном происшествии, которое вошло в семейную хронику под названием: «Как потерялся и нашелся Лутц». Жуткий час, когда Нелли, сперва одна, затем вдвоем с матерью в разлетающемся белом халате и, наконец, в толпе соседской ребятни и женщин искала брата на улице, на Зонненплац, во дворах ОЖИСКО и даже в Веприцких горах, прошла все стадии тревоги от беспокойства и страха до безнадежности и отчаяния и, как заведенная, твердила себе: Если он погиб, виновата я.

(У Нелли это первый случай традиционного, унаследованного от матери «пессимизма»; Бруно Йордан, сам чуждый такой потребности, разумел под этим манеру видеть будущее в черном свете, ожидание всяческих неприятностей, и всю жизнь выговаривал жене за ее пессимистические настроения. Ну что ж ты на все так мрачно смотришь!)

После битого часа поисков кто-то наконец додумался отодвинуть стол в детской от дивана — там и лежал братик в своих красных вязаных штанишках, и все устремились туда и до слез хохотали над спящим Лутцем, который, несмотря на шум, крепко спал, и не было ему никакого дела до того, что соседи на радостях — ура, нашелся! — чокались шнапсом, а дети шипучкой. Одна Нелли не смеялась и не пила, ее горестная мина посте-

пенно начала действовать другим на нервы, она тихонько ушла и разрыдалась, когда мать объявила, что девочка, мол, очень уж любит брата и очень уж совестлива. Брат был жив, здоров и невредим, а вовсе не умер, но факт остается фактом: сестра, сидя за уроками, сумела забыть о брате, не поднимая глаз от учебников, равнодушно бросила «иди ты отсюда!», только вот он наперекор общему предположению никуда самовольно не ушел.

Однако признание, которое вмиг превратило бы любящую, совестливую сестру в маленькое чудовище, никогда не сорвется с ее губ, это она уже понимала. Оттого и плакала. Язык не поворачивался читать перед сном «Я мала, душой чиста». И она добилась своего, настояла, что прочтет «Устала я, хочу покоя» — эту молитву обычно напевала хайнерсдорфская бабушка, надев длинную ночную рубашку, распустив тоненькую седую косицу и положив вставные зубы в стакан с водой. Во второй строфе были строчки, очень важные теперь для Нелли: «Коли плох поступок мой, ты, господь, глаза закрой». На большее она, в самом деле, и рассчитывать не смела.

Забегая вперед: Нелли — школьница. Но заблуждается тот, кто тешит себя надеждой, что с темой братовредительства можно расстаться навсегда. Позже она утратит свое значение: возможно — хотя не исключено, что это ошибочное предположение, — она сама себя исчерпала, когда Нелли удалось покалечить брата, когда взрослые наконец были вынуждены отнестись к ее поступку со всей серьезностью. Лутц, правая рука которого уложена в подушки, тихонько скулит, напротив него Нелли, тихонько упрашивает: Тебе ведь уже не больно, да? Мама, в белом халате, как при всех несчастьях детских лет, молча берет ножницы и режет пуловер и рубашку, освобождая распухающий локоть. А потом бросается к телефону, о чем-то договаривается, обронив жуткое слово «больница», которое гонит Нелли из детской в большую комнату, где она падает ничком на диван и затыкает себе уши. Входит мама, двумя пальцами резко ударяет ее по плечу и произносит одну из тех драматических фраз, к которым склонна уже тогда: Если рука перестанет сгибаться, то по твоей вине.

С тех пор вина — это тяжелая рука на плече и потребность упасть ничком. И матово-белая дверь, за которой исчезает справедливость — мама, — а ты не можешь ни пойти за ней, ни покаяться, ни прощения попросить.

Таким образом закрыт последний пробел, касающийся расположения комнат в квартире ОЖИСКО: в спальню родителей, о которой не пробуждается воспоминаний, можно войти из большой комнаты, через ту самую дверь, за которой мама поспешно готовится к поездке в больницу и возле которой теперь возникает стеклянная горка с тихонько дребезжащими парадными чашками. Память, беззащитная, когда задевают ее слабое место, воспроизводит всю большую комнату, вещь за вещью: черный буфет, жардиньерка, сервант, черные стулья с высокими спинками, обеденный стол, а над ним лампа с желтым шелковым абажуром — бесполезная роскошь для девочки, которой нужен один-единственный стул, чтобы весь вечер сидеть на нем и молиться: только бы рука у брата не перестала сгибаться, ведь она не выдержит, не сможет всю жизнь терзаться виной.

Но вина без последствий — не вина.

В тот же вечер Нелли хохочет до слез. Мама, успокоенная, веселая, передразнивает молодого больничного доктора, который двумя-тремя привычными движениями вправил Лутцу руку, а ее, Шарлотту Йордан, то и дело именовал сударыней. Из вас вышла бы превосходная медсестра, сударыня. Ужасный озорник ваш сынишка. О виновнице вывиха — ни слова. Нелли наедине с родительской милостью. За те страхи, что она вынесла, ее вознаграждают какао и булочками, а жертва, Лутц, отсутствует, оставлен в больнице под наблюдением врача. Радоваться незаслуженной похвале — вот чему стоит научиться. Урок усвоен.

Здесь, под тремя акациями, Аннелиза Вальдин, старшая дочь обер-вахмистра Вальдина, снизойдя до Нелли, обучила ее первой песенке на английском языке, которую ты, к Ленкину удивлению, до сих пор знаешь на память и поешь детским голосом с ужасающим акцентом: «Бэ-бэ блек шип, хэв ю эни вул, йес, мастер, йес, мастер, три бэгс фул».

Там есть еще продолжение. Кстати, известно ли Лутцу, что мама всегда мечтала стать врачом? Или хотя бы акушеркой. Да, известно, она же твердила об этом чуть не до самой смерти: Что-нибудь медицинское, вот что мне по душе, вот где я бы развернулась, голову даю на отсечение. И действительно, развернулась бы, в этом вы все были единодушны. Отец, конечно, выговаривал ей за такие мечты: И что тебе неймется, никогда довольна не бываешь. Но никто из вас не сказал: Так и займись медициной! Детям не хочется, чтобы их мать меняла свою жизнь. А ведь в сорок пятом, пожалуй, была такая возможность. В сорок пятом на акушерские курсы не только молоденьких принимали. В деревне? — говорит Лутц. В том-то и дело.

Под тремя акациями Нелли впервые узнала предательство, и предал ее, как водится, лучший друг — Хельмут Вальдин, младший сын полицейского обер-вахмистра Вальдина, Зонненплац, 5, второй этаж, направо. Ленкины вопросы выдают, что тема «дружба и предательство» интересна и ей. Уже которую неделю ее подруга Тина носа не кажет, и Ленка выискивает предлоги, чтобы не встречаться с нею, но тревожиться ты начинаешь, только когда она перестает ходить на занятия конным спортом, хотя больше всего на свете любит лошадей. На прямые вопросы она нипочем не ответит, если не захочет, — это ты давно усвоила и теперь втайне надеешься окольным путем, через Нелли, узнать кое-что про Ленку.

Предателя, если он ребенок, кто-то должен «завести», подбить на предательство. Да, говорит Ленка. И проку-то подбивалам от этого никакого, разве что забава на десяток минут, странно, правда? Ленка молчит. В случае с Хельмутом Вальдином подбивалами выступили три его старших брата. Для чего им — если это была не просто забава — понадобилось доказывать, что человек низок и подл?

Началось все с безобидного пустяка. Франц бросил камешек и ненароком попал в младшего брата, но с тем же успехом он мог попасть и в Нелли, она сидела рядышком с Хельмутом на клетчатом пледе, со своими куклами, потому что здесь они всегда играли в дочки-матери. Когда Хельмут вскрикнул и, по настоянию братьев, сказал почему, они безмерно изумились: Камень! Из них-то ведь никто не запускал камнем в младшего брата. Но раз уж ему досталось по плечу, раз уж на пледе, как улика, лежал маленький кремешок, возникал вопрос: кто его бросил? Явно кто-то находившийся поблизости — логично, да? А кто, само собой кроме нас, находился поблизости, а, малек? Никто? Эй, Долговязый, он ослеп, одолжи-ка ему очки! — Ослеп? Да ну, быть не может. Просто соображалка у него туго работает. Ему еще растолковать надо, по чьей милости у него котелок чуть не треснул.

Ленке, похоже, вполне понятно, что Нелли не бросилась наутек. Похоже, она убедилась на собственном опыте, что некоторые вещи принимаешь на веру, только увидев их своими глазами. Потому-то Нелли волей-неволей наблюдает за тем, как старшие братья, пересмеиваясь, тычками гонят ее друга Хельмута к третьей акации, пока он не упирается спиною в ствол, а попутно — забавы ради, конечно, ведь они хохочут не закрывая рта — то и дело спрашивают его, кто же, кроме них, находится поблизости. Но поблизости-то одна Нелли, а она камня не бросала, это все знают, и Хельмут тоже. Стало быть — забава.

Ленка говорит, что, по ее мнению, предатели им нужны иногда просто из зависти. Вы с Х. обмениваетесь чуть удивленным взглядом, и она это замечает. Между тем один из братьев — на сей раз Кутти, третий по старшинству, — приставил Хельмуту к горлу острый прутик: дескать, кончай придуриваться. У них даже в мыслях нет обижать младшего брата, пускай только имя скажет. Ну? Ну? И вот Нелли, не веря своим ушам, слышит, как Хельмут называет имя, ее имя. Плачет, а говорит: Нелли.

Рано или поздно каждый слышит свое имя словно впервые. И вот, едва прутик от его горла отвели, Хельмут сию же минуту выкрикивает это имя еще раз, ибо теперь вопрос братьев гласит: Кто бросался камнями? Нелли! — кричит Хельмут, поначалу сквозь слезы, а затем, получив от братьев несколько дружеских тычков — вот видишь, малек! — снова и снова, без понуканий, вопит «Нелли!», пять раз, десять раз. Напоследок он уже смеется.

Ленка, по всей видимости, знает, как они смеются, совершив предательство. Идемте, сказала ты. Обратный путь — Нелли тогда проделала его бегом и плача навзрыд. Мимо кусочка глухой стены, возле которой Нелли рьяно упражнялась с мячом и, достигнув непревзойденной сноровки, смогла, не роняя своего авторитета, увиливать от состязаний — в подтягиванье на руках и перевороте в упор — на штанге для выбиванья ковров и на подвальных перилах. Мимо дома № 5, на этот раз без задержки; Нелли прибежала туда раньше вас и зовет господина Вальдина, который, застегивая мундир, в конце концов выглядывает из-за красных гераней, но, когда слышит, что Нелли пришла жаловаться на его сыновей, тотчас захлопывает окно.

Зато слева в бельэтаже открывается окно детской; Шарлотта Йордан, кликнув дочку домой, встретила ее на пороге с выбивалкой в руке и, не выслушав объяснений, всыпала ей горячих, в неминуемый первый и последний раз в жизни (редкие оплеухи не в счет), сама же кричала — Нелли отмалчивалась, как всегда, когда с ней обходились несправедливо, — кричала не своим голосом: Кто ж это научил тебя ябедничать, кто, кто? Потом она рухнула на стул, разрыдалась, закрыла лицо руками и сквозь слезы сказала: Тебе непременно надо восстановить против нас именно его?

Что дальше? Бусина.

(Понятная, но, быть может, рискованная жажда ассоциаций, от которых Х. с самого начала предостерегает, не словами, а больше выражением лица. Он питает недоверие ко всему, что сопрягается друг с другом.

По дороге к почтовому ящику, после ужина, вы увидели на ясном небе Большую Медведицу и Орион, и ты невольно призналась, что ощущение, будто созвездия в каком-то смысле связаны с тобою, исчезло еще не полностью. Х. старался внушить тебе, что как раз это и усложняет для тебя поиски структур, которыми можно изъясняться нынче: до предела здраво, рассудочно, в обстоятельствах, когда отчаяние выглядит едва ли не смешно. После полуночи дурацкий звонок: какой-то тип, назвавшийся студентом, с нахальной дерзостью допытывается о «новом произведении». Ты положила трубку, выключила телефон, но от злости никак не могла заснуть. Неожиданно составились фразы, которые ты сочла приемлемым зачином; обращаться кое к кому нужно, стало быть, на «ты». Сложилась интонация. Ты не хотела верить, что надо опять начинать сначала, но к утру те фразы уцелели — впоследствии они, конечно, были вычеркнуты, — и интонация осталась. Все еще недоверчиво ты начала сызнова. С таким чувством, словно теперь ты вольна распоряжаться материалом. Заодно тебе вдруг стало ясно, что быстрого результата ждать не приходится, впереди долгая пора сомнений и работы. Что всерьез дело затевается с этой книгой, а не со следующей. Вот и хорошо, подумала ты.)

Вскоре после инцидента с Хельмутом Вальдином Нелли, должно быть, и запихнула себе в нос бусину, хотя ее частенько и настойчиво от этого предостерегали. Маленькая желтая деревянная бусина, их дарят детям, чтобы низать на ниточку, но если такая попадет в ноздрю, никакими силами ее не достать — хоть сморкайся, хоть сопи, она только глубже забирается, вот-вот туда угодит, где мама предполагает мозговые извилины, а уж из такой дали и вовсе обратного хода нет. Нелли привела в действие обычную для подобных катастрофических случаев систему: госпожа Эльсте — мама в белом халате — дрожащие пальцы — телефон — трамвай. Женщина, сидевшая напротив, сдуру брякнула: слава богу, мол, ребенок не горошину в нос запихнул, горошина-то вскорости начала бы разбухать, а тогда — пиши пропало!

Нелли была бы рада не впутывать господа бога в эту историю. Ей вовсе не улыбалось, чтобы он прочитал мысли в ее мозгу, которому грозит бусина, да еще и обнаружил среди них некое желание: преступное желание до смерти напугать родную маму, причинив вред тому, что ей всего дороже, — себе самой.

Врач, доктор Ризеншлаг, и представить себе не мог всю изощренную зловредность этой девчонки; он велел ей сесть на кожаный табурет, а сам, омерзительно погремев блестящими инструментами в эмалированных лоточках, решился наконец ввести один из этих инструментов в Неллину правую ноздрю, где он, якобы по принципу зонтика, начал раздвигаться, распяливая носовую полость, так что бусине волей-неволей пришлось вместе со струей крови вылететь наружу и упасть на сверкающий докторский линолеум со звонким «клик!», на которое доктор ответил невозмутимым «Ну вот!». Нет, брать эту коварную бусину домой мама не пожелала: вот не было печали, но она от души надеется, что эта передряга послужит дочке уроком. Надежда, к которой с деловитой любезностью присоединился и доктор Ризеншлаг, когда получил десять марок и предостерег мать и дочь от мелких пуговиц, бобов, чечевицы, горошин, цветочных семян и гальки. Обе, однако, наотрез отказались смотреть его коллекцию чужеродных тел, извлеченных из ушей и носов (он присовокупил туда и Неллину бусину).

Оплеуха, резкое слово, даже молчание по дороге домой были бы теперь, по разумению Нелли, вполне кстати. Вместо этого она узнала, что держалась молодцом. Не скулила, не плакала, ничего. Маме, похоже, приятно было назвать дочку «молодцом». Она не горела желанием узнать, какова та в самой глубине души. Нелли уныло думала, что даже и господь бог любит храбрую, искреннюю, умную, послушную, а главное, счастливую девочку, какой она прикидывалась днем. Слова вроде «печальный» или «одинокий» ребенку из счастливой семьи неведомы, зато он сызмала берет на себя трудную задачу щадить родителей. Избавлять их от неурядиц и стыда. Царят и верховодят будничные слова: ешь, и пей, и бери, и спасибо-пожалуйста. Видеть слышать обонять ощущать на вкус осязать — пять здоровых чувств, в полном составе. Я уверена, из пяти фунтов говядины выйдет хороший бульон, если не перелить воды. Все прочее — выдумка.

Когда вы шли к машине, тебе вспомнилась игра, в которую Нелли, задолго до позднейших раздоров, вечно втравливала Лизелотта Борнов. Они называли эту игру «заколдуй сам себя», а заключалась она в том, чтобы в светло-желтом песке Зонненплац по команде обернуться мерзкой тварью: лягушкой, змеей, жабой, жуком, ведьмой, свиньей, саламандрой, тритоном. Не высшими животными, а всегда нечистью, живущей в грязи да в иле и беспардонно друг друга истребляющей. Все в царапинах, чумазые, возвращались они вечером домой, где их встречали нахлобучками и запретами. Родителям принца-лягушки тоже довелось пережить, как их прелестный белокурый сынок ни с того ни с сего — но уж точно не без его тайного согласия — превратился у них на глазах в гадкую скользкую лягушку. Так уж оно бывало.

Ленка благодарным взглядом приветствует вашу машину, что дожидается вас перед бывшим магазином Рамбова. Когда Нелли двадцать шесть с половиной лет назад, 29 января 1945 года, уезжала по этой же улице из родного города, удирая от наступающих войск противника прямиком на запад, она, насколько тебе известно, даже и не вспомнила мимоездом про Зонненплац и про ту девочку, которая тогда, под более тонким слоем годичных колец, была, пожалуй, запрятана глубже, чем вот сейчас, когда всем теориям вопреки начинается дождь. Во имя чего? Вопрос сколь жутковатый, столь и оправданный. (Предоставь мертвым погребать своих мертвецов!) Чувство, охватывающее всякое живое существо, когда земля колеблется у него под ногами, — ужас.

2. КАК ДЕЙСТВУЕТ ПАМЯТЬ? СЕМЕЙНЫЕ КАРТИНКИ

Кто бы не отдал все на свете за счастливое детство?

Кто надумает сводить счеты с детством, пусть не воображает, что это будет легко и просто. Сколько б ни искал, он не найдет ведомства, что исполнило бы его заветное желание — одобрило затею, на фоне которой пассажирское сообщение через государственные границы — к примеру, конечно, — выглядит безобидным пустяком. Чувство вины, спутник противоесте-

ственных поступков, ему обеспечено: ведь естественно для ребенка иное — на всю жизнь сохранить в памяти благодарность родителям за счастливое детство и не выискивать в нем изъянов... Сохранить в памяти... В памяти? Язык по всем правилам услужливо подсказывает однокоренной ряд: «мнить», «помнить», «вспоминать», «памятовать». Вот и получается, что пытливое вспоминание и чувство, неизбежно его сопровождающее, но, заметьте, обделенное пока названием, можно в крайнем случае посчитать «изъявлением благодарственных помыслов». Да только инстанции, которая официально подтвердит, что крайний случай действительно имеет место, опять-таки не существует.

О том, как повела себя Неллина мать в январе 1945 года, когда начался «драп» и она в последнюю минуту бросила не дом, но своих детей, ты наверняка размышляла, и весьма часто. Возникает вопрос, действительно ли в подобных экстремальных ситуациях неизбежно и недвусмысленно — через поступки человека — выясняется, чем он больше всего дорожит. А вдруг этот человек не располагал той исчерпывающе полной информацией, которая позволила бы ему точно согласовать свое решение с обстоятельствами? Если б Шарлотта Йордан до отъезда грузовика, на котором покинули город не только ее дети, но и все остальные родичи, твердо знала, что враг уже в нескольких километрах от города и гарнизон спешным порядком отступает в западном направлении, — да она бы первая постаралась самолично переправить своих ребятишек в безопасное место, разве не так? Далее, если б она, Шарлотта, хоть на миг допустила, что никогда больше не войдет в свой дом, никогда в жизни не увидит тамошней утвари, — да разве б она тогда не захватила с собой толстый, в коричневом переплете, семейный альбом вместо всякого-разного хлама, который все равно мало-помалу выкинули, распродали, растеряли, так что в одно прекрасное летнее утро весь Неллин гардероб состоял из пижамы да пальтеца, и ни то, ни другое она с себя, конечно же, не снимала? В четыре часа дня на окраине (со стороны городской больницы) грянули первые выстрелы — к этому времени портрет фюрера из хозяйского кабинета был благополучно сожжен в печи котельной центрального отопления (меня это порадовало, скажу я вам), к этому времени уже было решено, что она, Шарлотта, уложит в хозяйственную сумку пару солидных бутербродов, термос горячего кофе, несколько пачек сигарет (для подкупа) и толстый бумажник с документами, запрет дом и уйдет прочь. Коричневый альбом либо сгинул, когда бывшие соседи мародерствовали — такое тоже случалось — в брошенных домах и квартирах (а первым делом, понятно, в продуктовом магазине), либо его сожгли позднейшие обитатели дома, поляки. И неудивительно — воспоминания предшественников определенно их тяготили.

Только ведь фотографии, которые часто и подолгу рассматривали, горят плохо. Нетленными оттисками запечатлелись они в памяти, и совершенно неважно, можно ли предъявить их как документ, как вещественное доказательство. Та фотография, самая твоя любимая, возникает у тебя перед глазами по первому же требованию, причем в мельчайших подробностях (чуть склоненная белая березка на краю темного молодого сосняка, образующего фон снимка): в центре композиции трехгодовалая Нелли, совсем голенькая; стриженная в рамочку головка и тельце обвиты дубовыми гирляндами, в руке — букетик дубовых листьев, которым она машет фотографу. Чем меньше, тем счастливей — может, в этом все-таки есть доля правды. А может, знакомая каждому щедрая изобильность детства происходит оттого, что мы постоянно, не скупясь, обогащаем эти годы, снова и снова возвращаясь к ним в мыслях?

Семейная жизнь.

Эта маленькая фотография — вероятно, ее сделал дядя Вальтер Менцель, когда они всей семьей ездили в Альтензорге на озеро Бестиензе, ведь у Йорданов фотоаппарата не было — приводит в движение систему второстепенных персонажей, а ее законы для тебя ближе и понятней, чем небесная механика, которая кажется тебе едва ли не случайной и бестолковой. Поэтому ты с трудом сдерживаешь нетерпение, когда X. по рассеянности то и дело переспрашивает: Это еще кто такой? А это? Например, во время той поездки по бывшему Л. в середине июля семьдесят

первого года ты решила, что полезно будет показать X. и Ленке квартиры твоих родичей, живших когда-то в этом городе. Ни много ни мало девятнадцать душ — если брать только первую и вторую степени родства, — Ленка и X. даже по именам не всех знали. Кончилась эта затея полным крахом — усталостью, досадой, скукой. Семейные джунгли, сказала Ленка.

(Она вовсе и не стремилась запомнить родственные связи. И в конце концов пришлось тебе нацарапать для нее в блокноте что-то вроде генеалогического древа; случилось это вчера, то есть в декабре семьдесят второго года. Набегавшись по магазинам — вихрь рождественских приготовлений и на сей раз увлек-таки вас обеих, — вы сидели в кафе возле Науэнер-Тор, где в эту пору полным-полно студентов из педагогического, которым Ленка тотчас принялась подражать. Она потребовала себе вермуту, как и студент за вашим столиком, и постаралась осушить рюмку с таким же, как у него, мрачным выражением на лице. Познакомься Ленка по-настоящему с двоюродными бабками и дедами, которые живут на Западе, и генеалогическое древо стало бы в ее глазах куда менее глупым, сказала ты — ведь надо же как-то сориентировать ее на будущее. Начни прямо со стариков, уговаривала ты, ну, давай: Менцели — «усишкины» Августа и Герман, и Йорданы — Мария и Готлиб, хайнерсдорфские дедуля и бабуля. Их старшие дети, соответственно Шарлотта и Бруно, поженились и стали супругами Йордан, твоими, Ленка, дедом и бабкой. И, как водится, братья-сестры и их дети: Лисбет и Вальтер Менцель, Ольга и Трудхен Йордан. Хватит, сказала Ленка. Еще совсем недавно все взрослые казались ей стариками, а уж те, кому за пятьдесят, вообще дряхлыми развалинами. Самой-то ей шестнадцать.)

Кого интересуют эти люди? Процесс присвоения имен, с одной стороны, предвосхищает их значительность, с другой же — и придает им этой значительности. Быть анонимом, без имени, — кошмар. А какую власть ты забираешь над ними, превращая их законные имена в имена реальные, живые. Теперь они наверняка сблизятся больше, чем при жизни. Получат право на собственную жизнь. Дядя Вальтер Менцель, младший брат Шарлотты Йордан, который все наводит объектив фотоаппарата на свою племянницу Нелли. Рядом, верно, стояла тетя Люция, счастливая Вальтерова невеста, — это у нас тридцать второй год, наконец-то состоялась их помолвка, хотя отец Люции, домовладелец и рантье, упорно не желал отдать свою дочку за простого слесаря. Тогда я перееду к Вальтеру, и все! — якобы сказала она, и это ее заявление опять-таки вызвало у Менцелей смешанные чувства. С одной стороны, это свидетельство ее горячей любви к Вальтеру, но, с другой стороны, подобные речи говорят об известном легкомыслии, да и вообще Люция, бесспорно, девушка неплохая, хорошенькая, опрятная, шустрая, только вот кое в чем слишком уж вольная. Конечно, пусть ее радуется, что заполучила Вальтера, но зачем же она при всем честном народе еще и трется своей прелестной кудрявой головкой об его спортивную рубашку... Ну а сейчас Люция стоит и машет Нелли белым носовым платочком: Посмотри сюда, Неллечка! Сюда, в черный ящичек, сейчас птичка вылетит!

Только подумать, что всем им было под тридцать или едва за тридцать! И что было время, когда вся жизнь у них была впереди. Взять хотя бы тетю Лисбет, младшую сестру Неллиной матери, в те годы молоденькую резвушку; это она быстро натянула на Нелли сшитое «усишкиной» бабулей бумазейное платьице — не дай бог, простудится ребенок! — а потом они с мужем, Альфонсом Радде (от природы ершистые светлые волосы, зеленовато-голубые, словно льдинки, глаза, только взгляд в ту пору, пожалуй, еще не заледенел), подхватили малышку за руки и — одна нога здесь, другая там — махнули в садовую кофейню Крюгера. Там Нелли еще разок фотографируют — как она впервые в жизни отпивает из большущего бокала глоток светлого пива с малиновым соком. (Нынче такие бокалы — антикварная ценность, продаются по тридцать шесть марок за штуку.) Над краем бокала лучится Неллин знаменитый озорной взгляд. Ох и глаза у паршивки!

Тишь да гладь да божья благодать.

Альфонса Радде в семейном кругу недолюбливают, что правда, то правда. Жениться-то он, конечно, женился — на тете Лисбет, сегодня она

в белом платье с рюшками у ворота, которое очень ей к лицу. Другой бы на его месте души в ней не чаял. Но в действительности он женат на фирме «Отто Бонзак и К°. Зерно. Корма» и ходит перед молодым Бонзаком на задних лапках. Альфонс Радде, с черными точками въевшейся пыли на загривке. Альфонс Радде, с его ужасным носом. Впрочем, как говорится, красота — прах, воровство — ремесло. А нашей Лисбет загорелось выйти именно за него, так же как сейчас ей загорелось иметь ребенка — вполне понятное желание после четырех лет бесплодного (сплошь выкидыши) брака. При том что ее сестра Шарлотта через два месяца ждет второго малыша. (К сожалению, на фотографии не видно, что она беременна. Дядя Вальтер Менцель, прежде чем щелкнуть сестру, усадил ее за кофейный столик.) Вот тетя Лисбет и цацкается с племянницей: Светлые волосики на руках, Нелли, сулят богатого мужа, правда-правда! На что ее муженек Альфонс Радде замечает: Да не мешай ты мышиное дерьмо с перцем! Всегда напрямик, без обиняков, дядя Альфонс. Кто доживет, тот еще услышит, что думает о нем Шарлотта Йордан, пока только думает, — но случится это уже не на территории так называемой Новой марки[1], не в бранденбургском сосняке на Бестиензе, а в Мекленбурге, в сенях крестьянского дома, чего они покуда даже не предполагают. Он, Альфонс, тоже за словом в карман не полезет, врежет свояченице начистоту, без прикрас, обзовет тещу «чертовой полячихой» и даст своей шестнадцатилетней племяннице Нелли повод пригрозить, что она не позволит бранить бабушку.

И так далее. Вот что значит быть в курсе дела. Зануда мигом все испортит, ему же известно, что будет дальше и чем все кончится: считая с того радостно-оживленного летнего вечера тридцать второго года, «усишкин» дед проживет еще тринадцать лет, а «усишкина» бабуля — двадцать. А вот их серого длинношерстного терьера Усишку, с которым маленькая Нелли, по рассказам, «буквально одну кость под столом глодала», уже в тридцать восьмом году, слепого и дряхлого, Герман Менцель снесет в коробке из-под маргарина «Санелла» в институт, а обратно вернется с мертвой, отравленной собакой, после чего «усишкина» бабуля целых три дня не сможет ни есть, ни пить, ни спать.

(Зачем продолжать этот перечень мертвецов? Зачем прямо тут говорить о том, что Неллина мать Шарлотта Йордан и ее брат Вальтер Менцель лет за двенадцать — четырнадцать до Шарлоттиной кончины так навсегда и расстанутся, ведь Вальтера в советскую зону было арканом не затащить, а Шарлотта, хоть и пробыла восемь лет на пенсии и, казалось бы, вполне созрела для поездки на Запад, считала ниже своего достоинства ехать к брату на поклон.) Из четверых дядей, которые находятся в нашем распоряжении и в свой черед выступят на этих страницах, дядя Вальтер — Неллин любимец. Остальные даже в сравнение не идут. Он играет с нею в «едет Нелличка по гладенькой дорожке» и сажает ее на закорки, когда вся компания наконец-то возвращается к перекрестку лесных дорог, на котором он оставил свою машину.

Фотографии, отпечатанные на плотной, зернистой бумаге, — ты предпочитаешь их не трогать. Рука — пусть она отсохнет, пусть не упокоится в могиле, коль подымется на отца с матерью. И сразу же тебе во всех подробностях снится операция, в ходе которой искусно ампутируют твою правую руку — ведь это ею ты пишешь, — ампутируют под местным наркозом, прямо у тебя на глазах. Свершается неизбежное, и ты не бунтуешь, но ничего приятного здесь нет, — вот о чем ты думаешь, просыпаясь. В полумраке поднимаешь руку, вертишь ею и так и этак, разглядываешь, будто впервые. На вид вполне пригодный рабочий инструмент, а впрочем, кто ее знает.

А что, собственно, это значит — «полячиха»? — допытывается Ленка. Ей неизвестно ни слово «полячиха», ни выражение «польская шарашка». И стоит ли ей это знать? Брат Лутц на миг оборачивается, внимательно смотрит на племянницу и коротко объясняет, глядя уже вперед, в ветровое стекло. Повторяет слова «раньше» и «тогда». Ты ловишь себя на формулировке: в наше время, — пугаешься, решаешь попозже доискаться

[1] Новая марка — земли к востоку от Одера, после 1945 года отошедшие к Польше (воеводства Зелёна Гура и Щецин).

причин этой промашки. Ленка надула губы. Молчит — в знак того, что можно закругляться, что она все поняла и хватит ее поучать. (Покажется ли ей ваше поведение когда-нибудь столь же странным, как вам — поступки предыдущего поколения?)

Германа Менцеля, «усишкина» деда, ей знавать не привелось. Ты описываешь ивовые палочки, на которых он острым сапожным ножом вырезал для Нелли замечательно красивые узоры, большей частью это были змейки, и чем ближе к острию, тем плотнее обвивалась такая змейка вокруг палочки. Ему вообще везло на змей, задним числом подумалось тебе. Ведь и одна из двух историй, которые он любил рассказывать, повествовала о змее и, пожалуй, поразила Неллину душу еще сильней, чем даже сказки братьев Гримм, тоже весьма страшноватые.

Рассказы «усишкина» деда имели несчастье слыть правдивыми. Нелли было просто невмоготу воображать себе ужас парнишки-дровосека, который тихо-мирно — после тяжких трудов — сидит на обсыпанном листвой бревнышке, жует сухой хлеб, запивая его родниковой водицей (более изысканные яства нашему дровосеку не по карману), и вдруг чувствует, как бревнышко под ним начинает извиваться, ведь сидел-то он на змее, толстой как бревно, со страшным ядовитым зубом, — коварная тварь жаждет парнишкиной крови, поэтому он ищет спасения в бегстве, и правильно делает. Но самое жуткое было то, что парень до конца дней своих так и не сумел оправиться от кошмара, с той минуты он несколько повредился в уме и по лицу его временами пробегала судорога, а он не мог с нею совладать. Нелли тряслась от ужаса перед гримасой, которой «усишкин» дед изображал непроизвольную судорогу дровосековой физиономии, и тем не менее неустанно заставляла его вновь и вновь ее повторять. Итак, не от кого-то, а именно от него Нелли впервые узнала, что ужасное может быть усладой, — кто же дерзнет оспаривать значение, какое имел для нее этот дед.

Лишь много позже — точнее, ровно через тринадцать лет после чудесного воскресенья, проведенного в семейном кругу на Бестиензе и, как говорят, завершившегося песней, — много позже дядя Альфонс Радде, который достаточно долго обуздывал в себе злость на то, что женина родня пренебрегает его персоной, выложил Нелли, что «усишкин» дед — для нее он всю жизнь был пенсионером-железнодорожником, а судьбой его она не очень интересовалась, ибо дети даже не подозревают, что у дедов есть судьба, — так и не продвинулся по службе дальше кондуктора и уволен был до срока, причем за беспробудное пьянство. А выложил дядя Альфонс все это затем, чтобы сбить спесь с Менцелей и первым делом урезонить Шарлотту Йордан, в девичестве Менцель, старшую дочь кондуктора. Другие люди тоже, мол, не лыком шиты.

(И опять Нелли единственная, кто понятия ни о чем не имел. Она что же, думала, что ее дед директор железных дорог? Или хотя бы машинист? Как бы не так! До проводника и то не дорос... Нелли вовсе ничего не думала, и ей вдруг становится обидно за «усишкина» деда.)

Приехали. Х. — в этой поездке он вынужден полагаться на твои указания — останавливает машину на Фридрихштрассе, прямо у газового завода, где стоит приземистый дом с зелеными ставнями. Это и есть Кессельштрассе, 7 — дом железнодорожников, в котором прошло детство Неллиной матери Шарлотты. Дом — чересчур громко сказано, так и хочется назвать его бараком, двухэтажным бараком. Унылое, безрадостное место — вот, пожалуй, точное определение, но лучше прикусить язык. Здесь, в одной из наверняка убогих квартир, Герман Менцель — спьяну, конечно, — запустил в жену керосиновой лампой, наградив Августу тем шрамиком справа над бровью, происхождение которого ничуть не тревожило Нелли, пока тете Лисбет — кстати говоря, в первые дни «драпа» — однажды ночью не взбрело в голову оправдывать свои истерические припадки не чем-нибудь, но страхами и кошмарами детства: родной отец швыряет в мать лампу — попробуй-ка забудь этакий кошмар, особенно если у тебя чувствительные нервы.

Тогда «усишкина» бабушка сказала своей любимой дочке Лисбет: Не успеет старая история наконец-то порасти быльем-травой, а какой-нибудь юный осел тут же опять все вытопчет.

Такие вот голоса и разговоры, сплошь и рядом. Словно кто-то от-

крыл шлюз, который до поры до времени их сдерживал. Вечно шум да гам, твердит «усишкин» дед, вечно шум да гам. (Пожалуй, если вдуматься, он был чужим в собственной семье.) Все говорят наперебой, иные даже поют. Поет, например, дядя Альфонс; когда они всей компанией шагают через лес к дяди Вальтеровой машине — черной угловатой колымаге — и Нелли своим узорным прутиком сшибает головки цветов и колоски, он громогласно распевает: «Звать мою дочурку Полли, ведь случилось это в поле, Анна, Анна, тру-ля-ля, Аннамари».

Вещица явно не для ушей трехлетнего ребенка, который и сам уже знает кой-какие песни и не прочь исполнить вместе с отцом «Мы, певуны из Финстервальде» или «Шляпа моя, треуголка». Так что к концу этой весьма удачной прогулки можно услыхать и голос Бруно Йордана, он что-то долгонько помалкивал, словно ему и сказать-то нечего. Но это не так. Певец из него, правда, далеко не блестящий: в младенчестве ему надрезали трахею и спасли таким образом от дифтеритного удушья, да вот беда, заодно повредили голосовые связки. Йордан, садись, пение «плохо»; все прочие предметы, кстати говоря, «отлично». Первый ученик в классе. Однако «Детмольд-на-Липпе — город чудесный, а в городе том солдат» получается у него здорово, особенно «бум!» после трогательного «вот выстрел грянул». «И вот сраженье началось, вот выстрел грянул — бум!» Это Бруно Йордану было знакомо. Его не проведешь, он-то воевал под Верденом. И заработал контузию. На всю жизнь хватит, сыт по горло. С тех пор война для него не что иное, как чудовищная нелепость.

А это — образчик голоса Бруно Йордана. «Упал и не кричит солдат, упал и не кричит, знать, пробил час, знать, смерть пришла, знать, смерть к нему пришла».

Девчушка плачет. Плачет? Это еще почему? Ах вон как, солдата жалко. Устала, а от этого она всегда чуть что — и в слезы, тут уж надо загодя соображать, какие песни поешь. Что до Неллиных слез, то в этом вопросе четыре женщины — по старшинству: Августа, Шарлотта, Лисбет и Люция — совершенно единодушны и целиком на стороне девочки. Довольно. Садимся в машину. Шесть человек в почти полностью выкупленную дяди Вальтерову машину. Чудесный денек, в самом деле. Не мешало бы как-нибудь вскоре повторить. Будет что вспомнить в лихие времена. Ну да каркать не стоит. Ведь жаловаться пока не на что. Так вот гуляют по машине голоса, туда-сюда, туда-сюда, становятся мало-помалу тише и наконец вовсе замирают во тьме. Немного дольше держатся запахи — серого отцовского плаща, в который закутана Нелли, и платья «усишкиной» бабушки, на колени которой девочка не случайно положила голову. Спи, милая, спи.

(Думай и помни, сказала бы она, если желаешь и чувствуешь себя обязанной. С благодарностью, если можешь. Но это не обязательно. Впрочем, ты сама разберешься. Нелли была у нее любимой внучкой.) Для себя «усишкина» бабушка никогда ничего не требовала. Здесь, на Кессельштрассе, 7, именно она вырастила-выпестовала своих детей, потому что и шитьем подрабатывала, и овощи в садике разводила, и молочную козу держала. Вон по тем обочинам росла трава для козы, и все трое детей под страхом жестоких наказаний обеспечивали на зиму запасы сена. Здесь же она из белоснежной простыни сшила костюм ангела для своей дочки Шарлотты, которая сподобилась петь в церкви девы Марии на рождество «Из горных высей к вам гряду», ведь у нее такой чистый, такой красивый голос.

Шарлотта предпочитает песни, выгодно оттеняющие ее по-прежнему красивое сопрано, — «Прелестная садовница, зачем ты слезы льешь» или «Три парня по Рейну держали свой путь». Как и прочих менцелевских отпрысков, Августа, когда пришло время, определила ее в среднюю школу — плата за обучение десять марок в месяц. Где «усишкина» бабуля их добывала, покрыто мраком неизвестности. Правда, Шарлотту, при ее-то успехах, освобождали от платы. но каждый год приходилось зарабатывать это освобождение заново. Веди сама себя хорошо, Лотточка, знаешь ведь, об чем речь. Сумеешь взять себя в кулак.

Что да, то да, говорит Шарлотта Йордан не без горечи. Уж чему-чему, а этому я научилась. И сейчас, хотя, по ее словам, именно учительница французского терпеть ее не могла, она умеет сказать по-французски: луна — la lune, солнце — le soleil. И способна поправить мужа, который в плену выучился говорить по-французски «хлеб»; он ведь произносит «пэн», без носового. Тоже мне, образованная! — ворчит Бруно Йордан.

(Если б ты могла спросить Шарлотту, она бы, верно, ответила: делай то, чего нельзя оставить. Тебе бы хотелось услышать несколько иное. Лучше бы так: делай, если нельзя этого оставить. Но по каким признакам точно узнаешь, чего оставить нельзя?

Может, по растущей тревоге? По ночным болям в желудке, что, со своей стороны, вызывают весьма причудливые сновидения? Дом архитектора Бюлова, который в Л. долгие годы жил по соседству с Йорданами, объят пламенем. Ты мчишься туда с полными ведрами воды. В окно тебе видно, что соседка, скорчившись от боли, лежит в комнате, ты догадываешься: рак желудка. Она уже в дыму, а пошевелиться не может. Сестра милосердия, с суровым, злым лицом под крыльями чепца, подходит к окну и объявляет: Здесь тушить нечего. Не горит.)

По утрам ты пьешь хитрую смесь из горячего молока, какао, растворимого кофе, сахара и рома. И потчуешь себя сведениями, которые уже забудутся, когда эта страница выйдет из печати. В разрушенной землетрясением столице Никарагуа, по самым скромным подсчетам, погибло пять тысяч человек, уцелевшим грозят эпидемии. Взрывная сила бомб, сброшенных с начала войны на Ханой и Хайфон, вдвое превышает ту, какой обладала хиросимская атомная бомба. А у нас, говорит Ленка, никогда не бывало на рождество такой красивой елки. Ненастье тринадцатого ноября сломало нашу пихту.

И неотвязное чувство, словно вместо лица истомленная маска.

Дни с названиями — случались и такие. Названия, долгое время исключительно ямбические по форме, та-та́м, та-та̀м, позднее исподволь отошедшие от этого канона. «Воспоминанье», например, и его противоположность — «забвенье». И наконец, то, без чего нет ни «воспоминанья», ни «забвенья», — «память».

Память есть функция мозга, «которая обеспечивает восприятие, хранение, обработку и рациональное воспроизведение ушедших в прошлое впечатлений и переживаний» (Новый Майеровский лексикон, 1962 г.). Обеспечивает. Выразительно сказано. Пафос непреложности. Загадка «рационального»... Ослабление памяти — утрата воспоминаний (легкие формы нередко возникают как следствие неврастении). Качество памяти, обусловленное множеством различных факторов, в значительной степени зависит от индивидуального развития коры головного мозга.

Множество различных факторов, не поддающихся словесному определению. Вопросы вроде вот такого: отчего данный ребенок начисто забывает раннее свое детство, сохраняя в памяти один-единственный эпизод, который никто никогда не примет на веру? (Да не можешь ты этого помнить, тебе ведь и трех лет не было, еще на детском стульчике сидела.) Мать что-то смутно припоминает. А отцу и это ни к чему. Под Верденом его контузило, и он удостоился привилегии забывать. Например, имена. Насчет имен ты меня даже не спрашивай. Имена для меня пустой звук. Что ему запомнилось, так это битье. А еще — что в классе он был первым учеником: то и другое взаимосвязано. Учитель Трост, по прозванью Трость, за шум на уроке неизменно карал первого ученика, который следил за порядком. Явление первое: Нагнись! Явление второе: Получай! Явление третье: Ой-ой-ой! Явление четвертое: Больно-то как!.. — Всем считать! Хором! — Вот субъект был, верно?

То, что Нелли слушать не хочется, рассказывают вновь и вновь. А самое главное начисто забыто.

Круглый стол? Был у нас такой, еще во фрёлиховском доме, на Кюстринерштрассе. В комнатушке за нашим первым магазином, мы там и обедали, и спали все трое. У стены штабель мешков с сахаром. Накрыт чем-то белым? Правильно, клеенкой. Но ты ведь никак не можешь этого помнить.

Картина немая и ужасно старая, потому что краски ее поблекли и стерты по краям. В середине сочная золотистая желтизна — круг света от висячей лампочки (бог ты мой! старый самодельный абажур из вощеной бумаги!) над белым столом. Картина страдает незавершенностью — стало

быть, это не фотография. Не видно чашки, из которой в Неллино горло льется горячая сладкая жидкость. (Ячменный кофе — что же еще. А чашка, между прочим, голубая, верней, даже не чашка, а эмалированная кружечка. Да нет, этого ты помнить не можешь.) Мать справа. Не просто смеется — сияет. От отца одни лишь толстые, красные от холода пальцы, странным и жутковатым образом укороченные из-за серых шерстяных перчаток, у которых кончики пальцев обрезаны. (Господи Иисусе, в морозы ты надевал эти перчатки в лавке, кончики пальцев были свободны, чтоб считать деньги.) Бедные пальцы. Ребенку до невозможности жаль их, прямо сердце щемит — жаль при всем сиянье, наполняющем сцену, при всем ликовании, каким она лучится. (Эта смесь ликования и жалости как раз и запечатлеет в памяти описанную картину.)

Красные пальцы отца отсчитывают деньги на белый стол. Ладонь матери поглаживает рукав отцовой куртки. Сиянье на лицах означает: мы своего добились.

Банальное истолкование, спустя столько лет: отец отсчитал на стол первую недельную выручку нового магазина, что на Зонненплац. В разгар экономического кризиса — или скажем так: ближе к его концу — Бруно и Шарлотта Йордан ухватили судьбу за хвост, то бишь, помимо скромной, однако же вполне солидной лавочки во фрёлиховском доме, открыли новый магазин в новом квартале. Укрепили свое материальное положение. Открыли перед своей дочкой, которая в скором времени забудет заднюю комнатенку, будущее, пока что в виде собственной детской. Все как полагается. Новые покупатели ответили доверием. Вот вам и повод для сияния и счастья.

До 1350 года слово, означающее в современном немецком «память», употреблялось в смысле «дума», «помышляемое». Позднее же, как видно, возникла нужда в слове, которое вместило бы в себя понятие «помышление о событиях и переживаниях былого». Ярким примером тому служит «Траурная ода» Альбрехта Халлера, сочиненная на смерть возлюбленной Марианы (1736 г.):

В глуши, в тени дерев унылой —
Где стонов не услышит свет
Искать я стану образ милый,
Но память не ответит, нет.

Посмертное слово. Слово к усопшей — могло бы стоять в заголовке. Память — нет.

Варианты заголовка, проекты названия — ходишь с Х. по магазинам и прикидываешь. В этом году в продаже до сих пор сколько угодно больщущих апельсинов, навелей, таких — с рубчиком. Осаждаем неведомое слово — кажется, и прикрывает-то его всего-навсего тонюсенькая пленочка, а ведь не ухватишь, не поймаешь. Типовой образец. Образец поведения. Образ.

Образы детства, вскользь обронил Х., это было у аптеки, на углу Тельманштрассе. И все стало на свои места.

Образ типичный и вместе неповторимый, диковинный. По-латыни — monstrum, хорошее слово, вполне для тебя подходящее. Хотя от него тянется ниточка к другому, куда менее приятному — «монстр», то есть «чудовище», «урод». Но и таких здесь тоже встретится немало. Очень скоро, прямо сию же минуту, объявится штандартенфюрер Руди Арндт. (Скотина он, скотина, и больше ничего. Так судит о нем Шарлотта Йордан). Правда, у тебя эта скотина вызывает несравненно меньший интерес, чем те массы получеловеков-полускотов, которые — в общем-то — по собственному опыту известны тебе куда лучше. Равно как и страх, бьющий высоко вверх из мрачной бездны, лежащей между человеком и скотом.

Польский писатель Казимеж Брандыс сказал, что фашизм как идеология характерен не только для немцев, но немцы были в нем классиками.

И ты — среди своих немцев — не рискнешь, пожалуй, поставить эту фразу эпиграфом к книге. Но раз ты не знаешь точно, как они воспримут этот забракованный эпиграф — безучастно, с изумлением, возмущенно, с обидой, — то что же ты вообще о них знаешь?

Такой вопрос напрашивается сам собой.

Они что, рвутся в классики? «...были в нем классиками». Кто бы знал почему. Кто бы решился и в самом деле пожелал это узнать.

(Различают следующие виды памяти: механическую, образную, логическую, словесную, материальную, моторную.

Как же недостает здесь еще одного вида — памяти нравственной.)

А на очереди у нас теперь техническая проблема: как одним махом, без всякого перехода (нет ни фотографий, ни воспоминаний) перебросить семейство Йордан — отца, мать и дочку — из того сияющего вечера у стола в задней комнате в самую гущу событий, которые разыгрываются предположительно осенью 1933 года после обеда в новой Неллиной детской? Дополнение к Зонненплац.

Вновь сияние, и веселость, и согласие, столь благодетельное для памяти. И все же тебе не хочется вот так, ни с того ни с сего, подводить торговца провизией Бруно Йордана, нахлобучившего себе на голову синюю фуражку морского штурмовика, к кроватке его дочери Нелли, которая пробудилась от послеобеденного сна и должна приобщиться к радостному событию. Над нею сияют в блаженном неведенье лица родителей.

Но уж газеты они наверняка читали. По крайней мере «Генеральанцайгер»-то наверняка выписывали. Да, уж что-что, а газету наверняка читать успевали, даже в те годы, когда работы было непочатый край. Бруно Йордан день-деньской снует, как челнок, между Зонненплац и фрёлиховской лавкой, которую держали, покуда было возможно; Шарлотта — одна с новым учеником в новом магазине, что в новом доме ОЖИСКО. А по воскресеньям — опять же на Бруно — вся бухгалтерия, по обеим торговым точкам. Несладко им приходилось, так и запомните!

В кинотеатре «Кюфхойзер» сперва шел «Большой блеф», а потом «Невидимый идет по городу», но Йорданы слишком далеко живут и слишком устают, чтобы гоняться за развлечениями, поэтому, кроме маленького радио, у них только и есть что газета, и после ужина, пока глаза еще не слипаются, они садятся с нею за стол — хоть бы роман с продолжениями осилить («Женитьба по объявлению» Маргареты Зовада-Шиллер) или увлекательную рубрику «Голос читателя», в том числе крохотное, берущее за душу сочинение «Зверье в беде», вышедшее из-под пера естественника-краеведа штудиенрата Меркзатца. Тезис «КТО КУРИТ «ЮНОНУ», ТОТ ОПТИМИСТ!» — напечатанный ласкающим глаз жирным шрифтом, неделя за неделей он красовался по нижнему краю газетной полосы, — Бруно Йордан прямо относил к себе: он курил «Юнону», он был оптимист.

С другой стороны, все прочие сообщения совершенно их не трогали. Некоторое ограничение свобод личности (к примеру), объявленное 1 марта 1933 года, вряд ли их коснется, ведь в газетах они ничего не печатали (свобода слова), в массовых митингах не участвовали (свобода собраний) — у них просто не было такой потребности. Если же говорить о постановлении, что «впредь до особых распоряжений дозволяется в превышение закона производить обыски и конфискации», так оно было обращено против той категории людей, с которой Йорданы, что называется, отроду не имели ничего общего, — я только констатирую факт, хладнокровно и непредвзято. Коммунистами они не были, хотя, конечно, не чуждались раздумий над судьбами общества и вместе с 6 506 согражданами голосовали за социал-демократов. Уже тогда 15 055 из 28 658 избирательских голосов достались нацистам, но покуда еще не возникало ощущения, что каждый избирательный бюллетень находится под контролем. Депутаты-коммунисты, избранные 2207 неустрашимыми горожанами — в первую очередь из «мостового» предместья, — тоже покуда на воле (их арестовали, между прочим, всего двенадцать дней спустя); безработных в городе насчитывается 3944 человека, но уже к 15 октября 1933 года численность их упадет до 2024. Однако должно ли и можно ли одним этим объяснять головокружительный успех национал-социалистской партии на выборах 13 ноября того же года, когда город Л. при почти стопроцентном участии избирателей в выборах и минимальном количестве недействительных бюллетеней занял в Новой марке первое место по числу голосов, отданных НСДАП?

Бруно и Шарлотта Йордан от голосования не воздержались, такой возможности более не существовало.

Те уже завладели всем.

(Кто мы такие, чтобы, цитируя подобные фразы, вкладывать в них иронию, неприязнь, издевку?) Едва ли Шарлотта и Бруно Йордан успели проникнуться надлежащей гадливостью к якобы «систематически подготовляемым коммунистами террористическим актам», в частности к «широкомасштабным отравлениям», насчет которых рейхсминистр Герман Геринг, по его словам, мог бы представить не одну, не две, а многие «сотни тонн обличительных материалов», если б это не ставило под удар безопасность рейха. Ох и здоров же врать, говаривала в таких случаях Шарлотта Йордан, но было ли это сказано и на сей раз, предание не сохранило. Теперь уже не узнать, ломали ли они себе голову над тем, где же именно в их ясно обозримом городке таятся «подземелья и ходы», благодаря которым коммунисты «повсеместно» ухитряются убегать от полицейских облав, сиречь от правосудия. Ну а против новых радиопозывных возразить было вовсе нечего, ведь эту песню — «Честность и верность навек сохрани» — Нелли одной из первых выучила с начала и до конца без ошибок, а яркие, весомые слова («Злодею препоны везде и во всем...») лишь еще глубже запечатлели в ее душе издавна усвоенную, прочную взаимосвязь между добрым делом и добрым самочувствием: «И точно по зеленой мураве пройдешь ты жизненной стезею». Немеркнущий образ.

В НСДАП — 1,5 миллиона членов. Концлагерь Дахау, о создании которого 21 марта 1933 года официально извещает «Генераль-анцайгер», рассчитан лишь на пять тысяч узников. Пять тысяч отлынивающих от работы, социально опасных и политически неблагонадежных элементов. Лица, впоследствии ссылавшиеся на то, что они-де знать не знали о создании концлагерей, начисто, тотально забыли, что об их создании сообщалось в газетах. (Шальное подозрение: они вправду тотально забыли. Тотальная война. Тотальная потеря памяти.)

Шарлотта и Бруно Йордан вполне могли как-нибудь воскресным утром, слушая трансляцию концерта для гамбургских докеров и прихлебывая натуральный кофе, обменяться мнениями по поводу такого рода заметок, но этот их разговор останется за рамками нашего описания, ибо фантазия тут не властна. Описан будет — в свое время — взгляд заключенного у шверинского костра в Мекленбурге в мае сорок пятого года. Взгляд сквозь сильные очки с погнутыми никелированными дужками. Стриженая голова, полосатая круглая шапочка. Человек, которого Шарлотта щедро накормила гороховым супом, а потом сказала ему: Коммунист? Так ведь за одно за это в лагерь, поди, не сажали! И его ответная фраза: Где вы все только жили.

Это не был вопрос. На вопрос у того человека недостало сил. В те дни — причем не в одном лишь мекленбургском краю — из-за явной нехватки сил, и доверия, и понимания кой-какие возможности немецкой грамматики, видимо, на время вышли из строя. Вопросительные, восклицательные, повествовательные предложения было уже нельзя или еще нельзя употребить. Некоторые, в том числе Нелли, впали в молчание. Некоторые, сокрушенно мотая головой, тихо бормотали себе под нос. Где вы жили. Что вы делали. Что теперь будет. И прочее в таком же духе.

Бруно Йордан — спустя полтора года, до неузнаваемости изменившийся, со стриженой головой, он вернется из советского плена — сидит у чужого стола в чужой кухне, жадно хлебает чужой суп и, мотая головой, твердит: Что они с нами сделали.

(Ленка говорит, что она, мол, таких фраз не понимает. В устах людей, которые при всем этом присутствовали. Она не приемлет — пока не приемлет — никаких объяснений; слушать не желает, как это можно — присутствовать, а все-таки не участвовать, ей неведома сия страшная тайна человека нашего столетия. Она покуда приравнивает объяснение к оправданию и отвергает его. Говорит, что нужно быть последовательным, а в виду имеет: неумолимо суровым. Тебе это требование как нельзя более знакомо, и ты задаешься вопросом, когда же у тебя самой мало-помалу пошел на убыль этот безапелляционный максимализм. Иными словами, наступила «зрелость».)

На исходе лета тридцать третьего года в лавку Бруно Йордана — ту, что во фрёлиховском доме, — является штандартенфюрер СА Руди Арндт. Первый рассказ об этом визите Нелли слышит в восемнадцать лет — Йорданы меж тем давным-давно распростились с Л., который носит теперь польское название, и фрёлиховский дом давным-давно снесли (однако же на его месте не выстроили пока новое бетонное здание, которое вы видели, катаясь на машине по городу), — когда ее отец во время долгой прогулки по южному склону Кюфхойзера решает потолковать со взрослой дочерью о том, каждого ли человека можно превратить в скота. Сам он склонен полагать, что да, можно. Уж он-то в жизни насмотрелся. Две войны. Два плена. О Вердене и говорить не стоит. Хотя нет, стоит — только не сейчас. Французы в Марселе с их воплями «бош! бош!» швыряют камни в беззащитных пленных. А в последнем плену свои же до полусмерти избили штудиенасессора Алекса Кунке из-за ломтя хлеба.

И вкупе со всем этим — Арндт. Тот еще субъект. Скотина. Монстр в коричневом мундире штандартенфюрера СА, в до блеска надраенных сапогах. Появляется на пороге, смирный, мухи не обидит. Так, заглянул мимоходом, чтоб спросить у торговца Бруно Йордана, не был ли он очевидцем «драки между политическими противниками», каковая недавно имела место на Кюстринерштрассе и даже проникла на страницы «Генераль-анцайгера». Ответ краток: Нет. Ибо означенные события, в ходе которых был произведен один выстрел, случились, как известно, поздним вечером, то есть в такой час, когда он, Бруно Йордан, давным-давно спал сном праведника у себя на Зонненплац. Так-с. А откуда он тогда знает про выстрел? — Выстрел? Да в газете же писали, разве нет? — Ну? — удивился штандартенфюрер. Может, искренне, но скорей всего смухлевал. Про выстрел в газете действительно писали. С нынешней точки зрения просто не верится, а вот ведь писали, равно как и об открытии первого концлагеря; и речь, с которой штандартенфюрер Арндт вскоре выступил в ресторане «Вертоград», тоже была напечатана, и объявление, которое он незадолго перед тем, во время бойкота еврейских фирм, велел опубликовать, разумеется, не за свой счет: «Внимание — магазины ХАФА! Запрет на покупки в магазинах ХАФА остается в силе, ибо, по достоверным сведениям, здесь налицо еврейские спекуляции. Командир 48-го полка СА Руди Арндт, штандартенфюрер».

Чудовищная добросовестность.

Бруно Йордан знал, кто к нему пожаловал. И отлично понял: этот человек взял меня на заметку. До Руди Арндта дошел прискорбный слушок, что жены кой-каких коммунистов якобы пользуются у Йордана неограниченным кредитом. Вот что для начала услыхал Бруно Йордан. Так ведь, господин штандартенфюрер, в кредит-то все берут, особенно, само собой, безработные. Но чтоб неограниченно? Кому из коммерсантов такое по карману? И почем ему знать, в каких партиях состоят его покупатели? Правда, кредитная книга, как назло, куда-то запропастилась.

Штандартенфюрер не настаивал, можно обойтись и без кредитной книги. Он на днях ненароком заглянул в списки, которые по чистой случайности оказались у него после ликвидации местных комитетов компартии. Между прочим, помнит ли фольксгеноссе[1] Йордан, какую сумму он за последние годы пожертвовал так называемой Красной помощи? Нет? В таком случае он, Арндт, готов напомнить, с точностью до последнего гроша. Нас не проведешь.

Стула в лавке у Бруно Йордана не было. Сесть некуда, хоть ноги и подкашиваются. Волей-неволей стой и — точь-в-точь как загипнотизированный кролик, скажу я тебе, — неотрывно гляди в острые зрачки за стеклами пенсне. И вообще, будь доволен, что после должной паузы прозвучало некое предложение. Ну, ладушки. Незачем так уж сразу звонить во все колокола. Штандартенфюрер иной раз тоже способен забыть — цифры, списки, да что угодно. На определенных условиях. Полмешка муки, полмешка сахару для окружного слета СА, через воскресенье в Фитце[2]. Дешево и сердито, вполне в духе времени. И отнюдь не означает, что он с омерзением отринет пачку-другую сигарет в придачу. А еще фольксгеноссе Йордану надлежит впредь несколько тщательнее следить, чтобы гер-

[1] Соотечественник (нем.) — нацистское обращение.
[2] Ныне г. Витница (ПНР).

манское приветствие исполнялось в его лавке с неукоснительной точностью.

Тоже, кстати говоря, не вопрос.

Вот, друг любезный, какие были субъекты!

Так высказался Бруно Йордан, через четырнадцать лет после самоличного появления этой скотины, этого монстра в его лавке и в его жизни. Единственный слушатель — его, слава богу, взрослая дочь Нелли, которая с детства только и слыхала, что германское приветствие и всего лишь два года назад с трудом приучила себя говорить «здравствуйте» и «до свидания». Чтоб привет германским был, всегда «хайль Гитлер» говорим. Ее раздражало убожество стихотворной формы, а не содержание. Возможно, она, знавшая толк в стихах, даже пробовала найти более удачную рифму. Отцу она этого не рассказала. Она предпочитает не распространяться на тему о том, каждого ли человека можно превратить в скота. Достаточно только как следует его помучить. Дело в том, что страх... страх, он, видишь ли...

Нелли, пожалуй, стала несколько заносчива. Несколько замкнута. Пожалуй, многовато размышляет, бог весть о чем. Вероятно, Шарлотта Йордан — она знала, в каком ящике дочь хранит свой дневник, — была информирована лучше. Однако она едва ли обсуждала с мужем то, что вычитала в Неллиных записках.

Слова «концентрационный лагерь», или в просторечии «концлагерь», Нелли услыхала в семь лет, но впервые ли — теперь не выяснишь. Муж их покупательницы госпожи Гутшмитт, выйдя из такого вот лагеря, ни с кем слова не говорил. Почему? Небось подписку дать пришлось. (Так считал хайнерсдорфский дед.) Какую еще подписку? — Ах, деточка...

Почем я знаю.

Тоже не вопрос. Вопросы были недопустимы. Но прежде чем взяться за предысторию несостоявшихся, пресеченных вопросов — затея бесперспективная и рискованная, — ты в конце концов завершишь ту, начатую сцену, пусть даже через не хочу. Родители так и стоят у Неллиной кроватки, намереваясь приобщить девочку к некоему радостному событию. Нелли смотрит прямо в их лица, а лица эти, повторяю, «сияют».

При других обстоятельствах отец никак не вошел бы в детскую в синей фуражке, он надел ее специально для Нелли. В принципе она почти такая же, как форменная фуражка его гребного клуба «Скорая команда», только крепится под подбородком кожаным ремешком. Что отец и демонстрирует. (В «Генераль-анцайгере» можно прочесть, когда именно все городские спортивные общества влились в соответствующие организации НСДАП. Смертельный удар по немецкому пристрастию ко всяческим обществам!)

Покуда ничего особенного. Но кто это радостно сообщил Нелли: Видишь, теперь и твой отец решился. Или: Видишь, мы тоже от других не отстали.

Так вот, если допустить, что здесь перед нами не роковая ошибка памяти, то сия фуражечная демонстрация и брызжущая через край — на Нелли — родительская радость слагались, по-видимому, из следующих компонентов: облегчения (неизбежный шаг сделан, причем помимо твоей воли), чистой совести (отказ от членства в этой сравнительно безобидной организации — «Морских штурмовых отрядах» — был чреват последствиями. Какими? Слишком уж лобовой вопрос), блаженной гармонии (не всякому дано быть отщепенцем, и, когда пришлось выбирать между смутно-неприятным ощущением под ложечкой и несущимся из радиоприемника ревом многих тысяч глоток, Бруно Йордан, как человек общительный, проголосовал в пользу этих тысяч и против себя самого).

Нелли же таким манером познает сложное чувство благодарности — вроде того, что охватывает ее вечерами, когда мать напевает над ее кроваткой колыбельную — про добрую ночь, укрытую розами, усеянную гвоздочками. О всамделишных ли гвоздочках там речь, лучше не спрашивать.

Выходит, одно и то же чувство — благодарность — можно испытывать по совершенно разным поводам. Запоздалое осознание внутренней экономности чувств.

А теперь насчет вышеупомянутого отчета о митинге: 2 июня тридцать третьего года его тиснул в «Генераль-анцайгере» местный репортер,

который подписывался инициалами А. Б. Так вот, накануне штандартенфюрер Руди Арндт публично заявил, что страховой служащий Бенно Вайскирх скончался не от увечий, нанесенных ему арндтовскими молодчиками, а от сердечной недостаточности. Подумаешь, поколотили немного, от этого еще никто не умирал (дословная цитата). Этот Вайскирх, не пожелавший порвать позорную связь с еврейкой, пытался удрать от народного гнева в направлении Мещанских Лугов, не щадя своего, как всем известно, слабого сердца. Национал-социалистская совесть штандартенфюрера как нельзя более чиста.

Нелли выучилась читать в 1935 году, а газетами начала интересоваться самое раннее года с тридцать девятого — сорокового. В прошлом, 1971 году, в прохладном научном зале Берлинской государственной библиотеки тебе впервые попались на глаза объявления вроде нижеследующих. Мы особо подчеркиваем этот факт, прежде чем привести здесь тексты, которые кажутся прямо-таки невероятными.

Лозунг «Общественная польза превыше всего» уже вполне популярен, и вот 1 апреля 1933 года начинается бойкот еврейских фирм и частных практик. В Л. — ныне польском городе Г. — бойкоту подвергаются девять врачей (из них один ветеринар) и десять адвокатов, а также значительное, но точно не названное число коммерсантов. У их дверей несут караул усиленные посты штурмовиков, не пускающие клиентов и покупателей в приемные и магазины (хотя владельцы в те дни уже добровольно их закрывают), а прочие граждане родного Неллина города сидят тем временем у себя дома за кухонными, обеденными, письменными столами и сочиняют объявления, которые завтра же понесут в «Генераль-анцайгер».

Они извещают друг друга, что и сами они, и их отцы коренные пруссаки и членами Совета солдатских депутатов никогда не состояли. Йоханнес Матес, Фридрихштрассе. Они объявляют свой текстильный магазин чисто христианским предприятием. Объединяются в общество христиан-обувщиков: «Разъяснение! Дом обуви Конрада Такка, хотя и пользуется розовой с изнанки фирменной бумагой, не есть, однако же, христианское предприятие. Лишь люди с претензиями появляются на улицах с такими обувными коробками. Просим обратить на это особое внимание. Христиане-обувщики города Л.». Один из учителей танцев — их в городе два — официально уведомляет другого, что тот закаленный в боях военный летчик, представитель исконно германского и наилучшего семейства учителей танцев. Сам он отставной обер-лейтенант 54-го полка полевой артиллерии.

Крайсляйтер НСДАП лично информирует: «Бойкот, который штурмовые отряды СА объявили в субботу г-ну адвокату и нотариусу д-ру Курту Майеру, проживающему в Л. по адресу Фридебергерштрассе, 2, вызван ошибкой и снят».

Мелкие происшествия: еврей Ландсхайм подал жалобу на 48-й полк СА. — 28 апреля 1933 года: создана Государственная тайная полиция (гестапо). — Бомбы над Л.: маневры авиационной эскадрильи СА.

«Открой окно, пришла весна, садись в машину, даль ясна!»

Когда библиотекарша подошла к твоему столу, чтобы одолжить тебе карандаш, ты быстро прикрыла объявления чистым листком бумаги. Она удивилась, что тебе жарко, — в этих толстенных стенах сама она даже летом не расстается с вязаной кофтой. Однажды ты не выдерживаешь, сдаешь газетную подшивку на хранение, долго бродишь по улицам — Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе, Ораниенбургер-Тор, — заглядываешь в лица прохожих, но впустую. Остается одно: наблюдать изменения собственного лица.

Теперь несколько предварительных замечаний на тему «легковерие».

Фюрера Нелли так ни разу и не видела. Однажды — она еще и в школе не училась — магазин на Зонненплац с утра был на замке. Фюрер пожелал посетить Новую марку. Весь город сбежался на Фридрихштрассе, под огромные липы возле конечной остановки трамвая, который, понятное дело, поставили на прикол, ибо фюрер куда важнее, чем какой-то там трамвай. Было бы немаловажно выяснить, откуда пятилетняя Нелли не просто знала, но нутром чуяла, что такое фюрер. Фюрер — это когда замирает под ложечкой, и в горле стоит сладкий комок, и нужно откашляться, чтобы вместе со всеми громко выкликать его, фюрера, имя,

как того настоятельно требовал громкоговоритель патрульной машины. Тот самый, который сообщал, в какой населенный пункт прибыл автомобиль фюрера и какой бурей восторга встретило его ликующее население. Фюрер продвигался вперед до крайности медленно — горожане покупали в угловой пивнушке пиво и лимонад, кричали, пели, выполняли указания полицейских и штурмовиков из оцепления. И терпеливо ждали. Нелли не поняла и не запомнила, о чем говорили в толпе, но впитала в себя мелодию могучего хора, который черпал мощь из великого множества отдельных криков, властно стремясь наконец-то излиться в одном чудовищном вопле. Она, конечно, и побаивалась, и одновременно жаждала услыхать этот вопль, в котором прозвучит и ее голос. Желала изведать, каково это — кричать при виде фюрера и ощущать себя частицей единой массы.

В итоге он не приехал, потому что другие соотечественники в других городах и селах слишком уж ликовали, встречая его. Обидно было до слез, и все-таки не зря они целое утро торчали на улице. Насколько же лучше и приятней было вместе со всеми в волнении стоять на улице, чем в одиночестве развешивать за прилавком муку да сахар или трясти над геранями все ту же пыльную тряпку. Они не чувствовали себя обманутыми, когда расходились по домам и шагали через не застроенный тогда пустырь, где нынче высятся новые жилые кварталы и польские хозяйки перекликаются с балконов — о чем, понимает, к сожалению, лишь тот, кто владеет польским.

Ты вот не владеешь, а потому не узнаешь, для чего предназначено новенькое здание из бетона и стекла, возведенное на Кюстринерштрассе на месте фрёлиховского дома. Насчет долговременной и кратковременной памяти речь у нас пока не заходила. Ты по сей день отлично помнишь, как выглядел разрушенный двадцать семь лет назад фрёлиховский дом. И сконфузишься, если понадобится описать новую бетонную постройку, которую ты осмотрела совсем недавно и очень обстоятельно.

Как действует память? Наши знания — неполные и противоречивые — утверждают, что основной механизм работает по схеме «сбор — хранение — вызов». Далее, первый, слабый, легко стираемый след фиксируется якобы в биоэлектрических процессах, протекающих между клетками, тогда как само хранение, перевод в долговременную память, является скорей всего прерогативой химии: молекулы памяти, упрятанные в сокровищницу...

Кстати, по новейшим данным, этот процесс совершается ночью. Во сне.

3. ВСЁ СИКОСЬ-НАКОСЬ. «БЛЕСКУЧИЕ» СЛОВА. КАК ВОЗНИКАЕТ РОБОСТЬ

Тоска по вечной жизни — повод или причина?

Предпосылка: та безусловность, которая наносит урон обыденщине. Под самой поверхностью гибельное подозрение, что будничные дела никогда и нигде осмысленно не поэтизируются. В поезде, в автобусе перед тобою десятки лиц, иссушенных отсутствием тайны. Но вот девушка с выпуклым лбом, насмешливый взгляд которой задевает тебя. И молодой парень у окна, в стеганом пальто, с папкой, в очках без оправы, прижимающий к глазам кончики пальцев, устало, однако не безжизненно. Темноволосая женщина, явно знакомая с разочарованиями, но не желающая сдаваться; она читает, жадно, не поднимая глаз. Уж не твой ли долг — свести хотя бы их троих, чтобы они повстречались, эти люди, случайно и, быть может, единственный раз попавшие в один автобус, сидящие друг за другом и потому друг друга не видящие. Мимо скользит равнина, такая привычная, неузнаваемо чужая. В эту пору, между днем и вечером, незримый солнечный закат бросает отсвет на высокую алую гряду облаков. Одно из

редких мгновений, когда ты словно бы знаешь, о чем говорить, а о чем молчать, и каким образом.

Не создать нам высоких температур, которые только и могут расплавить толщу лет. Ребенок не заговорит. Будем надеяться, что завладевший им не потеряет от бессилия совесть, это ведь легче легкого. Через годы, пропасти, пустыни лет... Сердце у тебя колотится. Тебе вдруг подумалось, как широко твой век обновлял старинное изобретение — пытки, чтобы заставить людей говорить. Уж ты-то заговоришь. Ни одной фразы, почти ни одной фразы в этом языке без зловещего тайного смысла, о котором упрямо подает сигналы сердце, примитивный мускульный мешок.

Ты сознавала, что поездка в Г. — прежний Л. — была, по сути, возвращением. Ведь путешествия — штука пáрная. На иных участках железных дорог те, кто намерен обернуться туда и обратно в пределах десяти дней, имеют право на билет со скидкой. В годы твоего детства, к примеру, твой родной город Л. был связан воскресными обратными билетами со столицей рейха, где были и дворцы, и соборы с отливающими зеленью башнями. Вторая пара поездок привела Нелли — вместе с Лутцем — в городок за Бранденбургом, где еще и теперь существует железнодорожное депо, в котором ее двоюродный дед работал шорником. Плауэрское озеро в Кирхмёзере — вот самый западный водоем, виденный ею до пятнадцати лет. Эльба, девиз беженского обоза, была еще очень далеко, не говоря уже о Сене и о Гудзоне, о котором, кстати, трудно сказать, находится ли он к западу или к востоку от Одера. Здесь речь пойдет об Одере.

Третья пара поездок — пятая и шестая переправа через Одер у Кюстрина (Костшина), — в оба конца бесплатно, вела в учебный лагерь юнгфолька[1], находившийся поблизости от Франкфурта. Седьмая переправа через Одер имела место 29 января 1945 года на прицепе грузовика, обратный путь не гарантирован. Река, которой Нелли наперекор всему хотела полюбоваться, была скована льдом и никак не выделялась среди заснеженного ландшафта, сливалась с берегами. Двадцать шесть лет спустя из противоположного направления энергично затевается новая пара путешествий. Ты вдруг решила, что поездка более не терпит отлагательства, ни на день, хотя газеты предупреждали об усилении жары, поскольку не всякая система кровообращения спокойно реагирует на температуры свыше тридцати градусов, и приходилось считаться с увеличением количества несчастных случаев. Впоследствии рассказывали о терявших сознание шоферах и перегретых шинах, но ни с вами, ни у вас на глазах ничего такого не произошло. Вы быстро добрались до шёнефельдской развязки, и вот уже перед вами автострада, прямая как стрела, нацеленная на восток, к Франкфурту-на-Одере, солнце — справа впереди, а по левую руку на встречной полосе изредка нет-нет да и промчится машина. Зато на шестидесятипятикилометровом участке остатки как минимум трех-четырех до сих пор разрушенных мостов. Хакенбергер, сказала Ленка. Возле каждого разрушенного моста она называла это имя — Хакенбергер, а Лутц что-то его не знал. Ленка объяснила, что фельдфебель Хакенбергер — ее давний-предавний знакомец с грампластинки; Вилли А. Кляйнау[2] в роли арестованного фельдфебеля, крикуна и психопата, который похваляется взорванными в последний час войны мостами и той ловкостью, с какой он выводит на чистую воду строптивых новобранцев: рот открывают, а петь не поют.

Ленка умеет подражать и мужским голосам.

Один за другим следуют съезды на Кёнигс-Вустерхаузен, Шторков, Фюрстенвальде, Мюнхеберг, Мюльрозе; большие лесные массивы между мелкими населенными пунктами — это военные полигоны, в районе которых фотографировать запрещено. Порой неожиданно открывается вид на тихую озерную гладь. Последняя заправочная станция перед границей. В Польше бензин дешевле, но злотых у нас маловато. Формальности на обоих пограничных пунктах выполняются быстро.

---

[1] Юнгфольк — нацистская детская организация, входившая в состав гитлерюгенда.

[2] Кляйнау Вилли А. (1907—1957) — известный актер, играл в труппе берлинского Немецкого театра; исполнитель обличающего милитаризм радиомонолога В.-К. Швейкерта «Внимание, говорит Хакенбергер!» (1961).

Количество западных машин вполне уравновешивалось продукцией отечественных народных предприятий. Седоки тех и других автомобилей молча мерили друг друга взглядом. За рулем твои сверстники, чье детство прошло в Кюстрине, Л., Фридрихсвальде, Фридеберге, Шверине, Позене[1]. За их спинами — нынешняя молодежь, выросшая в Кёльне, Бохуме, Ганновере, Потсдаме, Магдебурге и Галле. Десять минут буквально шагом, бок о бок с «опелем» из Дюссельдорфа. На переднем сиденье двое мужчин лет тридцати—сорока, в белых нейлоновых рубашках. Сзади женщина лет сорока и пятнадцатилетняя девочка с темными кудрявыми волосами. Ленка довольно долго смотрела на них, и вот — как раз в ту минуту, когда документы после проверки были возвращены вам через опущенные окна, — девочка извлекла из ярко-красной лаковой сумки помаду и подкрасила губы. Мещане, сказала Ленка.

Франкфурт-на-Одере и Слубице соединяет восстановленный мост, с которого виден теряющийся в лугах и чаще ивняка Одер, восточная река, широкая, нерегулированная, изобилующая мелями, спокойная, красивая, и ты с радостью узнала ее. Деревья, видимо, окаймлявшие когда-то берега, росли словно бы посредине реки, той самой, через которую девочка Нелли, хоть и не здесь, переправлялась семь раз. Ее мать, Шарлотта Йордан, свято верила, что по людям видно, долго ли им в детстве доводилось глядеть на реку. От этого, мол, взгляд меняется. Висла! — говорила она. Да, это река так река! — а стояли они тогда на дамбе, у более скромной Варты, провожая взглядом плоты. Плотогон, откеда ветер? — Сам пущал его, мой светик!

Ах, Висла! Гордо скользили мимо плоты, и оклик вроде вот этого до них не долетал. За спиной у детишек — Шарлотты, Лисбет и Вальтера — дед Йоханн Генрих Цабель выкашивал свой клочок луга, который вкупе с крохотной хибаркой давал ему право записать себя в церковной книге землевладельцем, пусть он хоть тыщу раз не мог жить со своих владений, а работал обходчиком на железной дороге, на участке между Швецем и Гручно, в Кульмской земле[2] на южной оконечности Тухельской пустоши[3]. До последнего мига жизни Шарлотта прямо воочию видела, как ее дед — бородатый, шевелюра в рыжину, в правой руке крепкая палка, в левой — полотняный узелок в красную клетку, куда его дочь, тетя Лина, положила хлеба да сала, — исчезал в лесу, до опушки которого детям разрешалось его проводить. И как потом за ним смыкались пушистые низенькие сосны. Иногда он шагал в сторону Тересполя, иногда — в сторону Парлина.

Так написано на семи листках серой тетради, которые Шарлотта Йордан на склоне лет, охваченная тоской по вечной жизни, посвятила своему деду. Тебе вспоминается сон, тот, что она рассказала Нелли через тридцать лет после того, как впервые его увидела. Она опять девочка, приехала на каникулы к деду, в фахверковую хибару деревеньки Вильхельмсмарк, и каждое воскресенье ее просят спеть. Еловые доски пола добела оттерты с помощью жидкого мыла и аккуратно посыпаны мелким песком, на столе — плюшевая скатерть и вышитая дорожка, пюпитр с Библией, из которой дед читал себе, домочадцам и кой-кому из соседей вокресное евангелие. Ну а теперича твой черед, девонька. Шарлотта встает с самыми благими намерениями. Поет она всегда одно и то же — псалом «Из горних высей», но сейчас вдруг забывает слова. Дед, которого все боятся, хмурит брови. Ныче ему недостанет повода скомандовать дочери Лине: Лина, пирога робятам! Ныче надобно самому прийти на выручку, подсказать внучке, вернее, даже подпеть. Срам. Никто до сих пор не слыхивал, как он поет. Он и псалмы путает, дребезжащим голосом поет что-то вовсе незнакомое, Шарлотта даже подтянуть не в состоянии, так она взбудоражена: «И со стези господней вовек не смей сойти».

Нет, никогда, испуганно говорит Шарлотта, а дед, решив, что она отказывается петь, в ярости выскакивает на улицу. Все бредут следом и понуро глядят, как он собственноручно выдергивает стебли из своей камышовой крыши. Он, который хлопал по пальцам каждого, кто посягал на его крышу, он, с его вечным страхом, что она истончится и начнет протекать. Но это еще не все. Он шагает по дороге в деревню. И что-то ищет. Что именно? Страшно сказать: ищет он «карточные» деньги, пфенниги, которые выиграл вчера в трактире и, как всегда, с криком «Карточные деньги от диавола!» бросил поздно ночью в траву. А теперь сам же грешным делом их подбирает. Идет, праведник, средь бела дня в воскресенье в трактир пить пиво. А виновата во всем она, Шарлотта, с ее забывчивостью.

---

[1] Ныне города Стшельце-Краеньске, Сквежина и Познань (ПНР).
[2] Район г. Хелмно (ПНР).
[3] Ныне Боры Тухольске (ПНР).

На этом месте, рассказывала она Нелли, она просыпалась, всегда с одною и той же мыслью, которая, надо полагать, определенно была частью сна: все сикось-накось. Вдобавок от глубокого страха сон еще набирал значительности, вплоть до соблазна встать среди ночи и все записать. Но разве она, супруга торговца провизией, могла встать среди ночи и записать сон? Разве я могла? — спрашивает Шарлотта у дочери, спустя тридцать лет, когда это уже не вопрос. Той остается лишь утвердительно кивнуть: нет, конечно же, не могла.

На шоссе из Слубице в Костшин — хорошем, хотя и узковатом, — Ленка завела разговор о верованиях тасадаев, племени из двадцати четырех душ, обнаруженного, как она вычитала в газете, на филиппинском острове Минданао. За шесть тысяч лет, говорит она, эти тасадаи не соизволили сделать даже самого крохотного изобретения, и знаете, во что они веруют? В то, что белые зубы — примета хищного зверя. Вот и спиливают свои почти под корень и красят растительным соком в черный цвет. — Надо же, обронил Х. Вы заговорили о неисчислимых возможностях отмежеваться от животного. И подытожили: С чего-то ведь нужно начать.

Потом все долго молчали. Окольными путями на память тебе пришла Эльвира. Интересно, а Лутц помнит эту самую Эльвиру? Эльвиру с ее вечно обиженной усмешкой.

Почему обиженной?

Потому что она была из семьи коммунистов. — Лутц этого не знал. Но восьмилетней Нелли Эльвира об этом рассказала, жарким летним днем, когда солнце сквозь опущенные жалюзи рисовало на кухонном столе, на линолеуме пламенные узоры. Вот тогда-то Нелли и услыхала от служанки Эльвиры, что в тот вечер четыре года назад, когда на Гинденбургплац жгли знамена коммунистов, все они — отец, мать, она и ее два брата — были дома. Сидели в своей подвальной конуре возле скотобойни и плакали, воображая себе, что происходит на площади. — Плакали? — спросила Нелли. Так вы... вы что же, были коммунистами? — Да, сказала Эльвира. Мы были коммунистами и плакали.

Нелли помалкивала об этом разговоре, но не забыла его. Он не давал ей покоя. Коммунисты — это они избивали на улицах штурмовиков, стреляли в них из-за угла. «И павший от руки ротфронта и реакции камрад...» Коммунисты — это они вскидывают вверх кулак и кричат: «Рот фронт!»

Почему Нелли никому не рассказала то, что доверила ей Эльвира? Она что, боялась за Эльвиру? — На сей раз, хоть это и кажется невозможным, ты намерена вывести девчонку на чистую воду.

Сначала факты.

Устраивалось ли в Л. вообще сожжение знамен? «Генераль-анцайгер» не оставляет на сей счет никаких сомнений: «Генеральная чистка на Гинденбургплац!». Дата: 17 марта 1933 года. Руководство Коммунистической партии, написано там, «отвернулось от нее». А раз так, СС и СА считают своим долгом отметить завершение многодневной чистки «триумфальным шествием» по улицам Л. «Тысячи будут восторженно приветствовать штандартенфюрера Арндта». Места у окон на Гинденбургплац раскуплены все до одного. Вырученные деньги предлагается полностью передать в фонд СА.

Итак, 17 марта в Л. — день националторжества. Завтрак у Йорданов, которые, наверно, читают вслух заголовок из «Генераль-анцайгера», протекает нормально. Не исключено, что Шарлотта прочитывает еще две-три фразы, с той особой интонацией, какая свойственна лишь ей одной. Ну, перестань, говорит, наверно, Бруно Йордан. Мы ликовать не будем, и точка. — Места у окон на Гинденбургплац... Слушай-ка! А Люция с Вальтером тоже? (Вальтер Менцель, брат Шарлотты, жил со своей мо-

лодой женой Люцией на Гинденбургплац: Он-то как, тоже сдал балкон?) — Вздор, сказал, наверно, Бруно Йордан. Что ты городишь.

Уж не в ту ли ночь 17 марта Шарлотта впервые с ужасом подумала (во сне или наяву): все сикось-накось! — теперь не узнаешь. Хотя тебя интересуют именно такого рода факты, не напечатанные в газетах, не включенные в статистические сводки. Дело не в том, что дни национал-торжества наверняка прошли в каждом городе. И даже не только в том, что — согласно «Генераль-анцайгеру» — население Л. плечом к плечу выстроилось вдоль главных улиц, по которым в восьмом часу вечера со стороны «Адлергартена» двигалось факельное шествие СС и СА. Маршевая музыка, песни. Флаги нацистского движения. Взлетающие вверх руки. Знакомые, слишком знакомые жесты. Что же люди при этом думали, что чувствовали, безотчетно, стихийно — вот это тебе очень бы хотелось знать.

Бруно Йордан, вероятно, слегка загрипповал и слег в постель. Да и текст песни о Хорсте Весселе, которую наверняка распевали, он, поди, знал еще плоховато. Люция и Вальтер Менцель наблюдали приближение колонны с балкона своей квартиры. Посредине, за машиной с «символами коммунизма», шагали л-ские ротфронтовцы, последний раз одетые в свою форму. Выражение лиц этих людей с балкона было не разглядеть. (А тебе кажется, словно ты видишь их лица.) Может, Вальтер с Люцией пустили к своим окнам зевак? Вопрос остается открытым, ибо простосердечная тетя Люция ни разу словечка не проронила об этой массовой народной демонстрации.

Затем к населению обращается обер-бургомистр. «В пятидесятую годовщину со дня смерти Карла Маркса его идеи терпят фиаско в родной стране». Крайсляйтер НСДАП объявляет, что сейчас руководство и члены Коммунистической партии собственноручно сожгут свои знамена и значки. Вожак коммунистической молодежи, чье имя останется неназванным, решил, что его руководство сбежало: «Камрады! Нельзя идти за неосуществимой идеей». (А почти в это же самое время молодой коммунист, ваш теперешний друг Ф., просит соответствующую инстанцию Коминтерна направить его в Германию для работы среди молодежи — с перспективой почти наверняка попасть в концлагерь. Так и случилось.)

«Пусть мы умрем, но жить Германия должна!» — рявкнул, как говорят, штандартенфюрер, прежде чем отдал команду запалить костер, на котором лежали знамена коммунистов. (На Гинденбургплац, где теперь растет мягкая низенькая трава, а вокруг стоят лавочки и на них субботними вечерами мужчины играют в карты, изредка прикладываясь к бутылке, которую ставят на землю, себе под ноги.) Для юной Эльвиры пришло время плакать. Для корреспондента «Генераль-анцайгера» — время записать: «Откровенно упиваясь стародавней жаждой разрушения, коммунисты расплющивают молотами свои дудки». Пришло время для песен о Германии и о Хорсте Весселе, для леса вскинутых рук, слаженного стука сердец и восторженного рева десятитысячной толпы.

Сегодня, почти ровно сорок лет спустя, пришло время задать кой-какие вопросы, резкость которых отчасти обусловлена невинностью Нелли: ей было четыре года. (Нельзя не привлечь внимания к тому факту, что невинность в этой стране можно почти безошибочно измерить возрастом.) Вопросы такого характера: сколько обитателей Гинденбургплац наутро, согласно распоряжению, передали в фонд СА выручку от сдачи зрительских мест? (Да так ли уж она велика — одна-две марки за стоячее место, ни в коем случае не больше, если учесть, что через неделю-другую Л. объявят районом бедствия и въезд туда будет ограничен.) Далее: сколько процентов населения Л. (48 000 жителей), — кроме семейства юной Эльвиры, отец которой работал на бойне, — в тот вечер плакали? Праздный вопрос, ведь нет и не будет мерной рейки, точно показывающей, сколько человек в такой-то группе населения должны плакать, чтобы нейтрализовать хохот остальных, подавляющего большинства. Пять процентов? Три и восемь десятых? Или достаточно одной семьи, чтобы спасти целый город? Пять праведников на пятьдесят тысяч?

Ты склонна к встречным счетам: пусть даже всего один смеялся, ликовал и пел во все горло! (Нравственный ригоризм, никчемный, ибо он ничего не разъясняет. Подозрение, что ты ищешь повод освежить блекнущие нравственные мерила...)

О том, какое количество народу стояло на улицах и на Гинденбургплац (или как там называлась эта площадь), сведений нет. От «Адлергартена» до Гинденбургплац — километра три-четыре. Люди стояли якобы плечом к плечу. Ладно. Но во сколько рядов? В один или в два, три, четыре?

Статистические данные для твоих целей так или иначе слишком грубы. Даже будь у тебя точные цифры, ты захотела бы каких-то новых сведений, которых при всем желании совершенно неоткуда взять. После слез тебе понадобится считать капли пота, от страха выступившие в тот вечер на лбу кое у кого в ликующих толпах. Ладони, взмокшие от омерзения. Перебои в работе сердца — среди всеобщего восторга. Возможно, эти данные тоже оказались бы неутешительными. Возможно, это правда: они все до единого восторженно приветствовали штандартенфюрера Арндта, и приветствовали бы так любого, как бы он ни звался. Эта походка враскоряку, и эти коротенькие руки-ноги, и этот двойной подбородок, перерезанный ремешком фуражки, ровно ничего не значили, их бы могло и не быть. Однако л-ским гражданам достался вот такой, другого не было. Да и нужен им был не столько он, сколько собственное ликование, — поэтому они приняли его и восторженно приветствовали.

Достаточный ли это повод, чтобы отложить в долгий ящик поездку на родину, некогда ликующую, а ныне потерянную? Ведь разыгрывать отсутствие интереса тебе не пристало. Быть может, тебя — как любого другого — не тянет переступить границу, за которой кончается вся и всяческая безобидность. Кстати, странно, что одна-единственная крестьянка в белом платке, повязанном на определенный манер, с сенными вилами на плече способна превратить знакомые места — это был окаймленный гладью полей проселок за Гужицей (бывшим Горицем) — в восточный ландшафт, пробуждающий в тебе любопытство. И ничуть не в пику этому ты перечисляла травы, росшие на обочине: тысячелистник, сердечник луговой, зверобой, голубой цикорий, мать-и-мачеха, полынь, подорожник, пастушья сумка. Их везде полно, объявил Х., и Ленка, которая потихоньку начала объединять его и себя в некое подобие фракции, конечно же, поддакнула. Нет, мол, тут ничегошеньки особенного. А тебе казалось — и ведь с этим нельзя было не согласиться, — что таким вот образом, в таком ботаническом наборе травы могут расти лишь в придорожной канаве по ту, вернее, по эту сторону... короче говоря, к востоку от Одера. Их протест, слегка резковатый, должен был предостеречь тебя от сантиментов — и впустую. Их домыслы насчет того, что здесь уместны предостережения, расстроили тебя, конечно. Ну что ты, сказал Лутц.

Они этого не понимают.

А ты хотела объяснить. Ты же не говорила, что никогда не тоскуешь по родным местам. И не станешь отрицать, что временами силой подавляла это чувство, хотя с точки зрения возможных последствий насилие над эмоциями всегда рискованно. Но если уж давным-давно улицы родного города даже во сне ни разу тебе не являлись (хотя раньше так бывало часто, заодно тебе предлагалось перечислить их названия, что во сне было невозможно; проснувшись, ты могла как по нотам отбарабанить все названия, которые никак не шли с языка во сне: Адольф-Гитлерштрассе, и Бисмаркаллее, и Шлагетерплац, и Мольткеплац, и школа имени Германа Геринга, и казармы имени Вальтера Флекса [1], и поселок штурмовиков, — ведь уличная сеть города, где ты провела детские годы, врезалась тебе в память, как и всякому, раз и навсегда, как образец природой данного расположения рыночных площадей, церквей, улиц и рек. Здесь она, слишком уж предательская, наводящая на следы, которые надо стереть, приложима лишь частично, лишь в переиначенном виде, с подменами; ведь ты обязана запутать конкретные факты, чтобы приблизиться к реальности), если этот сон так давно не приходит — можно ли отыскать более убедительное подтверждение дистанции? Несколько позже возникнет вопрос, подтверждением чего служит тот факт, что, побывав в этом городе, ты опять начала видеть его во сне.

---

[1] Флекс Вальтер (1887—1917) — немецкий поэт, прозаик и драматург; в своих произведениях романтизировал войну; погиб в боях на о. Эзель (Сааремаа).

Многие городские улицы были замощены, местами брусчаткой, а местами уже крупными плитами из так называемой серой вакки, несокрушимого камня, который, верно, и сейчас лежит под асфальтом современных улиц, например, под одной половиной Зольдинерштрассе, ее проезжая часть расширена вдвое, засыпана щебнем и залита гудроном; кстати, здесь, по левой стороне — если стать спиной к городу — находится ныне заброшенный «Адлергартен», а четырьмястами метрами дальше вверх (улица идет в гору) стоит на правой стороне тот дом на две семьи, который Бруно Йордан выстроил в 1936 году и в котором они прожили последние девять лет, до самого бегства. «Адлергартен» — пивной зал с так называемой садовой кофейней: легкие столики и стулья в посыпанном гравием дворике, — именно отсюда двинулось вечером 17 марта 1933 года то злосчастное шествие, и не только оно, также и маршевая колонна мобилизованных района Норд-Вест, их призвали утром 26 августа 1939 года, и Бруно Йордан был среди них. Неделю спустя он ушел на свою вторую войну.

Всему свое время. Вопрос был задан такой: почему восьмилетняя Нелли сочла важным секретом и сохранила в тайне слова шестью годами старшей Эльвиры, что они, мол, были коммунистами и плакали.

Предварительный ответ: из робости. (Предварительный, потому что он ничего не объясняет, хотя и спорит с ранее провозглашенным тезисом, что молчание может быть добродетельным.) Да, конечно, если бы она молчала, опасаясь болтливостью навредить Эльвире. Правда в ином: Нелли даже в голову не пришло, что Эльвира и ее родные так и не стали верными сторонниками фюрера. Нет, защищать нужно было не Эльвиру, чья кислая улыбка частенько раздражала Нелли, ведь при всем при том она не могла не восхищаться ею как знаком причастности к жизненным сферам, которые ей самой заказаны. Нужно было, наверно, расширить и собственную секретную зону. Ибо прямая, правдолюбивая натура этого ребенка — ты для меня прозрачна, как оконное стекло, говаривала дочери Шарлотта — создавала скрытые от нее самой помутнения и убежища, куда можно было залезть, чтобы остаться наедине с собой. Назойливость других — вот корень секретничанья, которое может обернуться потребностью, а в конечном счете привычкой, вызвать к жизни скверные пороки и великие стихи.

Ты должна мне все рассказывать.

Глубокий след, который оставили в Неллиной душе проступки и умолчания, неразрывно и навеки слившиеся воедино, пестрит «блескучими» словами. У взрослых, которые их произносили, в глазах появлялся блеск. Когда они говорили, смотреть надо было не на рот, а в глаза, тогда сразу поймешь, о каких словах спрашивать нельзя.

Ненормальный, например. Сколько раз Шарлотта восклицала: Да вы что, ненормальные?!

Нелли пронзила мысль: а вдруг она права. Быть ненормальным — вот кошмар так кошмар, это каждому ясно, стоит только поглядеть на мальчонку по имени Хайни, когда несчастная мать или кто-нибудь из угрюмых братьев везут его в маргариновом ящике, обитом изнутри одеялом и поставленном на колеса; он машет тощими, нескладными, будто чужими руками, загребает ступнями, распускает слюни и бормочет всем, кого увидит, свои три слова (других он не знает): Мама бедная тетя.

Хайни, по прозванью Мама-Бедная-Тетя, который всегда хохочет, не зная радости, — этот Хайни ненормален. А Нелли — слава богу, здоровая, слава богу, при нормальном рассудке — не допустит, чтобы руки-ноги болтались в суставах, хотя украдкой и пробует это изобразить, и чтобы из разинутого рта снова и снова вылетали разные бессмысленные слова. Нет уж, она возьмет себя в руки. Вот чему должен выучиться каждый человек, а то какой же он человек, говорит мама. Надо в конце концов владеть собой! — говорит она, когда вальдиновская Аннелиза (ей лет семнадцать, не больше) под ручку с подмастерьем пекаря зачастила вечером на Верицкие горы. Хотела бы я посмотреть, какие такие булки эта дуреха оттуда в подоле принесет! Слепому видно, у девчонки скверные наклонности. Красна ягодка, да на вкус горька.

Скверные наклонности — слова блескучие. И чахотка — тоже блескучее, только потусклее. Из тех, что Нелли может опробовать сама. Ее отсылают на улицу, потому что за завтраком она пролила молоко на скатерть. Иди поиграй на воздухе. Во дворе стоит Кристель Югов с виноватым бледным личиком и этой несносной плетеной коляской для кукол. Будешь играть?

Сегодня нет.

Слезы, как всегда. Я ведь больше всего люблю играть с тобой. — Да мне-то что. — Почему ты со мной не играешь?

Нелли решает немедля, сию же минуту раз и навсегда положить конец сочувственно-лицемерным отношениям с Кристель Югов. И объявляет, что ее мама, госпожа Йордан, вообще запретила ей играть с Кристель Югов, потому что у той страшнейшая чахотка, причем в легких, а это, как известно, жутко заразно.

Десять минут спустя, нечесаная, в сбившемся на сторону фартуке, у йордановской двери вырастает госпожа Югов; глядя ей прямо в лицо, Нелли отпирается от всех своих слов, за что госпожа Югов называет ее «испорченной девчонкой». Матери, которая загоняет ее в угол, она тотчас и отнюдь без раскаяния во всем сознается, но наотрез отказывается объяснить свое поведение. Взамен она получает недоверчиво-уничтожающий взгляд, которого ждала, на который, может, и рассчитывала, и садится к окну.

Однако воскресные дни долги, и мало-помалу скудный запас Неллина самодовольства пошел на убыль, начал неудержимо таять, пока перед нею не встал вопрос о том, почему она в самом деле порвала с этой замухрышкой Кристель Югов: потому, что не хотела больше врать — в поддержку этой версии она была готова на беззастенчивое вранье — или потому, что нашла наконец желанный предлог отделаться от этой занудливой капризули. Каждый раз, когда ей удавалось оправдать себя, где-то в темных глубинах ее существа этот вопрос неизбежно рождался вновь, и ответы на него все время были разные, так что всякая уверенность в себе грозила кануть в некий бездонный омут. Процесс до жути притягательный, она смекнула, что он напоминает: этикетку с молочных банок фирмы «Либби»; на них изображена медсестра в белом, на ладони протягивающая наблюдателю, покупателю, потребителю еще одну либбиевскую банку, на этикетке которой вторая медсестра, значительно меньшего размера, проделывает то же с третьей банкой. И так далее. Покуда медсестры и банки не становятся настолько малы, что никакой кистью их не написать, лишь Неллин истерзанный мозг способен воображать их, да еще с предельной отчетливостью, от чего в конце концов справа над глазом начала быстро пульсировать жгучая точка, крохотная, с булавочную головку.

Ты что? Плохо себя чувствуешь? Голова болит? Ну-ка, дай лоб пощупаю. Та-ак, температура. У ребенка жар. Немедленно в постель. Теперь-то ясно как божий день, почему она так странно себя вела. Это все из-за болезни.

Ветрянка, сказал доктор Нойман, болезнь пустячная, с ума сходить не стоит. Надо только, чтобы человечек показал характер и не ковырял болячки.

Нелли с удовольствием думала о том, что показать характер можно, только преодолевая трудности, что на улице вовсю идет большая игра ОЖИСКО, право участия в которой ей бы пришлось покупать, а для этого надо было глубоко запустить руку в отцовские банки с конфетами, что Кристель Югов, как она слыхала, нашла себе подружку, новенькую девчонку по имени Хильдхен, которая, по отзыву мамы, тоже на бледную немочь смахивает, и теперь вместе с ней возит свою бежевую кукольную коляску, а она, Нелли, под руководством госпожи Эльсте тихо-мирно вяжет крючком кухонные тряпочки-хваталки. Госпожа Эльсте, переболевшая ветрянкой (и кое-чем еще, ах, если б ты знала!), безмятежно сидела у Неллиной постели, распевала «Глухо слышна барабанная дробь», и теннисный мяч у нее на шее дергался вверх-вниз. «Далёко до места, так долог мой путь. //Скорей бы конец — мне пора отдохнуть.// А то разрывается сердце».

Тут Нелли, бесспорно ослабевшая от температуры, наконец-то разразилась плачем.

Чужеродный — тоже блескучее словцо. Не иначе как Бруно Йордан временами зачитывал жене из газеты такие слова, каких сама она в жиз-

ни бы не употребила? Закон о профилактике появления потомства, страдающего наследственными заболеваниями. Или стерилизация, которую, как подчеркивала газета, нельзя путать с кастрацией.

Бруно! Я тебя умоляю. Подумай о дочери. Летают туда-сюда фразы, пестрящие блескучими словами, в частности, у мамы сорвалось с языка весьма и весьма любопытное — «бесплодны»: Обе твои сестры бесплодны — печально, но факт. И никто тут не поможет, ни бог, ни черт.

Младшие сестры отца — это тетя Ольга, которая жила в Лейпциге вместе с мужем, дядей Эмилем Дунстом (Эмиль Дунст якобы «представлял» по части косметики некую солидную фирму, а Шарлотта по этому поводу неизменно повторяла: Если он сам в это верит, значит, я полная идиотка), и тетя Трудхен, обитавшая со своим супругом, владельцем авторемонтной мастерской Харри Фенске, в Плау-ам-Зе. Плау — если не самый красивый, то все ж таки самый удивительный город на свете, где в витринах повсюду были разложены хрупкие, изящные игрушки (например, балерины в юбочках из органди, которых тетя Трудхен привозила в подарок Нелли, а потом сама ими играла), где очаровательные люди благовоспитанно общались между собой, а мужья — в особенности дядя Харри, муж тети Трудхен, — носили своих жен на руках. Но как же это может быть (быть этого не может! — одно из любимых восклицаний тети Трудхен), что и поныне, когда ты слышишь слово «Плау», перед твоим внутренним взором являются дамы в белом, с зонтиками от солнца, и белые паруса на озере, а не тот реальный малопримечательный город, через который вы много раз проезжали, даже останавливались как-то поесть мороженого, — как же это может быть, понимай, кто хочет. Или кто ищет доказательств власти идеального, вымышленного, желаемого над действительными фактами жизни.

Хватит для начала про Трудхен Фенске, которая, значит, была бесплодна — этого слова Нелли слышать не позволялось, а то бы ее мигом выставили из комнаты; тетя Трудхен, которая однажды, после великого множества перипетий, когда мужья и в Плау перестанут носить жен на руках, расскажет племяннице ту историю с матросом Карлом, историю ее бесплодия. Но пока суд да дело, тетя Трудхен и дядя Харри Фенске ищут ребенка для усыновления. А точнее, младенца. Ведь тетя Трудхен души не чает в малышах. Каркать, конечно, незачем, говорит Шарлотта, но ей бы лично не хотелось быть младенцем, который попадет под опеку золовки. Почему? Да потому, что малышу необходим режим, четкий, расписанный по минутам. А твоя сестра, ты же не станешь отрицать, копуша и разгильдяйка.

Младенец — за ним трое суток наблюдал врач-педиатр, признавший его не только нормальным, но очень даже смышленым, — был из простой семьи, впрочем, оба родителя письменно от него отказались и не имеют права разузнавать о местопребывании своего чада. Требование возврата исключено, это уж как минимум. Кстати, по отцовской линии предки сплошь арийцы, а вот с происхождением прислуги-матери дело обстоит весьма туманно. Говоря без экивоков, мать мальчика родилась не в браке. Что ж. В жизни всякое бывает. Но от природы не уйдешь.

Природа? При чем она тут? Ведь природа — это лес, парк с лужайками — или что-то еще?

Этого Нелли пока не понимала. Вообще слишком уж много всего обсуждали при детях, а им только того и надо, ушки на макушке держат. Нет, ты посмотри на нее, а?

Потом, значит, снова газета.

Евгенический образ жизни. Школы обязаны впредь воспитывать детей в духе евгенического образа жизни. А это как понимать?

А так и понимать. Запретят здоровым девушкам вроде твоей дочери выходить замуж за больных парней вроде Хайни.

Так это же само собой разумеется!

Пожалуйста, вот здесь написано: Кто не должен вступать в брак? Венерические больные, чахоточные и душевнобольные. Четыреста тысяч, мол, сразу стерилизуют.

Бруно. Прошу тебя.

Четыреста тысяч. Сугубо добровольно, разумеется. А между прочим, эти болезни передаются в роду.

Что это за болезни такие, которые вдобавок передаются в роду?

Блескучие слова. Вопросы не допускаются. Фридрих Великий из рода Гогенцоллернов. Белая эмалированная табличка на Рихтштрассе: «Специалист по кожным и венерическим болезням». Выходит, целый род может заболеть, а из-за этого все они останутся без жен и без мужей. Значит, поневоле сделала вывод Нелли, и ее род может заболеть, чахоткой или там душевной болезнью. Захворает род Йорданов, загниет, а она будет сидеть у разбитого корыта — ведь замуж-то нельзя.

Более точные сведения о состоянии здоровья своего рода она могла получить только от человека, который ни о чем не подозревал. От «усишкиной» бабули.

Ну конечно, можешь заночевать у меня, Нелличка. Оставь ребенка в покое. И почему бы мне не сварить супчик с мучной заправкой, раз она его любит?

«Усишкины» дед и бабка живут теперь на Адольф-Гитлерштрассе. Ах, господи, человек-то привыкает. Больные? — говорит «усишкина» бабуля. Мы?! Словно у нас другого дела нет, как болеть. Или ты про мой желчный пузырь?

Нет, не про желчный пузырь. Да его и удалили в самую пору. Чахоточные? Езус кохany[1], понятия не имею. Душевнобольные? Этого еще не хватало! Дядя Эде? Муж тети Лины из Гручно, что в «польском коридоре»?[2] Мой зять Эде душевнобольной? Кто это тебе наговорил? Так я и думала. Дни-то долгие, вот твоя мамаша и горазда языком болтать.

У тети Лины из Гручно муж с приветом, да еще с каким. Дядя Эде.

Информация подтверждается двумя свидетелями, которые вот только что съездили в «польский коридор» в гости к тете Лине и дяде Эде, — братом «усишкиной» бабули Генрихом и его женой, тетей Эмми, постоянно проживающими в Кёнигсберге (Восточная Пруссия).

Ой, милые, у Лины такое творится. Неладно у них там.

Нелли в пижаме укладывается на живот возле двери бабушкиной большой комнаты, чтобы сквозь щелку подслушать, почему тетя Лина — потешная чудачка, между прочим, и детей ужас как любит — должна теперь бояться за свою жизнь. Притом Эде мужик неплохой, да и не был он никогда плохим: кто этак говорит — бесстыдно врет. Просто самогон ему всегда очень уж быстро в голову ударял. И «усишкина» бабуля — господь свидетель — не раз уже говорила ему: Возьмись за ум, Эде! А то ведь, мол, добра, не жди. Однако дядя Эде, который представлялся Нелли маленьким, печальным человечком с круглой головой, твердил свое: Эх, Густа, Густа, если б ты знала. Это глубокомысленное изречение Нелли решила на всякий случай запомнить. С испугом и удовлетворением она услыхала, что дядя Эде, когда на него в очередной раз накатывало, шел на тетю Лину с топором, а после, опамятовавшись, клал голову ей на колени и заливался слезами: Линушка, Линушка ты моя!

Все эти незаурядные происшествия надо было мысленно разместить посредине «польского коридора», где из-за пресловутой польской шарашки навести порядок никак не удавалось — то ли дело их собственный немецкий коридор, там даже грязную обувь оставлять не разрешали, ведь коридор да ванная — это визитная карточка квартиры.

По тюльпанному дереву, что росло возле бабушкина крыльца, ты вмиг отыщешь ее дом среди множества других на длинной улице, думала ты и оказалась совершенно права. Дерево, которое в июле уже не цветет, стало выше и толще, а дом как бы уменьшился в размерах. Голубые ставни перекошены, ворота обветшали, с виду ни дать ни взять беззубая пасть — беглое впечатление, поскольку вы, хоть и медленно, но без остановки проехали мимо. А вот Лутц, которому было четыре года, когда дед и бабка отсюда уехали, не узнал ни тюльпанного дерева, ни ставен. Хоть убей, сказал он. Полнейшая нирвана.

Насчет змеи ты промолчала. Но ведь именно здесь она и вошла в Неллину жизнь — вползла, взмеилась, мерзкая тварь. Само собой, тол-

[1] Господи Иисусе (польск.).

[2] «Польский коридор» (Данцигский коридор) — наименование узкой полосы земель, отошедших к Польше после первой мировой войны и обеспечивавших ей выход к Балтике.

стенная, иначе парнишка-дровосек из рассказа «усишкина» деда нипочем бы не принял ее за бревно. Здесь, в большой комнате, на этом диване с обивкой в коричневых разводах, Нелли внимала дедовой истории — сказать «слушала» было бы чересчур слабо и невыразительно. Ох уж эта змея, она потом ночь за ночью лежала возле Неллиной кроватки. И хотя никогда не пыталась обидеть Нелли, однако ж не давала ей ночью встать с постели. Змеи не из тех животных, с которыми можно столковаться или как-нибудь еще вступить в контакт. Они молчком укладываются возле кровати, рассчитывая на то, что нечистая совесть прозорливо подскажет, чего им надо. В бабушкину квартиру им хода нет, ведь там спишь под боком у бабушки на широкой скрипучей деревянной кровати, лицом к стене, на которую уличный фонарь бросает теневой узор листвы тюльпанного дерева. И большим белым горшком можно спокойно воспользоваться, пока «усишкин» дед громко и ровно похрапывает на своей кровати. Нелли не спит и старается поймать свои мысли в момент возникновения. Она опустошает голову. Потом велит себе думать: сейчас темно. Но каждый раз вполне сложившейся мысли предшествует нечто вроде внутреннего шепота, уловить который ей не удается.

(Звонок по телефону — это Рут, старшая дочь: она видела тебя во сне. Гладкая, как зеркало, вода, а ты заплыла слишком далеко от берега — топиться собралась. — Зачем ты мне это рассказываешь? — спрашиваешь ты. Подстегнуть меня хочешь? Лавировать осторожней, чем я сейчас, едва ли кто сумеет. — А вдруг, говорит Рут, я во сне толкую твои порою нелепые припадки храбрости как тайный призыв к другим: давайте, мол, уничтожьте меня? Чтобы тебе самой не пришлось этого делать. — Чересчур просто, говоришь ты. Ведь если на том конце озера есть другой берег, мне явно захочется его увидеть. — Тебе вспоминается, как ты в детстве боялась за свою маму. Неужели все повторяется? Неужели понимание того, как остановить этот круговорот, непременно должно приходить слишком поздно, когда вред уже нанесен, а сам ты слишком стар для радикальных перемен?)

Почему Нелли было так важно слыть храброй? Дядя Генрих из Кёнигсберга, большой насмешник, медленно-медленно ведет ее указательный палец сквозь пламя свечи. Нелли не дергается, даже когда на глазах выступают слезы, и все-таки дядя Генрих говорит: Не-ет, девонька. Это не храбрость. Вот ежели ты мне скажешь сейчас, что злишься на меня, что я противный, — вот это будет храбрость. — Дядя Генрих с его длинным лошадиным черепом, желтым и блестящим, с его громадными желтыми зубами. — Ну что, скажешь? — Нет, говорит Нелли. — Вот видишь. Ты, пожалуй, сердобольная, но не храбрая: храбрость — это совсем другое.

И тотчас же новое испытание. В дверь позвонили. Рассыпаясь в извинениях — Нелли едва не подумала: наконец-то! — вошло одно из тех созданий, без которых мир был бы не таков, каков он есть, но которые по вполне понятным причинам избегают открыто появляться в будничной жизни: ведьма. Дряхлая как Мафусаил и страшная как смертный грех. Дядя Генрих встретил ее подобострастно: мадамочка то, мадамочка сё. Чашечку кофе, сударыня? Нелличка, ну что же ты. Поухаживай за гостьей. Это, кстати, моя внучатая племянница, девочка воспитанная, зовут Нелли.

Ведьма сказала, что ей очень приятно, и обсосала бородавку на верхней губе. Нелли, конечно, заметила, что бородавка у ведьмы на том же самом месте, как у тети Эмми, кстати говоря, куда-то ненароком отлучившейся. И что на ней очки с наклеенными косыми глазами и картонным носом противного красного цвета. Но девочка понимала: тот, кто решил обманывать по-настоящему, так грубо действовать не станет. Тут совсем другой фокус, хитрый вдвойне и, по мнению Нелли, хорошо ей знакомый: страшную маску надевают, чтобы никто и подумать не смел, какая образина скрыта под нею. Впрочем, на Нелли эта мистификация впечатления не произвела, равно как и зеленая шаль тети Эмми, которую ведьма набросила себе на плечи. Ведьме хотелось, чтобы ее приняли за тетю Эмми: дескать, тетя Эмми решила устроить розыгрыш. Она и говорила тети-Эмминым голосом, только нарочно измененным. И совершенно зря. Нелли хоть и пробормотала — из вежливости — несколько раз тихонько: Да это же тетя Эмми! — а сама ни секунды не сомневалась насчет того, с кем имеет

дело. Потому что есть надежные приметы, позволяющие опознать ведьму. Она обладает способностью менять состав воздуха: неприличия выглядят в ее присутствии вполне естественно, а прежде естественное кажется донельзя смешным.

Пример: ведьма, тотчас занявшая почетное место на диване, не побоялась высмеять «усишкина» деда за то, что он, положив кусок хлеба на дощечку, острым ножиком надрезает корку, часто-часто, буквально через каждый миллиметр, — иначе беззубым деснам ее не разжевать. Ведьма, которой глубоко чужды и уважение и сострадание, недолго думая окрестила его Германом Вострозубом — хо-хо! — а дядя Генрих громко расхохотался: Аккурат в точку попали, мадамочка. И что еще хуже и неприличнее: «усишкина» бабуля тоже хихикает, как девчонка, прикрыв ладошкой рот, а главное, и у самой Нелли першит в горле. Ну ты-то, ты-то, вострозубая! — твердит «усишкина» бабуля. Она с ведьмой на «ты».

Теперь ведьма — прежде она, отчаянно привередничая, слопала все, что дядя Генрих положил ей на тарелку, — начинает извиваться и корчиться, стонет и мнет себе живот, а в результате — к собственному облегчению и к Неллиной неловкости — издает бесконечную очередь непристойных звуков. Должно быть, ведьмы не знают чувства неловкости и потому умудряются ненатуральным голосом спросить у ненароком случившегося тут ребенка: Ну а маленькая барышня? Я и ей очень противна? — Да нет, ни капельки, совсем даже наоборот (заявление, относившееся к подклассу «дозволенная ложь во спасение», «ложь из сострадания», каковой следует откликаться на все уродливое). Ведьмы же, у которых нет нужды лгать, неизбежно принимают вранье за чистую монету (это второй признак, отличающий их от людей), вот и начинают скрюченной, морщинистой рукой трепать ребенка по щекам. А на этой руке Нелли, к невыразимой своей досаде, обнаруживает тети-Эммино золотое кольцо с жемчужиной.

По законам своего племени выставив всех окружающих в дурацком свете, ведьма на прощание удовлетворенно рассыпается в благодарностях. Желает присутствующим долгой жизни, ведь когда кто-нибудь из родни умирает, живые, мол, первым делом думают о траурных платьях, а после корят за это не себя, а покойника. Что ж, на то и люди, надо принимать их такими, каковы они есть.

Лутц, что тебе вспоминается, когда ты слышишь «тетя Эмми»?

Бородавка. Кёнигсберг. Вязанье. По-моему, она жутко быстро вязала.

Тетя Эмми — такой она последний раз возникает в твоей памяти — жарким летним днем сидит со своей золовкой Августой, «усишкиной» бабулей, на крылечке нового йордановского дома. Нелли кувыркается на перилах. Было это году в сорок первом — сорок втором, после вторжения в Советский Союз, но до Сталинграда. Тетя Эмми без всякого маскарада. Какая-то женщина торопливо взбегает по боковой лестнице, которая ведет на второй этаж и заканчивается той самой каменной площадкой, где сидят обе вязальщицы. Нелли узнала выцветшую тиковую робу, белый платок на голове, большую букву «О» на груди и на спине: «остарбайтер», «восточный работник». Узнала девушку-украинку, прислугу майорши Остерман. По особой просьбе Шарлотты Йордан она приходила за покупками для майорши перед самым закрытием магазина, а жила в лагере для иностранных рабочих, возле стадиона. Так почему же она рискнула средь бела дня подняться по наружной лестнице и стала добиваться разрешения поговорить с «фрау» — этого Нелли себе никак не представляла.

Тетя Эмми, почти не отрывая взгляда от вязанья, сообщила пришелице, что «фрау» в магазине и выйти не может. Потом она сказала Нелли, с непривычной строгостью: Иди-ка ты отсюда! — и без всякого перехода, едва шевеля губами, не поднимая глаз и ни на секунду не останавливая мельканье спиц, быстро и невнятно что-то забормотала, видимо, по-польски, и меньше чем за минуту обменялась с украинкой несколькими репликами, после чего ту как ветром сдуло: она безмолвной тенью скользнула вниз по лестнице и исчезла.

Зачем она приходила?

Эта? Зачем приходила? Ах, матка боска ченстоховска, не все ли тебе равно. Я и сама толком не поняла. Майорша что-то ей велела.

Враки — этого Нелли не выносила. Только теперь тебя удивляет, что Нелли, слывшая до ужаса любопытной, не дозналась правды. Она скорчи-

ла «физиономию», вдвойне упрямую, поскольку тетя Эмми оставила ее без внимания, и удалилась в свое укромное местечко — в картофельную борозду в саду под вишней, чтобы зачитываться книжкой из школьной библиотеки, возможно, «Штольтенкампами и их женщинами» [1].

Еще несколько лет назад она бы не потерпела секретничанья. Распахнула бы дверь в большую комнату, откуда их с братом Лутцем только что выставили, и крикнула бы: Вы вот меня дурочкой считаете, а я знаю, о чем вы сейчас будете говорить — о разводе тети Трудхен! — Долгое удовлетворение от достигнутого эффекта.

А с тех пор любопытство пошло на убыль? Что же, любопытство убывает, если долго тычется в пустоту? Можно ли целиком парализовать детское любопытство? Наверно, человек способен научиться ограничивать свое любопытство безопасными для себя сферами — уж не это ли ответ на вопрос поляка Казимежа Брандыса о том, что́ позволяет людям жить при диктатурах? («Основа всякого обучения — память».)

Стоило бы спросить: не свойственно ли любопытству сохраняться полностью или же не сохраняться вовсе?

В таком случае Нелли — как принято говорить, «инстинктивно» обходя своим любопытством опасные сферы — мало-помалу неминуемо утратила бы способность различать опасное и безопасное и исподволь вообще перестала бы задавать вопросы? Так, может быть, сообщение юной Эльвиры (она, мол, плакала в тот вечер, когда жгли знамена коммунистов) не было растрезвонено постольку, поскольку Нелли узнала, что взрослые избегают фраз, в которых встречаются слова «коммунист» и «коммунистический»? К тому же и простодушно-искренняя тетя Люция, дававшая ей полезные советы в иной, осуждаемой и запрещенной матерью области — сексуальной, — никогда не упоминала тот вечер, хотя, как жительница Гинденбургплац, не могла не быть свидетелем тогдашних событий. Тетя Люция молчала даже убедительнее других, ведь ее свободный, безыскусный нрав не допускал ни малейшего подозрения в том, что она может о чем-то умалчивать.

Примерно так, судя по всему, и закладывается фундамент опасливой робости, которая в ближайшие несколько лет загустеет, превратившись в упрямство и скрытность.

Как бы там ни было, лишь через много лет, когда война давно кончилась, Нелли узнала, что в тот жаркий летний вечер ее мама собрала старенькое бельишко, пеленки да фланелевые тряпицы, а «усишкина» бабуля — точь-в-точь как тогда, когда перевязывала Лутцу разбитое в кровь колено (он свалился с велосипеда), — решительно располосовала старую простыню и положила эти лоскутья на дно корзинки, за которой на следующий день пришла девушка-украинка, прислуга майорши Остерман. Но никто, в том числе и мама, не узнал, живого ли младенца родила в лагере для иностранных рабочих подруга украинки, долго ли ему служили пеленками бельевые лоскутья Шарлотты Йордан и понадобились ли они вообще и когда — что более чем вероятно — он умер. Они тогда тщательно проследили, чтобы происхождение лоскутьев, отданных на пеленки, установить было невозможно, и первым делом срезали монограммы; иначе те двое, что явились к Шарлотте Йордан в предпоследний военный год, наведались бы к ней значительно раньше. А потом она, Шарлотта, как-то раз ни свет ни заря нашла у дверей магазина букет полевых цветов. Она никогда не спрашивала девушку-«остарбайтершу» о ребенке, и сама девушка тоже словом про него не обмолвилась. А двенадцатилетней Нелли, дочери Шарлотты, лучше всего было вообще не знать, что в женском лагере возле стадиона лежал в ее старых пеленках крохотный младенчик, а может, и умер. Ведь, по слухам, в мужском лагере — он находился рядом с женским — русские мерли как мухи. (Да-да, Нелли своими ушами слышала: как мухи.) В довершение всего — мрачный, испуганный взгляд матери. Безмолвный. Нелли знает, что надо делать: она прикидывается глухой незнайкой.

А в конце концов и становится таковой. Память сохранила лишь этот взгляд и больше ничего. Повод забылся — на долгие годы, вплоть до новой встречи со стадионом. Засеребрятся над краем холмистой гряды макушки

[1] Роман Рудольфа Герцога (1869—1943).

тополей, окаймляющих стадион, и вопреки ожиданиям ты первым делом вспомнишь не спортивные состязания гитлерюгенда, которые из года в год проводились на этом стадионе и на которых Нелли попала однажды в первую десятку по бегу, прыжкам и метанию мяча. Ты вспомнишь другое: лагеря! Места, где стояли бараки, теперь не найдешь. Бараки снесены. Здесь стоянка грузовиков Войска Польского, с детства знакомый Нелли полигон расширен. Орудия под маскировочными чехлами, обнаженные до пояса солдаты на физподготовке.

Ты вдруг осознаешь, что люди — знали. Вдруг проломится стена одной из тщательно замурованных пещер памяти. Обрывки слов, торопливые фразы, взгляд — им не дозволено было сложиться в связную цепочку, которую пришлось бы уразуметь. Как мухи.

Да. День был жаркий, вроде этого 10 июля 1971 года. И воздух был густой, как нынче, да-да, и пах горячим песком, полынью и тысячелистником, а в картофельной борозде Нелли отыскала отпечаток собственного тела, форму, куда и улеглась, точно в гроб. Однако спустя двадцать девять лет ты поневоле спросишь себя, сколько же замурованных пещер может вместить память, прежде чем перестанет функционировать. Какую энергию и в каком объеме тратит она ежеминутно, ежечасно, чтобы заново герметизировать полости, стенки которых становятся от времени хрупкими и ломкими.

Ты поневоле спросишь себя, что сталось бы с нами со всеми, если бы мы позволили замурованным пещерам нашей памяти отвориться и рассыпать перед нами свое содержимое. Но вызов содержимого памяти — каковое, между прочим, у разных людей, переживших, казалось бы, совершенно одно и то же, весьма и весьма неодинаково — едва ли входит в прерогативу биохимии и, похоже, не всегда и не всюду нам подвластен.

В противном случае было бы справедливо то, что утверждают некоторые: документы упраздняют рассказчика, ибо превзойти их нельзя.

4. ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ. ВОССТАНОВЛЕНЬЕ ЗРЕНИЯ. СВАТОВСТВО

Требуется ли нам защита от бездн воспоминания?

Безотлагательный вопрос, к которому неминуемо ведет трудное движение в разных временах. В эти мягкие январские дни 1973 года, когда вновь участились сообщения о скором перемирии во Вьетнаме, когда президент Соединенных Штатов Америки — виртуоз в той доведенной за последнюю треть нашего века до совершенства форме лицемерия, которая не способна распознать себя самое, — пророчил всему свету долгий и прочный мир, не догадываясь, что всеобщего облегчения так и не наступит, ведь секретные службы его не регистрируют, хотя бы потому, что им не поручали об этом справляться, — в эти дни ты, скованная ежедневными рабочими часами, равно как и произволом деления на главы, ставишь вверху новой страницы цифру «4», чтобы в соответствии с планом посвятить эту главу крестинам и легендарной предыстории одной свадьбы — событиям, которые имели место в 1935 и 1925—1926 годах, в те времена, когда Нелли вообще не было на свете или же она была в таком нежном возрасте, что от ее свидетельств едва ли есть польза. Всем ведь известна небрежная детская память, считающая, что хранить стоит лишь яркие, лучезарные и страшные события, но не будничные повторы, из которых как раз и слагается «жизнь».

Сегодня — это сегодня, а вчера кануло в прошлое, сомнений нет.

Если наказуемо стирать эти границы... Если наказуемо ими чваниться... Если верно, что никому не удается делать одно и не оставить другое...

Мысль, что когда-то ее не было на свете, всегда вызывала у Нелли

протест. (Эту фразу, которая может считаться «правдой», надо смешать с множеством полуправд и выдумок, каковые, в свою очередь, — еще более чем «правды», — обязаны звучать как чистая монета. Спесивое нежелание обманываться ведет прямиком к речевому бессилию. Это тебе известно.) «Чувство реальности». Едва ли какие-нибудь иные слова способны в наши дни соперничать с этими в употребительности; чувство реальности как требование, как достижение, которое фиксируешь сам, — быть может, ему бы следовало утверждать себя как раз на тех частицах, что оставляет в нас течение современной истории, а мы по привычке беззаботно принимаем их как «реальность», лишь когда материал этот, подобие первозданного ила, обретает после обработки структуру (тоже весьма модное словцо), из которой «может выйти толк». Например, книга. Неужели еще до ее возникновения, исподволь, незаметно, могла бы начаться фальсификация... Беспредметные вопросы как повод для бездеятельной меланхолии.

Вынужденный перерыв уже в самом начале — в январе 1971 года. Долгие часы у телевизора, а там, на экране, космическому кораблю «Аполлон-14» лишь на шестой раз удается стыковка. Заверение, что астронавты Шепард и Митчелл при любых обстоятельствах высадятся на Луне. Хотя бы ради престижа. Кенгуриные прыжки обоих на фоне привычных уже кратеров так и не вызвали у тебя потом настоящего интереса. Тревожный симптом, наверное, но ты не встревожилась.

А вот окажись у тебя в руках даже простенькое телеинтервью Бруно Йордана времен тридцать четвертого года — интерес не заставил бы себя ждать, да еще какой жгучий. В этом интервью репортер наверняка спросил бы у розничного торговца, что он думает по поводу некоторых государственных лозунгов. К примеру, по поводу такого: «Реорганизация жирообрабатывающей промышленности — начало всеобщего наступления на заграничные жиры!» Или: «Народ должен вновь иметь возможность покупать. Покупать — вот главная задача».

«Купить — значит содействовать подъему!»

«В кубышку пфенниг не клади — страны хозяйство укрепи!»

Восклицательные знаки, к которым Бруно Йордан мог только присоединиться. Кстати, когда времена быстро меняются, вот как нынче, технический прогресс — к примеру такой, что позволяет на десятилетия законсервировать на пленке голос, внешность и суждение любого, — не всегда выгоден маленькому, простому человеку. (И, между прочим, еще менее выгоден он большим людям: два года назад — свидетельствует телеэкран — президент Никсон, которого обвинили в том, что он стягивает войска к южной границе Лаоса, попросту отказался делать какие-либо заявления по этому поводу.)

Ты настолько ловко ударилась затылком о железный бортик камина, что опять не один день пропал даром — вернее, как ты подозревала в глубине души, был выигран — из-за головной боли, хождений к врачу и на рентген. Ваш друг Ф., угодивший с инфарктом в больницу, нагло ухмыльнулся прямо тебе в лицо и сказал, что сердце и у тебя наверняка болит, а ему ли судить об этом, ведь он только что целых шестьдесят часов лежал под капельницей — для разжижения крови. Разгорелся спор, а Ф. и рад: он именно этого и добивался. И лишь когда вы под конец спохватились, что он болен, и засыпали его обычными укорами и увещеваниями, он сказал, что нужно все время бороться с препятствиями и невзгодами, снова и снова идти на штурм. Иначе они станут неодолимыми.

Сон у тебя, понятно, ухудшился, и ты пробовала вызвать его силой, по шоберовскому методу, в отличие от аутотренинга, основанному на изнурении духа перенапряжением. Человек заставляет себя мысленно твердить какую-нибудь фразу — первую попавшуюся, кстати говоря, — твердить, нагнетая усилие до болевого порога, чтобы в кульминационный момент, так сказать, на полном ходу, резко затормозить. Если повторить эту процедуру четыре-пять раз, варьируя фразы — так советует профессор Шобер, — наступает полное изнеможение, а вместе с ним обязательно приходит сон.

В голове мелькают фразы: Дерево станет зеленым. Небо, я люблю на тебя смотреть. Еще трижды проснемся. Все меня увещевают. — А потом ты уже благополучно — как ты полагала — очутилась в старом доме с обшарпанной мебелью. Знакомых вещей нет, но всё привычно. В дверной проем ты видишь, как через поле и луг к тебе бежит женщина, кото-

рую преследует разъяренный мужчина. До бесконечности медленное приближение, точно в лупе времени. Помочь невозможно, разве что рукой помахать. Наконец она стоит на пороге, мужчина мчится за ней по пятам, тяжело пыхтит ей в затылок и тебе в лицо. Последним усилием ты успеваешь захлопнуть дверь, повернуть ключ в замке. Он, оставшись снаружи, молотит кулаками по трухлявому дереву, пинает его ногами, с маху налегает всей тяжестью. А вы обе, перепуганные, не знаете, выдержит ли хлипкий запор.

Проснулась ты на левом боку, спать на котором тебе не рекомендуется, поджатые ноги свело болью, руки затекли и онемели. Ты долго лежала, представляя себе солидные запоры и прочные двери. Тот дом стоит на отшибе, подумалось тебе, лучше всего было бы поставить в нем двойную дверь из толстых светлых досок и чтобы она надежно запиралась на ключ и железный засов. Но Х. тут же назвал тебе пяток приемов, позволяющих ныне в два счета проникнуть сквозь любую дверь в виде образа, молвы, вездесущего уха; он советовал оставить всякую мысль о жизни за десятью замками и готовиться жить с дверьми нараспашку, ибо в теперешней ситуации именно это обеспечит наилучшую защиту тем немногим секретам, которые стоит сохранить. В тот же день ты под каким-то предлогом не пошла на единственное, пожалуй, важное заседание этого месяца и решительно занялась своими бумагами.

В этом месте, равно как и в любом другом, можно рассказать, как Нелли, обнаружив у себя сердце, пришла в необычайное волнение. Сердце было одним из немногих скрытых органов, обнаружение которого не только было разрешено, но и всячески поощрялось. Оно имело благоприличное название — повторяй на здоровье, даже пой, если хочешь. А главное: его можно было изобразить. Однажды воскресным утром Нелли, лежа в отцовской постели, обнаружила складное сердце в красной брошюре из серии «Природа и жизнь», которую Бруно Йордан получал по подписке. Помещенная рядом статья повествовала об огромной жизненной силе сердца, и Нелли потребовала прочесть ее вслух. Худо-бедно она уразумела: в ней есть такая штука, которая обязана биться, иначе она сию же секунду умрет. Отец взял Неллину руку и приложил к ее груди: слева она почувствовала биение. Никогда еще ей не было так хорошо и одновременно так жутко. Она больше не отнимала ладони от этого места и живенько смекнула — в статье это прозвучало вскользь, — что есть люди, которые не могут спать на левом боку, опасаясь стеснить сердце. Нелли сразу же, не задумываясь, пополнила собою их ряды.

Это все точно. А вот вправду ли ее допустили на крестины двоюродного братца Манфреда, по-прежнему неясно, ибо многочисленные фрагменты всевозможных семейных торжеств, сохраненные в памяти, крайне редко можно соотнести с каким-то определенным поводом.

Только бы выжил, сказала Шарлотта Йордан, вернувшись в субботу после обеда со срочного крещения, которое потребовалось из-за угрожающего состояния младенца, родившегося семимесячным, и надевая белый магазинный халат прямо поверх черного платья с ажурными кружевными рукавами, чего на Неллиной памяти еще ни разу не бывало. Неужто Лисбет не заслужила, после стольких-то лет. Ведь иначе она свихнется, ейбогу, свихнется.

После всего этого очень даже вероятно, что Нелли добилась участия в настоящих крестинах, поскольку не могло быть на свете ничего более интересного, чем новорожденный двоюродный братец Манфред. Итак, решено: она, единственная из детей, была допущена к кофейному столу в тесной комнате тети Лисбет (все комнаты, в каких когда-либо обитала тетя Лисбет, были тесными и темными), но сначала с порога спальни кинула взгляд на красное сморщенное личико младенца. Братец Манфред — вне опасности благодаря самоотверженности сестры Марии, которая кормила его с чайной ложечки, — был и остался хрупким, слабеньким, очень слабеньким, и контакта с какой бы то ни было заразой не выносил. Сейчас, конечно, рановато описывать, на какие уловки пришлось пуститься тете Лисбет Радде, проводившей в жизнь собственный вердикт о том, что ее сын — ребенок хрупкий, слабенький, и как она сумела сберечь в нем инфантильность. Но не стоит замалчивать впечатление, которое укоренилось у Нелли и, кажется, больше, чем все прочее, доказывает, что она при сем

присутствовала: в крестинах есть что-то двусмысленное, сомнительное, смутно-печальное и даже чуть непристойное.

Так или иначе, тетя Лисбет вся сияла и светилась — кто знавал ее позднее, никогда бы не поверил, что она способна на этакие действия или, точнее, состояния. Спад светимости начался внезапно и стремительно, что же до его причины, то все-таки едва ли достаточно назвать здесь одно-единственное имя — Альфонс Радде. С недавних пор возникло явно беспочвенное подозрение, что на пробу можно бы рядом с этим поставить другое имя — хотя играло оно совершенно иную, даже противоположную по смыслу роль, — имя доктора Ляйтнера, который, кстати, как домашний врач тети Лисбет, безусловно участвовал в этом сугубо семейном торжестве и посажен был по правую руку счастливой молодой матери, тогда как ее супруг, дядя Альфонс, сидел, разумеется, слева от нее, по торцу стола. Шарлотте Йордан (которая все насквозь видела) сразу показалось, что с этим размещением дело нечисто, хотя в ту пору она еще не могла знать, что ее сестра Лисбет переупрямила мужа и добилась для доктора Ляйтнера приглашения. Альфонсу-то Радде праздник в честь сынишки нужен был затем, чтобы покрасоваться перед своим шефом, молодым Отто Бонзаком («Зерно. Корма»), и его супругой Эльфридой Бонзак, в амплуа отца, главы семейства и хозяина дома — с коллекционными чашками в стеклянной горке и изысканной диванной куклой в черно-зеленом шелковом костюме, что балансировала на уголке расшитой филейным швом высокохудожественной подушки.

Эта кукла врезалась Нелли в память, однако же она вовсе не доказывает, что крестины состоялись, как не может служить доказательством и замечательный обсыпной пирог, который «усишкина» бабуля пекла ко всем семейным праздникам, его сдобную корочку Нелли наловчилась снимать, поддевая ее черенком чайной ложки, а потом, накопив штук десять посыпных квадратиков, разом съедала их все — эта привычка поставила перед Шарлоттой Йордан вопрос, уж не сластена ли у нее дочка.

Напряженные раздумья о том, у кого бы спросить о значении таинственного слова «семимесячный» и не нарваться на отповедь, видимо, частично отвлекли Нелли от событий этого дня, которые с теперешних позиций выглядят куда более запутанными, чем казалось ей тогда. Во всяком случае, Шарлотте Йордан, судя по ее позднейшим намекам, пришлось повертеться, чтобы все осталось «мало-мальски в рамках», так что на сей раз ей было недосуг вникать в изъяны дочкина характера.

Рамками же считалось естественное благоприличие, умение себя вести, а оно либо есть у человека, либо нет. Той цыганке, которая вошла, коротко и властно постучав, когда все уже потягивали шнапс и ликеры, не мешало бы иметь его и побольше; вон сколько извинялась да заискивала, а все-таки настояла на своем, не позволила спровадить себя от двери рюмочкой горькой: сперва, мол, впустите в дом, а уж я эту рюмочку заработаю. Чем? А погадаю уважаемым господам по руке.

Ничего хорошего это не сулило. Настойчивый шепот Шарлотты цыганка (она, конечно же, — и специально подчеркивать это определенно незачем — была в тети-Эмминой зеленой шали и с тети-Эмминой бородавкой на верхней губе) пропустила мимо ушей. То, что родители младенца испытывали от всей этой комедии отчаянную неловкость, Шарлотта Йордан понимала и спустя тридцать лет, когда самые жуткие распри и полный разрыв с сестрой остались в прошлом и ее суждение о Лисбет и ее муже не замутняла уже ложная деликатность. В конце концов тут были не одни родственники, доктор Ляйтнер, например, человек воспитанный, но посторонний как-никак, а главное, пришли еще и Бонзаки, которые, как всем известно, не понимают шуток, а эта ужасная цыганка, само собой, первым делом ухватит за руки именно их. Слава богу, у нее достало учтивости напророчить Бонзакам хотя бы благополучия и богатства — чего у них, кстати, и так было вдоволь, — но не детей, нет, не детей. А ведь тете Эмми ровным счетом ничего не стоило бы нагадать госпоже Бонзак детей, Бонзакша от этого наверняка бы повеселела, да и Альфонс Радде сменил бы гнев на милость.

Тетя Лисбет сгорела от стыда перед своим почетным гостем, доктором Ляйтнером. По ней, так пусть бы муж пропал пропадом вместе с этими постными Бонзаками. Доктор Ляйтнер, взирая на происходящее сквозь

тонкие золотые очки, отнесся к появлению цыганки без предубеждений, даже чокнулся с нею по просьбе хозяйки дома яичным ликером и смутился, только когда тетя Лисбет принялась благодарить его за то, что у нее теперь есть сын, ведь это, мол, его заслуга.

Неудачная формулировка, на взгляд Шарлотты.

Не спросить ли Нелли у этой цыганки, с глазу на глаз, конечно, что такое семимесячный младенец?

Судьбой резвушки тети Люции был и остался не кто иной, как дядя Вальтер, единственный герой ее романа. Всех это порадовало, и самого Вальтера тоже. А вот ему, дяде Вальтеру Менцелю, как всякому настоящему мужчине, судьба уготовила в качестве жизненной цели деловую карьеру, которая для цыганки ясно читалась у него на ладони. Он еще покажет им, на что способен слесарь. Стать мастером у «Аншюца и Драйсига» — уже кое-что, но для Вальтера это лишь начало (тут цыганка оказалась права, хотя тогда никто даже предполагать не мог, что Вальтер Менцель, поступив в эту фирму учеником, поднимется до начальника участка, до заместителя технического директора и даже до технического директора, что во время войны обеспечило ему броню, поскольку «Аншюц и Драйсиг» с сельхозмашин переключились на выпуск каких-то заковыристых деталей, военного назначения которых не знал даже старик Аншюц, и слава богу, как он говорил). Дядя Вальтер — Неллин любимец, но ведь и его не спросишь насчет семимесячного.

А цыганка добралась уже до отца малыша, до дяди Альфонса Радде, который совершенно не к месту вызывающе брякнул: Ну, барышня? Неприличное и печальное последовало позже. — Ну, молодой человек? — отпарировала цыганка и долго изучала его левую ладонь, а он меж тем правой рукой быстренько опрокинул в рот еще одну рюмку коньяку. Сына родного крестим, тут скопидомничать никак не годится. Скоро шампанское подадим.

Ай-яй-яй, молодой человек.

Это и есть предсказание? Кривляется она, как мартышка в цирке.

Сейчас-сейчас, сказала цыганка. Сию минуточку. Но тем и кончилось. Цыганка уронила руку Альфонса Радде (как горячую картофелину, подумала Шарлотта Йордан). Может, все еще и уладится, только и добавила она. Но не обязательно.

На ладонь Лисбет Радде она вообще отказалась глядеть. Лишь пожала ее своими морщинистыми руками и сказала то, что и так было всем известно: Ваша судьба — этот вот ребеночек, который вырастет большим, здоровым, сильным, а вдобавок красивым и талантливым.

Вы слышите?! — воскликнула тетя Лисбет, она опять сияла и едва не кинулась на шею доктору Ляйтнеру, который, впрочем, привел ее в чувство, энергично поправив свои очки. Нелли никак не думала, что мужчина способен покраснеть. Вот почему доктор Ляйтнер, завоевавший было Неллино доверие — такой он был спокойный, такой интеллигентный, — тоже выпал из списка возможных советчиков по вопросу о семимесячном ребенке.

Доктор потребовал, чтобы цыганка погадала и ему. Гость как-никак тоже имеет право на судьбу. Разве нет?

Езус коханы. Смотри не сглазь, сынок.

Крестины братца Манфреда состоялись в начале осени 1935 года. Это был самый последний раз, когда Отто Бонзак («Зерно. Корма»), поколебавшись немного, посоветовавшись с женой, позволил себе сесть за один стол с евреем. (Ты ведь, наверно, отметила, что доктор Ляйтнер был еврей?) Ну вот, стало быть, цыганка говорила ему «ты», и Нелли про себя решила, что это вполне к месту.

Так-так-так, продолжала цыганка, обращаясь к доктору Ляйтнеру. Ты вовсе не глуп и, можно сказать, почти прозорлив.

Что вы имеете в виду, сударыня?

Доктор Ляйтнер совершенно серьезно назвал цыганку сударыней, и это тоже было вполне к месту. Никто не засмеялся.

Ах, сынок. Что уж я такого могу иметь в виду. Ты ж холостяк. Холостяком и останешься. Неженатым, безбрачным, свободным. Все дороги перед тобой — иди, куда охота ведет да нужда. Понятно тебе?

А если идти совсем неохота, любезная сударыня?

Ах, пресвятая богородица. Молод ты еще. Охота, неохота — молодежь всегда этак говорит. Появится охота, появится в один прекрасный день. И ты пойдешь. Непоседой станешь. Поневоле захочешь уйти. И о потомстве думать забудешь. На что семья Агасферу, который скитается по свету?

Всё! — сказал наконец Альфонс Радде. Хватит этой чепухи.

Нелли скорей всего тоже выпросила свою долю предсказаний. Правильно: она точно была на крестинах двоюродного брата Манфреда, потому как навсегда запомнила, что́ нагадала старуха, серьезно и внимательно изучив ее ладошку: Нет, вы только гляньте на эту пигалицу. Тут беспокоиться нечего. Право слово, нечего. Ты ведь, знаешь ли, в сорочке родилась. Никто пальцем тебя не тронет.

Вот так-то. Двусмысленно, сомнительно, жутковато. (И все сбылось. Или, может, нет!)

Напоследок вышел непристойный казус. Цыганка уселась на свой пуфик у стола, и тотчас послышались звуки, в самом деле совершенно неуместные. Таково было общее мнение, которое и высказала вслух Шарлотта Йордан. В конце концов все должно оставаться в рамках.

Да-да, сказала цыганка. С пищеварением вечно так. У всех оно есть, но кто в этом признается?

Тетя Эмми по обыкновению хватила немного через край — с годами Шарлотта Йордан смягчила некоторые свои оценки, — но в тот день самым ужасным была вовсе не она. Весь праздник балансировал на острие ножа. Родители младенца приглашают каждый своих почетных гостей, знать не зная, как эти гости отнесутся друг к другу.

Семья, сказал Х. (по-прежнему на шоссе, на пути в Л., ныне Г., вы заговорили о двоюродном брате Манфреде), семья — это сборище людей разного возраста и пола, создаваемое в целях скрупулезного утаивания малоприятных общих секретов. Ленке нравится это определение, хотя согласиться с ним она не может. Или, дорогие родители, выкладывайте, какие такие секреты вы от меня прячете! Ты видишь: Х. тоже призадумался. (Есть у вас секрет, только вы его не обсуждаете. Осознать это и принять к сведению.) Ленка, вступившая в трудный возраст между детством и взрослостью, не терпит чужих секретов и жить не может без своих собственных. Она в равной мере надеется и страшится, что о близких тоже не обязательно знать все «до последнего». Люди много чего не рассказывают, но не все это называется секретом, говоришь ты. — По чему же тогда распознают секрет? — По гнету, говоришь ты, каким он давит на тебя. Заодно тебе вдруг приходит на ум, как сильно меняются семейные секреты от поколения к поколению.

Приемная доктора Ляйтнера находилась, судя по рассказам, прямо над квартирой тети Лисбет, в центре города, впрочем, дом скорей всего сгорел. (Поездка уточняет: да, сгорел; та часть улицы, где он раньше стоял, по обе стороны застроена новыми домами, в их нижних этажах огромные витрины демонстрируют бытовые электроприборы, холодильники, стиральные машины, кухонные плиты.)

До так называемого «прихода к власти» всем казалось вполне естественным, что тетя Лисбет обратилась именно к этому врачу, а не к какому-то другому: мы ничего не имели против евреев. Ее будущая патологическая помешанность на врачах, видимо, еще не бросалась в глаза, и приступы ярости, временами обуревавшие ее мужа, компрометировали одного лишь его, а не ее. После первых официальных санкций против евреев эти приступы участились, но тетя Лисбет осталась верна своему доктору. Да ни за что! — вероятно, сказала она с той неподражаемой интонацией, перед которой ее муж был совершенно бессилен — даже и потом, когда она уже стала нервной, очень нервной, он мог только орать, причем безрезультатно.

Каким образом проходил назначенный штурмовиками на 1 апреля 1933 года бойкот врачебной практики еврея Йонаса Ляйтнера, Шарлотта и та не знала, стало быть, сестру не расспрашивала. Надо полагать, двойной пост СА внизу, у парадного, возле белой эмалированной вывески, перехватывал всех, кто пытался войти в дом, но к числу его обитателей не принадлежал, и не давал им выставить свои арийские тела на обозрение неарийца.

(Не зафиксировано, конечно, пробовал ли в тот день хоть один пациент попасть на прием к доктору Ляйтнеру. Предположение: оба штурмовика стояли без дела и томились от скуки.) Быть может, Ляйтнер просто запер свой кабинет и преспокойно уехал скорым поездом в столицу рейха — два часа езды, — где, говорят, еще сдавали тогда евреям гостиничные номера и где заядлому театралу вроде него было куда пойти. (Ты видела этого человека совсем маленькой и, однако же, готова поклясться, что в поезде, при мысли о том, как два дюжих штурмовика будут до ночи караулить его пустую квартиру, по лицу его странной тенью скользнула улыбка.)

Лисбет и Альфонс Радде вскоре после крестин малыша Манни переехали на Людендорфштрассе, в угловой дом за городским парком. Почему — никто в точности не знал. Квартира почти такая же, три маленькие комнаты. Вдобавок темные, как уже говорилось. И до «фирмы» Альфонсу было дальше прежнего (фирмой он именовал грязный хозяйственный двор Отто Бонзака).

А доктор Ляйтнер вопреки советам цыганки даже и не думал становиться непоседой. Он здесь уже десять лет. Живется ему пока вполне хорошо, город не хуже других, но и не лучше. Здороваются с доктором теперь не все, кто здоровался раньше. Впрочем, есть и такие, что по-прежнему раскланиваются с ним, даже публично. Доктор Ляйтнер снимает шляпу перед каждым попрошайкой; но стоит ему издали почувствовать — а он чувствует, — что некто, хотя и знакомый, хотя и прокрадывающийся иной раз вечером на прием, не хотел бы здороваться с ним средь бела дня в городском парке при всем честном народе и при белых лебедях, и тогда он заблаговременно снимает свои золотые очки, отворачивается и долго протирает линзы батистовым платком. Или, подойдя к пруду, бросает лебедям и уткам крошки белого хлеба, которые носит в специальном мешочке. Да, душевной тонкости у доктора Ляйтнера не отнимешь. Кстати, иногда с ним вдруг опять раскланиваются те, кто с давних пор прятал глаза. Тогда доктор Ляйтнер, который и это чувствует — так тебе представляется, — первым приподнимает шляпу в знак приветствия.

Городской парк, судя по рассказам, находится в превосходном состоянии. (Так оно и есть.) Скоро вы там волей-неволей побываете, поскольку в гостинице у вокзала вам дадут понять, что номер освободится не ранее шестнадцати часов, а по улицам в такую жару долго не погуляешь. Тебе и Лутцу грезится тенистая лавочка в городском парке. (Раньше солнце светило вовсе не так, как нынче, — тезис, как будто бы подтвержденный воспоминаниями всех людей пожилого возраста. Теперь, однако, стало ясно, что в иных краях оно осталось прежним. Странным образом тебя это наполнило удовлетворением: едва перебрались за Одер, и лето опять как в детстве, а ты уж было решила, что оно безвозвратно кануло в прошлое, это шуршащее от зноя, сухое континентальное лето, с незапамятных времен ты понимала в нем толк и невольно подходила с его меркой к любому другому лету.)

Возможно ли, чтобы за все эти годы тебе ни разу не вспомнилась плакучая ива на задворках кафе «Волзэ»? При виде ее ты испытала потрясение, совершенно нежданное в этом месте, да и вообще. (Ленка, подкованная по части сказок разных народов, по первому требованию без запинки процитировала слова верного Генриха, из которых тебе нужна была одна-единственная строчка: «То оковы с сердца спали...» Зачем? — спросила она. — Да так просто.)

Чего еще желать — ты здесь, в тенистом сумраке под ивой, которую всегда считала самым красивым деревом на свете, за спиной у тебя ветхий павильон бывшего кафе «Волзэ», в ушах журчанье речушки, что зовется Кладов и, конечно, совсем обмелела. А сидишь ты на все тех же досках все той же лавочки, где — как тебе представляется — сиживали иногда в полдень, очень недолго, Лисбет Радде и доктор Ляйтнер.

Правда, теперь она уже не консультируется у доктора Ляйтнера, тетя Лисбет. Муж в конце концов категорически запретил. Доктор Ляйтнер вполне понимает ее мужа и приветливо смотрит на малыша. Он уже чувствует, что недалек тот день, когда ему, Йонасу Ляйтнеру, придется-таки стать непоседой и сняться с места — слава богу, еще в самую пору. Два-три письма напишет он из Америки тете Лисбет — обо всем и ни о чем,

чтобы не скомпрометировать ее политически. Она ответит простенькими открытками, на которых скорей всего изображен будет лебяжий пруд и плакучая ива. (По сей день в газетном киоске у входа в городской парк продаются открытки с видами этого парка, и ты покупаешь несколько штук.)

Н-да. После войны доктор Ляйтнер разыскал каким-то образом — наверное, через Красный Крест — новый адрес своей давней знакомой Лисбет Радде, но так или иначе, летом 1936 года им обоим, Лисбет Радде и Йонасу Ляйтнеру, даже в голову бы не пришло, что одиннадцати-двенадцатилетний Манфред Радде (здоровый, но по-прежнему слабенький, очень слабенький) в самую голодуху в Магдебурге будет питаться порошковым молоком, какао и тушенкой, присланными из-за океана.

Это не пришло бы в голову даже тете Эмми, хотя она говорила и — что куда важнее — верила, что для господа бога все под солнцем возможно. Под таким, как здешнее, пожалуй, — вместо того чтобы потускнеть от усталости, оно набрало жару и разорвало пелену, которая незаметно, а потому безудержно густела год от году и (при неизменном клиническом состоянии глаз) была помехой зрению. Это событие — восстановление полной остроты зрения, — наверно, самое важное за всю поездку, произошло во время получасового привала под Витницей (бывшим Фитцем) — в сорока четырех километрах от Слубице и двадцати одном километре от Костшина, — на обочине шоссе, ведущего в Г., хоть и не магистрального, но находящегося в отличном состоянии. Кстати, это ведь дорога твоих воспоминаний: по левую руку, к северу, частью отлогий, поросший сосновым мелколесьем, частью круто обрывающийся охряно-желтыми песчаными изломами край конечной морены; по правую руку железнодорожная линия, а прямо за ней болота и заросли ивняка, которые, к сожалению или на счастье, до сих пор скрывают реку. Нежданно-негаданно — прилив радостной ностальгии, парадоксальное чувство, составленное из контрастов. Ты объявила, что хочешь пить, и потребовала сделать привал. Х., который за всю дорогу ни единого разу не пытался тебе перечить, тотчас остановился в тени одной из корявых вишен, растущих вдоль обочины.

Тропинкой до ивняка всего-навсего несколько шагов. По ту сторону дороги ровное поле — кормовые злаки, — а справа кучка домов. Ленка пьет из красного термоса холодный чай с лимоном. Х. и Лутц ходят вокруг машины и на пробу пинают колеса мыском ботинка. Вот он, этот миг: ты вновь способна видеть. Цвета, формы. Пейзаж, что создан из них. Радость и одновременно страх за то, что́ можно потерять, мало-помалу, не чувствуя утраты. Веселость взяла верх.

Ее должным образом отметили — как хорошее настроение.

Так как же им это нравится?

Ничего, сказал Х. Ленка, в этот день уступчивая, великодушно сказала: Не придерешься.

Она об этом не помнит. Из термоса пила — что правда, то правда, не отопрешься: подтверждено фотографией. У тебя в руках уже второе поколение фотографий; время беспрестанно перетекает в прошлое и нуждается в точках опоры — в отснятой пленке, в рукописных пометках на всевозможных документах, в записных книжках, письмах, папках с вырезками. Некую толику дня нынешнего всегда приходится употреблять на то, чтобы закрепить в памяти день вчерашний. Ты знаешь (но ясно ли тебе, что́ именно ты знаешь?): твоя затея безнадежна. Никогда, по крайней мере никогда при жизни, не достигнуть человеку того, к чему он, наверное, в глубине души стремится, — запечатлеть, описать время в тот самый миг, когда оно уже проходит, уже прошло. Но как — ведь собственной смерти пожелать нельзя, — как тебе пожелать, чтобы время остановилось? Между двумя невозможностями, как всегда, банальный путь компромисса: принести в жертву часть жизни — но то-то и оно, что часть, а не всю жизнь, — примириться с неминуемыми пробелами в изложении, с паллиативами. Это ступеньки, которые высекают в непокоренной скале и по которым может вернуться воспоминание.

А значит, не исключено, что пасмурное, промозглое воскресное утро, когда ты пишешь эту страницу, будет памятно тебе — не влажным серебряным отблеском на стволе пихты под твоим окном, не тонким и слякотным снежным покрывалом там, под березами, и не черными дроздами, разрывающими палую листву под снегом, да, наверное, и не известием, что через час после того, как во Вьетнаме вступило в силу соглашение о прекращении огня, самолеты южновьетнамского режима подвергли массированной бомбардировке сайгонское шоссе; нет, оно будет памятно тебе всего лишь до странности приятным усилием, которое необходимо затратить, чтобы так изобразить тот час полтора года назад на лавочке под плакучей ивой, словно ты сейчас сидишь там, среди полуденного зноя, в городском парке, и одновременно так, словно час этот — один из многих, какие можно вспомнить сразу, все вместе, и понять таким образом, куда относится каждый.

Переизбыток образов, частью вторгающихся извне, частью всплывающих изнутри, в полудреме. Красные, зеленые, синие, желтые. Лампочки. Гирлянды разноцветных лампочек — красивыми арками, над катком. Самые дешевые на свете краски, карамельные; они вспыхивают вдруг на фоне черного зимнего неба, пронзая Нелли восторгом и болью, каких краски никогда больше тебе не дарили и никогда не подарят. Радость — пожалуйста, даже благоговение, удовольствие, усладу. Но это ничто рядом с мощным сигналом: КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ ЖЕЛТЫЙ, к которому поневоле подстраивалась даже патефонная музыка на катке — Али, хозяин дощатого павильона (он выдавал напрокат коньки, поил посетителей горячим чаем и какао), сию же минуту выходил из-за стойки и заводил «Ты слышишь ли мой тайный зов», а лучшие конькобежцы, образовав по периметру катка большой круг, катили размашистым голландским шагом по льду, словно это проще простого, и отлично знали, какая волна восхищения и жгучей зависти устремляется на них изнутри этого круга, где на коньках лишь кое-как ковыляли. Последние два года Нелли каталась в большом внешнем кругу и чуть ли не всё на свете (за малым исключением) отдала бы за этот голландский вальс под гирляндами электрических ламп. Нелепая тоска по ним жива и теперь, ее не унять, и глупо ли, нет ли, а она заявляет о себе именно в этот знойный день, так близко от места, где возникла впервые.

Разные люди гуляют нынче в парке. Молодая тетя Лисбет с детской коляской неплохо бы сюда вписалась. Мысль, рожденная зноем, дремотной истомой. Тетя Лисбет у себя в западногерманском городе, наверное, отравляет всякими истерическими недугами жизнь своему мужу, который опять служит экспедитором в переехавшей на запад фирме «Отто Бонзак. Зерно. Корма». Две девчушки со светлыми косами, сидящие рядом с тобой на лавочке и шепотом поверяющие друг дружке свои секреты (они ведь не знают, что ты ни слова на их языке не понимаешь), конечно, сразу же встанут, если тут вознамерится отдохнуть женщина с коляской, и — вот как сейчас — под ручку, хихикая, пойдут прочь, через мостик из тонких березовых бревнышек, обгонят сурового старика в черном пиджаке и черной шляпе. Тетя Лисбет сядет возле тебя... а дальше хоть в полудреме, хоть во сне идти нельзя, потому что тетя Лисбет никогда уже не сядет возле тебя на лавочку, ты никогда не увидишь ее, хотя она жива («Никогда не говори «никогда»!»), наверняка жива. Просто она перестанет в поминальное воскресенье присылать цветы на могилу своей сестры Шарлотты, которой в тот тропически знойный день 10 июля 1971 года без малого три года нет в живых.

(Персонажи набирают четкости; теперь у них меньше возможностей — или они меньше льстят себя иллюзией возможностей, которых никогда не имели. И что же, одна-единственная особа, его величество *Я* должна остаться незатронутой? Предательское чувство неприкосновенности; романическое чувство.)

Там, где у лебяжьего пруда сидит возлюбленная парочка, там или очень близко оттуда отсыпался однажды пьяный Бруно Йордан. Эту «пьяную» историю — не в пример другим, случавшимся и до, и после, — сочли достойной включения в семейные анналы, вместе с афоризмом (принадлежащим не иначе как тете Лисбет Радде): Шарлотте непременно нужен был герой-любовник, на другого она бы не клюнула. Значит, ты должна спросить себя, почему Неллиной матери — двадцатипятилетней старшей бухгалтерше на сыроваренной фабрике Мулака — обязательно требовался герой-любовник. Кто знавал ее лишь в белом магазинном халате, не брезгующую никакой работой, таскающую в подсобку мешки с сахаром, завертывающую селедку, моющую полы раствором «Ими», — тот просто удивит-

ся, и все. Но если сопоставить ее характер — гордый и несгибаемый — с обстоятельствами, на которые он натолкнулся, это была не только бедность. Нет, еще и унижение...

Например, эпизод с паданьем в ноги. Нелли терпеть его не могла. А Шарлотта — хоть и не слишком часто — вспоминала об этом, ей хотелось, чтобы кто-нибудь представил себе в конце концов, какие чувства испытывает ребенок, когда незадолго до рождества мать приводит его вместе с братьями-сестрами, чисто вымытых, аккуратно причесанных, — ничего не скажешь, солидное, добропорядочное семейство! — пред светлы очи господина обер-инспектора железных дорог Витхуна, того самого, в чьей власти было еще до праздников вышвырнуть «усишкина» деда Германа Менцеля на улицу или оставить его на службе: пускай сидит в своей будке и щелкает компостером, пробивая билеты. Госпоже Августе пришлось сквозь слезы обещать этому начальнику, что отныне ее муж будет являться на работу только трезвым, как стеклышко трезвым; а дети по знаку матери молча упали перед господином инспектором Витхуном на колени.

Дочь, разумеется, вериг матери, что эту сцену она своему отцу так и не смогла забыть. Но говорить об этом девочка не хочет. Чувствует, что не пристало ей сопереживать стыд ребенка, который станет потом ее мамой.

С другой стороны, когда речь заходит о более приятных событиях, она вынуждена таить жгучую зависть, что вот ведь были времена, в которых она не участвовала. Тебя просто еще на свете не было — легко сказать, но трудно понять. Где же, ну где же она могла быть? Каждого человека сперва нет, твердит госпожа Эльсте, пока его родители не поженятся. Значит, можно вообразить, что двое родителей вовсе не встретятся и не поженятся, и определенный, предназначенный для жизни человек попросту лишится возможности явиться на свет? — Дурочка! Такое бывает сплошь да рядом. Возьми хотя бы детей, которые не могли родиться, потому что их отцы, молодые солдаты, погибли на войне. — А что думают дети, которые не родятся? — Да ничего! — Ничего? — Пойми ты наконец: тот, кого нет на свете, ни думать не может, ни чувствовать, вообще ничего.

Едва ли найдется более неутешительное для нее известие. Нелли была вынуждена принять серьезные меры, чтобы не сломаться. Она сообразила, что нельзя каждую ночь доводить свои фантазии до той грани, когда она рискует вновь утонуть в Великом Пруду. Она ясно чувствовала: это больше, чем простое нарушение закона. Это серьезное, может быть, наиужаснейшее кощунство — ночь за ночью, как по принуждению, представлять себе постепенный возврат своего тела в ничто и ощущать в голове, в руках, в ногах мерцающее круженье, отнюдь не только обременительное, а, наоборот, тем более приятное, чем выше его скорость. Тем более сладостное, упоительное, заманчивое. Интересно, успеет ли она услыхать взрыв, который неминуемо разнесет ее в клочья, если она еще чуточку увеличит скорость круженья?

Риск был слишком велик. Однажды вечером она пригрозила сама себе, что если не бросит эту игру, то назавтра сломает ногу — и похолодела от ужаса: кости ка-ак хрустнут! Против мыслей способны помочь только другие мысли. Раз существовал соблазн самоуничтожения, значит, существовало и блаженство самосотворения. Была на свете волшебная цепочка, магические звенья которой собственноручно соединил господь бог, чтобы в один прекрасный день выловить из Великого Пруда ребенка, похоже действительно ему приглянувшегося и получившего затем имя Нелли. Ради особы, для него безразличной, он бы вряд ли потрудился соединить две, по сути, бесконечные вереницы счастливейших случайностей, причем так ловко, что в результате произошло чудо.

Господь бог не побоялся предпослать большому чуду целый ряд чудес поменьше. Ведь это же чудо, говорил сам Бруно Йордан, что он уцелел в мясорубке под Верденом; что совершенно чужие люди, посланцы провидения в грязных солдатских шинелях, откопали его, полумертвого, из-под развалин блиндажа; что они отнесли его в лазарет и он, частично потеряв память, все ж таки сохранил жизнь; что оба его побега из французского плена закончились неудачей — он был пойман и брошен в голодный карцер, — но не гибелью. И что первый гороховый суп, розданный в зале

«Вертограда» изголодавшимся возвращенцам-пленным, он опять-таки пережил — мучительно давясь рвотой, изнывая от страха, что пробил его последний час, но пережил. (Что ни говори, в первое свое возвращение двадцатидвухлетний парень, у которого обманом отняли лучшие годы юности, он был вполне похож на себя, и родные без труда его узнали; со своей второй войны, через двадцать восемь лет, он вернулся непохожим, неузнаваемым.)

Задача была такая: свести этого уцелевшего солдата, который поступает торговым служащим в контору оптовой фирмы, обзаводится тросточкой с набалдашником слоновой кости и соломенной шляпой-канотье, в просторечии именуемой «блин», и этаким франтом появляется в городских ресторанах («бойкий» — вот слово, вполне к нему подходящее, и он часто им пользовался, говоря о себе), одержимый стремлением все ж таки догнать ушедшую юность, точно это скорый поезд, который еще можно настигнуть на хорошей гоночной машине, — свести этого человека с некой Шарлоттой Менцель, незамужней, двадцати пяти лет от роду, старшей бухгалтершей, известной своим прилежанием и железными принципами. Нелли — она может рассказывать себе эту историю, начиная с ее счастливого конца, — хихикает в своей постели: даже ей не удалось бы закрутить все это хитрее, чем оно есть.

Бруно Йордан вступает в гребной клуб. Там волею судьбы у него завязывается дружба с неким Густелем Шторцем, служащим кадастрового ведомства, большим весельчаком; этот последний, конечно же, хотя всего-навсего шапочно (шапочно! вот что важно!), знаком с Киской Хеезе — весьма пройдошливой особой, кстати, католичкой, а потому лгуньей, — младшей бухгалтершей у Альфреда Мулака, правда, в этом качестве ей ходить уже недолго, ибо она расставляет сети младшему шефу, который, к слову сказать, и без нее уже свернул на кривую дорожку. Но, как бы там ни было, свое двадцатипятилетие она пока в состоянии отпраздновать на широкую ногу, благослови ее господь, эту Киску Хеезе, при том что она лгунья, интриганка, и за словом в карман не лезет, и мужикам проходу не дает, и так далее. Остается только найти кавалеров, как минимум двух: одним будет ее шапочный знакомец Густель Шторц, с которого она берет обещание привести с собой друга, все равно кого — так гласит формула, — лишь бы умел танцевать. Бруно Йордана. Заметьте, виновница торжества не знает его ни в лицо, ни даже по имени. (Вполне подошел бы и Пауле Мадраш, служащий сберегательной кассы, но — странным образом — именно в этот вечер он «недомогает».) Бруно Йордана Киска Хеезе определяет в кавалеры своей зазнайке-сослуживице Шарлотте, которую она позвала по необходимости, приличия ради, хотя отнюдь не горела желанием ее видеть.

Как будто бы можно сказать: в общих чертах дело сделано, господь бог заслужил передышку.

Бруно Йордан явился разодетый как джентльмен, в полном параде. Он вручил виновнице торжества розы, он вставал, когда поднималась его дама, он придвигал стул, когда она желала сесть, он угощал ее салатами. Он танцевал с нею и после каждого танца не забывал отвесить поклон. Все это, наверное, было как бальзам для ее души, гордой, но не неуязвимой, которая дала себе клятву: он может быть каким угодно, только не обыкновенным. Даже в подпитии — а к полуночи он изрядно захмелел — он выглядел вполне презентабельно, хотя самодельная смородиновка буквально сбила его с ног, едва он вышел на свежий воздух. Однако же он настаивал на том, что проводит свою даму.

Удивительное дело: она соглашается. Но для господа бога, который знает, чего хочет, нет под солнцем невозможного. Да и под луной тоже. А луна освещает каменную балюстраду перед домом № 95 по Кюстринерштрассе, ты осмотрела ее мимоездом, ведь все тут стоит, как стояло: балюстрада, за ней чахлый палисадник с самшитом и рододендроном, а дальше дом. Подворотня, ведущая во двор, к мулаковской сыроварне. На эту вот балюстраду Шарлотта Менцель теплой июньской ночью 1925 года усаживает своего, мягко говоря, захмелевшего кавалера, а сама сломя голову несется к входной двери, поспешно ее отворяет и снова захлопывает за собой, мчится вверх по лестнице (второй этаж), отпирает, снова как на пожаре, и запирает квартиру, тихонько, но не чуя под собой ног бежит

по коридору в свою комнату, бросается к окну и видит — ну? (Нелли с головой залезает под одеяло, чтобы не разбудить брата громким хихиканьем.) Ну? Что же видит Шарлотта? — Ничего. Бруно нет на балюстраде. Бледное сияние луны серебрит камни. И всё. До конца своих дней Шарлотта так и не сумеет объяснить себе, куда так скоро подевался ее кавалер.

Да и он, Бруно Йордан, никогда не сможет ей этого рассказать. Ибо тут — Нелли верит, о да, горячо верит в это — начинается второй по счету провал в памяти ее отца. Он охватывает промежуток длительностью пять часов тридцать минут, так как летом ровно в шесть тридцать заступают на службу парковые сторожа: убирают мусор, чистят дорожки, опорожняют урны, поднимают запрещающие таблички и так далее. Сторож, который тем утром в пяти метрах от берега лебяжьего пруда обнаружил утопленника, звался Чудик; этот Чудик Сизый Нос, Чудик Пропойца, услыхав свое прозвище, кидается с лопатой на людей — во всяком случае, таким узнает его Нелли, которой вообще-то еще без малого четыре года бултыхаться в Великом Пруду. А Чудик, сочтя своим долгом хотя бы для порядка встряхнуть явного утопленника за плечо, с некоторым испугом видит, как молодой утопленник встает на ноги, идет к берегу, умывается и приглаживает волосы; затем «воскресший» аккуратно водружает на голову «блин», который обалдевший Чудик сам же ему и протягивает, получив в награду начатую пачку «Юноны» — ведь звонкой монеты под руками нет. Я-то думал, ты того, помер, якобы бубнил со страху бедолага Чудик, невольный пособник божьего промысла.

Ну, а вот теперь грядет самое важное. В семь тридцать, когда Шарлотта Менцель приходит в контору, у нее на столе звонит телефон. Это ее давешний кавалер ясным, бойким, выспавшимся голосом желает ей доброго утра. Как полагается. Благодарит за чудесный вечер, который она ему подарила. А потом задает вопрос, видимо, и решивший все дело (судя по тому, каким тоном Шарлотта десятки лет его повторяла): Как вы думаете, фройляйн Менцель, где я сегодня ночевал?

Было в нем что-то неотразимое, с этим соглашалась и его будущая теща Августа Менцель, «усишкина» бабуля, проведшая в обществе жениха с невестой и собаки Усишки (своего рода подарок на помолвку от сыровара Альфреда Мулака, которому кто-то из деловых партнеров привез с Балкан это совершенно бесполезное для него животное) две недели на Балтике, в Свинемюнде[1], где зять — он был больше чем на голову выше полной маленькой Августы — сфотографировался с нею на фоне плетеных пляжных кресел, держа в левой руке неразлучный «блин», а правой открыто обнимая ее за плечи.

Эта фотография раздражала Нелли всякий раз, как она ее разглядывала. Такое же раздражение вызывали у нее концовки сказок, когда к удовлетворению, что все завершилось благополучно, что после множества треволнений и головоломных испытаний герои упали друг другу в объятия, почти против воли примешивалась чуточная крупица разочарования, и происходило это самое позднее на заключительной строчке: «И они живы до сих пор, если только не умерли», — которая, честно говоря, была и суховата, и бесцветна, и невыразительна. Наверно, можно было бы обойтись и без нее. Точно так же, наверно, можно было бы обойтись и без этого жеста, без руки Бруно Йордана на цветастом летнем платье тещи, или хотя бы без пресловутого «блина». Нелли толком не знала, что́ ей мешает, да и не хотела знать. Кто она такая, чтобы придираться к сказочным концовкам? Кстати, быть может, все дело в пляжных креслах. Они словно бы составили за спиною фотографируемых хор, шепчущий: «И они живы до сих пор...»

Нет. Причина была в том, что вместе со свинемюндской фотографией перед мысленным взором Нелли каждый раз возникала еще одна: художественный портрет ее матери, выполненный в 1923 году в ателье Рихарда Книспеля, Рихтштрассе, 81, и долгие годы — случайно ли, нет ли — висевший под стеклом в большой комнате «усишкиной» бабули. Нелли выучила его на память, ради этих вот времен, когда он уже не существует. Мягкий коричневый тон портрета целиком на совести фотографа-художника Книспеля, на сей счет у Нелли сомнений нет. И все же он производит на нее впечатление. Главное, однако, в другом: неужто мама знавала в жизни обстоятельства, заставившие ее надеть это коричневое платье с белой вставкой на груди и кружевным воротничком, а главное, эту громадную, как тележное колесо, шляпу (которая была ей к лицу, да как! но с каких пор матери обращают внимание на то, что им к лицу?) и пересечь в таком виде Рихтштрассе, чтобы заказать в фотоателье Книспеля художественный портрет. В шляпе.

Ее мама хороша в любом наряде, это и слепому видно. Но почему Нелли черпала такое утешение в том, что некогда она старалась быть красивой (не только шляпа, нет, прежде всего взгляд, искоса, из-под шляпы!), взять в толк невозможно. Так или иначе, с годами этот взгляд принял печальное выражение, в связи с чем Нелли против воли вспоминаются две строчки из любимой песни госпожи Эльсте: «И изваянья задают вопрос: Кто эту боль, дитя, тебе нанес?»[1]

Достаточно об этом, а может, и более чем достаточно. Только еще одно: много лет спустя воспоминание об этой фотографии усмирит возражения дочери, когда мать скажет ей: Как ты на меня похожа, ах, если б ты знала! Хотя дочь не признается, что неодолимая потребность пускать в ход жесты, взгляды, слова матери с возрастом усиливается. Она ловит себя на подражаниях, которые в свое время сочла бы немыслимыми.

Сама она, однако ж, никогда в шляпе не фотографировалась.

5. ПРИТВОРЩИКИ СМОЛКАЮТ. НОВЫЙ ДОМ

Силком быка не подоишь, часто говаривала Шарлотта Йордан.

Судьбы разума — разума как гармонии — на протяжении десятилетий. Разум как глушитель: система, которую стоит лишь вмонтировать, и она будет упорствовать на том, чтобы сигнал «счастье» вспыхивал только в состоянии разумной гармонии...

Разумный ребенок получает поцелуй на сон грядущий.

Однажды Нелли смахивает с подоконника детской на тротуар все пять горшков герани, один за другим, а потом наотрез отказывается замести черепки. Не иначе как рехнулась. Поздно вечером она в состоянии дать наконец объяснение: она страшно разозлилась, потому что господин Варсинский утверждает, будто «фюрер» пишется с большой буквы[2]. — Господи, помилуй, да ведь так оно и есть! — Почему?! Сперва он сказал, что с большой буквы пишется все то, что можно увидеть и потрогать. А фюрера Нелли ни увидеть не может, ни потрогать (это было в тридцать шестом году, до изобретения, во всяком случае, до повсеместного распространения телевидения). — Да образумься же. Не можешь, но могла бы. Дурочка. — Господин Варсинский тоже сказал «дурочка». А Нелли просто не переваривает, когда учитель сам себе противоречит. Чтобы испытать его, она не без дурного предчувствия пишет с маленькой буквы слово «туча» (видеть можно, а вот потрогать...), наперекор ожесточенному сопротивлению родителей. Учитель Варсинский не лжет. И ничего не забывает. Да как же Нелли пойдет на уступки, если она права?

Скоро выясняется, что второй такой дурочки, как Нелли, которая пишет «туча» с маленькой буквы, в классе нет. Всем разрешено как следует над нею посмеяться: Три-четыре, начали! — «Злость» Нелли под собственную ответственность написала уже с большой буквы, хотя эту злость не увидишь и не потрогаешь, не услышишь, не учуешь и на вкус не попробуешь. Наконец-то она образумилась.

---

[1] Ныне г. Свиноуйсьце (ПНР).

[1] Гёте. Миньона. Перевод Б. Пастернака.

[2] В немецком языке имена существительные пишутся всегда с большой буквы.

Понять и образумиться. И еще: прийти в себя. (Приди в себя.) Эпизод с геранями — последнее, что вспомнилось тебе на Зонненплац, когда вы уже садились в раскаленную машину, и Ленка отнеслась к нему без интереса. Лишь немного спустя — вы как раз ехали вниз по бывшей Фридрихштрассе, где проходила Неллина первая дорога в школу, — ты не без внутреннего протеста распознала повторение: Неллину защиту от некоторых воспоминаний матери. Ты увлеклась раздумьями о превратностях, каким порою подвержен разум, — о том, как на переломе времен разум и безрассудное неразумие внезапно меняются местами, как, еще прежде, чем они вновь займут свои исконные места, воцаряется огромнейшая неопределенность. Но здесь все это некстати, думала ты; и то, что разум без употребления гибнет, как любой бездействующий орган, что он, на первых порах незаметно, идет на попятный и однажды, скажем, при нежданном вопросе, может обнаружиться: важные участки внутреннего ландшафта заняты разочарованностью или уж как минимум безразличием (вопрос, Ленкин вопрос, на который покуда нет ответа: Во что вы, собственно, верите? Вот чем она интересовалась, между прочим, без всякого вызова), — да, все это здесь, пожалуй, некстати.

Констатация ради опровержения. Разве же некстати здесь вчерашнее (20 февраля 1973 года) высказывание президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона: «Никогда еще за всю историю послевоенного развития не складывалось столь благоприятных перспектив для долгого, прочного мира, как в нынешний момент». И разве же ты не задашь себе вопрос о том, влияет ли спад ожидания катастрофы, который ты в последние годы наблюдала в себе и который яснее любых деклараций подтверждал, что послевоенная эпоха подошла к концу, — влияет ли, стало быть, это в целом новое умонастроение на выбор материала и не оно ли как раз и делает его для тебя возможным. И все-таки моменту всегда присуща некая произвольность: не стоит ли репортеру помедлить, прежде чем он отторгнет от себя прошлое, вероятно, еще в нем работающее, еще не вызревшее и потому не поддающееся обузданию? (Х. говорит: Конечно. Так ты до скончания веков просидишь — вспоминая, записывая, живя и размышляя о жизни. Но это штука рискованная. Где-то нужно кончить, пока самому не пришел конец.

«Жизнь, прожитая как материал жизнеописания, обретает некую важность и может войти в историю». Вы долго рассуждаете о брехтовском тезисе и в конце концов отвергаете его. Стремиться можно, только не к величию. А к чему же? Трудно определить. К пониманию?)

«Опасно встретиться со львом». Шарлотта Йордан знает стихи. Ну, а шиллеровский «Колокол», кстати говоря, учил в школе и Бруно Йордан и сберег его на всю жизнь, пронеся сквозь время как неповрежденный монолит воспоминаний. «Поживей, друзья, за дело...» Нет, там по-другому: «Веселей, друзья, за дело — выльем колокол! Начнем!» [1] Бруно Йордан: Вечно ты меня сбиваешь! Кроме «pain», он и еще кое-что по-французски знает, целые фразы. К примеру, он помнит, что сказала ему квартирная хозяйка в Версале, обнаружив, что его приятели стащили у нее копченый окорок, пока он, Бруно Йордан, отвлекал ее карточной игрой: Oh, Monsieur Bruno, un filou! [2]

Тебе непременно надо хвастать перед детьми воровством?

Война есть война, господи боже ты мой.

Здесь всё почти кстати — вот до чего дошло. Притягательность этой работы нарастает. Ты уже не можешь сказать, услышать, подумать и сделать ничего такого, что бы не коснулось этого переплетения. Даже самый тихий призывный сигнал регистрируется, направляется дальше, усиливается, ослабляется, переориентируется на пути, странным образом связанные друг с другом, непредсказуемые, не подверженные влиянию извне и (о чем ты сожалеешь) не поддающиеся описанию. Неизбежность — приступы уныния при виде непроницаемых дебрей, что пожирают и секунду, когда в конце этой фразы ставится точка. Размышляя, вспоминая, описывая, прокладывать в этих джунглях просеки (притом с намерением отчитаться

---

[1] Стихотворение цитируется в переводе И. Миримского.
[2] О, мсье Бруно, плутишка! **(франц.)**

не только о результате обследования, но и о самочувствии) — для этого требуется определенное, зыбкое равновесие между серьезностью и легкомысленной опрометчивостью. Опять-таки паллиатив, полумера. Искусная уловка, влекущая за собою другие уловки.

Проект всегда намного лучше исполнения.

В итоге из равных долей желания и нежелания, самоуверенности и сомнений в себе быстро создается тот самый пат, который внешне выглядит как лень и, покуда истинные корни паралича не желают явиться на свет, порождает отговорки. Увертки. На телеэкране трое астронавтов с «Аполлона-14» только что скрылись за Луной (3 февраля 1971 года; дат никто уже не вспоминает). С точностью до секунды была заранее рассчитана продолжительность разрыва радиосвязи с Землей. Исполнители под страхом космической смерти обязаны были придерживаться проекта. Допустимое отклонение: ± 0. Это означает: фактический размер всех без исключения деталей капсулы и посадочного модуля должен находиться в пределах, ограниченных максимальной и минимальной величинами. (Тебе тоже волей-неволей мерещится единственно спасительная форма, удлиненная, безупречная, правильная, как те снаряды, которые их строители награждают ласковыми именами и нежными взглядами. Что ж, дело твое, если техническое совершенство вызывает у тебя всего лишь холодное восхищение, даже какое-то неприятное удивление, легко сменяющееся равнодушием, тогда как перспектива пробить далеко мимо цели этого описания тебе отнюдь не безразлична.)

«Китти-Хок» мчится к Земле расчетным курсом. Вот бы и тебе такую оптимальную кривую — следуй по ней, и дело с концом, да только для тебя никто ее не вычислит. Строителям космического корабля даже в голову не придет разбирать в полете свои конструкции, чтобы объяснить принцип их действия, а ты считаешь эту нелепицу своим долгом. Правда, за твою неудачу никто жизнью не заплатит, поэтому шума она не вызовет. (Ведь разве кого-нибудь утешит, что имен погибших космонавтов, о которых на следующий день после катастрофы газеты писали, что «мир никогда их не забудет», уже спустя десять дней та же газета больше не упоминает. Ты убедилась в этом, перелистав по дороге газеты за 9 и 10 июля 1971 года: имена трех советских космонавтов, которые 30 июня «были найдены мертвыми в благополучно приземлившемся спускаемом аппарате», больше не упоминались. Ты должна отыскать их в библиотеке, в газетной подшивке, чтобы вписать сюда этих людей, чья беда вызвала у тебя слезы: Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев. Первый встречный на улице скорее назвал бы имена из времен второй мировой войны, но это уже проблема поколений. А молодые ребята — имена своих музыкальных кумиров?) Параллельные акции.

Фридрихштрассе — длинная улица для шестилетней Нелли. Для машины все это вообще не расстояние. Да вы ведь и собираетесь первым делом в гостиницу. Поэтому у не раз вспомянутого фрёлиховского дома ваши пути расходятся: Нелли должна обогнуть его слева и подняться по Шлахтхофгассе, пропустив вперед стадо, которое гонят на бойню. Затем ей нужно пересечь Зольдинерштрассе, свернуть на Герман-Герингштрассе, чтобы, как всегда вовремя, добраться до Третьей народной школы для девочек (в начале Адольф-Гитлерштрассе). Первым уроком сегодня закон божий, ведет его господин Варсинский.

Вы же, оставив по левую руку новое здание из стекла и бетона, воздвигнутое на месте разрушенного фрёлиховского дома, проезжаете метров двести по бывшей Кюстринерштрассе. Занимает это примерно столько же времени, сколько требуется Ленке, чтобы пропеть высоким чистым голосом: «O FREEDOM, O FREEDOM, O FREEDOM» [1]. По правую руку где-то здесь, за первым рядом домов, находилась, между прочим, конфетная фабрика дяди Эмиля Дунста. Дядя — владелец конфетной фабрики!

«AND BEFORE I'VE BEEN A SLAVE, I'VE BEEN BURIED IN MY GRAVE» [2].

---

[1] О свобода, свобода, свобода **(англ.)**.
[2] И прежде чем стану рабом, пусть меня похоронят в могиле **(англ.)**.

Ведь в тридцатые годы дядя Эмиль и тетя Ольга, сестра Бруно Йордана, со всеми своими пожитками вернулись из Лейпцига, из саксонской столицы, в Л. Банкротство, разумеется. Снова-здорово залезай в долги к тестю и теще, ради своей бедняжки дочери они готовы дать ему тысчонку-другую, чтобы он мог начать все сначала, купив конфетную фабрику еврея Геминдера. Послушать Шарлотту Йордан, так это не фабрика, а самая настоящая развалюха; но ведь Эмиль Дунст и его компаньон, в противоположность ему понимавший кое-что в изготовлении конфет, и купилито ее за бесценок, поскольку еврей Геминдер спешил выехать из страны. Было это в 1937 году. Что неправедно нажито, впрок не идет. «Усишкина» бабуля опять-таки судила со своей колокольни. Иной бы этому еврею Геминдеру, может, вовсе ни гроша не заплатил — зачем, раз у него и так земля под ногами горит. И тем не менее, говорила Шарлотта Йордан, которая не желала иметь с этим ничего общего и, как Пилат, умывала руки. Но Пилат — Нелли узнала об этом на уроке закона божьего, от самого господина Варсинского, — Пилат отправил иудея Иисуса Христа на распятие. Шарлотта не любила, когда родная дочь осаживала ее.

«AND GO HOME TO MY LORD AND BE FREE!»[1]

Дай срок, Ленка, мы поищем вход на конфетную фабрику Эмиля Дунста, и я расскажу тебе, с каким радостным чувством Нелли наблюдала, как зеленые и красные леденцы, свеженарезанные, еще прозрачные, теплые и липкие, выползали из машины, куда их заливали из большущих чанов в виде горячей вязкой массы. И как вечерами они — Нелли, мама, «усишкина» бабуля, а иногда и Лутц — сидели, заворачивая в фантики конфеты, которые дядя Эмиль Дунст наутро погрузит готовенькие в свой трехколесный автофургон. — Классно, сказала Ленка. — Или как коньячные карамельки, рядами по шесть штук, блестящие от свежей шоколадной глазури, двигались на транспортере наискось через цех и попутно сохли, а в соседнем помещении две упаковщицы складывали их в картонные коробки. Кстати, за ними надзирала через стеклянную стенку тетя Ольга, царившая в конторе со своими бухгалтерскими книгами. Тетя Ольга, день ото дня толстевшая как на дрожжах, что относили либо за счет повышенной, либо за счет пониженной функции каких-то там желез; тетя Ольга, поневоле державшая подбородок на королевский манер, зато пальцы у нее все эти годы оставались быстрыми и гибкими.

Одной из этих двух упаковщиц была, между прочим, госпожа Люде — назойливое имя, исподволь въевшееся в семейную атмосферу и ее отравившее. Опять эта Люде... Он с этой бабенкой, с этой Люде... А тетя Ольга, по-королевски опершись головой на свои подбородки, прямая как палка, восседала у Йорданов на диване, и одна-единственная слезинка, которую Нелли запомнила на всю жизнь, выкатилась у нее из-под очков и сбежала по щеке. Нелли знает, у кого на совести эта слеза, — у шалопутной госпожи Люде, той самой женщины, к которой Шарлотта Йордан даже каминными щипцами не притронулась бы, но которая тем не менее одним взглядом приручает мужчин. Ведь, по выражению хайнерсдорфского деда, эта бабенка ни одного мужика не пропустит — повторить это замечание ему, конечно, не разрешают, хотя Нелли и со второго раза ничего бы не поняла.

«O FREEDOM, O FREEDOM, O FREEDOM».

Позже, Ленка, я расскажу тебе конец этой истории, трагикомедию. А пока что вы останавливаетесь у гостиницы; раньше она называлась «Вокзальная», теперь там размещена контора гостиничного комплекса, к которому относится и расположенный через дорогу бывший отель «Централь», где Лутц по телеграфу заказал номера. Скромный холл; приветливая, средних лет женщина-администратор немного говорит по-немецки. О телеграфных заказах, о положительном ответе — тоже по телеграфу — ей ничего не известно. Однако же нервничать не стоит. Она довольно долго звонит по телефону, а ты между тем разглядываешь фотографии и плакаты на стенах.

План города, вычерченный от руки и, как ты сразу понимаешь, не во всем совпадающий с тем планом, что раз и навсегда отпечатался в твоей памяти. Перечень кафе, ресторанов, заправочных станций. (Тебе вдруг приходит на ум транспарант, который прежде тянулся по внутренней стенке крытого вокзального перрона: «Посетите город лесов и озер!» Теперь вокзал новый, то есть другой, выстроенный на старом месте. Тот, знакомый тебе, был, как говорят, разбомблен германской авиацией вскоре после вступления в город Красной Армии.) Большие фотографии; на одной — церковь девы Марии, на другой — городской театр, где на рождество давали «Железного Генриха», «Снежную королеву» или «Храброго портняжку», а Нелли, у которой от возбуждения поднималась температура и которая после спектакля каждый раз заболевала, сидела в переднем ряду, в платьице с белым меховым воротничком. Запах этого меха — кролика, крашенного в белый цвет, — после стольких лет вспомнился тебе в то самое мгновение, когда администраторша сказала, что два номера освободятся в шестнадцать часов.

---

[1] И вернусь в обитель господню и буду свободен! (англ.)

Было ровно двенадцать дня.

Знаменовала ли улыбка администраторши, что она разгадала подоплеку вашего приезда (это было нетрудно), что она поняла, отчего ты так долго стояла перед фотографией провинциального театра? Между прочим, она не могла не прочесть в твоем и в Лутцевом удостоверениях, где именно вы оба родились. Она и еще какая-то девушка внесли ваши персоналии в бланки для прописки. В Польше, сказала администраторша, молодежь получает удостоверения личности только в восемнадцать лет, а не в четырнадцать, как Ленка. Девушка согласно кивнула.

Обе очень милые, говорит Ленка, когда вы опять выходите на улицу. Теперь солнце стоит справа, точно над вокзальными часами. Зной будто лишь вас и поджидал.

Куда же теперь?

Домой! — это вы с Лутцем, в один голос.

Нелли — вернемся к ней — вошла тем временем в свой класс. С тяжелым сердцем идет среди видимых и ощутимых предметов, над правописанием коих единолично властвует господин Варсинский. (Конечное «-ий» в его фамилии наводит кой-кого на мысль о том, уж не поляк ли он по происхождению. Если б в конце писалось простое «-и», такие подозрения вряд ли бы возникли. Повреждение тазобедренного сустава, из-за которого господин Варсинский прихрамывает, он получил, кстати, в мировую войну от солдата-француза! «Ткнул штыком — капок французу, выстрел дал — Иван упал».)

Нелли любит господина Варсинского. Целый и невредимый, покоится он в памяти, причем в разных видах. По вызову является. Погрудный портрет: бородавка слева у подбородка, пухлые, чтобы не сказать дряблые, щеки, прядь пепельных волос над правым, кстати, водянисто-бесцветным глазом. А вот он в полный рост, но тогда уж большей частью в движении, слегка приволакивая на ходу левую ногу. А вот он говорит: Извольте замолчать, сию минуту. Мы тут не в жидовской школе, разрази меня гром! — В коричневом мундире и без оного, с портупеей наискось через едва заметное брюшко и без оной. — Если кто осрамится мне на подъеме флага, пусть знает: ему не поздоровится. Фюрер день и ночь ради нас трудится, а вы десять минут помолчать не можете?

Насчет десяти минут господин Варсинский был не вполне прав, ну да это пустяк, и отмечен он здесь просто так, для порядка. В день рождения фюрера церемония подъема флага вкупе с речью директора Разенака продолжалась добрых двадцать пять минут. Директор и представитель НСДАП весьма серьезно озабочены проблемой нордической души. Нелли, впрочем, не мерзнет в своей серой барашковой шубке. Она уже отрастила крысиные хвостики с желтыми пряжечками-заколками. В день сорокасемилетия фюрера это, конечно, неважно, но у Гундель Нойман, дочки врача, настоящие косы, кстати, даже белокурые. Ей с легкостью удается все то, о чем другие тщетно мечтают. Например, господин Варсинский без особого повода, просто так, мимоходом кладет руку ей на плечо. Душа — это изнанка расы. Раса — лицевая сторона души. У директора Разенака круглая голова, темная щеточка усов над верхней губой и небольшая, но мало-помалу растущая плешь. Скоро как коленка будет, сказал бы Бруно Йордан, если бы речь шла не о директоре школы. Человек искренне взволнованный наверняка не думает сейчас о том, что указательный палец

его красной шерстяной перчатки прохудился и что эту перчатку надо снять, прежде чем начнется церемония и все правые руки взлетят вверх. Человек искренне взволнованный наверняка не видит, что у девчонки из юнгфолька, которая подходит к флагштоку, с правого боку выглядывает нижняя юбка, сантиметра на два, не меньше,— такой человек устремит взгляд в ее сияющие глаза. «Моя воля есть ваша вера». Адольф Гитлер.

Флаг поднять.

А потом снова-здорово — петрушка с Неллиной правой рукой, как она все время и ждала. Плечевые мускулы у нее вообще слабоваты, это верно. О махах на брусьях и об упорах лежа и впоследствии нечего было думать. Но вскинуться на сто секунд вперед и вверх — ровно столько времени длятся песни о Германии и о Хорсте Весселе — такое-то руке вполне по силам. «С Маасом и Мемелем, Этчем и Бельтом» она кое-как справляется. А «Германия, Германия превыше всего» опять радостно вскидывала вверх даже обмякшие руки. Но повторенье волнующего тезиса: «И павший от ротфронта и реакции камрад плечом к плечу шагает с нами в ряд!» — вынуждало Нелли — будь что будет! — подпереть правую руку левой, и случалось это непременно в ту секунду, когда господин Варсинский на нее смотрел. «Через сто лет флаг со свастикой станет бесценным сокровищем германской нации». Адольф Гитлер.

Приказ упражнять мышцы дома Нелли исправно выполняет и добивается успеха: теперь она могла бы, подняв правую руку, простоять все три строфы обоих гимнов. Только этого, к сожалению, от нее никогда не потребуется. Так же как господин Варсинский никогда не додумается до самоочевидной идеи — устроить в классе конкурс на задержку дыхания. Тогда бы выяснилось, каких рекордных результатов добилась в этой области Нелли: полторы минуты и более. Или вот она могла десять раз подряд, без ошибок и с захватывающей дух быстротой отбарабанить заковыристую фразу «На дворе — трава, на траве — дрова». Или вот ею особо интересовалась такая персона, как Макс-Блендакс. Стоило выслать ему положенный десяток блендаксовских картинок — и он стал каждый год поздравлять ее с днем рождения. «Макс-Блендакс явиться рад, чтоб поздравить блендаксят». Для нее было немыслимо чистить зубы «хлородонтом» — это же предательство! «Везде и всюду блендаксенок Максу друг еще с пеленок».

Все Неллины способности для господина Варсинского пустое место, но зато, случись ей допустить промах, он не замедлит тотчас же попенять. Как-то раз ее тройки, вместо того чтобы стройными рядами маршировать в красных клеточках грифельной доски, вздумали этакими ласточками порхать над строчками, а что хуже всего — Нелли никак не могла уразуметь, что тут вызывает нарекания; вся глубина собственных заблуждений открылась ей, только когда она увидала колонну аккуратных троечек на доске Урзель и когда господин Варсинский вынужден был задать один из своих устрашающих вопросов, на который она не могла ответить ни заискивающе-робкой улыбкой, ни примирительным жестом, ни тем более словом, ведь он спросил, уж не решила ли она над ним посмеяться.

Ну почему не дано ей уверить учителя в обратном. Или схватить его руку — тихоня Кристель Югов всегда так делает, даже получив от него оплеуху, и ему это как будто бы не неприятно, хоть руку он и отнимает. Иногда Нелли думает, что он замечает: ей о нем кое-что известно. Тогда она поспешно опускает глаза, чтобы не выдать себя. А это он опять-таки может истолковать как признак нечистой совести. Ты что, не можешь смотреть прямо в глаза, разрази меня гром? Видно, есть у тебя что скрывать!

Господин Варсинский замечает все. Однажды он спрашивает, кто обтирается по утрам до пояса ледяной водой для закалки, как подобает немецкой девочке. Нелли нет среди тех, кто может гордо поднять руку, и она получает персональный выговор: Как, ты тоже нет? Не ожидал, не ожидал от тебя. «Закаленные спортом люди обоего пола — вот граждане будущего». Адольф Гитлер.

Обманывая ожидания господина Варсинского, Нелли тем самым привлекает к себе его внимание — так, может быть, это уже успех? С вопросами подобного рода не обратишься к возмущенной маме, которая пытается ее убедить, что утром из колонки в ванной комнате течет почти холодная вода. По сути, совсем холодная.— Но ведь не ледяная.— Ледяную ей подавай! Да не все ли равно? Неужели ты будешь трубить об этом на весь класс? Ну-ка, подставь ладонь: что, холодная или нет?

Прохладная, говорит Нелли.

Но скорее холодная, чем теплая!

Во всяком случае, не ледяная.

Шарлотта явно недоумевает по поводу непомерной дочкиной правдивости, а Нелли, возможно, сама того не замечая, изо всех сил старается отгадать, чего ждет от нее господин Варсинский. Оказывается, с Ленкой говорить об этом трудно: ее попытки представить себя на месте этой девочки, судя по всему, безуспешны. Мысль, что можно мучиться, выискивая доказательства учительской благосклонности, ей попросту чужда, с ее точки зрения, это махровый идиотизм. Что же до правдивости, то Ленка с раннего детства относилась к ней без энтузиазма. Когда считала нужным, она умела врать прямо-таки виртуозно и при этом ни секунды не сомневалась, что человек она в принципе честный: она различает вещи главные и второстепенные.

Тебе памятно ее возмущение, когда Рут, старшая сестра, в один прекрасный день декларировала тезис, который в разговоре наедине со всей серьезностью отстаивал ее учитель немецкого, господин М.: если слабое стихотворение является темой выпускного сочинения, надо умело поднять его в цене. Главное в конце концов, чтобы ты сам отдавал себе отчет в его слабости. Смятение Рут, возмутившее Ленку еще больше, чем двуличность педагога, объяснить можно было только чарующим обаянием этого человека. Он мог доказать классу любое положение, а на следующем уроке полностью его опровергнуть. И обезоруживающе улыбался, когда Рут допытывалась, что́ он думает на самом деле. Или он вдруг настоял, чтобы в кабинете немецкого ребята садились совсем по-другому, чтобы не было привычных рядов, вынуждающих учеников смотреть друг другу в затылок, а не в лицо; велел поставить столы квадратом и сам тоже спустился с кафедры. Через два дня после его самоубийства — Рут к тому времени успела уже кончить школу — Ленкин класс обнаруживает, что мебель в кабинете немецкого стоит по-старому: уборщица нажаловалась. Ребята ставят столы квадратом, но им приказывают передвинуть все, как было. Ленка дома плачет. Едва человек умрет, они сразу же ломают все, что он оставил. Даже записку, в которой он просил не переставлять мебель, и ту сняли с двери. Позже ребята все-таки добились своего.

Когда пришло известие о самоубийстве господина М., плакала не она, а Рут.

Неллин класс. Ты бы не сумела его описать. Вероятно, бежевые стены. За окнами верхушки трех лип — это точно. Класс находился, видимо, на третьем этаже и окнами выходил на фасадную сторону, на Адольф-Гитлерштрассе. В углу около двери — железная стойка с эмалированным тазиком, руки в нем никогда не мыли, зато складывали туда шарики из серебряной бумаги, собранной за неделю: школа собирала цветной металл — станиолевые шарики, а в понедельник на первом уроке (закон божий) господин Варсинский разрешал своей любимой ученице их разобрать. На партах — если дело происходит зимой — горят голубые свечки Народного союза связи с немцами, живущими за границей. Господин Варсинский убежден, что, случись второе пришествие, Иисус Христос был бы приверженцем фюрера. Мимоходом господин Варсинский кладет кой-кому руку на плечо. Гундель Нойман — это уж обязательно, а еще Уш Гасс, ее подружке, у которой папа адвокат, и даже Лори Тиц, дочке макаронного фабриканта, которой он сообщает новый рецепт изготовления макарон: очень просто — проделать в воздухе дырку и обернуть ее тестом. На плечо Нелли он никогда руку не кладет. Кто с готовностью помогает бедным соотечественникам, тот помогает фюреру. «Динь-динь, динь-дилинь,— поет класс,— отоприте, в дом впустите, меня от стужи вы спасите!» Мама Нелли Йордан, к примеру, отдала матери Эллы Буш старые Неллины платья, сделала доброе дело.

И ведь не спрячешься. Элла Буш, которая до сих пор все время набивалась Нелли в подруги, на следующий день вместе с братьями (они учатся в народной школе для мальчиков, что возле бойни) подкарауливает Нелли в засаде. Снежки, служащие метательными снарядами, начинены

камнями. Нелли понимает: надо пробиваться. Она вешает ранец на грудь вместо щита, прикрывает голову сумкой для завтрака и с истошным воплем прорывает кордон. Случившийся рядом учитель из мужской школы записывает ее имя и фамилию. Три дня спустя господин Варсинский перед всем классом выражает удивление, что такая девочка, как Нелли, вступает в драку с мальчишками. Гундель, и на сей раз хлопочущая возле тазика со станиолем, показывает господину Варсинскому язык. И ведь всегда найдутся такие, кому непременно надо хихикнуть, и такие, что не умеют держать язык за зубами. Малокровная Урзель, например, офицерская дочка. Господин Варсинский, Гундель показала вам язык. Нелли поднимает руку: Нет, мне!

Гундель велено сесть на место, к тазику идет Нелли. За спиной у господина Варсинского Гундель выразительно крутит пальцем у виска: дескать, совсем ты, Нелли, спятила. Позицию возле тазика она, кстати, здорово переоценила. В переменку она уверяет Гундель, что хотела ее выручить. Ну спасибочки, отвечает та и уходит, под ручку с Уш.

На этот раз братья Эллы Буш поджидают Нелли у своей школы, зовут ее к Снеговихе. Заводила, как всегда, Фредди Стриш, по прозванью Стриж. Нелли не сводит с него восторженных глаз, и он говорит: Ты что, человека не видала? Братья Эллы Буш хором кричат: Давай скорей в кинцо чеши, на человеков там смотри! — Стриж самодеятельности не терпит.

Ведьмин домишко стоит в проулке рядом с газовым заводом; до сих пор Нелли избегала этих мест, потому что в одиночку детям ходить там опасно — мигом Снеговиха заколдует. То ли дело со Стрижом. Под мою ответственность, говорит он. Ведьмин домишко неказист, скособочен от ветра, у него дощатая дверка и два маленьких оконца, на подоконниках — горшки с травами, из которых Снеговиха варит колдовские зелья. Ребята собираются кучкой на почтительном расстоянии, Стриж запевает: Ведьма, ведьма, ты свинья, подойти к тебе нельзя! Все хором подхватывают: Сне-го-ви-ха! И так трижды. И вот уж на порог, размахивая палкой от метлы, выскакивает худая как щепка старуха. А за зелеными горшками в окне появляются две головы — недоумка Альвина и дурехи Эдит, Снеговихиных внуков. Внуки! — пыхтит Стриж, когда после беспорядочного бегства все опять собрались на Фридрихштрассе и пересчитались: потерь нет. Черта лысого — внуки! Ежу понятно, что она их заколдовала. Дайте срок, уж я их вызволю.

Дома Нелли заползает в пещеру, которую Лутц соорудил под столом из одеял, и разучивает с братом новый стишок, предварительно взяв с него страшную клятву никогда не читать эти вирши вслух: «Из порток у обормота вылезла рубашка, а на ней, а на ней толстая какашка».

Нелли сознает, что распадается на несколько девочек, например, на дообеденную и послеобеденную. И что мама, берущая за руку послеобеденную дочку, чтобы в один из своих редких свободных вечеров повести ее в кондитерскую, понятия не имеет о дочке дообеденной. На Рихтштрассе она останавливается. Ну-ка, Нелли, сумеешь прочесть, что там написано? Нелли давным-давно запомнила название этого кафе, но из приличия «читает» по складам: Кон-ди-тер-ска-я Ште-ге. Молодец. Мама с умницей дочкой садится за круглый мраморный столик возле деревянной кадки с запыленной пальмой и заказывает лично госпоже Штеге эклеры и какао — в награду для моей дочки, для Нелли. А та ест с удовольствием, будто и впрямь заслужила.

Наутро, когда господин Варсинский просит перечислить слова, обозначающие чувства, чтобы раз навсегда покончить с этой кутерьмой вокруг прописных и строчных букв, Нелли предлагает в качестве примера «притворство», но Шарлотта Йордан об этом не узна́ет, а ведь это правда. Кстати говоря, тест господина Варсинского вообще оказывается неудачным. Гундель со своей «радостью», как и следовало ожидать, сразу попала в яблочко. Офицерская дочка Урзель назвала «повиновение», что уже слегка сомнительно, а Лори Тиц, дочь макаронного фабриканта, — «скромность», и это тоже куда ни шло. Но тут Элла Буш вылезла с «бедностью». Бедность как обозначение чувства. Бедность — это состояние, а вовсе не чувство. Бедность, сказала Лизелотта Борнов, дочка портного, бедность — чувство, вдобавок ее можно увидеть, понюхать и попробовать на вкус. Да нет же. По-настоящему бедность ни увидеть, ни потрогать нельзя; к чувствам ее тоже не отнесешь, и тем не менее это слово пишется в немецком языке с прописной буквы, ибо отвечает на вопрос «кто? что?» и имеет артикль. Кристель Югов весьма удачно ввернула «страх». Господину Варсинскому, однако же, очень хотелось услышать «мужество», «храбрость» и «верность». А Нелли возьми и брякни: «Притворство». Сплошное разочарование, как всегда. В итоге господин Варсинский собственноручно, зюттерлиновским шрифтом, выводит на доске свои любимые слова.

Наверно, у памяти есть свои причины откликаться на то или иное ключевое слово совершенно нежданными образами. В «домики» вы действительно играли — утверждение доказательное, ибо Лутц, которому в пору увлечения этой игрой было самое большее года четыре, кое-что смутно припоминает. А вот о том, что игра шла под девизом «Притворщики», ты вспомнила только сейчас. Кукольный дом, совсем как настоящий, — четыре комнаты (гостиная, спальня, кухня и ванная), гардины на окнах, крохотные цветочные горшки, лампочки под потолком, тарелочки и чашечки в шкафчике, а на красной крыше хорошенькая дымовая труба. Живут в доме семь целлулоидных куколок, разодетых в пестрые лоскутки и наделенных премиленькими именами: Шарманочка, Фалада, Омлетик, Бузина, Жемчужинка, Розочка и Нескладеха, — но, как сию минуту выясняется, имена эти они присвоили самовольно. Ведь сидят в домике и нахально тянут писклявыми голосами: «Задавака Крокодил навалил, а где — забыл, из угла дерьмом несет, значит, кучка там растет».

Провокация. Нелли с Лутцем устремляются к кукольному домику. Притворщики уже молчат, заняты своим исконным делом — притворством. Нелли и Лутц, которые, конечно же, сразу их раскусили, задают им трепку и называют подлинными именами: Окорок и Совиный Коготь, Летучая Тварь, Тошниловка, Мордоворот, Дубина и Живодер. В ответ слышны вопли и зубовный скрежет. Засим следует наказание, всегда одинаковое: крепко обмотав руки-ноги притворщиков шерстинками, их зашвыривают в угол, а Тошниловку суют головой в клозет. Все съестное из домика убирают. Лутц, обслуживающий батарейки, отвечает за полное обесточивание. Открытый задний фасад виллы «Каналья» заколачивают пробковыми пластинками из набора «Юный фокусник». Окна занавешивают черными тряпицами. Внутри неисправимые наглецы распевают канон: «Как хорошо мне ввечеру-у-у звон колоко-о-ольный услыха-а-ать, бим-бом, бим-бом, бим-бом», а снаружи грозно завывает хор мстителей: Покайтесь!

Притворщики раскаиваются далеко не сразу, лишь час-другой спустя их со слезами на глазах заключают в объятия. После этого они остерегаются откровенно преступных деяний и грешат исключительно в мыслях, однако от премудрой Нелли им не скрыться: Признавайся, ты плохо про меня думаешь! — Пощади! — молят застигнутые врасплох. — Отпираться бессмысленно. — Ведьмолап изворачивается и юлит, но в конце концов, жалобно хныча, сознается, что считает Нелли тоже притворщицей. Расправа коротка: Ведьмолап отправляется на вечное поселение в сапожный ящик.

От «Вокзальной» до Гальгенберга, до Виселичной горы, даже не спеша ехать всего-навсего минут пять. Йорданы, когда весной 1935 года впервые соберутся с Зонненплац на Гальгенберг, потратят на свою пешую прогулку минут сорок. Прежде чем описать эту дорогу, тебе волей-неволей придется сделать тут, в пятой главе, длительную паузу. И вызвана она известием о смерти господина М., того учителя-словесника, который снова пустил в ход слово «притворство», придав ему неожиданный смысл.

В тот последний свой вечер — в среду, 31 января 1973 года, — М. определенно притворялся, когда вместе с подругой (она была значительно моложе его, в прошлом его собственная ученица) после долгого перерыва зашел вдруг вернуть книгу («Человека без свойств» Музиля), и это было в порядке вещей. Он знал, что этот вечер — последний в его жизни. В куртке, которую девушка повесила в передней, наверняка лежало письмо, тем же вечером и отправленное: они ведь на минутку, еще на почту успеть надо. Заключительная фраза письма — в нем, кстати, не было никаких объяснений, только трезвые указания насчет их денежного наследства — гласила: «Когда вы прочтете эти строки, нас уже не будет в живых». Значит, интерес М. к вашей новой картине, которую он справедливо назвал

«жутковатой», был — если можно так выразиться — притворным. Ничего себе шествие тополей, сказал он. Бросил коротенькое замечание насчет синего цвета, как он знал, любимого и тобою. Остается вопрос: зачем он упомянул Клейста и виденную накануне телепередачу, где — он тоже так считал — самоубийство Клейста и госпожи Генриетты Фогель было показано плохо, фальшиво, сентиментально. Может, ему хотелось отвести подозрение, что эта передача, которую он находил безвкусной, в каком-то смысле предрешила его будущее? Или ему хотелось обронить намек на великие примеры, обронить там, где, по его расчетам, этот намек поймут, хоть и с опозданием?

Он мог бы и просчитаться. Странным образом именно эта часть вашего короткого разговора вылетела у тебя из головы. Уже зная о двойном самоубийстве, ты целых двое суток решительно твердила, что в тот последний вечер он ничем не намекнул на свое намерение. Лишь утром в понедельник, проходя мимо дома, где у него была комната (в последний день он сам отвинтил с садовой калитки табличку со своей фамилией), — лишь тогда ты вспомнила Клейста и ломкий, насмешливый голос М.

М. немного шепелявил. Таблетки, наверно, принесенные его подругой с работы, из клиники, уже начали действовать, хоть и лежали покуда в ящике стола у него в комнате. Из дальнего далека говорил он с вами о психологии своих учеников, о причинах широко распространенного явления, которое он называл «отсутствием стремления к успеху». А вы, сказавшие потом друг другу: Весьма неглуп, этот М., и за дело болеет! — вы не сумели или не пожелали заметить, что как раз на этом он поставил крест, что сейчас он только и мог повторять выводы, которые уже не изменят ни его, ни кого-либо другого. Может, он посмеивался в душе, когда подруга, больше чем на двадцать лет моложе его, отказалась от вермута: она-де против алкоголя. Да и о школе, мол, тоже вполне достаточно поговорили.

Ее опять, второй раз уже, не приняли в медицинский, хотя она блистательно удовлетворяла всем требованиям. Теперь они по очереди, насмешливо и без всякого волнения говорили о расплывчатом истолковании условий приема. Возмущение, которое высказала ты, для них было пройденным этапом. Нет, они не станут повторять свои попытки. Они еще говорили «да» и «нет», когда от них этого ждали, но про себя, наверно, думали: глупцы. Или: бедняги. Или: бедные глупцы.

В Музиле, которого он вернул, — это была одна из его любимых книг — ты, напуганная мыслью, что в последней надежде на спасение он мог оставить между страницами записку, на второй день после его смерти обнаружила несколько пометок, явно сделанных его рукой; среди них была фраза, снабженная на полях восклицательным знаком: «Выбрать можно одно из двух: либо сопережить это гнусное время (с волками выть), либо стать невротиком. Ульрих идет по второму пути».

Невольно ты говоришь себе, что и эти слова, обнаружь ты их сразу, не заставили бы тебя бросить все, бегом пробежать два шага до его дома — непременно в тот четверг, до наступления вечера, пока еще было не поздно, — поднять тревогу, любой ценой ворваться в дом и — с риском выставить себя на посмешище — предотвратить беду. Слишком уж ловко он притворялся, особенно в минуты прощания. Он все ждал, что ему захочется перечитать эту книгу, сказал М., оттого и держал ее так долго. Засим последовала цепочка фраз в сослагательном наклонении. Если б у тебя лопнуло терпение, ты бы сама за ней пришла, сказала ты. В ответ он издал короткий смешок и заметил, что мог бы, выходит, спокойно дожидаться, когда твоему терпению придет конец. Уже стоя на лестнице, он попросил передать поклон Рут, своей бывшей ученице: ты же, мол, наверняка увидишь ее раньше, чем он. (Чем он, знавший, что вообще никогда ее не увидит.)

Тут его притворство лоб в лоб столкнулось с твоим. Ты обронила какое-то шутливое замечание, а сама думала, что эта девушка, должно быть, все-таки заставила его отказаться от бредовых фантазий насчет самоубийства. Он вынудил тебя увидеть то, что ты хотела увидеть, и это — вершина притворства. Людей, не боящихся правды, оно не в силах надолго ввести в заблуждение. Но ведь каждый хоть какой-нибудь правды, а боится, вот почему притворство одного, как правило, стыкуется с отпирательствами другого — в таких-то случаях и говорят: они подходят друг к другу. В этом

смысле, подытоживаешь ты задним числом, те двое, обрекая себя на смерть, подходили друг к другу.

М. едва ли ожидал, что после первого потрясения, после кошмара весть, подобная сообщению о его смерти, способна зажечь радость жизни, а потом — негодование. Он очень тонко улавливал разницу между твоим эпизодическим отчаянием и своим перманентным бессилием перед жизнью: когда бы ни пришел, он обнаруживал у тебя на столе множество свежеисписанных страниц, а сам давно уже проводил вечера в праздности и, лежа на диване, отгородившись большущими наушниками, слушал музыку. Заходить он перестал, теперь ты знаешь почему. Больше не хотел или не мог подвергать сомненьям свое отчаяние. Его улыбка при встречах с тобой, если толковать ее с позиций нынешнего дня, была улыбкой отступнице, которой до конца не продержаться. Жалостью к человеку, который не способен на абсолютное понимание, то есть может ответить абсолютным неверием. Вне всякого сомнения, в тот последний вечер он спросил себя, как ты воспримешь событие, подвластное лишь ему одному. Быть может, он даже сознавал, что в этом уходе со сцены, на которой ему не предложили подходящей роли, присутствует некая доля суетного тщеславия. Слишком гордый, чтобы взывать к сочувствию окружающих, он, наверное, видел в этом последнее средство взять над ними власть, хотя бы на несколько часов или дней. Вполне возможно, он ожидал, что после его смерти кое-кто из знакомых станет мысленно рисовать себе, как все это было: о чем он думал, растворяя таблетки в стакане с водой, из которого первой пила, очевидно, она, а вторым он; как он затем, руководствуясь ее медицинским опытом, натянул себе и ей на голову пластиковые пакеты и завязал их под подбородком — может статься, всего-навсего резонная попытка ускорить смерть, но, услышав об этом, любой содрогнется от ужаса.

Ленка выразила общее настроение, задав себе вопрос: Должна ли я, собственно, жалеть его или нет? Не знаю... Разочарование охватило учеников, которые надеялись на него; непониманием, неприятием встретили поступок М. его большей частью молодые коллеги; но все, как один, чувствовали себя обманутыми. Лишнее подтверждение, что человеку хочется видеть окружающих насквозь, ведь тогда не будет нужды вникать в собственные притворства. В ближайшие дни ты обнаружила у себя повышенный интерес даже к совершенно маловажным вещам, но особенно к лицам людей и к самым первым приметам оживания природы; после необычайно мягкой зимы этого года они обозначились на березах под твоим окном уже в начале февраля.

Порою ты тосковала по тем временам, когда ничего еще не было решено и начато, когда ты еще могла надеяться, что выбор одной из возможностей не перечеркнет безжалостно все остальные. Ведь главное едва ли в том, чтобы перенести на эти страницы тогдашние записи по поводу так называемой удачной посадки астронавтов Русы, Митчелла и Шепарда. Пожалуй, только вопрос, который пришел тебе на ум, когда ты увидела, как на борту авианосца эти трое, обнажив головы, бормочут на глазах у миллионов зрителей благодарственную молитву: во что верят астронавты? Что их долг — выказать благочестие перед миллионами несведущих людей? Ведь не верят же они, еще подумалось тебе тогда, что над или под ними простер свою длань господь бог. Наутро, когда ты идешь в Институт радиологии, чтобы наконец-то сделать рентген шейного отдела позвоночника — из-за головных болей, мучающих тебя после удара о стальной бортик камина; когда подходит твоя очередь и ты исчезаешь за матовой стеклянной перегородкой, исчезаешь из поля зрения ожидающих в коридоре, но остаешься в пределах слышимости; когда в огромных встроенных шкафах с раздвижными дверцами ищут твою давнишнюю карточку; когда ты ждешь на стуле в приемной и, как все, стараешься делать вид, будто не слышишь адресованные другим инструкции, которые несутся из громкоговорителей: Господин А., первая кабина, обнажите живот, госпожа Б., вторая кабина, разденьтесь до пояса; когда ты невольно представляешь себе господина А. и госпожу Б., смущенно юркнувших в свои кабины, его — с голым животом, ее — раздетой до пояса; когда ты сама сидишь в третьей кабине — Выньте заколки, очки снимите! — когда твою голову четырежды в разных положениях просвечивают рентгеном и вдруг ужасно хочется сглотнуть, хотя именно это и запрещено, — пока свершаются все эти события, в кото-

рых тебе отведена всего-навсего роль объекта, ты снова и снова думаешь, не приближаясь к ответу: во что верят астронавты?

Несколько страниц вышли из-под пера в той рассеянной манере, которая, безусловно, удовлетворения не дает, но оставляет еще возможность отказа и отступления. Ты нарочно поддразнивала Х.: А кто тебе сказал, что я возьмусь за эту книгу? С течением лет его негодование стало вполне соразмерно твоему притворству.

Дом, к которому подъезжаешь, оставляя по правую руку кварталы «Желтой опасности», а по левую, дальше в гору, четыре баровских дома, конечно же, стал меньше и посерел, точь-в-точь как ожидалось. А когда-то он сиял белизной. Так решили заранее, когда чертежей еще в помине не было, когда Шарлотта Йордан еще упиралась и артачилась. Строиться! Да уж, мы такие — шапками закидаем! Ну а если и строиться, то почему на этом пустыре? Все скажут, что у нас мозги набекрень.

Выше как будто упоминалось уже, что Шарлотта Йордан склонна к пессимизму? Во всяком случае, она частенько не ко времени горевала, упрямилась, капризничала. Не в настроении была — можно и так сказать. Она просто не в настроении воскресным утром тащиться пешком в такую даль — с Зонненплац на Зольдинерштрассе — оттого только, что ее муж носится с каким-то безрассудным прожектом. Во-первых, полдня кошке под хвост, поскольку обедать придется позже обычного. Во-вторых, ей неохота снова терпеть фокусы этого мальчишки, Лутца, который при малейшем дождичке орет как резаный: Вода! Вода!

Тут Бруно Йордану все становится ясно. Раз в безоблачный осенний день некоторые кивают на дождь, ему все ясно — лучше сидеть дома.

Ну вот еще, идем, и точка! Пускай хоть ливмя льет. Как отец хочет, так и будет. И никаких зонтиков, ни за что. По дороге настроение все же улучшается, хотя небольшие перепалки и вспыхивают. Ведь речь идет о бодрой пешей прогулке на целых сорок пять минут; Нелли сама засекает время по отцовым карманным часам, хотя в школе они этого еще не проходили. Однако же необходимо всегда чуть-чуть опережать других. И вообще, точность — это в жизни уже полдела. Задержка есть шаг назад. Надо из своей жизни что-то сделать.

Но (неужели еще тогда большинство фраз у Шарлотты начинаются с «но»?) — но все, кого мы спрашивали, не советуют.

Я не из пугливых.

Но ведь у нас и денег пока не хватает.

Вечно ты со своими «но» да «если».

Но что, если рядом с казармой кто-нибудь другой торговлю откроет.

Вот всегда так, лишь бы меня с панталыку сбить.

Провал — ложбина среди холмов конечной морены — соединяет Фридрихштрассе и Зольдинерштрассе. Последняя его треть, место весьма бугристое, но хорошо обозримое, — идеальная площадка для детских игр и зимой, и летом. Здесь Нелли узнаёт, что у нас теперь снова будут солдаты [1].

Но если другие не захотят с этим мириться?

Сама видишь, дерзость города берет.

Но нельзя же девочке расти между казармами. Солдаты — народ сластолюбивый.

Ну вот что, попробуй, наконец, рассуждать здраво. Солдатам в увольнении требуются сигареты и пиво. А офицерские жены до смерти рады, когда продукты им приносят на дом.

Но кто же будет этим заниматься?

Представь себе — мы. Господи боже мой! Немножечко предприимчивости! Немножечко уверенности в себе!

Шарлотта Йордан не позволяет мужу прилюдно обнимать ее за плечи. Будешь надрываться как лошадь, гнуть спину, а потом опять война, и всё в клочья.

С тобой иногда просто хоть в петлю лезь.

Нелли услыхала только — «война». Это одно из тех слов, которые она выудит из любого разговора. Война, как видно из старого коричневого отцовского альбома, — это когда шеренги солдат в касках с шишаком тычут в живот другим солдатам, в красных штанах (французам), примкнутые штыки, покуда кишки на землю не вываливаются. Правда, изображена на этой открытке не мировая война, а война 1870—1871 годов, но «Наставление по ведению ближнего боя», которое отец помнит наизусть, как и шиллеровский «Колокол», не очень-то с нею вяжется. Нелли твердо усвоила, что война, и страх, и смерть — понятия равнозначные, и не могла вполне скрыть это от господина Варсинского, уготовив ему таким образом очередное разочарование.

[1] В 1935 году, в нарушение Версальского мирного договора, гитлеровская Германия создала свои вооруженные силы — вермахт.

Стало быть, приехали. Ну и как же?

Тормози, сказала ты; Х. развернул машину и остановился в холодке, возле баровских домов. А поскольку сказать было больше нечего, ты повторила тогдашний Неллин возглас, знаменитый возглас — когда отец впервые показал им то место, где будет выстроен дом, она воскликнула: Но ведь здесь гора!

Подумаешь, сказал, помнится, Бруно Йордан, передвигатель гор. Уберем ее, и все дела.

Гора — это, конечно, чистейшее преувеличение. Фирме «Андерш и сыновья», приступившей спустя полгода к земляным работам, не составило ни малейшей трудности срыть краешек цепочки песчаных бугров, на месте которых надлежало поставить дом; дождались, пока смягчатся зимние морозы тридцать шестого года, и начали строить — отсрочка незначительная и более чем оправданная, ибо за это время Бруно Йордан добился в банке кредита.

Кстати, похоже на то, что по аналогии с кратковременной и долговременной памятью людям свойственна кратковременная и долговременная правота. Бруно Йордан обладал первой: дом его был построен, притом, как вскоре обнаружилось, на коммерчески бойком месте (между двумя казармами, одна из которых — имени Вальтера Флекса — сама еще строилась) и в благоприятный момент. Число безработных в Германии сократилось до двух миллионов, что означало: даже семьям рабочих было вполне по карману истратить в выходные на покупки двадцать — тридцать марок. Магазин процветал, так что через восемь с лишним лет, когда Йорданам пришлось оставить дом, ипотечная ссуда практически была погашена. Это обстоятельство — отсутствие долгов — Шарлоттта впоследствии никогда не забывала упомянуть. Ее правота была долговременного свойства.

Тогда же она сказала: Но почва! Ведь сплошной песок, чудачина ты этакий! Да, что верно, то верно, крыть нечем. Обмерить шагами участок она поможет, так уж и быть. Но электрокоток для белья в доме будет, непременно. И два отдельных погреба — для угля и для картошки. Иначе я пальцем не пошевелю.

Согласен. А вот тут, на этом углу, мы посадим тополь.

Но его же сломает ветром!

В подобных мелочах она все же оказалась не права. Тополь стоит. В ту давнюю пору — тощий прутик, ныне — могучее тридцатипятилетнее дерево, хотя верхушку, видимо, некогда расщепило молнией и разновысокие ее обломки портят красоту. И дом тоже стоит. Война — насчет этого Шарлотта оказалась-таки права — не разнесла его в клочья, ведь на город упало лишь несколько бомб, и сбросили их — от страха или от замешательства — те считанные самолеты Royal Air Force [1], что в результате зенитного обстрела или атаки истребителей «люфтваффе» не прошли к своей цели — Берлину. Бои на исходе войны, превратившие в руины весь центр, тоже миновали стороной эту северо-западную окраину Л. А что кой-какие из здешних домов сгорели, так это была целенаправленная акция освобожденных рабочих-поляков, предводительствовала которыми некто госпожа Бендер, отбывшая срок в тюрьме за то, что пыталась, украв продуктовые карточки, спасти тяжелобольного сына, — когда война кончилась, по ее наущению домá нацистов в знакомом ей районе были сожжены. Так сгорели дома йордановских соседей — архитектора Бюлова и мастера по укладке мозаичных полов Юлиха. На старых фундаментах поднялись новые дома, уже не столь большие. Из-за них облик окрестностей сделался каким-то чужим.

[1] ВВС Великобритании (англ.).

В целом же случилось именно то, что все полагали невероятным: песчаная гора срыта и, видимо, пущена на засыпку глубокой лощины Провала, которая в былые времена вела круто вверх — или вниз, смотря откуда идти, — между двумя буквально наползающими друг на друга буграми, а зимой превращалась в дьявольски опасный каток, и не всякий мог его одолеть. И в остальном рельеф изменился. Новые лужайки зеленеют в некогда каменистых впадинах, где в ту пышущую зноем субботу семьдесят первого года играли стайки детей, их возгласы и обрывки песен, тебе непонятные, навевали умиротворение, какого ты давно уже не испытывала, а стояла ты на краю Провала — как раз там, где Нелли играла со своей подружкой Хеллой в принца и принцессу, — и смотрела на кварталы новых домов, теснящихся на месте тогдашней песчаной горы, что звалась Гальгенберг, верхушку ее сровняли давным-давно, и в далекие времена твоего детства этот усеченный конус из сплошного песка представлял собою огромную, ста пятидесяти метров в диаметре, игровую площадку — второй такой не было нигде.

Ты знала, что дома старятся. И что со временем они уменьшаются в размерах. Но это всё пустяки. И что есть дома заколдованные, куда не дозволено входить, тоже не секрет. Вон тот, через дорогу, на Зольдинерштрассе, знакомый, чужой, постаревший, как раз из таких. Но это пустяки. Ты можешь подойти к витрине — хотя и это, наверное, непривычно — и рассмотреть ее поближе: рекламные бутылки с молоком и рекламные коробки с сыром. Ты могла бы войти в магазин и, показав пальцем, спросить бутылку молока, но, по-твоему, это был бы уже сознательный обман продавца. Вероятно, он бы вежливо тебя обслужил, как и местных покупателей, число которых из-за тесной застройки песчаной горы явно умножилось.

Но что они сдвинут горы...

В тридцать шестом году, когда строится их дом и Нелли узнает, как пахнет известка, как замешивают раствор и удерживают равновесие на крутых мостках, а еще — это уже на празднике в честь окончания постройки, — как выуживают сосиски из большого котла, — так вот все это время у нее определенно была при себе волшебная пробка. Сунешь руку в карман — а она там. И под партой всегда можно ее потрогать. Пробка эта опоясана по спирали медными гвоздиками, и когда Нелли касается одной из шляпок, ей уже ничего не страшно, она неуязвима. Она не боится больше взгляда господина Варсинского (или его пренебрежения), она решит любую задачку по арифметике, она даже перед Гундель не заробеет. Не говоря уже о том, что разница между существительными и глаголами для нее тоже не проблема. Когда ее рука сжимает пробку, она больше не отщепенка. Единственное, чего делать нельзя — в таком случае пробка потеряет силу, — это отречься от нее. Впрочем, если удастся привлечь на свою сторону Гундель, пробка станет не нужна. В переменку Нелли нарочно показывает ей пробку, так что Гундель поневоле спрашивает, что это за штука, и Нелли безразличным тоном отвечает: Волшебная пробка. Ничего особенного.

Класс навостряет уши. Пробка кочует по рукам. Едва раздается звонок на урок и в дверях появляется господин Варсинский, она бесследно исчезает. Лишь много позже она взблескивает в ладошке Лизелотты Борнов, когда ту снова вызывают к доске петь, чего она совершенно не умеет. Но на сей раз она выходит и поет, тихо, дрожащим голоском, однако же вполне внятно:

> Моя мама меня, меня шлет к вам на порог
> Разузнать, не готов, не готов ли наш пирог.
> Коль пирог, наш пирог не успел испечься в срок,
> Я к вам завтра зайду, я зайду под вечерок[1].

Ну вот видишь. Господин Варсинский всегда говорил: Все можно сделать, стоит только захотеть. Но что это у тебя в руке?

Вообще-то господин Варсинский спросил просто так. И если б Лизелотта молча показала ему пробку и состроила виноватую физиономию, он бы отстал от нее, пожурил бы только и запер пробку в ящик учительского стола, где исчезали любые игрушки, которым в школе не место. В сущности, он был в прекрасном расположении духа. Не вздумай Лизелотта со свойственным ей упрямством объявить, что пробка вовсе не ее. — Не твоя? А чья же в таком случае?

[1] Перевод Л. Фоменко.

И этот вопрос задан еще между делом.

Но тут произносится Неллино имя.

Ага. Твоя, значит? Тон остается почти нейтральным, но господин Варсинский приподнял левую бровь. Нелли, верно, даже и не заметила: соблазн велик. Она может попросту сказать: Да, пробка моя, и сунуть ее в ранец. Но ведь господин Варсинский всю жизнь будет презирать ее за баловство на уроке. Он уже говорит, и звучит это презрительно: Тогда изволь забрать ее и спрятать, эту свою пробку. Четыре-пять девчонок уже хихикают. Того гляди, весь класс ее обсмеет.

И она слышит свой голос: Нет. Пробка не моя. — Знаменательный миг: Нелли лжет, лжет сознательно, нарочно.

Кстати, ничего сложного тут нет. Зря она думала, что царство правды отделено от царства лжи глубоким рвом. Когда она приходит в себя, вокруг все точь-в-точь как раньше; только свет в прежнем мире был иной. Нелли сразу понимает, что он останется жить лишь в ее воспоминании, и ее захлестывает острая, необоримая тоска по этому утраченному свету, а меж тем она должна повторить, спокойно, без всякого вызова, свое «нет».

Ибо теперь удивленный господин Варсинский наконец вопрошает, что это еще за фокусы.

Можно поступить плохо и не чувствовать раскаяния.

Пустячное дело — только начни и продолжай в таком же духе.

Даже господь бог не добился бы от нее иного ответа.

Почему же она лишь сейчас узнала, что именно таким путем и можно одержать верх над ними над всеми? Гундель-то вон как стушевалась, глядя на недоумевающего господина Варсинского: такая маленькая, а врет, и неизвестно зачем — уму непостижимо! Чуть ли не умоляющим тоном он спрашивает в последний раз: Значит, в самом деле не твоя?

Да.

Ну что ж. Тогда не будем тратить время на эту глупую пробку, если же она кому понадобится, пусть скажет мне в переменку. А ты, Нелли, расскажи-ка, пожалуй, стихотворение об игрушке великанши.

С удовольствием. Стихи читать — это пожалуйста. «Душа полна прохладной тишиной»[1] — как говаривала мама. Кто смел — тот и съел. Кто врет, за тем и победа.

> «Крестьянин — не игрушка! Господь тебя спаси.
> ...И навсегда запомни, что великанов род
> В веках свое начало от мужиков берет!»[2]

Слушай, сказала в переменку Гундель Нойман, слушай, Нелли, я ведь правда не знала, что она не твоя! И Нелли, впервые взяв Гундель под руку, спокойно сказала: А она моя! — и вполне насладилась недоумением и восторгом своей «пары», которая наконец-то, будто они впрямь подружки, прогуливалась с нею по школьному двору. Все, что так долго шло вкривь и вкось, сразу наладилось, стоило только раз в жизни набраться упрямства и солгать.

У господа бога это нареканий не вызвало: он не покарал, скорее наоборот, вознаградил. Так или иначе, он заставил повторять однажды свершенное. Повторять вновь и вновь, по одной простой причине — из гордости.

И вот только сейчас всплывает из памяти подоплека той отчаянной потасовки между Нелли и Лутцем, во время которой она вывихнула братишке руку, а он, как рассказано выше, пробыл несколько дней в больнице, заразился там корью и потому не праздновал со всеми окончание постройки нового дома, — драка вспыхнула из-за того, что Нелли бесцеремонно нарушила правила игры в дитя Марии. Эта гриммовская сказка достаточно известна. Нелли — дитя Марии. От неуемного любопытства она отворяет в царстве небесном запретную тринадцатую дверь. Лутц выступает попеременно то в роли девы Марии, то в роли ангела-смотрителя, кото-

[1] Гёте. Рыбак. Перевод В. Жуковского.
[2] А. фон Шамиссо. Игрушка великанши. Перевод Л. Гинзбурга.

рый, бия крылами, стремится помешать Нелли, дитяти Марии, войти. Она конечно, одолевает его, открывает дверцу и оказывается перед запретною лучезарною троицей, причем не только смотрит на святыню, но даже трогает ее, отчего палец у нее покрывается золотом, а ее самое охватывает сильнейший страх, который в конце концов, после того как дева Мария в великой своей жестокости трижды забирает у дитяти Марии младенца и бедняжку объявляют ведьмой и ведут на костер, исторгает у нее в последнюю минуту спасительное признание.

На этом-то месте Нелли возмутительным образом согрешила против оригинала. Она уже привязана к столбику кровати, пламенно-красные бумажки сыплются огненным дождем, стало быть, она пылает вовсю, палец у нее по-прежнему в золоте, но она продолжает трясти головой: Нет, нет, нет. Это не я! Положено признаться, а она упорствует. Лутцем внезапно овладевает один из тех приступов бешеной ярости, которых все боятся. Пытаясь унять брата, Нелли вывихивает ему руку.

Очистившись раскаянием, она участвует в празднике. Дом поднялся как раз на том месте, где они меньше чем год назад шагами обмеряли участок. Нелли сидит на пружинистых мостках в окружении каменщиков, которые показывают ей, как пьют из бутылки пиво, а ее отца зовут «шефом». Первый школьный год тоже позади, и был он в самом деле не так уж плох. Просмотрев ее табель, родители говорят: они-де не сомневались, что могут гордиться дочкой.

1 сентября 1936 года — открытие нового магазина. В остроумном письме Бруно Йордан доказал городскому магистрату, что адрес «Гальгенберг», то бишь «Виселичная гора», наносит ущерб коммерции, и получил разрешение приписать свой продуктовый магазин к Зольдинерштрассе — той расширенной теперь до двух полос северо-западной вылетной магистрали, по которой на глазах у Нелли маршировали сперва на учения, потом на фронт солдаты из обеих казарм, а под конец тянулись обозы беженцев.

На фотографии — Бруно и Шарлотта Йордан, оба в белых халатах в день открытия магазина у своего нового дома. Бруно тридцать девять лет, его жене Шарлотте тридцать шесть, жизнь их — труды и хлопоты, а детям, здоровым и крепким, сравнялось семь лет и четыре года. Все — кроме Шарлотты — не привыкли походя употреблять такие слова, как «счастье», ну разве что в виде производных — «счастливчик», «счастливая полоса», «счастливый случай» и так далее.

Зато для Нелли было счастье — лучезарно-прекрасным августовским утром впервые проснуться в своей новой детской. Солнце освещало цветастые обои, которые она помогала выбирать в каталоге, ты и сейчас еще можешь нарисовать их узор; она тогда подумала и повторила вслух: Теперь начнется новая, прекрасная жизнь.

Перевела с немецкого Н. Федорова

Продолжение следует

Алексей Цветков

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

●

На четверых нетронутое мыло,
Семейный день в разорванном кругу.
Нас не было. А если что и было —
Четыре грустных тени на снегу.
Там нож упал — и в землю не вонзится.
Там зеркало, в котором отразиться
Всем напряженьем кожи не смогу.

Прильну зрачком к трубе тридцатикратной —
У зрения отторгнуты права.
Где близкие мои? Где дом, где брат мой
И город мой? Где ветер и трава?
Стропила дней подрублены отъездом.
Безумный плотник в воздухе отвесном
Огромные расправил рукава.

Кто в смертный путь мне выгладил сорочку
И проводил медлительным двором?
Нас не было. Мы жили в одиночку,
Не до любви нам было вчетвером.
Ах, зеркало под суриком свекольным,
Безумный плотник с ножиком стекольным,
С рулеткой, с ватерпасом, с топором...

●

Оскудевает времени руда.
Приходит смерть, не нанося вреда.
К машине сводят под руки подругу.
Покойник разодет, как атташе.
Знакомые съезжаются в округу
В надеждах выпить по его душе.

Покойник жил — и нет его уже,
Отгружен в музыкальном багаже.
И каждый пьет, имея убежденье,
Что за столом все возрасты равны,
Как будто смерть — такое учрежденье,
Где очередь с обратной стороны.

Поет гармонь. На стол несут вино.
А между тем все умерли давно,
Сойдясь в застолье от семейных выгод
Под музыку знакомых развозить,
Поскольку жизнь всегда имеет выход,
И это смерть. А ей не возразить.

Возьми гармонь и пой издалека,
О том, как жизнь тепла и велика,
О женщине, подаренной другому,
О пыльных мальвах по дороге к дому,
О том, как после стольких лет труда
Приходит смерть. И это не беда.

●

В тот год была неделя без среды
И уговор, что послезавтра съеду.
Из вторника вели твои следы
В никак не наступающую среду.
Я понимал, что это чепуха,
Похмельный крен в моем рассудке хмуром.
Но прилипающим к стеклу лемуром
Я говорил с тобой из четверга.
Висела в сердце взорванная мина,
Стояла ночь, как виноватый гость.
Тогда пришли. И малый атлас мира
Повесили на календарный гвоздь.

Я жил еще, дыша и наблюдая,
Мне зеркало шептало: «Не грусти!»
Но жизнь была, как рыба молодая,
Обглоданная ночью до кости,—
В квартире, звездным оловом пропахшей,
Она дрожала хордовой струной.
И я листок твоей среды пропавшей
Подклеил в атлас мира отрывной.
Среда была на полдороге к Минску,
Где тень моя протягивала миску
Из четверга, сквозь полог слюдяной.

В тот год часы прозрачные редели
На западе, где небо зеленей —
Но это ложь. Среда в твоей неделе
Была всегда. И пятница за ней,
Когда сгорели календарь и карта.
И в пустоте квартиры неземной
Я в руки брал то Гуссерля, то Канта,
И пел с листа. И ты была со мной.

●

Сколько лет я дышал взаймы,
На тургайской равнине мерз,
Где столетняя моль зимы
С человека снимает ворс,
Где буксует луна по насту,
А вода разучилась течь,
И в гортань, словно в тюбик пасту,
Загоняют обратно речь!
Заплатил я за все сторицей:
И землей моей, и столицей,
И погостом, где насмерть лечь.
Нынче тщательней время трачу,
Как мужик пожилую клячу.
Одного не возьму я в толк:
У кого занимал я в долг

Этот хлеб с опресневшей солью,
Женщин, траченных снежной молью,
Тишину моего труда,
Этой водки скупые граммы
И погост, на котором ямы
Мне не выроют никогда?

●

уже и год и город под вопросом
в трех зонах от очаковских громад
где с участковым ухогорлоносом
шумел непродолжительный роман
осенний строй настурций неумелых
районный бор в равнинных филомелах
отечества технический простой
народный пруд в розетках стрелолиста
покорный стон врача-специалиста
по ходу операции простой

америка страна реминисценций
воспоминаний спутанный пегас
еще червонца профиль министерский
в распластанной ладони не погас
забвения взбесившийся везувий
где зависаешь звонок и безумен
как на ветру февральская сопля
ах молодость щемящий вкус кварели
и буквы что над городом горели
грозя войне и миру мир суля

торговый ряд с фарцовыми дарами
ночей пятидесятая звезда
на чью беду от кунцева до нары
еще бегут электропоезда
минует жизни талая водичка
под расписаньем девушка-медичка
внимательное зеркало на лбу
там детский мир прощается не глядя
и за гармонью подгулявший дядя
все лезет вверх по голому столбу

вперед гармонь дави на все бемоли
на празднике татарской кабалы
отбывших срок вывозят из неволи
на память оставляя кандалы
вперед колумбово слепое судно
в туман что обнимает обоюдно
похмелье понедельников и сред
очаковские черные субботы
стакан в парадной статую свободы
и женщину мой участковый свет

●

какие случаи напрасные везде
недоумения пехотные окопы
и нет у лошади советчика в езде
ни у неясыти наставника охоты

бывало паузу в песчанике проешь
себя же в задницу коленями толкая
но остановишься и некуда промеж
раз по бокам фортификация такая

врубают стерео в моторе ток силен
мослы текинские в старорежимном ворсе
окликнешь кореша из сумерек семен
и ждешь уверенный а он григорий вовсе

совиный выводок молочный коридор
стожары высветили лопасти ушные
что за умора что за камень-конемор
не описать какие случаи смешные

все передвинуто не помнит прошлых мест
под током трещина считает обороты
а тело теплится кромешный камень ест
и жить дрожит и держит ножик обороны

●

У лавки табачной и винной
В прозрачном осеннем саду
Ребенок стоит неповинный,
Улыбку держа на виду.
Скажи мне, товарищ ребенок,
Игрушка природных страстей,
Зачем среди тонких рябинок
Стоишь ты с улыбкой своей?
Умен ты, видать, не по росту,
Но все ж, ничего не тая,
Ответь, симпатичный подросток,
Что значит улыбка твоя?
И тихо дитя отвечает:
С признаньем своим не спеши.
Улыбка моя означает
Неразвитость детской души.
Я вырасту жертвой бессонниц,
С прозрачной ледышкой внутри.
Ступай же домой, незнакомец,
И слезы свои оботри.

●

Стеклянный воздух, месяц медный,
Осина горькая узлом —
Мой край коричневый и бедный,
Парящей осени излом.
Мне нет забвения давно в ней,
Ни тихой радости сыновней —
Авессалом, Авессалом!

Пока домашние в изъяне
Искали веры наповал,
Я в тихом дворике с друзьями
Вино разлуки допивал.
Их разговор был скуп и горек
От наболевшего ума.
И сторожили тихий дворик
Замоскворецкие дома.
Они дышали нам в затылки,
И воздух в каменной бутылке
Дрожал, как злая сулема.

Деревья темные редели,
Мешался камень со стеклом.
Как одиноко мы сидели
За нашим нищенским столом!
Но лайнер в воздухе красивом
Гудел над каменным массивом:
Авессалом, Авессалом!

●

Под заботливой кожей сгущалась продольная хорда.
В календарном цеху штамповали второе число.
«Эта жизнь о любви!» — объявили у темного входа,
И прозревшее тело в меня ежедневно росло.

Непочатая кровь бушевала в младенце капризном,
И когда акушер деловитое слово сказал,
Я приветствовал день неказистым своим организмом,
Как чугуевский житель приветствует Курский вокзал.

Из военных руин поднималась земля трудовая,
От Невы до Балкан часовой проходил по стене.
Что я смыслил тогда, первородство свое отдавая
За пророческий голос в навеки оглохшей стране!

Я ходил в города провозвестником рая лесного —
Как мутило меня в ритуале дворцовых манер,
Как я мстил за себя, как хлестал ненавистное слово —
Аж до крови живой — по утрам выгоняя в манеж.

Этот мир колесо, только с ободом руки связали.
Эта жизнь о любви, как в забитом колодце звезда.
Для кого я живу, для кого я кричу на вокзале,
Где на сотнях платформ, обезумев, ревут поезда?

●

Меня любила врач-нарколог,
Звала к отбою в кабинет.
И фельдшер, синий от наколок,
Во всем держал со мной совет.
Я был работником таланта
С простой гитарой на ремне.
Моя девятая палата
Души не чаяла во мне.

Хоть был я вовсе не политик,
Меня считали головой
И прогрессивный паралитик,
И параноик бытовой.
И самый дохлый кататоник
Вставал по слову моему,
Когда, присев на подоконник,
Я заводил про Колыму.

Мне странный свет оттуда льется,
Февральский снег на языке:
Провал московского колодца,
Халат и двери на замке.
Студенты, дворники, крестьяне,
Ребята нашего двора
Приказывали: «Пой, Бояне!» —
И я старался на ура.

Мне сестры спирта наливали
И целовали без стыда.
Моих соседей обмывали
И увозили навсегда.
А звезды осени неблизкой
Летели с облачных подвод
Над той больницею люблинской,
Где я лечился целый год.

———

Публицистика

Джордж Сорос

КОНЦЕПЦИЯ ГОРБАЧЕВА

Новое мышление Горбачева и нас должно заставить серьезно поразмыслить.

Наш взгляд на мир определяется существованием двух сверхдержав, которые противостоят друг другу. Эти две сверхдержавы глубоко различны по своей общественной организации и идеологии, но схожи в стремлении добиться победы своей точки зрения. Простые граждане могут так и не думать, но те, кто занимается нашей внешней политикой, думают именно так: если они слишком далеко отойдут от этой линии, им не дадут остаться на своем посту.

Что касается Горбачева, то он отказался от этого взгляда на мир. Если бы у США хватило духу последовать его примеру, наши страны могли бы создать новый мировой порядок, который не был бы основан на противостоянии двух сверхдержав.

Я стал активно сотрудничать с Советским Союзом с начала 1987 года, после того, как Горбачев призвал Сахарова вернуться в Москву и «возобновить работу на благо Родины». В результате многих встреч и переговоров с советскими официальными лицами я образовал фонд со штаб-квартирой в Москве с ближайшей целью помочь Советскому Союзу стать более открытым обществом. Первоначально это было совместное начинание Фонда культуры СССР и моего фонда в Нью-Йорке. Это совместное предприятие воплотилось в новый фонд «Культурная инициатива», действующий в рамках советского законодательства. Им руководит независимое правление, состоящее из советских граждан, за исключением исполнительного директора моего фонда в Нью-Йорке. Список членов правления можно расценивать как справочник «Кто есть кто в гласности»:

— Юрий Афанасьев, историк

Джордж Сорос с начала 80-х годов вошел в число крупнейших американских финансистов. Он управляющий и совладелец международного инвестиционного фонда «Квантум», активы которого выросли с 1969 года в 500 раз и составляют примерно 2 миллиарда долларов — это, по-видимому, абсолютный рекорд темпов роста.

По отзывам западной прессы, Джордж Сорос — пример финансиста нового типа. Он крупный экономист, в 1986 году написал книгу «Алхимия финансов», высокообразованный человек: кроме экономики, изучал философию, право, свободно владеет четырьмя языками (английским, венгерским, французским, немецким), а также немного итальянским и эсперанто.

Джордж Сорос родился в Венгрии в 1930 году. Семнадцати лет, после окончания второй мировой войны, покинул Венгрию. Учился в Лондонской школе экономических наук. В 50—60-е годы — специалист по биржевым операциям. В 1956 году переехал на постоянное жительство в США.

Являясь американским гражданином, Джордж Сорос поддерживает постоянные широкие связи с европейским миром бизнеса. У него есть дом в Лондоне, где он проводит значительную часть времени.

Джордж Сорос с глубокой заинтересованностью относится к процессам перестройки и демократизации, происходящим в социалистических странах. В 1987 году он образовал благотворительный «Фонд Сороса — Советский Союз». По соглашению между этим фондом, Советским фондом культуры и Советским фондом мира был создан Советско-американский фонд «Культурная инициатива» для оказания финансовой поддержки творческим инициативам советских граждан в области науки и культуры. Взнос Джорджа Сороса в его бюджет на 1986—1989 годы — 3 миллиона долларов.

Джордж Сорос представляет те круги американской элиты, которые с пониманием встретили идеи нового политического мышления, ориентированы на незамедлительную практическую поддержку политики перестройки в СССР как отвечающей в конечном счете интересам укрепления экономической и политической стабильности во всем мире.

— Григорий Бакланов, писатель, главный редактор журнала «Знамя»
— Тенгиз Буачидзе, филолог и писатель
— Даниил Гранин, писатель, инициатор движения милосердия
— Валентин Распутин, писатель, деятельно участвующий в охране природы
— Борис Раушенбах, специалист в области систем управления и в вопросах религиозной философии
— Татьяна Заславская, социолог.

На каждый вложенный мною доллар поступает соответствующий вклад в рублях со стороны Фонда мира, советского варианта «Совместного пути», финансировавшего среди прочих такую известную пропагандистскую организацию, как Комитет защиты мира.

Фонд принимает заявки от советских граждан, и первые сорок проектов, отобранных для финансирования, дают представление о его приоритетах. Среди них: проект изучения устной истории сталинского периода, создание исторического архива неправительственных организаций, поддержка независимой группы городского планирования, ассоциации адвокатов-юристов, потребительского общества, кооператива по производству инвалидных колясок, организация в Англии летней школы для советских социологов, программа стажировки для советских юристов в США, новая неправительственная русская энциклопедия, а также ряд проектов, связанных с исследованием исчезающих сибирских языков, цыганского фольклора, экологии озера Байкал, и тому подобных.

Моя связь с фондом дала мне уникальную возможность наблюдать развитие нового мышления Горбачева и впечатляющий процесс изменений, вызванных им в обществе.

Новое мышление Горбачева родилось вследствие глубокого кризиса советской системы. Его политика не основана на тщательном и всестороннем политическом анализе,— она формируется по мере возникновения проблем. Его политика не всегда последовательна и даже не всегда хорошо сформулирована, но она пронизана концепцией, которая цементирует ее и позволяет Горбачеву продвигаться вперед, несмотря на, казалось бы, непреодолимые трудности.

Что же представляет собой концепция Горбачева? Лучше всего рассмотреть ее по трем направлениям: международные отношения, внутренняя политика и экономика. Наиболее ясна и дальновидна концепция Горбачева в международных отношениях — собственно, в СССР термин «новое мышление» обычно применяется к этой области. Кроме того, именно здесь Горбачев может рассчитывать на наиболее компетентную профессиональную поддержку.

Цель Горбачева — преодолеть изоляцию, в которой находится Советский Союз, и включить страну в сообщество наций. Легко понять, что побуждает Горбачева преследовать эту цель. Во-первых, это — признание того факта, что Советский Союз не может дольше существовать в изоляции. Он настолько материально и интеллектуально истощен, что не в состоянии нести бремя сверхдержавы. Другим мотивом является искренний страх перед ядерной катастрофой. Мне представляется, что этот страх сильнее ощущается советскими ответственными работниками, чем их коллегами на Западе, и по достаточно веской причине: эти люди прекрасно знают, насколько негибка и неэффективна структура власти в Советском Союзе. Они не разделяют почти слепую веру в технику, господствующую на Западе. Но наиболее сильным побудительным мотивом является желание покончить с системой мышления, которая может процветать лишь в условиях изоляции. Я, конечно, имею в виду догматическое мышление, которое было насаждено в Советском Союзе Сталиным с помощью террора и продолжало существовать благодаря системе власти, которую он после себя оставил. Как только уничтожается изоляция, выявляется пропасть между догмой и реальностью, и догма теряет силу убеждения.

Многие в Советском Союзе понятия не имели об этой пропасти и сейчас,

когда она обнаружилась, естественно, сбиты с толку; но для тех, кто ее сознавал, первостепенной задачей было ее выявление. Таким образом, новое мышление Горбачева в области международных отношений в такой же мере связано с гласностью, как и с соперничеством между сверхдержавами.

Горбачев не имеет в виду, чтобы СССР отказался от положения сверхдержавы. Статус сверхдержавы настолько важен для советского национального самосознания, что ни один правитель не может отменить его и удержаться у власти. Но Горбачев хочет провести внутренние преобразования, которые несовместимы с состоянием холодной войны. Единственный способ достичь этого — изменить характер деятельности сверхдержав, переключить их с соперничества на сотрудничество. Новое мышление Горбачева проявляется в стремлении разоружаться, декларированном и подкрепленном действительными сокращениями вооружения и контингентов войск; в готовности урегулировать основные конфликты с западными державами; в том, что валюта, которой и так мало в стране, была использована для уплаты просроченных членских взносов в ООН; в новом лозунге «общего европейского дома».

Людям, живущим на Западе и профессионально участвующим в соперничестве двух сверхдержав, трудно с таким мнением согласиться. Они привыкли считать, что интересы государства определяют политику государства. В принципе это может быть справедливо в обычные времена, но сейчас такое время, когда в Советском Союзе происходит внутренний переворот и интересы государства находятся в процессе переосмысления.

Перемена выглядит столь внезапной и столь радикальной, что в нее трудно поверить. Может, за всем этим кроется далеко идущая цель, желание вбить клин между общественным мнением и правительством на Западе, внести раздор в Западный союз? Так думают многие западные официальные лица. Я присутствовал на конференции представителей Запада и Востока по разоружению в Потсдаме в июне 1988 года, где советские участники впервые выдвинули свой план сокращения обычных вооружений. Утренняя серьезная дискуссия при закрытых дверях вылилась во второй половине дня в публичные выступления с официальных позиций перед прессой. Тем не менее на той же встрече только что назначенный глава советского Института Западной Европы Виталий Журкин высказался за то, чтобы американцы не уходили из Европы, а то Европа станет слишком мала для Советского Союза. Разлад между западными союзниками затруднит процесс примирения между Востоком и Западом — понимание этого разительно отличается от прошлых попыток внести раздор в западный блок.

Во внутренней политике «новое мышление» Горбачева более экспериментально. Он наткнулся на два крупных препятствия. Одно — нежелание партийного аппарата отдавать власть; второе — стремление различных национальностей добиться всевозрастающей автономии, не исключая возможности полной независимости.

Что касается политической структуры, тут, похоже, возникает паллиативное решение. Горбачев пытается уменьшить влияние Центрального Комитета, создав пост президента, выбираемого всеобщим голосованием; одновременно он стремится сохранить связь между партийным аппаратом и всенародно избираемыми Советами, настаивая на том, чтобы партийный руководитель на каждом уровне получал одобрение соответствующего Совета.

Что касается национального вопроса, я подозреваю, что если бы Горбачев высказал свои надежды на будущее, он, возможно, описал бы постепенный переход Советской империи к Содружеству Наций. Но подобные аналогии с Британской империей никогда не проводились советскими официальными лицами, и считается само собой разумеющимся, что нации не отделятся от СССР. С тем чтобы пресечь сепаратистские тенденции, был централизован контроль над органами правопорядка, включая КГБ и местную милицию.

Наиболее слабо «новое мышление» Горбачева проявляется в экономике. В стране — даже на уровне высших эшелонов руководства — существует непонимание принципов экономики. Однажды руководитель высокого ранга признался мне: «Мы боимся задавать вопросы, чтобы не показать своей безграмотности».

Контраст с Китаем весьма заметен. Чжао Цзыян сам превосходный экономист, и при нем существует «мозговой трест» из блистательных молодых ученых. Ничего похожего в Советском Союзе нет.

Все признают, что с экономикой необходимо что-то делать; существует мнение, что надо уменьшить роль центрального планирования и дать производителям, потребителям и местным руководителям бóльшую свободу действий. При этом не осознается, что при действующей системе большая свобода не гарантирует лучшего распределения ресурсов. Потребители и производители, дай им такую возможность, могут, естественно, позаботиться о своих интересах, но никто не заботится о том, чтобы предприятие получало прибыль. В этом виноваты не столько руководители народного хозяйства, сколько система, которая никогда не думала о получении адекватных прибылей с капитала. В результате капитал расточительно растрачивается. К примеру, в среднем нужно десять лет, чтобы построить новый завод. Я был в Музее палеонтологии в Москве, который все еще не открыт для посещений, хотя он строится уже семнадцать лет. При таких условиях никакие капиталовложения не могут быть экономически выгодны.

Эта проблема характерна не только для Советского Союза — она уже подорвала экономическую реформу в Китае и Венгрии. Но там по крайней мере это начинают понимать. Китай резко сократил свою программу капиталовложений и приостановил реформу цен до тех пор, пока не будут реорганизованы предприятия. В Венгрии же государственные предприятия фактически превращаются в совместные акционерные общества.

В Советском Союзе экономическая реформа буксует. Извлечение прибыли ассоциируется с капитализмом, а Горбачев далек от того, чтобы отбросить основные принципы социализма. Даже если бы он и хотел это сделать, он не мог бы высказать это вслух. Принцип равенства имеет глубокие корни в СССР. Собственно, советская система генетически связана с деревенской коммуной, которая в России называлась общиной. Однако реальность сегодня не имеет ничего общего с принципами. Перестройщики хотят отменить привилегии, но в то же время они хотят сохранить принцип равенства в распределении заработной платы и в политике цен, что несовместимо с экономической перестройкой. Они принимают принцип самоуправления — уже после того, как он показал свою несостоятельность в Югославии,— но не хотят поощрять предпринимательские таланты и способность рисковать.

При проведении экономической реформы в Советском Союзе была допущена серьезная ошибка, когда разрушили вертикальные оси ответственности, не создав предварительно ячеек, которые могли бы действовать в системе горизонтальных связей, то есть в рыночной экономике. В СССР выработалась изощренная неформальная система командного управления, суть которой сводилась к тому, что каждый внимательно следил за тем, что происходит наверху, и, как флюгер, поворачивался в ту сторону, куда ветер подует. Эта система возникла еще при Сталине, когда не воспринятый вовремя намек был чреват неприятнейшими последствиями. В «период застоя» при Брежневе система сохранилась силой инерции. Горбачев же приложил все усилия к тому, чтобы сломать эту систему, и преуспел, даже слишком: руководители теперь игнорируют указания сверху, и каждый преследует свои собственные цели и интересы. В результате экономика в целом стала менее восприимчива к сигналам сверху, чем раньше.

Предприятия, получив известную автономию внутри экономики, действующей по приказу свыше, пошли по пути использования аномалий системы. Приведу любимый пример Сахарова: дешевое мыло исчезло, так как мыловаренные заводы выпускают сейчас только дорогие сорта. Поскольку у предприятий нет настоящей заинтересованности получать максимум прибыли, они повышают цены и сокращают количество продукции. Встряхните как следует негибкую структуру, и она может рухнуть. Землетрясение в Армении является трагическим прообразом советской экономики.

Перемены, которые произошли в Советском Союзе при Горбачеве, вполне можно назвать волшебными. Когда я приезжал в Москву в марте 1987 года, я не мог обнаружить так называемое гражданское общество, то есть людей, которые думают и действуют независимо от государства. Я не видел этого гражданского общества не только по причине своей неопытности. Представители советской интеллигенции вращались каждый в своем узком кругу и не знали, что происходит и о чем думают за его пределами. Независимая мысль развивалась подпольно. Все это сейчас по-другому. В публичных дискуссиях определились позиции и высветились разногласия. Все эти перемены похожи на сон.

Между мыслью и реальностью всегда существует расхождение, но в СССР оно обрело особый характер. В течение многих лет существовала официальная система, в которой и мысль, и реальность управляются догмой. Но параллельно существовал и реальный мир, который сильно отличается от догмы. Людям приходилось делать вид, что этой разницы не существует, кроме того, предполагалось, что люди должны пользоваться догматическим языком так, как будто бы он годится для выражения их жизненных ситуаций. В этом заключается разрыв, с которым советские люди научились сосуществовать, принимая ли его, отвергая или же находя какой-то компромисс.

И вот появляется Горбачев, вводит гласность и расшатывает официальную систему мышления. Мышление внезапно освобождается от догмы, и людям разрешается выражать свои подлинные взгляды. В результате налицо широкое и официально признаваемое расхождение между мышлением и реальностью. Собственно, оно становится даже шире, чем когда-либо, потому что все перемены происходят на уровне мысли, тогда как реальность с ее очередями за скудной едой и плохими товарами почти не меняется. Между этими двумя уровнями возникает несоответствие, придающее событиям характер чего-то нереального, как во сне. На уровне мысли — волнение и радость обсуждений, публикаций, высказывания свежих идей; на уровне реальности господствует разочарование: поставки сокращаются, и одна беда следует за другой. Единственное, что характерно для обоих уровней,— неразбериха. Никто не уверен, какая часть системы перестраивается и какая все еще действует; бюрократы не смеют сказать ни «да», ни «нет», поэтому почти все возможно и почти ничего не происходит. Можно и так обрисовать сон.

Иллюстрацией положения дел может послужить «Культурная инициатива». Уже один факт, что существует такой фонд, доказывает, какие радикальные перемены произошли в Советском Союзе. Но существует ли в действительности этот фонд? Мы провели ряд заседаний; мы предоставили долларовые и рублевые дотации многим людям и организациям; мы готовы опубликовать наш первый годовой отчет; но мы все еще не получили официального разрешения на операции[1]. Пожалуй, наиболее ощутимым свидетельством нашего существования является самодеятельное кафе, где подают вкусную еду, в подвале дома семнадцатого века, который мы занимаем.

Ситуация с фондом не является уникальной. Я беседовал с главой Института проблем информатики Борисом Наумовым (позже он умер от инфаркта), он описал мне свои грандиозные планы производства миллионов персональных компьютеров для школ и одновременно пожаловался на то, что у него нет долларов, чтобы заплатить за сто компьютеров фирмы ИБМ, на импорт которых у него есть разрешение. Поскольку наш фонд нуждался в рублях, я предложил ему необходимые доллары; мы тут же договорились, но у него ушел целый год на то, чтобы получить разрешение перевести рубли нашему фонду.

Несоответствие между мыслью и реальностью настолько велико, что одна из них должна перестроиться: либо реальность должна измениться, либо надо возвращать мысль на уровень реальности. Пока что движение за демократиза-

---

[1] Постановление Совета Министров СССР «О деятельности советско-американского фонда «Культурная инициатива» на территории СССР» вышло 23.02.89. (Прим. редакции).

цию сводится главным образом к идеям. Сравнительно мало людей активно участвуют в организационной деятельности, высказывают свое мнение или выступают с новыми инициативами, и большая часть их деятельности освещается средствами массовой информации. Люди эти так много работают, они занимают столь важные посты, что их всех ждут инфаркты, особенно если учесть, что они не следят за диетой и привыкли вести сидячий образ жизни. Они надолго уходят в отпуск и время от времени отправляются в санатории, а это отражается на распорядке их работы, который становится все более суматошным. Ничего удивительного, что реальных достижений так мало! Чего-то добиться можно обычно, лишь получив толчок сверху, так как бюрократы низшего уровня либо боятся действовать, либо активно выступают против изменений, и лишь немногие осмеливаются взять дело в свои руки. Те, кто берет на себя роль лидеров, вскоре становятся предметом внимания средств массовой информации.

Люди требуют большего, видя, как мало происходит изменений. Есть тенденция ко все более радикальному мышлению, опасно схожая с «Пражской весной» и периодом «Солидарности» в Польше. Однако нет всеобщего согласия относительно того, в каком направлении должно идти общество. Интеллигенция глубоко разделена. В ней заметны две основные тенденции. Одни смотрят в сторону внешнего мира, другие поворачиваются к прошлому России; иными словами, одни приветствуют модернизацию, другие жаждут сохранения традиционных ценностей, представляющих собой удивительное смешение патернализма и общинности. Но большинство придерживается позиций, сочетающих элементы обеих тенденций в разных вариантах, и не всегда последовательно. В результате мы имеем все увеличивающуюся фрагментацию, дошедшую до того, что многие лидеры общественного мнения уже не разговаривают друг с другом.

К чему все это приведет? Гласность может повернуться своей оборотной стороной, если она не будет сопровождаться улучшением материального благосостояния. Разочарование вполне могут использовать в своих интересах те, кому невыгодны реформы Горбачева. Не так уж оторваны от реальности предположения, что первые армянские погромы в Азербайджане были инспирированы местной мафией, управляемой бывшим руководителем КГБ Азербайджана Г. А. Алиевым, с тем чтобы создать беспроигрышную ситуацию для Горбачева.

Самым опасным из всех националистических движений является русский национализм. Советский режим всегда пытался угождать другим национальностям, чтобы смягчить доминирующую роль русского народа. В результате русские как нация чувствуют себя обделенными. Движение, называемое «Память», полуобщественное и полуконспиративное, пытается направить это недовольство против приверженности Горбачева европейским ценностям. Это движение антисемитской и антиинтеллектуальной направленности; оно апеллирует к наиболее примитивным и низменным, а с другой стороны, к наиболее экзальтированным и мистическим инстинктам. И уже сейчас оно выступает как заметный тормоз для прогрессивной политики Горбачева.

Легко впасть в пессимизм, ибо проблемы кажутся неразрешимыми, а опыт русской истории учит нас тому, что за краткими периодами реформ следуют долгие периоды репрессий. Линия наименьшего сопротивления ведет от разочарования к беспорядкам, и когда беспорядки достигают определенного предела, призываются военные для наведения порядка. Так было в Польше, когда Ярузельский взял власть в свои руки. И человеком, который призовет военных, может быть сам Горбачев или его преемник.

Но подобный мрачный прогноз сделан без учета творческой энергии, которую высвободило уничтожение репрессивного режима, и не принимает во внимание способностей, уже проявленных Горбачевым в качестве руководителя. Даже если у него нет детального плана перестройки, у него есть концепция, и, возможно, ему удастся обуздать те силы, которые он выпустил. Одно бесспорно: такое положение дел длиться не может. Разрыв между мыслью и реальностью должен быть так или иначе ликвидирован. И то, как он будет ликвидирован, имеет огромное значение для всего человечества.

Как должен реагировать мир на перемены в Советском Союзе? На этот вопрос может быть дан очень простой ответ: сам советский народ должен решать судьбу своей страны. Но этот ответ некорректен. Уж если Горбачев решил ввести страну в сообщество наций, он не может это осуществить без участия других стран, в особенности США. Инициатива Горбачева требует ответа, отсутствие ответа есть отрицательный ответ.

Горбачеву нужен положительный ответ по трем направлениям. Наиболее очевидное направление — разрешение международных конфликтов и разоружение. Второе — помощь в проведении экономической реформы в СССР. Предоставление кредитов на недостаточно проработанные проекты вряд ли будет здесь полезно, потому что валюта скорее всего будет потрачена без толку, как это не раз бывало раньше. То, что требуется,— это управленческая помощь и консультирование со стороны западных специалистов и кредиты для оплаты таких услуг. Нужно помочь ориентироваться в условиях рыночной экономики. Приведу лишь один пример: понятие амортизации даже не фигурирует в советской системе бухгалтерского учета. А как же могут предприятия перейти на самофинансирование без учета амортизации фондов? Приобрести необходимые управленческие навыки и знания за короткий срок можно только путем их импорта.

Третье направление — область идей. Политика гласности строится на посылке, что общество может лучше функционировать и полнее удовлетворять потребности своих членов, если оно открыто. Открытое общество должно быть открыто для остального мира — отсюда тесная связь политики гласности и внешней политики СССР. Международное мнение играет гораздо большую роль в СССР, чем в США, именно потому, что СССР так долго был отрезан от мира.

Общественность на Западе встретила новую политику Горбачева с большим энтузиазмом. Гораздо менее определенно отношение правительства США. Более того, оно рассматривает этот энтузиазм общественности по поводу Горбачева как возможную опасность. Оно также опасается, что разные нации, возглавляемые разными лидерами и движимые разными национальными интересами, отреагируют по-разному, и единство НАТО, которое и так трудно поддерживать перед лицом предполагаемой угрозы, может распасться. Распад НАТО, в свою очередь, может быть воспринят как новая угроза, и это еще больше осложнит ситуацию. Линия наименьшего сопротивления приводит к выжидательной позиции, каковая, как мы видим, равнозначна отрицательному ответу.

В целом Европа более позитивно отвечает на инициативу Горбачева, чем Соединенные Штаты, что явствует из того, как охотно европейские страны дают Советскому Союзу кредит и какую суровую критику это вызвало в Соединенных Штатах. Политически наибольшие обязательства взяла на себя Западная Германия, хотя экономически Италия по крайней мере столь же активна, да и Маргарет Тэтчер демонстрирует большое понимание и поддержку Горбачеву. Сравнительно наиболее сдержанна миттерановская Франция, однако, по существу, ее позиция тоже достаточно конструктивна.

Все это может измениться, если за большее сближение с Советским Союзом придется заплатить разрывом с Соединенными Штатами. В Соединенных Штатах уже слышны влиятельные голоса, которые высказываются в пользу стратегии Тихоокеанского вала. И госсекретарь Джеймс Бейкер, и сенатор-демократ Билл Брэдли говорили об этом. Хотя все это пока еще весьма неопределенно, но прослеживается желание разойтись с Европой и усилить наше влияние в быстро развивающемся Тихоокеанском регионе.

Европейцы могут начать разрываться в разных направлениях. По всей вероятности, наиболее преданной своей «Остполитик» останется Западная Германия, но чем дальше будет отходить от остальных Западная Германия, тем большее, по всей вероятности, это будет вызывать сопротивление со стороны Франции и Великобритании. Как абсолютно точно заметил новый глава советского Института Западной Европы, европейский дом, где не будет Соединенных Штатов, окажется слишком мал для Советского Союза. Следовательно, выбор исключительно за Соединенными Штатами. Одна сверхдержава должна решить, как ответить другой сверхдержаве, которая не хочет больше продолжать прежнюю игру. Решение это затрагивает самую сердцевину нашей национальной сущности. Можем ли мы представить себя не сверхдержавой? Можем ли мы представить себе мир, которому не стремимся навязать свою волю? Готовы ли мы принимать решения международных организаций — будь то Организация Объединенных Наций или Международный валютный фонд, — не находящихся под нашим контролем? Это серьезные вопросы, которые требуют серьезного переосмысления. Как я уже писал, мы, по-моему, к этому не готовы.

Новое мышление Горбачева возникло из глубокого кризиса. Мы тоже переживаем кризис, истоки которого неразрывно связаны с нашей ролью сверхдержавы. Проще говоря, мы тратим больше, чем зарабатываем,—и страна, и правительство. Превышение расходов почти точно совпадает с ростом наших затрат на военные нужды с тех пор, как президент Рейган занял свой пост. В результате наша конкурентоспособность упала, и наше финансовое положение ухудшилось до того, что доллар уже больше не может служить резервной валютой мира. Но наш кризис не острый, и мы лишь смутно его ощущаем, ибо у нас есть такой старательный партнер, как Япония, которая рада и счастлива производить больше, чем она потребляет, и отдавать нам излишки. Такое сотрудничество позволяет нам поддерживать на уровне нашу военную мощь, а Японии — увеличивать свою экономическую и финансовую доминирующую роль. Каждый получает то, что хочет, но перспектива для Соединенных Штатов не очень обнадеживающая. В истории много примеров того, как военная мощь поддерживалась с помощью взимания дани, но нет такого прецедента, чтобы военная гегемония существовала на деньги, взятые взаймы.

Наши собственные трудности ничтожны по сравнению с проблемами, с которыми приходится сталкиваться СССР. Но Горбачев разработал концепцию, которая не уступает по грандиозности проблемам, вызвавшим ее к жизни. Мы же практически ничего нового за последнее время не разработали и не выдумали. Президентские выборы — где дебаты шли между людьми, придерживающимися одной линии, и не было высказано ни одной мысли, для выражения которой потребовалось бы сложноподчиненное предложение, — мало помогли в отношении развития политического мышления. В результате мы оказались плохо подготовленными к созданию возможностей, которые предлагает инициатива Горбачева.

Могли бы мы существовать в мире, где не будет соперничества сверхдержав? Смогли бы мы приспособиться к миру, над которым не нависают сверхдержавы? Смогли бы мы стать частью союза, не пытаясь навязать ему свою волю? Могли бы мы соглашаться с решениями, принятыми международными организациями, не находящимися под нашим контролем,— будь то ООН или Международный валютный фонд? Это глубочайшие вопросы, которые затрагивают самую сущность нашего самосознания.

Положение сверхдержавы стало неотъемлемой частью нашего национального самосознания. Мы видим себя в роли защитников свободного мира. НАТО точно так же контролируется США, как Варшавский Договор — СССР. Мы держимся за свои права в Мировом банке и в Международном валютном фонде, даже если осуществление наших прав ограничивается деятельностью этих организаций. Мы преуменьшаем роль ООН, потому что эту организацию мы не контролируем.

Беда в том, что пропасть между тем, какими мы себя видим, и тем, каковы мы на самом деле, расширилась до огромных размеров. Наше количество голосов в Международном валютном фонде не соответствует нашим финансовым возможностям. Если Соединенные Штаты останутся в Европе (но необязательно будут держать там такое количество войск) и с общего согласия произойдет сокращение вооружений, эффект будет куда более далеко идущим. Когда подписан договор о разоружении, включающий соответствующие процедуры проверки,— трудно уже повернуть вспять. Да и наш статус сверхдержавы тоже скорее всего серьезно изменится, потому что сокращение вооружений произойдет с общего согласия. Вот почему так необходимо по-новому мыслить. Наши военные обязательства значительно превышают наши потребности и наши ресурсы. Они могли

быть оправданны лишь до тех пор, пока существовал оппонент, играющий в такую же игру. Но сейчас? Горбачев готов отказаться от всех своих обязательств по всему миру, начиная с Анголы и кончая заливом Камрань. Чем же можем мы в таком случае оправдать наше продолжающееся присутствие в Южной Корее и на Филиппинах? Нам все равно пришлось бы пересмотреть свою позицию в мире, но Горбачев заставляет нас поторопиться.

Возьмем Южную Корею. Нам пришлось защищать ее от коммунистического вторжения, и мы положили на это немало жизней американцев. Но ведь это было почти четыре десятилетия тому назад! С тех пор мы продолжаем держать там значительные военные силы и поражаемся тому, что страна буквально кипит, охваченная антиамериканскими настроениями. На американских солдат не распространяется корейское уголовное право, и они ведут себя соответственно. Недавно по телевидению передавали слушание дела о преступлениях низложенного военного диктатора, и в ходе суда выяснилось, что значительное число американцев принимало участие в массовых убийствах в районе Кванджу в 1980 году. В стране под ружьем находится около 500 000 солдат. В Северной Корее большая армия, но население составляет половину населения Южной Кореи, а ее промышленные мощности — лишь незначительную часть промышленных мощностей Юга, да и поддержка со стороны Китая и Советского Союза значительно сократилась. От какой же угрозы мы защищаем Южную Корею?

Когда наше представление о самих себе так далеко отклоняется от реальности, приходит время пересмотреть это представление. Это болезненный процесс, потому что он означает признание реальности, а именно — что мы не так уж сильны и всегда правы, как мы думаем. Но болезненность процесса нейтрализуется результатом. Многие наши проблемы порождаются нашим искаженным представлением о самих себе. Если мы пересмотрим нашу роль сверхдержавы, они исчезнут сами собой, а именно: наш бюджетный дефицит может быть сокращен до нуля, и мы могли бы поправить наше экономическое и финансовое здоровье. И если претворить концепцию Горбачева в жизнь, то изменится характер мира, в котором мы живем. Советский Союз со своими сателлитами вернется в свободный мир. Это кажется невозможным, но СССР действительно мог бы стать таким же нашим другом и союзником, как наши бывшие враги — Германия и Япония.

К несчастью, есть влиятельные силы, которые выступают против этого переосмысления. Президент Эйзенхауэр в своей прощальной речи предупреждал нас об опасностях, которые таит в себе военно-промышленный комплекс. Природа военно-промышленного комплекса коварна: он пронизывает нашу экономическую и политическую жизнь, руководство бизнесом и связь бизнеса с правительством. Он играет решающую роль в развитии науки и техники. Главная его цель — самосохранение, и он очень в этом преуспел. Президент Картер пришел на президентский пост с идеями о нулевом бюджете, но он даже и не пытался применять это к военным. Президент Рейган хотел сократить участие правительства в экономической жизни, но в результате он достиг противоположного — выделение средств на военные нужды увеличилось. Ко времени последних президентских выборов объем нашего оборонного бюджета был неприкасаем: все, что разрешено обсуждать,— только его распределение. Тем не менее радикальный пересмотр наших глобальных трат на оборону не только возможен, но и необходим.

Однако что же все-таки произойдет с миром, если мы перестанем его охранять? Сейчас практически все локальные конфликты используются, но также и сдерживаются сверхдержавами в своем соперничестве. Если сверхдержавы выведут свои войска, локальные конфликты вырвутся из-под контроля. Даже в пору своего наибольшего влияния сверхдержавы не в состоянии были сдержать разрастание многих конфликтов. Если их власть сократится, могут разгореться местные войны. Миру потребуется какое-то умиротворяющее влияние, чтобы можно было спокойно жить.

На смену соперничеству сверхдержав должно прийти их сотрудничество. Эта схема уже продемонстрировала свою пригодность, положив конец нескольким войнам за рекордно короткий срок. ООН, которая создавалась в расчете на подобное сотрудничество, но так и не имела никогда возможности продемонстрировать свою роль в благоприятной обстановке, может обрести, наконец, оправдание своего существования. Горбачев приветствует эту перспективу. Нам же придется переосмыслить все наше миропонимание, прежде чем мы сможем принять ее.

На наше миропонимание в значительной мере влияет доктрина о том, что выживает сильнейший, и мы применяем ее и в экономике, и в международных отношениях. Мы превозносим достоинства свободного предпринимательства, олицетворяемого капиталистической системой, и мы как огня боимся вмешательства правительства, которое, по нашему мнению, ослабляет силы общества, как это происходит в странах, где господствует экстремальный коммунизм. Эта доктрина выглядит особенно привлекательно, если ты сильнейший. Поэтому она так неразрывно связана с нашим статусом сверхдержавы.

Как любой доктрине, ей присуща некоторая внутренняя непоследовательность. Наиболее очевидный момент: статус сверхдержавы предполагает самое широкомасштабное вмешательство правительства и в экономику своей собственной страны, и в дела других стран. Один возможный путь разрешения этого противоречия — не участвовать в международной жизни. Изоляционизм всегда считался альтернативой статусу сверхдержавы, но изоляционизм не лучшее решение проблемы. Нам нужно сделать еще один шаг, переосмысливая свой взгляд на мир.

Доктрина о выживании сильнейшего в том виде, в каком она в настоящее время существует в США, неистинна. Эволюция — гораздо более сложный процесс, чем это представляется современному социальному дарвинизму. Последние достижения в разработке теории сложных систем (теория «хаоса») пролили новый свет на эволюцию, но пока ещё не были восприняты социальным сознанием.

Принцип несдерживаемого соревнования не должен служить основой общественной политики ни в международных делах, ни во внутренних. Цивилизация требует и соревнования, и контроля. СССР на своем опыте познал, что контроль без соревнования не годится. Нам необходимо признать, что соревнование без контроля так же неудовлетворительно. Это справедливо в области экономики — биржевые крахи, скачущие курсы, подрывающие экономику, неконтролируемые слияния, купли-продажи, дестабилизирующие всю структуру,— но еще большее значение это имеет для международных отношений. Короче говоря, выживание сильнейшего не гарантирует выживания системы.

Мы не всегда так истово исповедовали социальный дарвинизм. Не так давно мы представляли себя открытым обществом, где гражданство пересекало национальные границы и где сострадание было такой же важной составной частью политики, как и соревнование («...дайте мне ваших поверженных, ваших бедняков, ваших обездоленных, жаждущих свободы» [1]).

Эта позиция достигла своего апогея после второй мировой войны, когда были созданы ООН, система Бреттон-Вудса и план Маршалла. Превращение наших бывших врагов в союзников и предоставление им возможности процветать будет вечным памятником нашему великодушию. К несчастью, Сталин воспользовался нашей тогдашней наивностью, и последовала «холодная война» с ее теорией выживания сильнейшего.

Любопытно, как концепция Горбачева напоминает о времени создания ООН. Это не случайно. Идея ООН не увенчалась успехом из-за Сталина, а концепция Горбачева направлена на преодоление сталинизма.

Горбачев черпает вдохновение из ценностей минувшей эпохи. Каким-то непостижимым образом эти ценности лучше сохранились в Советском Союзе, чем на Западе. Запад заразился от Советского Союза в процессе соперничества с ним и перенял некоторые из его методов. А в Советском Союзе западные ценности прошли процесс очищения изоляцией и репрессиями.

Таким образом, концепция Горбачева предоставляет Западу возможность вновь обрести ценности открытого общества. Мы чуть их не потеряли в нашей сверхдержавной борьбе за выживание. И тем не менее эти ценности оказались

[1] Надпись на постаменте статуи Свободы.

достаточно значнмыми н могущественными, чтобы вдохновнть Горбачева и его сторонинков. Я должен признаться, что именно это является прнчниой моего интереса и личного участия.

Но мы не должны слишком увлекаться. Не впервые идеи, исхоящне нз Советского Союза, оказывают могучее влияние на мышление во всем мире, как не впервые шнрокая поддержка и ннтерес всего мира играют решающую роль в истории Советского Союза. В прошлый раз ндеалисты былн печальио обмануты, а создание сталинского государства привело к извращению ценностей западной цивилизации.

Только учась иа уроках истории, мы можем не дать ей повториться. Решающим уроком, который необходимо усвоить, является разрыв между идеями и реальностью. Мы можем горячо одобрять концепцию Горбачева, и именно потому, что ои сражается в осаде, приходится всемерно поддерживать его. Но мы также должны осознавать советскую реальность: мы должиы убедиться, что иаша поддержка используется для того, чтобы изменять реальность в направлении концепции, а не наоборот. Это может нам помочь вновь обрести то положение лидера, которое мы потеряли.

Перевод с английского

Е. М. Примаков,
академик

ПЕРЕСТРОЙКА — ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И ИЗВНЕ

Тема перестройки в СССР — одна из самых «горячих» сегодня и в разговорах, и в статьях, и в книгах. У нас — это вопрос вопросов, от решения которого завнснт будущее страны, народа. У них — это тоже животрепещущая проблема: на Западе понимают, что ход перестройки — последовательиый или с изломом, даже времеиами попятный — во миогом определяет перспективу стабильиости мира.

Хотя преобладающее большинство людей в СССР за перестройку, есть и те, которые иедовольны, брюзжат, сомневаются в ее успехе. А есть н такие, пусть их явиое меньшинство, которые ее не приемлют. Можио считать, что и иа Западе большииство относится доброжелательно к перестройке, однако там существуют реальиые силы, которые хотели бы, чтобы оиа захлебиулась.

Но, иесмотря на такую, казалось бы, параллельиую реакцию, взгляд иа перестройку изиутри и извне — зто не одно и то же. Сказывается разиое расстояние до нее — для нас зто свое, для них все-таки чужое,— разная степень заиитересоваииости, разиочтеиие событий, иеодииаковость мировоззренческих подходов.

ЧТО ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ?

Сразу после того как в апреле 1985 года партия провозгласила курс на перестройку, страну захлестнул энтузиазм. Это была реакция иа период застоя. Как бы тщательио ни камуфлировалось в сообщениях ЦСУ истииное положеиие дел в экономике, становилось все ясиее, что мы резко отставали от США, Японии, Западиой Европы, да и не только от иих, в освоении результатов научно-технического прогресса. «Железного занавеса» уже не было,— в народе стали называть вещн своими именами.

Застойный период внес большую лепту и в отставание нашей страиы по уровию жизни иаселения. Большинство догадывалось, что жнвем мы хуже, но мало кто знал, как ухудшалось соотношеиие между Советским Союзом и ведущими странами Запада по важиейшим показателям иародного благосостояния. Так, если в 1980 году на 10 тысяч иаселения в СССР была построена 121, а в США 72 квартиры, то в 1985 году зти показатели практически совпалн (в СССР — 72, в США — 70). И это при том, что в США уже накоплен огромный жилищный фоид и намного больше, чем у нас, средняя общая площадь квартир (и индивидуальных домов). Позже прояснилось и другое: 15 процентов нашего населения, то есть 40 миллионов человек, живет практически за чертой бедиости в семьях, где срединй душевой доход составляет меиьше 75 рублей в месяц.

Народ не знал всей степеии дисбалансированности экономнки, всех тяжелых последствий тупиковой ситуацин, в которую она зашла, но ои устал от парадиых рапортов, залихватских заявленнй о наших преимуществах и достижениях, теоретических новшеств о развитом социализме, устал от бескоиечных награждений, в первую очередь самого Л. И. Брежнева. Все большее раздраже-

ние вызывали растущая семимильными шагами теневая экономика, коррупция, разъедающая аппарат, вседозволенность руководителей.

Апрельская перестройка была в первую очередь воспринята как поворот к экономическому и социальному ускорению, как очищение от взяточничества, кумовства, использования служебного положения в личных целях, как борьба за дисциплину труда, расшатавшуюся донельзя в застойные годы. Многие считали все это возвратом через голову черненковского периода к андроповскому, непродолжительность которого не позволила добиться желаемого. Сразу широкую популярность приобрел М. С. Горбачев — людям нравились яркие телевизионные выступления лидера, к тому же излагающего свои собственные мысли, а не читающего чужие. Импонировали встречи М. С. Горбачева с представителями различных слоев населения, открытый на них разговор, уважительное отношение к интеллигенции. Но на первых порах в массах еще не было представления о тех масштабах, которые примет обновление, о том, какие огромные исторические пласты поднимет плуг перестройки.

Апрельское движение с полным основанием можно назвать революцией только с того момента, когда оно вскрыло деформации социализма при Сталине, не просто разоблачив чудовищные репрессии — это сделал XX съезд, решения которого, правда, были спущены на тормозах в период застоя,— но категорически перечеркнув командно-административную модель в качестве универсальной для социализма вообще и пригодной для современного социалистического общества. Такой революционный разрыв с прошлым осуществлялся впервые за послесталинский период. Разоблачение и критика сталинского режима не просто создавали гарантии против рецидива репрессий, а служили смене моделей развития. Именно в этом — исторический смысл ретроспективной критики сталинизма.

Западные наблюдатели, во всяком случае, очень многие из них, не уловили той грани, с которой началась перестройка — революция. Отсюда и часто проявляющаяся поверхностность в оценке происходящего в нашей стране. Иначе трудно объяснить, например, представления тех американцев, которые считают, что перестройка в СССР идентична действиям каждого вновь избранного президента в США.

Нужно сказать, что и сами мы могли способствовать появлению такого рода примитивных оценок. Я не имею в виду воздействие на западное общественное мнение высказываний откровенных защитников сталинского режима. Было гораздо хуже, когда из самого перестроечного движения, даже из его верхнего эшелона, прозвучали идеи, согласно которым «диалектика» преемственности и новизны в нашем развитии рассматривалась без решительного осуждения многосторонней деформации социализма в период культа личности. К этому следует добавить, что разговор о соотношении преемственности и новизны сопровождался недвусмысленными высказываниями против рыночных механизмов экономического регулирования. То есть не только нам, но и западным наблюдателям было над чем задуматься...

Но оценщики нашей перестройки в США часто еще и додумывали: о «блокировке» Горбачева, о победившей тенденции к косметическому ремонту нашей общественной системы без е радикальной перестройки.

К тому же на взгляды американцев очень серьезно влияют устоявшиеся психологические стереотипы. Один из них — презумпция своей невиновности ни в чем: США делают все правильно, с учетом интересов стабилизации международной обстановки, а СССР — наоборот. Такое представление, являющееся во многом следствием длительного конфронтационного периода в отношениях между двумя странами, сыграло свою роль в возникновении подозрений: а не затеял ли Советский Союз перестройку, чтобы выйти из кризиса, который мешает ему с полной силой противоборствовать с США?

Думать таким образом им помогает пустивший глубокие корни «американоцентризм», исходящий из того, что все на белом свете вращается вокруг Соединенных Штатов. Другие государства, дескать, руководствуются в своих решениях в конечном счете тоже отношениями с США — не более и не менее. При таком представлении, естественно, на задний план отступает в самом деле главное — внутренние причины перестройки в СССР и, уж во всяком случае, эти внутренние причины не рассматриваются во всей своей сложности и глубине.

Я столкнулся с этим, участвуя в телемосте «Верховный Совет СССР — Конгресс США». Во время передачи американский конгрессмен, который прозрачно намекал на то, что цель нашей перестройки — понравиться американцам, в конце концов спросил, как мы можем доказать Соединенным Штатам искренность своих намерений перестроить советское общество. Почти осязаемой была уверенность конгрессмена в том, что приятие или неприятие со стороны США является критерием полезности или неполезности того, что делается в СССР.

«Американоцентризм», очевидно, наиболее живучий стереотип мышления для американцев. Размываются другие стереотипы, перестают верить в то, что СССР хочет навязать миру свой облик и готов сделать это даже с помощью силы, а вера в то, что их страна является центром мироздания, все еще сильна. Без отказа от этого трудно правильно понять причины и характер перестройки в Советском Союзе.

Конечно, перестройка заставляет и нас совершенно по-другому смотреть на окружающий мир. Она разрушает догматические представления о том, что производственные отношения при капитализме выступают как тормоз развития производства,— сами эти отношения изменяются в рамках капитализма, приспосабливаясь к требованиям научно-технической революции. Этот процесс затрагивает даже такую политэкономическую «святая святых», как собственность,— меняются и ее формы, и содержание. Акционерный капитал, по Ленину, это далеко не то же самое, что монополистический капитал.

Не выдерживает столкновения с действительностью другая догма — о том, что развитию капитализма обязательно сопутствует обнищание трудящихся. Рабочее и профсоюзное движение в развитых капиталистических странах, сильнейший импульс которому дала наша революция,— несмотря на то, что в отдельные периоды развития СССР такой импульс затухал,— во многом стало преградой на пути сверхэксплуатации трудящихся. Да и само производство при капитализме, конечно же, стимулируемое погоней за прибылью, не может развиваться в условиях обнищания большей части населения — трудящихся, которые прямо или косвенно являются потребителями увеличивающейся в номенклатуре и в масштабах продукции.

Серьезных успехов современный капитализм добился в управлении производством, в контролировании инфляции, регулировании на макро- и микроуровнях. Многое из этого нам нужно изучать и использовать в своем хозяйстве. Тем более что существуют закономерности, которые свойственны производительным силам как таковым. К примеру, более быстрые темпы развития мелкого и среднего производства на Западе — разве не полезен этот опыт нам, особенно учитывая более чем ощутимые потери от промышленной «гигантомании»? Или многоотраслевая структура управления — около 95 процентов корпораций США многоотраслевые, а это высшая форма организации производства, над которой уже не стоят ни министерства, ни ведомства. Такая же картина в Японии, Западной Европе. Или организация безлюдных третьих смен для того, чтобы быстрее амортизировать наиболее передовое и дорогостоящее оборудование. Такой список можно продолжить.

Перестройка, имеющая своей целью вывести наш производственный потенциал на уровень наибольшей эффективности, открывает нашу экономику для всей мировой практики, всего мирового опыта. Но это отнюдь не идентично тому, что мы хотим построить у себя капиталистическое общество. Отчетливо видны серьезнейшие его минусы, противоречия, уже непривычная для нас, окунувшихся в перестройку, духовная бедность. Американский профессор Северин Биалер сказал мне как-то, что, читая наши газеты и журналы, завидует той интеллектуальной, духовной жизни, которой мы живем.

Однако — что, может быть, самое важное — перед нами сегодня не стоит ультимативный, как это было, по сути дела, раньше, выбор: либо та модель социализма, которая существовала до перестройки, либо частная собственность и капитализм. Такой выбор перечеркнут после апреля 1985 года, когда практической

задачей стало создание общества, в котором социалистические принципы прочно базируются на демократии и нравственности.

Для строительства такого общества нам нужно раз и навсегда порвать с догматическими, да притом и безоговорочными в прошлом представлениями о социализме. Прежде всего с тем, что его высшим достижением является огосударствление всего и вся — и в экономике, и в политической жизни. Нужно теоретически отмежеваться от выводов, будто при социализме общенародная собственность идентична государственной и только. Более того, очевидно, уже мало признавать, что социализм отнюдь не отрицает, а, напротив, определяется множественностью форм собственности — государственной, кооперативной, паевой, профсоюзных и других общественных организаций, личной. Развитие отношений социалистической собственности на будущее немыслимо без поиска ее новых, еще, может быть, неизвестных форм, объединяющих экономические интересы трудящихся и государства.

Другой характеристикой доперестроечного социализма является практически установленный знак равенства между собственностью и владением. Раз все в собственности государства — не в общенародной, а именно государственной,— то никаких прав у владельца-пользователя попросту нет. Такой подход не только стал основой повального огосударствления, но и отрицал возможность хозяйственной самостоятельности даже государственных предприятий, не говоря уже о колхозах, кооперативах.

Эта логика породила неприязненный подход к рынку при социализме. Даже в рыночных отношениях между социалистическими предприятиями неизменно виделась угроза нашим социальным завоеваниям и отношениям планомерности. Между тем административные гонения на рынок, насильственное сужение сферы товарно-денежных отношений не укрепляли планомерного начала в хозяйстве. Рынок уходил вглубь, деформировался, способствуя расширению «теневой экономики», вынуждая предприятия все чаще совершать незаконные сделки. Не рынок сам по себе, а именно деформация рыночных отношений способствовала обострению проблемы дефицита, усиливала диспропорции и сбои в системе планового регулирования, вызывая к жизни бесчисленные пересмотры плановых заданий.

Закостеневшие бюрократические отношения, сложившиеся на базе «ведомственной собственности», казались (и по сей день кажутся некоторым) более близкими к социализму, чем отношения между правомочными социалистическими предприятиями, действующими на началах подлинного хозрасчета.

Социализм без рыночного регулирования, без конкуренции с неизбежностью породил монополию, диктат производителя. Нигде в мире нет столь высокой, как у нас, монополизации производства, когда монополия министерств и ведомств в отдельных сферах хозяйства дополняется монополией предприятий — зачастую чуть ли не единственных производителей той или иной продукции в стране. Мы уже знаем, к чему это привело. При монополии невозможно развернуть экономику лицом к потребителю, покончить с дефицитом, потребитель поставлен в такие условия, когда у него, по существу, нет свободы выбора, нет другого выхода, как брать не то, что нужно, а то, что дают (в том числе заведомо недоброкачественные изделия).

Таким образом, перестройка — это выбор в пользу очищенного от деформаций, органически вписывающегося в международное разделение труда, во взаимозависимый мир открытого, демократического и нравственного социализма.

ИМЕЕТСЯ ЛИ РАЗРЫВ МЕЖДУ ИДЕЯМИ И РЕАЛЬНОСТЬЮ?

Идеи и реальность, слова и дела... Может быть, выяснение соотношения между ними — главное для действительного понимания не только западными наблюдателями, но и нами самими того, что происходит в стране. Нет секрета и в том,

что в связи с этим соотношением в нынешний момент идет наибольшая критика происходящего у нас — и извне, и изнутри.

Сначала несколько слов о происхождении идей перестройки. Тем более что существует версия о той или иной степени спонтанности, даже случайности того, что началось в марте—апреле 1985 года. Производным от этой версии является вывод о том, что политика перестройки не базируется на выношенном и продуманном анализе.

Это не соответствует действительности.

Избранный в марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК М. С. Горбачев был еще во времена застоя известен как новатор, понимающий жизненную необходимость борьбы за радикальную перестройку экономической и политической структуры страны. Движение, которое он возглавил, зрело внутри партии. М. С. Горбачев, например, настаивал на проведении в 1984 году Пленума ЦК по научно-техническому прогрессу, но Пленум не состоялся, так как Черненко и его окружение боялись укрепления позиций Горбачева, которому первоначально было поручено сделать на Пленуме доклад. Пытались не дать возможности провести и важнейшее идеологическое совещание с докладом М. С. Горбачева.

Вспоминаю рассказ академика Н. Н. Иноземцева о событии, происшедшем даже раньше этого. Николай Николаевич участвовал в работе группы по подготовке материалов к докладу Л. И. Брежнева очередному Пленуму. Готовый документ был разослан членам, кандидатам в члены Политбюро и секретарям ЦК. Группа собирала замечания. М. С. Горбачев был тогда секретарем — еще не входил в состав Политбюро. Прочтя доклад, он настойчиво предложил обострить анализ положения дел в сельском хозяйстве, сказать в открытую о необходимости дать колхозам самостоятельность. Услышав в ответ от Иноземцева и его коллег по группе, что это, мол, не пройдет, так как не пропустят многие члены Политбюро, М. С. Горбачев сказал: народ все равно сам решит эту задачу. Академик Иноземцев восторженно рассказывал своему ближайшему окружению по Институту мировой экономики и международных отношений об этом столь не часто встречавшемся в то время эпизоде.

Что касается решения народа, то, к сожалению, для этого потребовалось немало времени. События прошлого нельзя оценивать с позиций нынешней обстановки. В партии и государстве тогда царила атмосфера, резко отличавшаяся от сегодняшней. Поэтому внести свежую струю в застойную жизнь тогда невозможно было, действуя теми методами, к которым мы, к счастью, стали уже привыкать в настоящее время. Но и тогда в партии, науке, обществе в целом рождались и развивались новые идеи, шла работа мысли, которая дала быстрые всходы после апреля 1985 года.

Этого, конечно, не могли не замечать западные советологи, политики, журналисты, но в первые месяцы перестройки они заняли выжидательную позицию. В какой-то мере это было объяснимо. Опыт нашего развития в прошлом давал немало примеров того, как слова расходились с делами. Да и не только в сталинские времена. Существенно расходились с жизнью в послесталинский период громогласные декларации о построении общества развитого социализма. В реальности производство все более подчиняло себе человека, утвердился остаточный принцип развития социальной сферы, фактически вообще не задумывались о выборе альтернативных, но сравнительно экономных ответов на военную угрозу, все менее ощутимой для трудящихся становилась связь между развитием социалистического народного хозяйства и улучшением условий их жизни.

Так что в эту схему разрыва между идеей и реальностью на Западе на первых порах могли по инерции занести и перестройку.

Но лишь по инерции. Любой непредубежденный человек не может не видеть, какие огромные перемены произошли и в стране, и в нашей политике за последние четыре года.

Мы сделали большой шаг, отойдя от приказной системы руководства обществом. На практике перечеркнули удушающий формализм (вот где был отрыв идеи от реальности!) выборов в Верховный Совет и другие органы народной власти,

перестали объявлять «вне закона» неформальные организации, практикуем открытые дебаты, во время которых звучат, в том числе по телевидению на всю страну, различные, часто противоположные мнения, перестали не только изолировать, но бояться инакомыслящих, превратили прессу в трибуну защитников справедливости, в одного из мощных гарантов против беззакония и бюрократического всевластия. Разве все это не реальность, и разве в апреле 1985 года мог кто-нибудь из нас поверить, что так интенсивно пойдет процесс раскрепощения общества?

Конечно, существуют силы, которым это не нравится, несерьезно было бы предполагать, что столь сложная история страны, как наша, не сказалась на структуре общества и его психологическом настрое. Однако эти силы не в состоянии остановить процесс демократизации, который все больше обретает логику саморазвития. Опять-таки потому, что коренным образом изменился морально-политический климат в стране.

Иллюстрацией всего этого является новый этап публичной критики и самокритики, уже не только повернутых в прошлое, но и обращенных в настоящее: критика за несделанное в перестроечный период или непоследовательность сделанного, за то, что проглядели что-то или вовремя не исправили допущенные ошибки, за отступление от принятых законов или за то, что приняли их именно в таком виде, за любые проявления антидемократичности, за любое действие против гласности. Можно сказать смело, что ни при одной смене руководства партии и страны в доперестроечный период ничего похожего не было.

Все это, несомненно, укрепляет связь между идеями перестройки и политической реальностью внутри страны, без этого перестройка не может продолжаться. Но если критический порыв, обращенный и в прошлое, и в настоящее, питается или подпитывается безответственностью, не соизмеряется со стратегией или с тактикой перестройки, принимает залихватский характер, то вне зависимости от намерений это серьезно вредит делу. Недавно в США вышла книга под редакцией С. Биалера «Внутри горбачевской России». Один из ее авторов пишет: «Главные противники реформистских усилий Горбачева — «консерваторы». Его наиболее лояльные сторонники — «либералы», к числу которых относятся многие представители творческой и технической интеллигенции, такие, как писатели и ученые. Однако, чтобы стать достаточно сильным для претворения перестройки в жизнь, Горбачеву нужна поддержка центристов, которых часто делают не очень податливыми его либеральные сторонники. Либералы постоянно «испытывают» границы допустимого и свободы и таким образом дают в руки консерваторов средства для запугивания центристов».

Я далек от того, чтобы призывать сворачивать критику, даже самую острую, которая жизненно важна для обновления общества. Надеюсь, что у читателя не создается такого впечатления. Но сегодня, когда претворение в реальность идей перестройки разводит многих, ну, если не на разные стороны баррикады, то, во всяком случае, по разным сторонам линии для перетягивания каната, особенно важно не допустить таких действий, обвинений, заявлений, которые могут так или иначе усилить сопротивление перестройке. «Либеральный» экстремизм не может быть оправдан и тем, что его, в свою очередь, провоцируют консерваторы. Опасность для перестройки представляют оба экстремизма, и мерить в таких условиях какой больше — несуразно.

Но вернемся к соотношению слов и дел в процессе перестройки и с этой точки зрения просмотрим такую сложнейшую область отношений, как международную, где вскоре после апреля 1985 года начали проявляться новаторские подходы Советского Союза, сложившиеся в новое политическое мышление.

Ядром его является принципиально иное, чем в прошлом, отношение к проблеме безопасности — она должна обеспечиваться главным образом политическими средствами. Все пять встреч Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с президентом Р. Рейганом не только служили этой цели, но приблизили ее. Причем М. С. Горбачев не принимал эстафету от своих предшественников — советско-американских встреч на высшем уровне не было с 1979 года.

Мне довелось в составе группы экспертов находиться в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, был в этой группе и в Москве. Видел, можно сказать, с близкого расстояния, как трудно начинался диалог и каких усилий с советской стороны стоило отвести мир от опаснейшей черты. В Женеву президент Рейган приехал со словами: сначала добиться доверия через решение проблем защиты прав человека, урегулирование региональных конфликтов и лишь затем приступить к сокращению вооружений. В конце концов победила советская линия на то, чтобы идти по всем направлениям одновременно. Другая особенность советской позиции заключалась в настойчивых усилиях с целью добиться непрерывности движения к сокращению вооружений.

Когда 16 января 1986 года было опубликовано заявление СССР о поэтапной ликвидации ядерного оружия и других средств массового уничтожения до конца века, многие на Западе считали это утопией. На следующий год в Вашингтоне было подписано советско-американское соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — впервые в истории начали физически уничтожать ядерное оружие не в процессе модернизации устаревших образцов, а самое что ни на есть современное. Продвинулись мы и в достижении соглашения с Соединенными Штатами о 50-процентном сокращении стратегических ядерных сил.

Возможно, в международной области больше всего проявилась следующая закономерность: для того, чтобы реализовать идеи, нужно соизмерять их с реальностями, никогда не действовать так, как это зачастую было в прошлом,— или все, или ничего. Неоспорима, например, огромная ценность идеи всеобщего ядерного разоружения. Наметив этапы решения этой жизненно важной задачи, мы вначале предложили 50-процентное сокращение всех стратегических ядерных сил СССР и США при ликвидации оставшихся 50 процентов в последующие десять лет. В такой постановке не было учтено реально существующее на Западе, в том числе среди многих экспертов, убеждение, что без сохранения какого-то количества ядерных боеголовок у Советского Союза и Соединенных Штатов не обойтись в обозримом будущем — с учетом и накопившегося недоверия между СССР и США, и отсутствия гарантии от распространения ядерного оружия, и даже возможности овладения им террористическими группами. Бывший министр обороны США Макнамара назвал число таких «гарантирующих» боеголовок — 500, то есть в сто раз меньше имеющихся в настоящее время на вооружении двух стран. Можно спорить с такими доводами — есть серьезнейшие аргументы против. Но в любом случае надо было считаться с распространенными на Западе взглядами, и Советский Союз откорректировал свою первоначальную идею, не оговаривая 50-процентное сокращение стратегических ядерных средств полной ликвидацией ядерного оружия в десятилетний период.

Вообще нужно сказать, что мы впервые за послеленинское время начали соизмерять свои внешнеполитические инициативы с общественным мнением на Западе — не отдельной его части, близкой нам по идеологическим убеждениям, а с господствующими, доминирующими в нем представлениями, в том числе и нелицеприятными. Еще одна внешнеполитическая догма, от которой мы отказались, перейдя к новому мышлению, заключалась в том, что общественное мнение на Западе, «где у власти находятся представители монополистического капитала», не играет сколько-нибудь важной роли в выработке решений. Однозначно уверовав в это, мы в прошлом как-то не задавались вопросом: а почему в таком случае руководящие круги в капиталистических странах тратят так много энергии и средств, чтобы манипулировать общественным мнением?

Наш новый подход с учетом общественного мнения проявился, например, в отношении проблем контроля. В доперестроечный период мы соглашались на контроль за процессом сокращения вооружений только с помощью национальных средств. Помню встречу М. С. Горбачева с экспертами в Женеве. Как неожиданно для нас, людей, профессионально занимающихся международными проблемами, но в общем «детей своего времени», прозвучали слова: нет, очевидно, смысла упорно держаться за прежнюю позицию по контролю; дело даже не только в том, что национальные средства, как считают на Западе, не при всех случаях

надежны, а в том, что своим отказом от других средств мы объективно подыгрываем тем, кто говорит, будто наше общество закрытое, результаты соглашений непроверяемы и поэтому, дескать, с нами не стоит договариваться. Известно, насколько мы выиграли в общественном мнении, как только приняли новую философию контроля: если подписываем соответствующее соглашение, то готовы на самый что ни на есть жесткий контроль, в том числе международный или инспекцию на месте, включая открытие лабораторий.

Не думаю, что наши предложения или действия, учитывающие западное общественное мнение, можно квалифицировать как попытку восстановить его против правительств западных стран. Но если объективно растут противоречия между ним и теми правительствами, которые по непонятным или неоправданным причинам избегают подписания соглашений, способных стабилизировать международную обстановку, то виновен в этом отнюдь не Советский Союз.

Наряду с поисками политических решений с целью укрепления безопасности особое значение приобрели новые подходы СССР к функции военного фактора в этой области. Можно четко доказать, что мы были не ведущими, а ведомыми в гонке вооружений, начавшейся после второй мировой войны. Не мы ее инициировали и усиливали, хотя подчас своими действиями давали повод для ее форсирования. Но сама гонка вооружений велась, в том числе и нами, практически по американским правилам. Мы «зеркально» повторяли то, что делали США, наращивая качественно и количественно свой военный потенциал. Быть может, это было оправданно тогда, когда мы огромными усилиями создавали паритет с Соединенными Штатами по стратегическим вооружениям. Однако я имею в виду не паритет, базирующийся на сугубо количественных показателях, а паритет, качественная сущность которого заключается в том, что любая сторона не может с помощью первого ядерного удара избежать ответного удара с «неприемлемым для себя результатом».

Как только СССР достиг такого соотношения вооружений с США, он практически создал реальное средство сдерживания своего возможного противника. Но и после этого продолжалась гонка вооружений по «зеркальным» правилам. К чему это приводило? Ответить на этот вопрос несложно, если принять во внимание, что реально валовый национальный продукт СССР, по оценкам Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, меньше половины американского, а для производства единицы национального дохода мы используем больше основных фондов в 1,8, материалов в 1,6, энергии в 2,1, осуществляем перевозок в 2 раза больше, чем США.

Есть у проблемы еще одно измерение: если СССР несет львиную долю военных расходов в Варшавском Договоре, то доля США составляет меньше половины в общих расходах стран НАТО.

Переход к разумной достаточности положил конец американской «игре» на обескровливание СССР. Теперь нами ставится цель создать надежную оборону, обеспечить гарантированную безопасность, затратив на это только те средства, которые необходимы. Это имеет важнейшее значение и для решения внутренних проблем страны, так как оптимизирует соотношение между вынужденными затратами общества на обеспечение своей безопасности и теми средствами, что идут на социально-экономическое развитие. И дело здесь тоже не ограничилось провозглашением идеи. Варшавский Договор в 1988 году принял оборонительную доктрину. Она предопределила характер военного строительства в странах — участницах этого союза. Под значительное одностороннее сокращение вооруженных сил, объявленное Советским Союзом в декабре 1988 года, в первую очередь подпали части, которые были сориентированы на наступление. Реальный смысл такой направленности сокращений становится еще яснее, если учесть, что в среде военных руководителей говорилось и писалось, что лучшая оборона — наступление. Но такая точка зрения была отвергнута, и политическая установка вооруженным силам СССР дана на создание гарантированной ненаступательной обороны.

Одним из важных элементов нового политического мышления является отказ, с одной стороны, от экспорта революции (при этом имеется в виду исклю-

чить и экспорт контрреволюции) и, с другой, от использования региональных конфликтов в советско-американском противоборстве. Огромное значение имел вывод советских войск из Афганистана. Может быть, это самое смелое и самое важное внешнеполитическое решение перестроечного периода. Далеко не просто во времени совпали с этим реальные шаги в урегулировании конфликтов и на Юге Африки, и в Кампучии, и в Центральной Америке. Появился свет урегулирования в конце тоннеля самого длительного, теперь уже сорокалетнего кризиса на Ближнем Востоке. Договоренность в Женеве по Афганистану дала мощный импульс политическому решению самых острых региональных конфликтных ситуаций.

Мы оказались открытыми — крайне неожиданно для западных политиков — для обсуждения вопроса о правах человека, но на «обоюдоострой» основе. Кончилась пора, когда мы закрывали глаза на то, что существуют проблемы прав человека и в нашей стране,— просто не желали их видеть. Именно отход от такой позиции дал нам возможность превратиться из «подсудимого» в этой области, в чем не без успеха наши противники уверяли мировое общественное мнение, в равноправного партнера, обсуждающего один из самых животрепещущих вопросов современности. И не просто обсуждающего, но и серьезно озабоченного необходимостью найти соответствующие решения.

Идеи нового политического мышления не приходят в области международных отношений в противоречие с реальностью еще и потому, что эта область перестала быть зоной, закрытой для критики. Многое, что совершается здесь в послеапрельский период, непосредственно направлено на исправление старых ошибок. Одна из них, очевидно, это размещение в Европе наших ракет средней дальности (по американской маркировке СС-20). США в ответ начали размещать в Западной Европе «Першинги-2» с подлетным временем до Москвы в 6—8 минут. Если наши СС-20 не могли рассматриваться для США как стратегическое оружие, так как не достигали их территории, то «Першинги-2» именно таковым для СССР и стали. Нужно принимать это во внимание тем, кто, не ведая об ошибках прошлого, подсчитывал чисто арифметически и выражал свое неудовлетворение, что мы уничтожаем боеголовок по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности больше, нежели американцы.

Апогеем ошибочных решений был ввод войск в Афганистан. Решение об этом было принято несколькими людьми без обсуждения, рассмотрения политических альтернатив и даже, как явствует из интервью Э. А. Шеварднадзе газете «Известия», без уведомления всего советского руководства. При этом полностью игнорировалась внутренняя обстановка в Афганистане.

Я знаю, что некоторые наши советники, например, еще до ввода войск считали необходимым форсированное осуществление аграрной реформы в этой стране. К чему же она привела? Земля передавалась «низам», которые в классовом отношении еще не отдифференцировались, особенно в зоне племен. Они, будучи к тому же уверенными, что изъятие земли у вождей племен противоречит воле Аллаха, отказывались в целом ряде случаев принимать ее в собственность по аграрной реформе. В стране зрела гражданская война, а землю отбирали и у офицеров. Кабульское руководство не было в состоянии распространить свой контроль на всю страну, а к идее национального примирения пришло лишь на девятый год нахождения наших войск в Афганистане.

Можно ли вообще было утверждать, что в Афганистане существовала революционная ситуация, которая, по Ленину, выражается в том, что низы не могут жить по-старому, а верхи не в состоянии по-старому управлять обществом? В этой стране, судя по всему, не было ни того, ни другого. Институт востоковедения до ввода войск и после — возможно, как и другие академические институты, — предупреждал об этом в своих записках, направляемых в руководство.

Вместе с тем журналисты, ученые (к их числу принадлежал и автор этих строк), поставленные перед фактом ввода наших войск в Афганистан, не выступали публично против этого и даже искали на первом этапе этому оправдание. В этом плане я не знаю исключений. Руководствовались главным образом устоявшейся привычкой безоговорочно поддерживать все принятые наверху решения.

Сказывался и привычный для того времени образ мышления, сформировавшийся в условиях жесткой конфронтации с Соединенными Штатами, осложненностью отношений с Китаем и т. д. Когда же стало ясно, что «временная мера пребывания ограниченного контингента» растягивается на годы, да к тому же дает явно негативные результаты, то реакция на афганские события у многих стала меняться. В 1981 году мне, например, как директору Института востоковедения АН СССР довелось говорить на коллегии МИДа о бесперспективности крутой революционной ломки в Афганистане даже при условии нахождения там наших войск, об опасности левацких перегибов в этой стране. Все это внимательно выслушали и председательствовавший, и члены коллегии. Но серьезного обсуждения так и не состоялось. Решение уже было принято — сомнения, как говорится, прочь.

Незабываем героический подвиг наших ребят, сражавшихся в Афганистане. Мы все склоняем головы перед павшими советскими воинами. Сжимается сердце, когда видишь искалеченных молодых людей. Но это не должно уводить от трезвого анализа и того, как принималось решение о вводе войск, и того, как они там застряли на долгие-долгие годы, и деятельности наших многочисленных советников, подчас далеких от понимания реальной обстановки в этой стране.

Признавая все это, вместе с тем было бы крайне неверно закрывать глаза на действия Соединенных Штатов и их союзников, которые привели к осложнению международной обстановки, к ее дестабилизации. Это полностью относилось, да и по сей день относится к Афганистану. Стремление изолировать СССР, оторвать от него союзников, создать для нас труднейшие ситуации в различных регионах мира, наконец, попытки прямого вооруженного давления — со всем этим нам пришлось столкнуться и на все это пришлось реагировать. Те, кто профессионально занимался международными делами, хорошо знают, что этот перечень не пропагандистского характера. Поэтому иногда даже американские оппоненты (я имею в виду, конечно, наиболее объективных и, если хотите, интеллигентных из них) удивляются, когда некоторые наши участники многочисленных встреч за «круглыми столами», дискуссий на симпозиумах, семинарах так сосредоточенно посыпают голову пеплом, что забывают об объективной оценке действий противоположной стороны.

Неоправданная односторонность в оценках способна нанести большой вред нынешнему положению дел в международных отношениях. Ведь требованием момента является универсализация нового политического мышления — перестройка с обеих сторон. Не нужно мешать такому процессу, от которого не в меньшей степени, чем от нашей линии поведения (а я даже думаю, что через четыре года перестройки можно сказать «в большей степени»), зависит нормализация международных отношений, стабильный отход человечества от перспективы самоуничтожения.

В Белый дом пришел новый президент. Считается, что Буш в гораздо меньшей степени, чем Рейган, «идеалист» и в гораздо большей «прагматик». Немалое значение имеет тот факт, что за спиной Буша уже накопленный в результате обоюдных советско-американских усилий потенциал стабилизации международной обстановки. Прагматик Буш может оказаться больше, чем Рейган, восприимчивым к процессу деидеологизации межгосударственных отношений. Но время покажет, сможет ли Буш подняться над типичными для американских политиков представлениями: если мы выходим в своих внешнеполитических акциях за советско-американские рамки, сосредоточиваемся на улучшении отношений со странами Западной Европы, с Китаем, то мы делаем это для того, чтобы расколоть НАТО или «разыграть» против США какую-нибудь «карту». Многих на Западе, к сожалению, не убедило в этом плане наше недвусмысленное приглашение Соединенным Штатам и Канаде принять участие в строительстве «общеевропейского дома», идея которого стала одной из магистральных в европейской политике.

Но самым главным критерием политики Буша, очевидно, будет его способность или неспособность отказаться от модели разговора с нами с «позиции силы». Ну, быть может, не открыто, путем предъявления ультимативных требований — опытный Буш, по-видимому, понимает непродуктивность этого,— а через наращивание опережающими темпами вооружений.

Две наибольшие опасности в этом плане видятся в следующем: во-первых, в тенденции на «компенсацию» таких видов вооружений, которые выбывают из арсенала в процессе договоренностей о сокращении (например, модернизация тактических ракет после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), и, во-вторых, в упорном нежелании вводить даже в сферу переговоров некоторые из вооружений, создающих асимметрии в пользу США. Такой «священной коровой» для Соединенных Штатов является военно-морской флот. Американские политики утверждают, что это его свойство диктуется особым положением «сверхморской» державы, которым якобы обладают исключительно США. Даже не споря с этим несуразным аргументом, можно было бы утверждать, что по той же логике, будучи «сверхсухопутной» державой, СССР имеет основания на сохранение асимметрии в области сухопутных сил. Как известно, мы на этот путь не встали.

Мягко говоря, некорректно было бы связывать отказ от разговора с СССР с «позиции силы» с нашим отходом от геополитических целей. И перестроечная теория, и перестроечная практика показывают, что подобных целей Советский Союз не преследует. Сегодня, может быть, как никогда раньше, очищенная от догм и мифов советская внешняя политика работает на создание внешних условий, максимально благоприятных для внутреннего социально-экономического и политического прогресса страны. Вместе с тем вряд ли хоть один серьезный наблюдатель возьмет на себя смелость утверждать, что наиболее адекватными решению геополитических или, попросту говоря, гегемонистских задач являются признание приоритета общечеловеческих интересов или призыв к гуманизации межгосударственных отношений. А это ведь органическая составная часть нашего нового мышления.

Выступая за новые подходы к международным делам, мы исходим не только из жизненной необходимости таких перемен, но и из их абсолютной осуществимости.

Принципиально важный вопрос в этой связи: является ли милитаризация неизбежной при капитализме? Милитаризм связан с процессом развития капиталистического общества. Вместе с тем этот вывод не равнозначен представлению о том, что капитализм в нынешних условиях не может существовать без милитаризма. Ряд западноевропейских государств с высокой степенью развитости государственно-монополистического капитализма не имеет в своих экономических структурах масштабного милитаристского компонента. Послевоенная Япония, выявив тенденцию к наращиванию военных приготовлений, тем не менее доказала своим примером, что милитаризм не обязательно является спутником даже форсированного роста производительных сил при капитализме.

Нельзя исключить и обратимость милитаризации экономики даже в тех капиталистических странах, где она получила серьезное развитие. Проблема конверсии военного производства в гражданское не является чем-то не поддающимся реальному решению, хотя, разумеется, эта задача далеко не проста.

В таких условиях неправильно было бы безоговорочно представлять и политическую надстройку над государственно-монополистическим базисом в Соединенных Штатах и других капиталистических странах как раз и навсегда связанную с процессом гонки вооружений, с подготовкой войны. Конечно, огромные прибыли получают от гонки вооружений военно-промышленные круги в США и других странах — их союзниках. Конечно, у этих кругов есть свои «лоббисты» и в правительствах, и в парламентах. Однако большая часть бизнеса вообще не связана с военным производством. Определенному расслоению среди правящих кругов развитых капиталистических государств способствует растущее понимание того самоубийственного исхода, к которому может привести даже простое продолжение многих нынешних процессов в международной области. К тому же в высшем эшелоне власти в США и других капиталистических странах есть люди, которые осознают, что, даже не доводя дело до точки кипения, они могут

поставить под удар свои руководящие позиции, если придут в полное противоречие с общественным мнением, которое все больше проникается идеей использовать для снятия опаснейшей международной напряженности реальные возможности, создаваемые новой внешнеполитической философией СССР. В таких условиях следует констатировать нарастание реалистических настроений у ряда деятелей, входящих в круг лидеров капиталистического мира. С большой степенью вероятности можно прогнозировать расширение таких настроений в будущем.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Больше всего внутри страны, да и вовне, высказываются о соотношении слов и дел в области экономики. При этом, как правило, критике подвергается не несоответствие слов и дел, а отставание в области сделанного.

Действительно, остается тяжелой экономическая ситуация в стране. Многие обращают внимание, что здесь мы меньше, даже значительно меньше преуспели, чем в международной сфере. Почему это произошло?

Одно из объяснений, очевидно, в том, что в самом начале перестройки истинную ситуацию в экономике мы знали хуже, чем в международной области. Может быть, сказалось и то, что перестройка в области международных отношений сразу приобрела особое значение, так как речь шла о сохранении человеческой цивилизации, над которой был реально занесен меч термоядерной войны.

Глубина кризисных явлений в экономике оказалась завуалированной магией объемных, нередко односторонне подобранных показателей. Отсюда, очевидно, у многих возникла уверенность, что перестройка даст значительно более быстрые результаты, чем оказалось в действительности. Но наследство в экономике мы получили очень тяжелое. Затратный характер развития — это ведь не только ориентация на вал, отрыв производства от нужд потребителя. Затратность — это и извращенная психология хозяйствования: побольше взять — поменьше дать. Вместо стимулов к добросовестному труду — поощрение расточительства и безразличия к результатам труда. Выйти из такого положения по объективным причинам оказалось очень непросто, во всяком случае, сложнее, чем виделось весной 1985 года. Сказались и субъективные причины: в экономике, очевидно, сложился главный фронт, где перестройке противостоят не только отдельные консервативные элементы, но вся административно-командная система в целом.

И тем не менее движение началось. Приостановлена тенденция падения темпов промышленного и сельскохозяйственного производства. Стало, хоть и намного медленнее, чем необходимо, выправляться соотношение между выпуском продукции производственного и потребительского назначения: наметился опережающий рост отраслей II подразделения. За счет повышения производительности труда впервые в истории нашего государства получено 100 процентов прироста национального дохода против 86 процентов в предыдущей пятилетке.

Однако эти успехи не воссоздают всей картины. Наряду с ними усилились несбалансированность, особенно между денежной массой, имеющейся у населения, и возможностью ее покрытия товарами и услугами, расстройство финансовой системы, дефициты, охватывающие все новые группы товаров, инфляция.

Все это проявилось или усилилось сейчас, но накопилось в прошлом. Вместе с тем сегодня уже недостаточно винить во всем прошлое. Начали сказываться и недоработки перестроечного периода. Дисбалансированность финансовой системы, например, усилилась в результате того, что одновременно выросли доходы населения (без возможности соответствующего покрытия товарами и услугами),

хозрасчетных предприятий, кооперативов и увеличились капиталовложения, осуществляемые из госбюджета. Ведь можно было, предусмотрев это, резко отказаться от увеличения под нажимом министерств и ведомств государственных капиталовложений, к тому же в условиях, когда значительная часть предприятий переходит на самофинансирование, провести ряд других антиинфляционных мероприятий. Этого сделано не было.

Появилась потребность в чрезвычайных мерах для стабилизации финансовой обстановки. Кое-кто заговорил о необходимости «прижать» доходы трудящихся и хозрасчетные прибыли предприятий. Целесообразность экономических регуляторов, в особенности связанных с разработкой новой системы прогрессивного налогообложения, не вызывает сомнений. Но вновь проявилась тяга к административным мерам, и это настораживает.

Вообще получается парадоксальная ситуация: чрезвычайные меры — это, несомненно, усиление регулирования из центра. Но такое вмешательство должно осуществляться с целью ослабить в конце концов централизацию, способствовать развитию процесса саморегулирования экономики. Сможем ли мы сохранить эту диалектику переходного периода? От ответа зависит успех перестройки.

Конечно, выйти из сложного состояния дел в экономике не так просто. Но это можно сделать лишь в том случае, если любые меры, даже чрезвычайного порядка, не остановят перестройку, не затормозят внедрение в жизнь новых принципов хозяйствования. Вообще крайне неверна, даже опасна для перестройки, такая постановка вопроса: сначала оздоровление, а потом продолжение движения по сценарию экономической реформы. Нужно твердо знать, что оздоровление может быть достигнуто лишь в процессе развития к саморегулирующейся экономике.

Большинство хозяйственных руководителей и ученых сходится на том, что для нормализации финансовой ситуации в стране необходимо уменьшить расходы госбюджета. По крайней мере три «резерва» имеются в этом деле. Один из них — сокращение государственных капиталовложений, критический пересмотр списка осуществляемых проектов с тем, чтобы некоторые из них переориентировать для производства товаров народного потребления, другие — просто прекратить, временно или насовсем. Нужно прямо сказать, что процесс принятия решений по многим из этих проектов оставлял желать лучшего. Часть из них возникла на основе ведомственных интересов без строгой независимой экспертизы их экономической обоснованности и экологической пригодности. Крупное, а не символическое сокращение централизованных капиталовложений в производственное строительство должно быть обязательно тесно связано с радикальным изменением характера принятия решений по таким капиталовложениям на будущее.

Другой резерв — уменьшение военных расходов до предела разумной достаточности, конверсия части военной промышленности в гражданскую. Процесс начинается.

И, наконец, острая проблема нерентабельных предприятий. Ни одно государство мира не держит на своей шее в течение длительного периода убыточные производства. Даже Япония, обладающая поистине огромными финансовыми возможностями, отказалась от государственной собственности на железные дороги по причине их хронической убыточности. У нас, естественно, вопрос стоит не о передаче нерентабельных производств в частные руки, но об их аренде, переходе в собственность кооперативов и даже о ликвидации некоторых из них. Конечно же, это может породить кое-какие нежелательные социальные последствия. Но использование плановых начал — здесь-то как раз они и нужны — может эти последствия снивелировать, во всяком случае, предельно ослабить их негативный эффект. Речь идет и о переподготовке рабочих, и о социальном обеспечении на время их устройства на другую работу, и т. д.

Я бы не хотел углубляться в экономические проблемы, тем более что на эту тему написано немало, в том числе на страницах «Знамени». Однако несколько соображений все-таки хочется высказать.

Было бы наивно считать, что перестройка такой махины, как наше народное хозяйство, даст моментальный результат. Ощутимый перелом может

произойти через несколько лет. Мы ведь только в этом году начали переход — и далеко еще не завершили его — на новую систему работы государственных предприятий. При всех неоднозначных высказываниях о кооперации, которые подчас заполняют страницы газет и время телевизионных передач, она как таковая еще не достигла даже уровня производства одного процента товаров народного потребления. А анализ деятельности кооперативов в ЧССР, ГДР показывает, что они реально начинают конкурировать между собой и с госпредприятиями тогда, когда производят 10—12 процентов товаров народного потребления и услуг,— именно такая конкуренция оказывает понижительное воздействие на цены, способствует росту качества.

В марте этого года состоялся Пленум ЦК КПСС, который определил магистральный путь развития сельского хозяйства в виде использования общественной собственности в любой форме, любой организации производства, базирующейся на этих формах,— колхозы, совхозы, аренда, подряд, личное крестьянское (фермерское) хозяйство. И теоретически, и практически двери для этого теперь открылись. Но нужно время, чтобы вырваться из объятий прошлого.

Конечно, нам хотелось бы, чтобы все шло быстрее. Но постоянное стремление убыстрить все эти процессы не имеет ничего общего с нервозными настроениями по поводу того, что они не дают немедленных результатов. Не благодушествовать — отнюдь не значит заламывать руки.

К тому же, как мне кажется, следовало бы отчетливо видеть объективные противоречия, которые возникают на пути к саморегулирующейся экономике. Взять, например, проблемы реформы ценообразования. Большинство экономистов сходилось и сходится во мнении, что без такой реформы никак не обойтись. Вне этого нет возможности не формально, а на деле внедрить оптовую торговлю средствами производства, без которой вообще немыслимы ни полный хозрасчет государственных предприятий, ни реальное равноправие с ними кооперативов, да и в целом отход от командно-административных методов управления экономикой. Без реформы ценообразования нет возможности и реально установить рентабельность либо нерентабельность того или иного предприятия. Наши сегодняшние цены не стимулируют ресурсосбережение, не создают импульса для роста эффективности. Они оторваны от мировых цен и тем самым препятствуют и интеграционным процессам в рамках СЭВ, и органичному вписыванию нашей страны в мировую экономику. Однако нужно смотреть правде в глаза. Реформа ценообразования с неизбежностью приведет к изменению не только оптовых, но и розничных цен, в ряде случаев к их росту. Это, естественно, крайне непопулярно среди населения. Поэтому политическое руководство решило отложить изменения в системе розничных цен на два-три года и приняло на себя обязательство до соответствующего решения провести широкое обсуждение на эту тему в стране. Затормозит ли такая задержка осуществление экономической реформы? Нужно прямо ответить на этот вопрос: да, затормозит. Но в условиях социализма у нас нет иного выбора.

Есть и другая сторона дела. При переходе экономики на рельсы саморегулирования проявляется целый ряд тенденций, с которыми мы раньше в открытой форме и в нынешних масштабах не сталкивались: резкий рост заработков (не скрытый, как в прошлом, а открытый) отдельных групп населения, инфляция. Надо научиться контролировать эти процессы, чтобы уменьшить издержки для общества, а не пытаться всего этого избежать, что попросту невозможно. Поэтому, к примеру, инфляция как таковая не должна ввергать в панику, но необходимо принимать меры для того, чтобы она не стала галопирующей. И, конечно, сделать все необходимое, чтобы резко снизить издержки для трудящихся.

Представляется также, что мы во многом проиграли, да и продолжаем проигрывать, не делая упор на поэтапность становления саморегулирующейся экономики. Сказали, в частности, что уже перешли или в этом году чуть ли не заканчиваем переход на полный хозрасчет и самофинансирование. Но разве нынешнее состояние дел, когда «самофинансирующееся» предприятие не может приобрести необходимые фонды на рынке, не означает дискредитацию самого понятия хозрасчета?

Нужен ли был нынешний этап — еще половинчатого и не во всем последовательного хозрасчета, но уже с явной тенденцией отхода от командно-административной системы? Не только нужен, но и необходим. В один присест решить перевод экономики с одних рельсов на другие, когда еще не выстроены подъездные пути, невозможно. Однако следовало бы, да и сегодня острота этого еще не утрачена, сказать о том, какое в действительности место занимают нынешние меры в общей цепи преобразований и что будет в конечном итоге достигнуто.

Теперь о национальном вопросе.

Многие годы нас уверяли, что отношения между нациями и народностями в стране настолько гармонизированы, что национальный вопрос решен раз и навсегда. Своей гласностью, демократизацией перестройка сорвала покрывала с видимого «благополучия» в этой области. И оказалось, что бесконфликтная картина союза свободных республик, навеки сплоченных великой Русью, была далекой от действительности. При этом получилось так, что за неправильные или недостаточные решения, явные и скрытые ошибки приходится платить именно в период перестройки, хотя нынешнее политическое руководство страны, все те, кто борется за осуществление идей демократизации, ответственности за тот период не несут.

Как будет решаться национальный вопрос в условиях перестройки? По-видимому, можно говорить о двух потоках в сферах межнациональных отношений: один, направленный на решительное исправление политических и экономических ошибок прошлого, а другой — перехлестывающий через края, подчас эмоционально выдвигающий нереалистические идеи, в которых отсутствует даже элементарная логика. Можно, да и нужно, как представляется, с этим не соглашаться, но нельзя не понимать, что и такие настроения взращены на почве отсутствия должного внимания к национальным запросам и интересам в прошлом.

Давайте разберемся по существу. Когда ряд республик ведет дело к тому, чтобы национальный язык сделать государственным в пределах своей территории, то это вполне объяснимо и оправданно. Но когда выдвигаются требования перевода всего делопроизводства только на национальный язык, а невладеющих им предлагают вообще убрать из аппарата, из сферы обслуживания и т. п., а подчас и из республики, то это антидемократично, более того, это чистейший экстремизм. Причем эта проблема имеет не только нравственный, моральный аспект, но и политико-экономический. Ведь многонациональный сплав в республиках — это та основа, на которой базируются народное хозяйство, социальная сфера.

Или проблема экономического суверенитета мест. Необходимо — и это уже предложено,— чтобы предприятия, находящиеся на территории республик, платили отчисления от своих прибылей в местные бюджеты вне зависимости от своей ведомственной принадлежности. Такое положение, кстати, существует во всех государствах с федеральным устройством: любое предприятие, оперирующее в США, ФРГ, Швейцарии, вносит налоги, помимо федерального, также и в бюджеты штата, земли, кантона. У нас уже решен вопрос и о передаче в управление республик агропрома, тех предприятий, которые реализуют основную часть своей продукции на месте. Республики сами будут определять сетку налогообложения на кооперативы, им передается значительная часть и других управленческих функций из центра, они получают широкую самостоятельность в области социальной политики. Очевидно, на этом нельзя останавливаться, движение в этом направлении должно быть продолжено.

Но разве такая здоровая или, скорее, оздоровительная тенденция имеет что-то общее с требованиями ликвидировать общенародную собственность в рамках всего Советского Союза на земли, недра, воду и передать все это в собственность республикам, территориям? Сегодня 80 процентов всех валютных доходов СССР мы получаем за счет реализации сибирской нефти и газа. Сибирь, кстати, гораздо меньше развита, чем многие национальные республики.

В некоторых национальных республиках существуют настроения, подпитываемые незнанием истинного положения дел. Считается, что в случае, если какие-то национальные единицы оградятся таможенными барьерами, введут свою

собственную валюту, будут осуществлять экономические связи с другими республиками лишь в форме торговли, то они, дескать, резко выиграют в экономическом плане. Это наивные рассуждения. Эстония, например, значительно больше производит мяса, чем потребляет. Но потребляет больше, чем производит, зерна, вообще не производит нефти, бензина, естественно, и всей номенклатуры ввозимого оборудования. Если проанализировать реальное соотношение двух потоков, идущих из республики и в республику, то будет совершенно ясна несостоятельность изоляционистских взглядов.

Весь мировой опыт подсказывает, что несомненным преимуществом обладают единые народнохозяйственные системы, создающие лучшие возможности для развития научно-технического прогресса. К такому выводу, например, пришли страны Западной Европы, принявшие решение о создании после 1992 года наднационального общего рынка.

Иными словами, существует масса проблем, которые следует урегулировать в русле решения национального вопроса в СССР, но это можно делать лишь демократическими методами. У нас уже есть опыт, который показывает недопустимость любого другого подхода.

Трудности роста — я бы их квалифицировал главным образом так,— проявившиеся в процессе обновления нашего общества, усиливают дифференциацию западных оценок перестройки. Судя по всему, большинство по-прежнему благожелательно, с чувством симпатии относится к происходящему в СССР. Однако все резче очерчиваются контуры группы лиц, которые теперь значительно более откровенно, чем раньше, пытаются скомпрометировать перестроечный процесс. Было бы, очевидно, неправильным закрывать на это глаза, но и преувеличивать значение этого тоже не стоит. Лагерь сторонников перестройки на Западе будет тем больше и тем влиятельнее, чем шире и глубже разовьется процесс обновления в СССР.

Вяч. В. Иванов

ВСТРЕЧИ С АХМАТОВОЙ

1

Хотя с Анной Андреевной Ахматовой до осени пятьдесят восьмого года мы не только были знакомы и не раз виделись и у общих знакомых (в том числе у Бориса Леонидовича Пастернака), и у нас дома, никогда не было разговора вдвоем; обычно, напротив, беседа бывала прилюдной. Но в конце ноября пятьдесят восьмого года — в пору начала травли Пастернака и затеянной против меня в связи с ним кампании в университете — мне передали, что Анна Андреевна просит меня позвонить и прийти к ней. У Ардовых, где она обычно останавливалась и где я потом бывал часто, шел ремонт, и они жили в каком-то другом месте, как мне тогда показалось, очень отдаленном (но тоже в Замоскворечье или дальше к юго-западу от него). Как и много раз позднее, она была среди чужой комнаты (я видел их потом много) самой собой, и об этой случайности обстановки уже забывалось.

В ту первую нашу встречу с глазу на глаз — потом их было очень много, и я дальше расскажу только о части наших бесед — она сразу же завела порядок, потом не менявшийся: она читала стихи, большею частью либо только что написанные (в тот раз озорные четверостишия: «За такую скоморошину»), либо воскресавшие из давних лет, иногда ей возвращенные читателями, их запомнившими или записавшими; рассказывала важные для нее эпизоды ее жизни. Тот раз она говорила о встрече с Мариной Цветаевой. Она не доверяла самим стенам того дома (ардовского), где встреча или, говоря ее словами, «невстреча» состоялась. Жест, обозначавший у нее подслушивание, часто сопровождал рассказы и об этой квартире (в том была смесь страшного житейского опыта с каким-то почти бредом преследования, что-то граничащее с мистикой: «Их устраивает, когда я там останавливаюсь»). И от страха, может быть, больше за собеседницу, чем за себя,— не прочитала Цветаевой то, что хотела бы.

Я спросил Анну Андреевну о своей давней догадке (со студенческих времен, когда прочитал Блейка), что гумилевские строки «Сердце будет пламенем палимо» — перевод-пересказ блейковских, Анна Андреевна ответила, что уже не была с Николаем Степановичем, когда писались эти стихи. Но к тому времени он изучил английский, и поэтому мое предположение казалось ей вероятным.

На память о разговоре по поводу ее разбора «Каменного гостя» Пушкина Ахматова в тот день подарила мне оттиск своего эссе с надписью: «В. В. Иванову, который первый похвалил мою прозу. Благодарная Ахматова. 22 ноября 1958. Москва».

2

После того как меня в январе 1959 г. изгнали из университета, я по делам приехал в Ленинград и позвонил Анне Андреевне. Она еще жила по улице Красной Коммуны, я увидел старинный комод, полки с книгами, пожалуй, единственный раз (кроме «будки» — дачи в Комарове) что-то, что напоминало ее собственную обстановку или, вернее, ее самое в обстановке. Она стала меня расспрашивать о моих делах, я отвечал по возможности подробнее, по двадцатидевятилетней неопытности полагая свои тогдашние несчастья действительно серьезными. Она угостила меня каким-

то пародийным винегретом из разных употребленных мной в рассказе слов, обозначив самой интонацией, что она этому серьезному тону не сочувствует: «Да, я, представьте, все это слышала уже от Холодовича. Он у меня был неделю, рассказывал о Вас и употреблял те же выражения: «спасти», «кибернетика». В самом деле, ей ли, видевшей расстрелы и аресты стольких близких, принимать близко к сердцу то, что меня уволили из университета (всего лишь) и из журнала «Вопросы языкознания». Ее ироническое замечание было мне полезней всех тех соболезнований, которые я тогда слышал от пол-Москвы. В тот же вечер Ахматова впервые прочитала мне многие стихи из «Реквиема» и другие, тематически и по времени написания к ним примыкающие.

3

Моя жизнь относительно устроилась. Я работал в Институте точной механики и вычислительной техники, начал заниматься с одним из сотрудников китайским языком (в планы группы машинного перевода, которой я заведовал, входил и перевод с китайского). За ужином, который мы устроили Ахматовой в нашем доме на Лаврушинском, я или кто-то еще из семьи упомянул об этом. Она отозвалась очень живо: «Да Вас надо на выставке показывать — Вы и китайскими иероглифами занимаетесь, и стихи писать успеваете». Ей явно очень хотелось меня ободрить в то время, после незадолго до того обрушившихся на меня невзгод: уже не нужно было учить меня стойкости, можно было и поощрить.

В тот раз я должен был зайти за ней на Ордынку к Ардовым, чтобы потом проводить к нам. До дома было всего два квартала, расстояние пустяковое, но с Анной Андреевной мы шли очень долго. Она тяжело дышала, поминутно останавливалась, чтобы перевести дух, и я заметил, что ей и психологически трудно было переходить улицу даже в отсутствие машин, тогда на Ордынке еще малочисленных.

4

Когда хоронили Пастернака (с ним она виделась последний раз у меня на рождение в августе 1959 г.), Ахматова была в больнице. На другой день после похорон я поехал ее навестить. Она вышла со мной из палаты в коридор, мы нашли место, где можно было разговаривать. Ахматова выслушала мой рассказ о похоронах и сказала: «У меня такое чувство, что это торжество, большой религиозный праздник. Так было, когда умер Блок». Она рассказала о том, как в этой же Боткинской больнице навещала больного Пастернака, и прочитала строки из стихов его памяти, где об этом вспоминала:

И одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела —
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.

К концу нашего разговора пришел еще один посетитель с букетом цветов, наш общий знакомый из ученых кругов. Ахматова пересказала и ему свое общее ощущение торжества, возникшее от похорон Пастернака.

5

В 1960 г. вышел третий том сочинений Блока, из которого впервые Ахматова узнала о некоторых вариантах и черновиках обращенного к ней стихотворения. В тот день у Ардовых она говорила только об этом, толкуя разночтения всегда ее занимавших строк:

Но не так я проста, и не так я сложна...

Ей, видно, всегда хотелось понять, что стояло за тем блоковским стихотворением 1913 г. И спустя почти полвека каждая новая строка черновика снова помогала ей в любимом занятии — расшифровке того, что стоит за стихотворением. Она возвращалась и к каноническому ее тексту, было видно, что она его хорошо знает.

Ахматовой было всегда интересно и важно, что о ней говорят и пишут, даже когда это были и люди безвестные, не то что Блок, ей это, во всяком случае, никогда не было безразлично. И не скажу, что всегда устраивали ее похвалы. Как-то, показывая мне льстивое письмо молодой женщины из литературной семьи, Ахматова сказала мне, когда я его прочитал: «Правда, что-то не то? Как будто ко мне заползла змея».

Из суждений о своей молодой поэзии Ахматова с одобрением отмечала те, где говорилось о ее сходстве с последующей прозой вроде хемингуэевской, о ее новеллистичности.

В конце пятидесятых годов, когда все время редактировалась и дописывалась «Поэма без героя», Ахматова спрашивала у каждого, кто ее прочитал, его суждение. Потом некоторые из чужих критических оценок она пересказывала и сопоставляла. Одно время ей казалось самым верным замечание того читателя, который увидел в ней точное воспроизведение Петербурга «серебряного века», той дивной и короткой поры расцвета искусства, литературы, всей культуры: сжатое выражение всего начала века, столько обещавшего России.

6

В ту пору (1961 г.) вышло первое издание книги астрофизика И. С. Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». Я с увлечением за одну ночь ее прочитал и пересказывал при встрече у Ардовых Ахматовой. Она очень заинтересовалась и тут же откликнулась: «Такую книгу я хотела бы прочитать». В следующую встречу оказалось, что она уже ее прочла и очень хвалила.

Как-то, еще до того, когда я зашел к Анне Андреевне на старую ленинградскую квартиру, она сказала, что при разборке старых книг на полке оказалось что-то по теории относительности. Она заговорила о ней с пониманием. Ее эти темы всегда занимали.

В другой раз в стихах, которые я ей прочитал, она усмотрела переложение современных физических теорий и, как она умела, в очень отчетливых и прозрачных формулировках пересказала то, что в стихах было неясным и запутанным: «Это что, имеется в виду представление о потоке частиц?..»

Такая же ясность и четкость ее прозаических переформулировок чужой стихотворной путаницы мне открывалась не однажды, причем всякий раз по поводу стихов, ей понравившихся — если в них при этом она обнаруживала что-то невнятное, она сама пробовала пересказать неудачную строку, как бы ее редактируя (я обязан ей двумя или тремя такими редакциями).

7

Как-то мне надо было рано уйти от Анны Андреевны, чтобы успеть попасть в тот же вечер к видному филологу Виктору Владимировичу Виноградову, академику, когда-то написавшему работу о ней. За несколько лет до того я работал в журнале его заместителем, но потом видел его редко. В тот раз было необходимо срочно его повидать: от нашей встречи зависело, станет ли он (как мне предложил академик Н. И. Конрад) участвовать в совместных хлопотах об освобождении из тюрьмы математика В. И. Пименова, приславшего мне целую пачку интересных работ по математической лингвистике, написанных в тюремной камере. Зная, что Анна Андреевна встречается по старой ленинградской памяти с супругами Виноградовыми, я рассказал ей о задаче моего предстоящего визита к нему. Она выслушала меня очень серьезно и внимательно и высказала пожелание — надежду — молитву: пусть в этот раз у Виноградова хватит духу сделать доброе дело (она знала, как ему самому, столько раз арестовывавшемуся и ссылавшемуся, а потом вознесенному еще при Сталине, трудно на это решиться). Это благословение помогло — хотя бы уже тем, что придало мне больше сил и уверенности в разговоре с Виноградовым. Когда освобожденный через несколько месяцев Пименов благодарил всех — многих участвовавших в хлопотах, увенчавшихся неожиданным для всех нас успехом, — он не знал, что к их числу, конечно, надо отнести и Анну Андреевну.

8

Если Ахматова была в Москве в день большого православного праздника, она всегда мне звонила утром по телефону и поздравляла. Для нее праздники, православная традиция, церковь много значили; специально мы об этом не говорили, как и о многом другом, — это подразумевалось.

9

Большая часть того, о чем я здесь пишу, мной вспоминается по прошествии многих лет, но кое в чем я опираюсь на записи. Их я вел зимой 1964 г., когда Анна Андреевна жила на одной лестничной площадке с нами в писательском доме в Лаврушинском в квартире М. И. Алигер. Тогда мы виделись чуть ли не ежедневно.

Приведу некоторые из дневниковых записей. 24 января 1964 г. мы были вместе с Анной Андреевной в гостях у Ивана Дмитриевича Рожанского, физика и универсально образованного человека, которому мы все обязаны лучшими по качеству записями ахматовского чтения стихов. Ахматова заговорила о стихотворении («Последняя» из «Песенок»: «Услаждала бредами...»), написанном в тот день: оно, по ее словам, само непонятно, неизвестно как явилось. Анна Андреевна обратилась ко мне: «А у Вас так бывает?» И после моего ответа продолжала: «У меня есть стихи, о которых я знаю, как я их писала, с обычным человеческим трудом. А другие — как это». Когда мы встретились снова через день или два (уже на Лаврушинском), Анна Андреевна сказала, что хочет снова мне их прочитать, добавив: «Вы, кажется, были пьяны у Рожанских». «Да нет, что Вы», — пытался разуверить я (до того я раз в самом деле появился у Анны Андреевны нетрезвый и был ославлен потом многократно на всю Москву, а мне в назидание она рассказала, что, когда сын Черчилля был в России, он хотел ее видеть, но не пришел, потому что был пьян, а прислал только знакомого сказать, что хотел бы ее видеть). В ответ на мои отрицания виновности: «Ах, да Вы пили только содовую воду. Значит, это я была пьяна»... И читала стихи уже без этого объяснения или предлога.

Я уезжал 1 февраля в Малеевку и накануне пришел проститься с Анной Андреевной. Она была не совсем обычна. По поводу предстоявшего итальянского путешествия она шутила, повторяла не очень замечательный каламбур по поводу одной лиры (поэтической) и миллиона лир (денег). У нее, видимо, для какой-то работы было множество своих фотографий, фотографий портретов; как она говорила: «Фото, фото не с фото, просто не фото». По поводу фотографии с Пастернаком в Колонном зале на вечере поэтов Ахматова повторила обычное: «Это я зарабатываю постановление!» Об одном из портретов: «Это можно послать к изданию в Прагу». Показывала стихи, ей посвященные, и письма. Заговорили о Василии Комаровском, стихами которого (с легкой руки незадолго до того приезжавшего Романа Якобсона) тогда начали увлекаться в Москве. Мне почудилась в ее словах о нем чуть ли не поэтическая ревность (у нее бывало — или проявлялось — это крайне редко). Она со смехом (или возмущением?) рассказывала, как кто-то спутал Комаровского с героем «Поэмы без героя». Зашла речь об Эйхенбауме. Ахматова вспоминала, что в двадцатые годы он ценился совсем не так, как теперь, когда его (и других опоязовцев) причислили к зачинателям нового литературоведения. Положительно, в тот вечер Анна Андреевна не была настроена слышать похвалы спутникам первого десятилетия своих литературных занятий. Она читала нам опыты восстановления стихов из ташкентской пьесы. Зашел разговор об одной из немногих статей Мандельштама, которую она очень не любила, — той, где он хвалил Хлебникова, как казалось Анне Андреевне, в ущерб ей. Она ловила автора статьи на ошибках: он употребил слово «Вульгата» не в обычном смысле. Когда часть гостей простилась, разговор (как часто бывало и в других случаях) стал содержательнее, Анна Андреевна заговорила о том, чем ее не устраивает прочитанное недавно по-французски «Падение». Камю — это плохо переваренный Кафка. Она добавила: «Нельзя добро изучать теоретически, нужно постараться его делать на самом деле, чтобы увидеть, как это трудно». По

поводу «Чумы» Ахматова сказала, что начало прекрасно, а дальше все хуже и хуже, в общем, и этот роман Камю ее не устраивает. По поводу своих воспоминаний о Модильяни она призналась, что о главном написать нельзя — как он стоял под окном ночью. «Смотрю сквозь окно ночью — он снова там стоит». Я сказал о нобелевской речи Камю. Ахматова о своем: «Ах да! там еще речи произносить. Нет, зачем?» (о нобелевских премиях она говорила часто и всегда очень лично). Она сказала, что с Вл. Соловьева начинаются сознательные воспоминания, и добавила: «Мне играть сегодня в них в пяти», — ту свою любимую строку из раннего варианта пастернаковского «Гамлета». Беседа коснулась лыж — это был для Ахматовой второй вид спорта после плавания (и очень заметный в ее стихах).

16 марта 1964 г. Анна Андреевна читает воспоминание о Модильяни. Я ей говорю, что это мемуары о XX веке. Она в ответ: «Да, уже можно говорить о веке, а ведь был сфинкс». Соглашается она и с тем, что Аполлинер — последний французский поэт, «с кем можно жить». И продолжает: «Я думаю, это оттого, что язык склеротизированный, невозможны инверсии. Все сказано, пересказано на все лады. А поэзия этого не любит». Последние недели Анна Андреевна читает по-английски «Портрет художника в юности» Джойса: «Это еще совсем не «Улисс». Накануне (когда я еще был в Малеевке) мы узнали о приговоре над Бродским. По этому поводу Ахматова мне сказала: «Мы с Вами из-за нашей уникальности не всегда понимаем, что к чему, это наш недостаток». Разговорившись о Модильяни, Ахматова коснулась его предполагаемого пьянства: при такой зверской работе у человека должны быть возбудители, они разрушают. Ахматову в принципе заинтересовал спор о том, мог ли Модильяни читать Лотреамона. Эренбург думал — нет, Лотреамона, мол, открыли в 20-х годах. Но Харджиев это опроверг. «Разница между ученым и журналистом».

23 марта зашел к Анне Андреевне. У нее японский подарок — кимоно. Она его мне показывала. Ахматова в кимоно отражается в трюмо.

30 марта был юбилей «Четок». Я зашел к Анне Андреевне, перечитав предварительно сборник и обнаружив, как много я уже двадцать лет назад из него впитал в себя: он весь полон намеков на будущее, и когда-то я большую его часть знал наизусть. После недавно читанной Саган удивляло совпадение с ней таких стихов, как «Он еле тронул мои колени». Что-то из этого я сказал Анне Андреевне, прося ее (в других случаях не делал этого) подписать на память два их издания. На берлинском издании С. Ефрона Анна Андреевна написала: «Им сегодня пятьдесят лет. 30 марта 1964. Москва». На девятом петербургском издании 1923 г. Ахматова написала «В. Иванову дружески» и заметила: «Не помню, что было в этот день в Царском. Наверное, как всегда».

Ахматова рассказывала снова те истории о Клюеве, которые я уже слышал от нее мельком и даже частично пробовал записать. Клюев об опустошенности Есенина за год до его смерти Ахматовой говорил: «Хоть бы посадили в тюрьму, узнал бы, что такое луч солнечный, слово человеческое». Клюев ей кажется выше Есенина. Она думает, что это Клюев подсказал Блоку невесту-Русь. Ей нравятся клюевские стихи к ней — «мне был уготовлен град», замечает она с усмешкой. «Я не клюнула. Ходил к Гумилеву». Но, по ее словам, акмеистов потом предал, сказав: «Человек ищет, где лучше, рыба, где глубоко». «Человек был темный». Вспоминает слова из его прошения о помиловании. О его смерти — упал в бане — рассказывал священник, которого от самоубийства спасла в лагере записка со стихами Ахматовой «И упало каменное слово».

Анна Андреевна вспомнила по современному поводу, «как Мандельштам звонил на последние деньги из Воронежа в Москву. Он надеялся».

3 апреля Ахматова мне рассказывала, как Мандельштам не любил Блока за парфюмерную красивость. Она даже находит, что в блоковских стихах о России нет смирения. А смирение есть только в православии. Даже странно — сейчас все стали забывать. В другой раз Ахматова вспомнила рассказ блоковеда-француза о блоковском браке.

19 апреля Ахматова о своей жизни сказала: «Глава могла бы называться «Беспокойная старость». По поводу испуга одного из писателей, отказывающегося участвовать в хлопотах о Бродском, вспомнила, как го-

ворили, о другом литераторе в 37-м году: «Превратился в пуделя и спрятался под диван».

3 мая Анна Андреевна вспоминала о вечере у Сологуба в честь Вячеслава Иванова, когда он вернулся в Петроград. К Ахматовой подошел Мандельштам, сказавший ей: «Один мэтр — величественно, два — это уже смешно». Ахматова хотела прочитать кусок из пьесы, не могла найти потерявшуюся в хаосе рукопись и волновалась. Ругала Андрея Синявского, чью статью прочитала в итальянском переводе. Заговорили о стихах Владимира Корнилова: «Мне нравятся его опыты современной прямой речи; нужно, чтобы кто-нибудь этим занимался».

9 мая Анна Андреевна обсуждала книгу Рива о Русской поэзии. Вспоминала со смехом о встрече с Фростом. Его они назвали «дедулинькой, переходящим в бабулиньку». О том, как актеры читают стихи,— «Срамотища!» — смачно сказала. Ругала сочинение Поджоли о нашей литературе. Ахматова надеется на поездки за границу и премию (Нобелевскую).

10 мая зашел к Анне Андреевне, она нездорова, лежит, ей помогают в делах две девицы. Начинает, несмотря на нездоровье, приподнявшись, с жаром поносить Вячеслава Ивановича Иванова: «Мистификатор! Крупный шарлатан, как в восемнадцатом веке — как те, что говорили, будто жили во времена Христа, как Калиостро». «Он делал так: уводил к себе, просил читать, вытирал слезы, хвалил, оттуда выводил ко всем — и там ругал. Был предатель». «Рекламист». «Философию его я не читаю — по серости». «К нам был беспощаден — да и чего нам было ждать от них?»

Очень хорошо Анна Андреевна говорила о Петербурге, который помнит почти со времени Достоевского — «с девяностых годов, десять лет не составляют разницы. Тогда было много вывесок — на Троицкой (теперь Рубинштейна) — каретников. Все дома в вывесках. Потом устроили комсомольский субботник, архитектура города обнаружилась — хорошая архитектура, наличники, кариатиды; но что-то ушло, стало мертвей. Достоевский его видел еще в вывесках».

Потом Ахматова заговорила о том, что снесли дом, описанный в «Преступлении и наказании»: «Его мне показал Томашевский. Человек был там на лестнице и все придумал, как может быть на такой лестнице — лестница глухая, поэтому красильщики не слышали. Когда я поехала второй раз, дом уже снесли».

От Петербурга, по поводу улиц и их названий, перешла к Парижу, где «все названия — Марата и королей — рядом».

Я читал книгу статей искусствоведа М. В. Алпатова, стал ей пересказывать. Ахматова заметила, что ей не нравится, как он недавно писал об Александре Иванове: «Встал, пил чай» и т. п.

Я упомянул статью Алпатова о Микеланджело и его поэзии (до того Анна Андреевна коснулась этюда Н. И. Харджиева о «Ночи» Микеланджело, как бы продолжавшего ахматовский этюд). Ахматова, читавшая поэзию Микеланджело по-итальянски, заметила: «Я очень люблю то, что он писал. Густые стихи, как Рильке». Я подхватил это сравнение, заговорил о переводах Рильке из Микеланджело: «Значит, я хорошо сказала. Со мной так бывает».

Потом Ахматова заметила, что беллетрист, который станет изображать современную Москву, напишет о Нефертити и «Дон Кихоте» Пикассо. Это опошление, как когда-то Беклин.

15 мая. Анна Андреевна вспоминала о своем разговоре с Горьким в начале двадцатых годов. Она нуждалась, работала на огороде у Рыковых, ее уговорили пойти к нему попросить работы. Она пошла как была — босая, в сарафане. Разговор был будничный: «Вы босая, а, говорят,— туберкулезная». С работой не вышло: предлагал переводить прокламации с русского на итальянский.

В другой раз Анна Андреевна возмущенно мне говорила, что сейчас принято ругать Горького. А скольким он тогда помог — в двадцатые годы: «Многие бы без него умерли с голоду».

Заговорили о Зощенко. Анна Андреевна вспоминала, как он предлагал Стеничу, переводившему «Улисс», находить для него словечки (к тому времени Ахматова переехала с Лаврушинского в Сокольники к вдове Стенича Любови Давидовне Большаковой). По словам Анны Андреевны, он поздно прочел Фрейда. Его суждения казались ей наивными: «Давал советы читателям, как жить». За две недели до смерти не слышал ничего, что ему говорили...

На следующий день после юбилейного вечера Анны Андреевны 30 мая 1964 г. в музее Маяковского, на котором Ахматова не могла быть (мы слышали только запись того, как она читает стихи; меня вдруг почти испугала замена ее прибором), Анна Андреевна позвонила мне по телефону. Особенно ее занимало, как я отнесся к докладу, прочитанному В. М. Жирмунским в начале вечера: «Ему кажется, что Вам все это не понравилось». Я ответил разуверениями. «Тогда позвоните ему и скажите, что Вы о докладе думаете, он расстраивается». Замечательно, что и по поводу первого за много лет вечера, где о ней столько говорили, ей хотелось услышать добрые слова — не для самой себя, а для оставшихся ей близкими людей из ее окружения: эта степень внимания к другим была чертой, резко выделявшей ее из всего литературного круга.

Ахматова сказала мне по телефону, что устала и отдохнет, что закончила перевод Тагора (жаловалась на чуждость ей Востока, на то, что там в литературе нет юмора) и получит деньги. Рассказала (по поводу выступления Тарковского о ней на вечере), что до того с ним поругалась. «Он в плохом состоянии, мрачный, пришла известность и не так, как он ждал». Он ругал ее за прозу и за Модильяни целый вечер, она отлучила его от дома и не звонила ему.

23 июня я был у Анны Андреевны, она заговорила о древнеегипетской поэзии: «Великолепно! А когда подумаешь, что потом были Платон, Александр, становится скучно...»

В конце июля и начале августа я оказался в Ленинграде и поехал к Анне Андреевне в Комарово. Она повторяла (с видимым удовольствием) фразу, недавно ей сказанную: «Поэт — человек, у которого никто ничего не может отнять и поэтому никто ничего не может дать». Она заговорила о Леопарди, чьи стихи и проза ее поражали, в том числе и ранним его развитием, как у Рембо. «Его даты почти одновременны с Пушкиным — почему поэты родятся почти одновременно?»

10

Хлопоты об Иосифе Бродском продолжались. Фрида Вигдорова попросила меня заехать к Анне Андреевне по поводу очередного обращения к Федину. Я позвонил ей, и хотя была еще первая половина дня, она попросила меня приехать сразу же — это было какое-то из новых ее московских кочевий, не у Ардовых. У нее было несколько человек сразу, она чем-то срочным была занята и, пока дочитывала или доправляла что-то свое, дала мне — до того уже мне встречавшуюся «Четвертую прозу» Мандельштама в машинописи. Когда я что-то стал говорить о достоинствах текста и мандельштамовской прозы вообще, она заметила: «С Осипом все в порядке. Его и читает молодежь». Для нее это было важнейшим критерием: что читает литературная молодежь.

11

Я оказался в Ленинграде и узнал, что Ахматова с подозрением на инфаркт попала в больницу. Я поспешил к ней. В палате — как и прежде, когда я оказывался у нее в больнице,— при всех внешних неудобствах (я никогда ее не видел ни в больнице, ни, впрочем, вообще в жизни в сколько-нибудь сносных, не говоря уже о привилегированных, условиях) она была в своем духовном мире, вся в мыслях о прочитанных книгах. Тогда это была «Джаммапада», незадолго до того вышедшая в отличном русском переводе В. Н. Топорова. Она жаловалась, что книга ей, как и многие другие в литературе Востока, совершенно чужда. Что-то серое. Ее раздражало полное отсутствие юмора.

Она рассказала мне о беседе с математиком О. А. Ладыженской, приходившей навещать ее в больницу. Она советовалась с Ахматовой, каким из искусств ей заняться — ее увлекали и стихи, и живопись. Ахматова с обычным для нее вниманием к каждому человеку, увлекающемуся искус-

ством, подробно со мной обсуждала план, который она наметила по просьбе Л.: занятия именно одним из видов искусств, не всем сразу. К этому она отнеслась с большой серьезностью.

12

В разговорах Ахматовой были некоторые излюбленные темы, иногда и повторявшиеся формулы, и остроты или целые рассказы. Она знала за собой склонность к их повторению и сама над собой подшучивала: «Есть у меня такая пластинка».

13

Более чем снисходительность, заранее сверхположительное отношение к чужим стихам было у Анны Андреевны установочным, если это были стихи ее современника, особенно не преуспевающего. Не раз, упрекая в разговоре со мной, иногда и неосновательно, если это касалось ее стихов — Бориса Леонидовича Пастернака в невнимании к поэтам-современникам, Ахматова противопоставляла ему Пушкина. Она напоминала, как он старался найти хорошие если не стихи, то хотя бы строки у поэтов своего круга. Говоря о современной нам поэзии, Анна Андреевна — с небольшими вариантами — нередко повторяла один и тот же набор имен тех, кого считала самыми одаренными: Петровых, Тарковский, Липкин, Самойлов, Корнилов — о нем от Ахматовой я не раз слышал как о поэте, который сумел ввести в поэзию теперешнюю разговорную речь, язык прозы.

Особенно в последние годы Ахматова из самых молодых, за которыми следила пристально, выделяла и отличала Бродского. Она ставила его в пример — как много у него стоит за стихами: английские поэты-метафизики, старинная камерная музыка... После лета в Комарове, когда Бродский и его друзья приезжали к ней чуть не каждый день, Ахматова, приехав в Москву, рассказывала мне, что как-то Бродский пропал, несколько дней его не было. Когда наконец он появился и она спросила, что с ним случилось, он ответил, что ему не с чем было приехать. И она хорошо это поняла: он каждый раз приезжал или с новым стихотворением, или с новой пластинкой старого композитора, с которым хотел познакомить и Ахматову.

14

Если исключить Блока, к отношениям с которым Ахматова постоянно возвращалась, у нее сохранялись устойчивые антипатии (иногда даже личные) ко многим символистам. Это касалось даже и Вячеслава Иванова, когда-то так рано заметившего ее поэтический дар. Ей он представлялся в черном свете и как человек, впрочем, говоря об этом, она понижала голос; поэтому не кажется нужным повторять те биографические сведения, которыми она подкрепляла свою мысль. Когда мы заговорили об Андрее Белом, Ахматова внезапно сделала исключение для его последней книги. «Мастерство Гоголя» — книга гениальная!», — сказала она убежденно и безоговорочно.

Но в другой раз (9 апреля 1964 г.) Анна Андреевна говорила мне: «Петербург» для нас, петербуржцев, так непохож на Петербург. Человек был лукавый и непрямой; как о нем писал Бердяев: он исчезал, и нужно было ждать потоков ругани. Символисты все были странные, кроме Блока. Книга о Гоголе — чушь и прозрения. Со мной он не разговаривал — для него все делились на посвященных и непосвященных, штейнерианцев и нештейнерианцев; я не могла бы даже притвориться тогда. А Николай Степанович много читал по этой линии, они разговаривали».

Верность Ахматовой акмеистским вкусам, казалось, со временем увеличилась. Она о своей поздней поэзии говорила: «У меня акмеистское слово», — и это последнее существительное в ее устах звучало особенно внушительно и полновесно.

15

Не раз беседа касалась Фрейда и отрицательного отношения к нему Ахматовой. Она объясняла мне, что для нее детство не имеет ничего общего с тем, как его изображает психоанализ. Оно не замкнуто домом, семьей; наоборот, в детстве мир начинался там, за калиткой, вовне.

В другой раз Ахматова говорила мне, что никогда не стала бы заниматься психоанализом: тогда для нее невозможно стало бы писание стихов. Я привел ей слова Рильке в его письме Лу Андреас-Заломе, которая уговаривала своего друга в канун первой мировой войны пройти курс лечения у психоаналитика. Ответ Рильке слово в слово совпадал с тем, что я только что услышал от Анны Андреевны. Ахматова улыбнулась и сказала: «Значит, я не ошиблась».

О связи безумия с творчеством Анна Андреевна не раз говорила по поводу черновиков пушкинского «Вновь я посетил» (это видно и из ее напечатанных записей, но в них сказано осторожнее и сдержаннее). По словам Анны Андреевны, в черновиках видно безумие автора, подозревающего всех, ожидающего увидеть доносчика в лучшем друге (я склонен здесь усмотреть автобиографизм исследовательницы: ей и самой случалось быть в таком состоянии, — она его опасалась). Но дальше, сопоставляя строки черновиков с окончательной редакцией, мы видим, как Пушкин устранял эту (свою) болезненную ноту — ее вовсе и не осталось в тексте, который печатается; догадаться о ней можно только по черновикам. «Это зашифровано, но ведь это было тяжелое безумие», — повторяла она.

16

Говоря о причинах самоубийства Маяковского, Анна Андреевна исключала чисто личные мотивировки: «Не может быть, чтобы из-за женщины, когда их одновременно было столько!» Ей казались особенно важными для уяснения всех обстоятельств воспоминания Полонской. Между прочим, это послужило причиной взаимного непонимания в ее разговоре с Романом Якобсоном, когда тот приезжал в Москву в 1964 г.

17

Ахматова не раз повторяла, что жены все и всегда ужасны (одно время делала исключение только для Надежды Яковлевны). О подруге одного одаренного поэта говорила: «С виду божественное видение, а ведет себя как сатана».

Но иногда доставалось и мужчинам, особенно за нарушение правил приличия. О нашем общем знакомом, переставшем здороваться со своей бывшей возлюбленной: «Ну, это уже выйти из графика!»

18

Ахматова в состоянии была пылко ненавидеть и женщину, жившую полтораста лет назад. О Собаньской она говорила с таким презрением и ужасом, какие достались немногим из ее современниц. Ее поразило сходство пушкинского письма Собаньской с текстом письма Онегина к Татьяне. Пушкину в период этого его увлечения она сочувствовала, соболезновала, к Собаньской она его ревновала.

В Анне Андреевне никогда не утихали не то чтобы чувства — страсти, одолевавшие ее. Гнев в ней вызвали публикации тех авторов мемуаров, которые писали о том, как она якобы ревновала Гумилева. Она позвонила мне в Переделкино и сказала, что нужно срочно посоветоваться. Через час она уже была у нас. Мама, встретив ее вместе со мной у крыльца, отозвала меня потом в сторону и тихо спросила: «Что, Анна Андреевна собирается у нас пожить? Ты ее пригласил?» Мама не знала еще, что к тому времени Анна Андреевна уже не расставалась с чемоданчиком, где она обычно держала все бывшие у нее с собой рукописи. Кроме реальных нескольких повторных обысков, было и много случаев, когда по косвенным уликам она догадывалась или, во всяком случае, могла заподозрить, что без нее кто-то рылся в ее бумагах. Кончилось тем, что чемоданчик всегда был с ней.

Внеся его в дом и едва присев, Анна Андреевна сразу же приступила к делу. Только что она прочитала одну из тех книг, где, по ее мнению, история ее личных отношений с Гумилевым была извращена. Она пере-

живала это как новое оскорбление, сопоставимое с тем, которое когда-то ей нанес в своем докладе Жданов. Грязь его инсинуаций она никогда не забывала. Ее расстраивало и возмущало то, что в школах отмечалась годовщина постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».

По мнению Ахматовой, появлявшиеся в шестидесятые годы мемуарные книги так же искажали ее человеческий и поэтический образ, как это когда-то сделали Жданов и то постановление сталинского времени. Она вся клокотала от негодования, не могла успокоиться.

19

Ахматову занимал тот сор, из которого растут стихи («Когда б вы знали»). Она говорила, что поэзия вырастает из таких обыденных речений, как «Не хотите ли чаю?». И из них нужно сделать стихи. В этом для нее было и чудо поэзии, и невыносимые трудности сочинения стихов.

Она мне признавалась, что у нее бывает страх непоявления стихов потом. От него даже она не была ограждена (я это слышал — о нем самом — позднее и от Бродского). Я вспоминал о том длинном бесстиховье, которое она себе как бы предрекла с другими бедами вместе:

Отними и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.

20

Как-то разговорившись в гостях у нас, Ахматова рассказала, как впервые открыла в себе дар вещуньи-прорицательницы, совсем юной девушкой, лет в шестнадцать. По ее словам, внезапному предвидению всегда предшествует состояние расслабленности, граничащей со сном или обмороком. Она чувствовала себя обмякшей, в каком-то полубессознательно-сером состоянии. И полулежа на диване (на юге летом в имении, про которое: «А мы живем как при Екатерине...»), услышала, как ее пожилые родственницы судачат о молодой удачливой соседке — какая та блестящая, сколько поклонников, красавица. И вдруг, сама не понимая как, выпалила: «Да, а потом уедет в Ниццу и через полгода умрет там от туберкулеза». С той девушкой так все и случилось.

В шестидесятые годы Анна Андреевна была занята восстановлением своей пьесы, написанной в Ташкенте во время войны и сожженной в 1944 году. Пьеса называлась «Энума элиш» — первыми словами вавилонской мифологической поэмы о начале мироздания; Шилейко перевел название «Когда вверху». Анна Андреевна так мне рассказывала о том, как она ее написала. Она была больна тифом. Тяжелый период болезни кончился, и еще оставалась от бреда горячечность (я это состояние хорошо помню — сам тогда же и там же, в Ташкенте, болел тифом). И в этом как бы бреду, уже предвещавшем выздоровление, Ахматова увидела стену и грязные пятна на ней, что-то вроде плесени. За этими пятнами открылась главная сцена пьесы: судилище, на котором автора обвиняли во всех возможных и невозможных прегрешениях. Уже после того, как пьеса, увиденная в бреду, была ею записана, Ахматова почувствовала, что в ней она сама себе (в который раз! — дурные предсказанья всегда сбывались, как со стихами «Дай мне долгие годы недуга») напророчествовала беду. И в испуге сожгла пьесу. Позднее убедилась, что предвидения послетифозного бреда из пьесы сбылись.

Как вспоминалось потом и самой Ахматовой, и тем немногим ее ташкентским друзьям и знакомым, которым она успела прочесть пьесу, она была предвидением и литературным. До Ионеско и Беккета в ней была предвосхищена и суть, и сценическая форма театра абсурда. Абсурд сбывшихся бредовых видений начинал (хотя и очень медленно и постепенно) рассеиваться, и тогда за реальностью осуществившегося в жизни фантастического сюжета проступила художественная новизна пьесы. За древневосточным названием и мистериальной ее формой Ахматова увидела и то новое, что роднило ее с рождавшимся у нас на глазах и до нас доходившим новым европейским театром. Ей захотелось вернуть сгоревший почти за двадцать лет до того текст. Но и короткие свои стихи она почти никогда не помнила, а такой длинный текст — тем более. А Надежда Яковлевна Мандельштам, Раневская и другие ташкентские слушательницы пьесы могли только удостоверить, что производимые Ахматовой опыты восстановления отдельных частей пьесы не имеют почти ничего общего с тем, что было написано в Ташкенте.

21

Последний раз я видел Ахматову в больнице в Москве зимой 1966 г. Мне надо было на месяц уехать в Ленинград читать доклады и лекции, я пришел прощаться, не зная, что навсегда. Только что кончился суд над Синявским и Даниэлем. Мы говорили об их горькой судьбе, о писателях, озабоченных (как и я в то время) их защитой.

В тот именно разговор Ахматова пересказала мне свой рассказ о Блоке, которого она увидела нечаянно на платформе, когда ехала поездом Москва — Петербург. У нее были в руках листки с записями о Блоке, но она не столько читала мне, сколько рассказывала. Ее забавлял и продолжал шокировать заданный тогда Блоком вопрос, с кем она едет в поезде. Больше всего ее развлекало восприятие этого ее рассказа о Блоке приезжавшим в Москву известным американским литературоведом. «Вы знаете, что он сделал, когда услышал об этой нечаянной встрече с Блоком на платформе?» После выразительной паузы: «Он свистнул!». Развязность этого дикого ковбоя ее приводила в восторг. Степень ее благовоспитанности была очень большой.

Л. Лазарев

НАС ВРЕМЯ УЧИЛО

> Перебирая наши даты,
> Я обращаюсь к тем ребятам,
> Что в сорок первом шли в солдаты
> И в гуманисты в сорок пятом.
>
> Д. Самойлов.

Это одна из самых прочных и примелькавшихся литературных «обойм»: Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Роберт Рождественский. Все они по-настоящему вошли в литературу в одно время, после XX съезда партии, когда вспыхнул необычайно острый интерес к поэзии, знаменовавший начало духовного раскрепощения общества, были тотчас замечены читателями и критиками, и с тех пор имена их обычно произносят вместе...

Вот так случилось, что поэзия Булата Окуджавы оказалась размещенной на литературной карте вовсе не там, где она должна находиться, и многократно повторенная эта ошибка затемняет и подлинные истоки, и пафос его творчества. Нет, все-таки, наверное, не Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский, а Борис Слуцкий и Сергей Наровчатов, Давид Самойлов и Юрий Левитанский, а если идти дальше, то и Михаил Кульчицкий и Павел Коган — кровные родственники Окуджавы в поэзии. А в прозе всех ближе ему Виктор Некрасов и Василь Быков, Константин Воробьев и Владимир Богомолов, Вячеслав Кондратьев — бывшие солдаты и лейтенанты переднего края, «окопники» Отечественной.

Вспоминая войну, себя, восемнадцатилетнего солдата, прямо со школьного двора шагнувшего в ее огонь, Булат Окуджава рассказывал: «Это как ожог, сильный, до сих пор незаживший. Все, что довелось тогда испытать, по сей день ношу в себе — как осколок, как неизвлеченную пулю. По-настоящему я вошел в литературу именно с военной темой... Я чувствовал неодолимое желание высказаться, выразить себя, рассказать о пережитом. Писалось по свежему, еще сильны были непосредственные впечатления той огненной поры. Они-то и послужили толчком, отправной точкой для многих моих стихотворений и автобиографической повести».

Нет, не случайно недавно вышедшая книга Булата Окуджавы «Девушка моей мечты», книга, в подзаголовке которой стоит «автобиографические повествования», открывается первым днем войны. Он, этот день, стал истинным началом биографии того поколения, к которому принадлежит Окуджава. Почти полвека прошло с тех пор, многое из того, что было потом, и в войну, и после войны, забылось, но ее первый день врезался в память навсегда. Он разом отсек прошлое, словно бы установил иное, особое исчисление времени — не на часы и дни, а на поражения и победы, на павших и уцелевших, он был началом беспощадного исторического суда над каждым из нас и над общей нашей судьбой. А ведь до того мгновения, когда мы узнали, что уже идет война, это был самый обыкновенный день, никаких грозных предзнаменований. Таким он и возникает на первой странице книги Окуджавы:

«Прошлое, давно прошедшее, минувшее, былое, история — какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно: лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы. Тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами:

— Вы что, ничего не слышали?

— Слышали,— сказал дядя Николай,— столько чего слышали... А что вы имеете в виду?

— Война,— сказала она.

— А-а-а,— засмеялся дядя Николай.— Таити напало на Гаити?

— Перестань,— сказала тетя Сильвия.— Что случилось, дорогая?

— Война, война...— прошелестела соседка.— Включите же радио!

По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно — все было прежним».

Никаких котурнов — заурядная поездка к морю на отдых, старые чемоданы, летние вещи — действительно не надо становиться навытяжку с непокрытой головой. И все-таки именно такой и была реальная история. Вроде бы все вокруг оставалось прежним, но жизнь круто и бесповоротно менялась, и эти перемены складывались в то, что потом стали называть народной бедой и народным подвигом. Герой Окуджавы и его приятель разносят призывные повестки. «В одном из дворов среди низко подвешенных сох-

нувших простынь и рубашек стояла перед нами еще молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках, и за юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо.

— Кого хотите? — спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку.

— Мнацаканов Альберт,— сказал я и протянул листок.

— Это мой муж,— сказала женщина».

Потом появились в городе раненые — их становилось все больше и больше. «Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заляпанные грязью орудия, рваные, мятые гимнастерки на солдатах, офицеры, похожие на солдат. Поползли слухи, что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе нам пришлось спешно отступать, что было окружение, что многие остались «там».

Это тоже история без котурнов: ждали иной войны — быстрой и легкой, разыгрывавшейся где-то за тридевять земель, на чужой территории, радующей победами. А настоящая война стремительно покатилась по нашей земле — и так далеко, что даже в дурном сне нельзя было себе этого представить; и так долго она продолжалась, что, казалось, конца ей не будет, да и теперь кажется, что чуть ли не полжизни заняли у нас те годы; и столько полегло тогда народу, что оставшиеся в живых считают, что чудом уцелели.

> Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
> А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
> И кущи там, и рощи там, и кудри по плечам...
> А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.

Это написано недавно, это строки из новой поэтической книги Булата Окуджавы «Посвящается вам». Она сложена из стихов, большая часть которых датирована последними годами. И вот что бросается в глаза: война занимает в них не меньшее место, чем в стихах, написанных десять, двадцать, тридцать лет назад. Война для Окуджавы не только драматический жизненный материал — неисчерпанный, неисчерпаемый,— там, на войне, определилась его жизненная позиция. Война заставила уточнить нравственные ориентиры, особым образом настроила будущее писательское зрение Окуджавы. «Она выветрила из меня начисто,— рассказывал он,— те осколки романтики, которые во мне все же еще были, как и в любом юнце моего возраста. Я увидел, что война — это суровое и жестокое единоборство, и радость наших побед у меня постоянно перемежалась с горечью потерь, очевидцем которых я был. И впоследствии, когда я все это осознал, не могу сказать, что я стал пацифистом, это было бы смешно, но во мне выработалась не умозрительная, а органическая ненависть к войне. И это отложило отпечаток на всю мою жизнь и литературную тоже».

Пережитое на войне помогло сбросить шоры догматизма — и идеологического, и эстетического, отвратило от культовой мифологии, от пропагандистского позерства в искусстве, от батальной литературщины. И отвратило не одного Окуджаву. Это было общим свойством «лейтенантской» литературы — за что ей тогда немало доставалось: ее громили за «окопную правду», «дегероизацию», «ремаркизм». (Сейчас, может быть, не все отдают себе отчет, что обвинения эти были идеологическими, а не литературными, что спор шел не столько об изображении войны, а о том, как жить после XX съезда.) А к Окуджаве возникли претензии особого рода, ему приписывались самые тяжкие грехи. Повесть «Будь здоров, школяр», опубликованная в «крамольных» «Тарусских страницах» (потом она до наших дней не перепечатывалась), была осуждена даже на страницах «Нового мира», стойко и последовательно защищавшего «лейтенантскую» литературу. Видимо, автора той давней статьи напугал открытый антивоенный пафос повести, отношение к войне справедливой, как к делу все-таки противоестественному, бесчеловечному. Он посчитал повесть порочной, ставящей под сомнение и великую цель войны против гитлеровского нашествия: «Человек на войне — и все,— предъявлял он счет Окуджаве.— Какой человек, на какой войне, за что он в конце концов сражается — не важно. Все войны одинаковы, на всех войнах человеку тяжко, все войны — зло». Не стану доказывать, что любая война — зло, что автор статьи, отрицающий это, не прав, опровергать его сегодня — ломиться в уже широко распахнутые ворота.

Но, может быть, герою Окуджавы действительно безразлично, за что идет война, и он в самом деле «занят только собой», мысли его поглощены обмотками, с которыми не может как следует справиться, ложкой, которую потерял? Диву даешься, как тогда была прочитана — вернее, не прочитана — повесть «Будь здоров, школяр». И иными критиками не по злому умыслу даже, а потому что недоступен оказался ее образный язык. В ней не было привычно «олитературенного» изображения войны, и это воспринималось как искажение жизненной правды. Для того, чтобы верно понять повесть, надо было выбраться из наезженной колеи ходячих представлений о войне. Вспомним, как в «Войне и мире» Николай Ростов, правдивый молодой человек, делясь своими впечатлениями о кавалерийской атаке, рассказывает не то, что было, а то, чего ждут от него, не может преодолеть власть существующего канона батальных описаний. В таком же

примерно положении оказались некоторые критики повести Булата Окуджавы. Герой повести не произносит тех слов о любви к Родине, которые обычно изрекались в газетных очерках, они кажутся ему фальшивыми или нецеломудренными. Но ведь он, если, читая «Будь здоров, школяр», быть внимательным к деталям, уходит на фронт добровольцем (в рассказе «Утро красит нежным светом...» Окуджава в юмористических тонах, нисколько, однако, не снижающих серьезного смысла поступка, изобразит, как было дело, как он со школьным товарищем выбивал у военкома призывную повестку), и уже это яснее ясного раскрывает его отношение к происходившему. И о ненависти к фашистским захватчикам герой Окуджавы не произносит речей, но разве непонятно, что у него на душе, если он, испытавший множество унизительных неудобств из-за потерянной ложки, отказывается взять трофейную — она вызывает у него отвращение?

Вообще высокое в повести, как и было на реальной войне, погружено, вросло в быт, в немыслимо тяжелый фронтовой быт, гнетущий не меньше, чем страх смерти. Не поняв этого, невозможно проникнуть в мир автобиографической прозы Окуджавы, разглядеть честность и добросердечие, мужество и самоотверженность ее героя.

Все автобиографические вещи Окуджавы написаны от первого лица, это лирическая проза, но немалая дистанция отделяет автора от героя, и создается она прежде всего иронией — с насмешливой грустью вспоминает Окуджава себя на фронте в семнадцать и восемнадцать лет: «Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках, на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча...». Мы ошибемся, если посчитаем этот портрет, нарисованный по памяти и густо окрашенный сегодняшней иронией,— фотографией, и автор время от времени очень деликатно, едва заметно от этого предостерегает, обратим внимание хотя бы на «вижу почти условно», «некто нереальный». Замечу тут, кстати, что автобиографическая проза Окуджавы не терпит беглого чтения, каждое слово весомо и значимо почти как в стихах. Вот характерный для манеры Окуджавы эпизод: «Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется». Не пропустим при чтении «никто не смеется», оно предупреждает, что, наверное, герой выглядел до смешного нелепым не на самом деле, а лишь в собственных глазах.

«Я выдумал музу Иронии для этой суровой земли»,— писал в одном из недавних стихотворений Окуджава, эта муза особым образом формирует художественный строй и его поэзии и его прозы. Нельзя поэтому принимать за чистую монету безжалостное самобичевание героя. Оно не свидетельствует о том, что он погряз в пороках,— нет, герой сильно преувеличивает свои слабости и грехи. Но то, что он ничего себе не прощает, не делает себе никаких поблажек, раздувая свои вольные, а чаще невольные провинности, говорит о его совестливости, о высоте нравственных принципов, о непрекращающейся ни на минуту душевной работе. Как он казнит себя: «Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я — скотина. Проучить меня нужно. Я — предатель». Что же случилось, что натворил герой повести, чем так подвел товарищей, что теперь от стыда не может найти себе покоя? Оказывается, когда они возвращались на фронт из командировки и остановились на ночевку, он выпил спирта — впервые в жизни — и заснул так, что товарищи, которые были и старше, и крепче, не стали его будить, дали отоспаться, отдежурив за него. Но ему невыносима мысль, что он оказался «иждивенцем» — пусть даже в малом.

После нескольких месяцев боев, многое хлебнув на войне,— и холод, и голод, и непосильный труд, и подстерегающие на каждом шагу опасности, и смерть товарищей,— герой повести, раненный в бою, попадает в госпиталь: «Какой же я солдат,— сетует он,— даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видел. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже... А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали». Все здесь вроде правильно: не видел герой живых немцев, не стрелял из автомата, но он ведь не пехотинец, он служит на батарее тяжелых минометов. Да и ордена и медали тогда давали очень редко... Но он, что примечательно, и пролив свою кровь, не считает, что сделал все, что должен был. Он не позволяет себе стонать — наверное, у других, кто стонет, раны более тяжелые...

Война с ее жесткими требованиями строжайшей дисциплины, беспрекословного выполнения приказов, стригущая всех под одну гребенку, была, однако, в годы, которые описывает Окуджава, временем преодоления психологии «винтиков», временем самостоятельных решений, цена которых — жизнь или смерть, временем крушения сталинских пропагандистских мифов, глубоко проникших в массовое сознание, обретения здравого смысла, реального взгляда на происходящее — процесс этот, как точно определил его суть историк М. Гефтер, был стихийной десталинизацией. Какая уж там про-

видческая мудрость обожествлявшегося вождя, если страна оказалась на краю гибели! Годами внушалась как непререкаемая истина, что в небесах, на земле и на море мы самые, самые, все нам нипочем, и в воде мы не утонем и в огне мы не сгорим,— а немцы дошли до стен Ленинграда и Москвы, до Волги и Кавказских гор... Чтобы одолеть врага, нам надо было избавиться от слепой веры и покорности механических граждан, чтобы освободить страну от захватчиков, надо было освободиться от догматических пут, преодолеть дурман демагогии.

Герой Окуджавы на войне взрослеет быстро — и не только физически, но и духовно. Он отбросил тот псевдоромантический вздор, которым его усиленно пичкали с детства и который вовсе не был так безвреден, как может показаться на первый взгляд, потому что способствовал оболваниванию, рождал «пересортицу» ложных и истинных ценностей. На фронте герой Окуджавы получил сильнейшую прививку против несправедливости, демагогии, бесчеловечности, которая затем оберегала от заражения вирусами этих болезней. Он вернулся с войны молодым, но с таким серьезным нравственным опытом, благодаря которому воспринимал сгустившуюся в послевоенные годы атмосферу сталинщины как нечто чуждое тому, за что сражались. Не будем преувеличивать, речь идет лишь об ощущении, он, как и большинство его ровесников, многого не понимал, многого не знал. Скажем, не мог все-таки представить, каким адом был лагерь, в котором его мать провела десять лет,— впрочем, доступна ли вообще та жизнь за колючей проволокой нормальному человеческому сознанию (об этом прекрасный рассказ «Девушка моей мечты»)? Да, многого еще не знал и не понимал, но добро и зло различал зорко, а растлевающее, деморализующее воздействие сталинщины было тем сильнее, что зло было облачено в тогу праведности, выступало от имени народа.

Не во всем мог разобраться герой Окуджавы, хотя наверняка с детства знал, что его родители ни в чем не виноваты, но теперь ему стало ясно, что вообще никаких «врагов народа», злодействами которых стращали столько лет, на самом деле не существует, есть люди, объявленные «врагами народа», попавшие под кровавое колесо государственной карательной машины. И это не его лишь собственное прозрение, это был некий сдвиг в общественном сознании. Все больше людей не могли вопиющие несправедливости, разгул топора объяснять себе, как в довоенную пору: «Лес рубят — щепки летят...», «Сталин не знает...». В одном из выступлений — об этом вспоминал В. Лакшин — Ольга Берггольц рассказывала, что когда ее арестовали в тридцать девятом году — хочу обратить внимание на год, массовые репрессии шли уже долгое время — она была уверена, что возможны отдельные ошибки, как с ней, а в массе берут за дело, за совершенные преступления. Ее ввели в камеру, она настороженно держалась с окружившими ее женщинами, считая, что они преступницы. «Мадрид держится?» — сразу же спросили у нее. «Нет,— ответила она,— Мадрид пал». «Тогда,— рассказывала Берггольц,— «враги народа» заплакали».

Только оказавшись в аду, Ольга Берггольц поняла, что туда попадают вовсе не за грехи, что она верила чудовищной лжи. Герою прозы Окуджавы это открылось не только потому, что близко его касалось, что в аду оказались его родители, а потому что пережитое на войне научило открытыми глазами смотреть на мир, не принимать на веру то, что абсурдно. Ровесники Окуджавы, вернувшиеся с войны, были не умнее Берггольц,— иным был их жизненный опыт, умнее, проницательнее стало само время. Их, освободившихся от власти мифов, после войны заставили помалкивать, но обмануть их было не так уже просто. Послевоенные сталинские кампании в немалой степени были направлены на то, чтобы задушить это в огне войны родившееся здравомыслие. Сталин видел в нем — и не без оснований — потенциальную угрозу режиму...

Герой автобиографической книги Окуджавы — обыкновенный молодой человек, в меру серьезный, в меру легкомысленный, приученный нелегкой жизнью обходиться малым, но закрытый, старающийся держаться в тени. И не только из скромности. Он ведь «меченый» — родители репрессированы, наверное, ему не раз напоминали об этом с угрозой: «А яблоко-то от яблони...», каждое неосторожное слово дорого ему могло стоить. Не зря же руководитель кадров калужского просвещения, дока по части бдительности, ссылает героя, наплевав на его университетский диплом, который был редкостью у его подопечных, в дальнюю сельскую школу. Но и в этом глухом селе, разоренном войной, доведенном сталинской колхозной политикой до того уровня нищего и бесправного существования, что, кажется, более низкой ступени уже нет, даже здесь о своих бедах, о своем горьком и тяжком житье говорят шепотом, с оглядкой. И отсюда можно было и страшно было угодить *туда*. Так что пусть не покажутся сегодня страхи героя неосновательными и преувеличенными, они не свидетельствуют о недостатке мужества, о духовной капитуляции,— нет, внутреннее сопротивление бесчеловечности сталинского общественного устройства не прекращалось.

Однажды героя включили в комиссию по подписке на заем. Что это такое — заем, как проводилась подписка,— люди молодого поколения имеют весьма смутное представление. А в сороковые годы это была тяжелая повинность, напоминавшая по сути своей «продразверстку» (только денежную), которой облагались и село, и город, имущие и неимущие. Ох-

ват должен был быть стопроцентным, каждому коллективу давалась контрольная цифра, которую кровь из носа надо было выполнить,— кампания считалась политической со всеми вытекающими отсюда последствиями. По жестокости и бессердечию она напоминала «хлебозаготовки» начала тридцатых годов — тут тоже нередко забирали последнее. Идет комиссия по подписке от избы к избе, и постепенно герою, которому сначала не совсем ясен характер мероприятия, открывается чудовищность безжалостных государственных поборов. И ничего не поделаешь, станешь упираться, откажешься подписаться или подписывать, станешь очень уж громко роптать, и в два счета можно угодить т у д а. Невыносимо положение тех, кого обирают, невмоготу и тем, кто проводит подписку, если не потеряли совести. Вот одна из душераздирающих сцен:

«Мы поднимаемся на крыльцо. И тотчас дверь распахивается.

— Здорово, Настасья,— сопит Абношкин (председатель колхоза.— Л. Л.).

— Здорово, старый черт,— говорит Настасья и ведет нас в избу.— Все ходишь. Все в карманы глядишь...

Она стоит перед нами, маленькая, смуглая, давно уже не молодая. Руки на груди сложены...

— Ты, стало быть, Настасья, знаешь, зачем мы к тебе? — говорит Абношкин.

— Уж мне ли не знать,— говорит Настасья.— Первый раз, что ли, ты ко мне, старый черт, приходишь? Партизан...

Абношкин садится к столу. Расправляет ведомость.

— Ну что я тебе платить буду? — говорит Настасья.— Ты подумал?

— Надо, Настя. Подпишись, и все тут.

— А в сорок первом, когда я тебя, раненного, прятала, ты в глаза смотрел,— говорит Настасья,— а теперь-то не глядишь...

— Ну ладно, ладно,— бормочет Абношкин.

— Стыдно тебе, да?

— Ты подписывай,— говорит Абношкин, и толстое его лицо словно плачет.

Она подписывает, не глядя на лист».

Идет комиссия из избы в избу — всюду крайняя нужда, мужчин почти нет — полегли в войну, старухи, вдовы, сироты, больные дети, и герой не может отнестись к происходящему безучастно. Он хорошо знает, что ему меньше, чем кому-либо, надо «высовываться», он ведь, как говорят шахматисты, «под боем». Но когда приезжает инструктор райкома, он ему выкладывает, что думает, не может и не хочет промолчать (по тем временам поступок безрассудный, который для него мог плохо кончиться):

«В прошлом году сумма-то больше была,— говорит инструктор, поглядывая в ведомость.

— Трудно,— говорит Шулейкин, поглядывая в окно.

— Там ведь ни одного почти мужчины нет,— говорю я,— неужели никто об этом не думает?..

Внташа толкает меня в бок.

— Мы знаем об этом,— говорит инструктор.

— Пошли бы сами, посмотрели бы, что там творится...— говорю я,— позор просто...

— Вы напрасно горячитесь,— говорит Мария Филипповна, и губы ее белеют,— товарищ инструктор не мог ведь... Он доложит кому следует...»

Я уже говорил об ироническом отношении автора к своему герою, он не видит в нем ни образец добродетелей, ни героическую личность, посмеивается над его слабостями — и лектор аховый, и учитель, спотыкающийся на каждом шагу, и к деревенской жизни неприспособлен, но во времена духовного оцепенения и насаждаемого силой единомыслия он сохранил душу живу и способность думать не по шаблону, сохранил человеческое достоинство, и именно этим расположил к себе и учеников, и многих местных жителей. В ту суровую зиму, выморозившую так много живого, он все-таки сеял зерна доброго и разумного — быть может, когда потеплеет, какие-то из них прорастут...

В авторской аннотации к книге «Девушка моей мечты» Булат Окуджава пишет: «Это рассказы о моей молодости, то есть о молодом человеке военного и послевоенного времени, связанном со своей страной и в трудные, и в счастливые периоды, о человеческих ошибках, об умении прощать, помнить, любить, ценить дружеское расположение и уважать личность». Но за его непростой и нелегкой судьбой встает судьба поколения, во всяком случае, лучшей его части, а поколение, надо думать, вообще представляют лучшие люди. Чувство общности, которое их связывает, возникло в прошлом, но живет и в их отношении к заботам и тревогам сегодняшним. Об этом стихи Окуджавы:

Да, вышло мое поколенье,
усталые сдвоив ряды.
Непросто, наверно, движенье
в преддверии новой беды.

Да, это мое поколенье,
и знамени скромен наряд,
но риск, и любовь, и терпенье
на наших погонах горят.

Гудят небеса грозовые,
сливаются слезы и смех.
Все — маршалы, все — рядовые,
и общая участь на всех.

Недавно Сергей Залыгин задумался над такой проблемой: «Среди нас нет уже личностей, непосредственно прошедших школу революции, нет и тех, кого миновала бы школа культа и застоя, мы все мазаны одним миром, все мечены — и ведь как мечены-то! — одной историей, иной раз и места-то живого на человеке от этих меток не осталось.

И вот что удивительно: пусть их немного, но остались же люди, сохранились с неискаженными психикой и мышлением, хотя уже мало кто верил, будто сохраниться все-таки можно».

Залыгина здесь интересует феномен появления тех высоких государственных и партийных руководителей, которые осознали необходимость коренной перестройки нашей жизни. Думаю, что проблема куда серьезнее и глубже: откуда перестройка, откуда XX съезд, в каких слоях общества прежде всего зрели перемены, почему эти слои в меньшей степени были задеты нравственными деформациями, порожденными сталинщиной, что послужило психологической базой для сокрушения идолов и кумиров. В автобиографической книге Булата Окуджавы, отразившей духовный опыт фронтового поколения, можно отыскать ответы на некоторые из этих непростых вопросов. Разумеется, он не историк, он не делает выводов, не предлагает формул. Он просто рассказывает о том, что было с ним и его товарищами на войне и после войны. А вот соображения об этом поколении историка (может быть, что-то в них выглядит проще, чем было в действительности,— реальная действительность всегда сложнее, противоречивее, чем последующие суждения о ней исследователей). Это соображения Роя Медведева, которого трудно заподозрить в сентиментальном или ностальгическом отношении к нашему прошлому: «Конечно, большая его часть полегла на полях сражений Великой Отечественной войны, но все-таки многие живы, и многое из того, что в них сохранилось, является сегодня тем капиталом, который используется в нынешней перестройке. Без этого капитала (который не мог уничтожить даже Сталин и вынужден был лгать, говорить хорошие слова, которым часто верили) мы не смогли бы двигаться вперед (и это важнее, чем какой-либо экономический потенциал) ни во времена Хрущева, ни сегодня».

На этом, наверное, можно было бы поставить точку. Но закончить заметки я хочу строками стихотворения Булата Окуджавы, они многое объясняют в его творчестве:

Судьба ли меня защитила, собою
укрыв от огня:
Какая-то тайная сила всю жизнь
охраняла меня.
И так все сошлось, дорогая:
наверно, я т а м не сгорел,
чтоб выкрикнуть з д е с ь, догорая,
про то, что другой не успел.

В мире журналов и книг

Вглядеться в прошлое

Есть понятия, сближение которых вызывает протест. Зазеркалье — край волшебного странствия. Пятый угол — термин, которым заплечных дел мастера обозначали один из распространенных в свое время методов ведения следствия. Для нашего сознания детская сказка и камера пыток существуют как бы в разных измерениях. Человеческой душе тягостно даже простое соседство слов, принадлежащих этим несовместимым мирам. Но сейчас я умышленно ставлю их рядом. Повесть Меттера вся строится на подобных немыслимых сближениях.

Это замечаешь не сразу. Здесь нет бьющей в глаза стилистической экстравагантности, нет грозного, сурового колорита, хотя перед нами исповедь героя, пережившего войны и революцию, сталинизм и ленинградскую блокаду, потерявшего самых дорогих людей при самых жестоких обстоятельствах. Первая же фраза повести говорит о смерти: «Друг моего далекого детства Саша Белявский погиб под Киевом...» А голос рассказчика звучит светло, словно беды и утраты, о которых вспоминает старый учитель математики ныне так же далеки, как детство лопоухого влюбчивого мальчишки, каким он был когда-то. Хочется верить, что этот настрадавшийся человек на склоне лет достиг душевного покоя. Он, правда, отрицает это: «В стародавние времена у пожилых людей было одно преимущество перед молодыми: им казалось, что они чище и точнее прожили свою жизнь. Это преимущество утрачено мной»...

Мелькнув в начале повести, подобная обмолвка настораживает. Ясно же, что герой Меттера не из тех, кто замарал свои руки кровью жертв или чернилами доносов. Да если бы его совесть была нечиста, разве мог бы он с такой всепонимающей усмешкой отвергать суд потомства? «Молодые люди, разговаривая со мной, дают мне понять, что у них нынче оскомина оттого, что я ел их виноград. Не ел я твоего винограда, молодой человек. И зря ты ходишь передо мной подбоченясь».

А все же в повести есть тайна. Память рассказчика хранит нечто такое, что лишает его сна даже тогда, когда прежние страсти улеглись, боль потерь притупилась. Еще не зная, что же произошло, читатель догадывается о какой-то вине, оставившей в душе героя неисцелимую рану. Отсюда и бесконечные возвращения в прошлое, мысленные блуждания по улицам городов, куда заносила судьба, разговоры с теми, кого уж нет на земле, неправдоподобно яркое переживание давнишних впечатлений — все то, из чего состоит повесть

Вглядываясь в прошедшее, повествователь пытается рассмотреть в нем свое лицо. Не стандартный образ скромного труженика, одного из миллионов. И не унылую фигуру неудачника, за честный труд всей жизни не получившего награды — ни счастья, ни спокойствия. Героя повести заботит другое. Как ибсеновский Пер Гюнт, этот человек на склоне лет спрашивает себя, где и когда он был самим собой, неповторимой, внутренне свободной личностью.

Герой Меттера ищет то, что в старину называли спасением души. Ищет, не зная, жива ли еще эта душа, по которой эпоха прошлась асфальтовым катком: «Кто мы — мое поколение? Мечтатели в двадцатых годах, поредевшие и пытанные в тридцатых, выбитые в сороковых, обессиленные слепой верой и не набравшиеся сил для прозрения, мы бредем в одиночку... Глядясь друг в друга, как в зеркало, мы поражаемся собственному уродству».

Рассказчиком движет потребность отыскать в своем прошлом красоту и добро, которые на весах совести могли бы перевесить соучастие в злодеяниях века: «Это было при мне, и я был с этим согласен — вот что я имею в виду». В отличие от многих герой Меттера не видит оправдания ни в былой вере, замешанной на трусливом недомыслии, ни в тяжких лишениях, выпавших на его долю. Даже ужасы блокады помянуты в повести словно бы вскользь. Он хочет мерить пережитое одной мерой — именно той, которой время пренебрегало,— жизнью души.

И. Меттер. Пятый угол. Повесть. Нева, № 1, 1989.

Герой воскрешает в памяти живописный харьковский двор, где прошло его детство, книжки тех лет, маму, друзей своей нищей романтической юности. И Катю Голованову, дочь профессора-медика, неотразимую, ветреную, своенравную... Редкий случай для нашей прозы: история любви, кажется, готова заслонить и драмы эпохи, и невзгоды героя, оттесненного на обочину жизни из-за принадлежности к последней из пяти «социальных категорий» той поры. «Сын частника» — это была печать отверженности, отравившей юность Бориса задолго до того, как вступили в силу «другие анкетные пункты», о которых герой упоминает между делом. Он не восклицает, не потрясает кулаками — к подлостям, в которых он уж точно не соучастник, рассказчик относится с печальным удивлением. А читателю не по себе от мрачного совпадения: пятая категория, пятый пункт, пятый угол...

Но, как бы то ни было, повесть все-таки о любви. И Катя здесь не только героиня, она — главный источник света, озаряющего жизнь повествователя. Этот свет так ослепителен, что и годы спустя Борис, в других случаях весьма приметливый, с трудом различает реальные Катины черты. Одно очевидно: Катя менее всего походит на Сольвейг, проведшую век в ожидании милого. Герою повести, доведенному до отчаяния ее непостоянством, не единожды приходится спасаться бегством от своей злосчастной страсти, уезжать и возвращаться, ссориться и мириться. Идут роковые десятилетия отечественной истории — двадцатые, тридцатые, сороковые. Мальчик Боря становится мужчиной, дерзкий самоучка — опытным преподавателем, харьковчанин — ленинградцем, потом жителем Свердловска... Смерть отца. Аресты друзей Война. Блокада. А Борис одержим Катей, и нет в мире силы, способной погасить это чувство. Герою повести суждено пережить неверную подругу, но не забыть ее. Бессонные «походы в свое прошлое» стали бы для старика-рассказчика одной каторжной мукой, если бы там его не ждала Катя, волшебница, чье присутствие превращает самую неприглядную реальность в край чудес.

Наверняка даже сегодня не каждый читатель сможет и захочет понять, почему автор не спешит изобличить героя-индивидуалиста, погрязшего в личных переживаниях в то время, когда народ... и т д. Но в том-то и дело, что Меттер рассказывает о человеке, который, разделяя с народом его судьбу, не умеет делить с толпой злобу и предрассудки. В своей любовной одержимости душа героя, сама того не осознавая, искала спасения от безумств века, его жестокостей, которым надо аплодировать, его чудовищных приговоров, под которыми надо всем вместе подписываться. А если попробуешь уклониться... «Все равно подпишешь, сука. А ну, ребята, покажите этой б..., где в нашей комнате пятый угол».

В сознании героя повести эта сцена повторяется каждую ночь. Хотя наяву это произошло не с ним. С Катей. Легкомысленная красавица погибла в сталинском застенке уже после того, как Борис набрался решимости порвать с ней, не отвечать на письма. В сорок девятом, когда Катю арестовали, он сжег эти нераспечатанные письма. «Из трусости».

Итак, классическая коллизия: герой-одиночка терпит крах. Недюжинные силы растрачены впустую. Любимая мертва, заповедный мир души разрушен, осквернен, и некуда деться от страшного вопроса: «Что же я делал в это время? Как я смел что-нибудь делать в это время? Все делали и я делал. Может быть, я в ту минуту, когда она искала в четырехугольной комнате пятый угол, где-нибудь смеялся. Может, я в это время сидел в театре. Может, я в это время жил?»

Голос рассказчика становится неузнаваемым. В отрывистой, почти бессвязной речи нет ни прежней мужественной ясности, ни грустной иронии, ни внезапного юношеского озорства. Только боль, от которой нет исцеления. На наших глазах тяжесть общей вины всех, кто в это время жил, обрушивается на плечи человека, менее прочих причастного ко злу.

Кто драл глотки, восхваляя вождя и требуя казней, спит спокойно. А Борис молчал — и не простит себе этого до конца дней. Снисходительный к другим, он без ожесточения нарисует портрет импозантного чекиста Тышкевича, ненадолго поразившего воображение Кати. С симпатией вспомнит добродушного малого и бездарного актера Астахова, сделавшего карьеру благодаря внешнему сходству со Сталиным. Разглядит какие-то человеческие задатки даже в Валдаеве, бывшем майоре госбезопасности, долдоне и антисемите. Только для себя герой повести не найдет оправданий. В юности он проповедовал классовый подход к математике. Он сжег письма. Он не боролся, не протестовал, он гнал от себя сомнения. Он — предатель.

Что ж, безжалостный счет самим себе всегда предъявляют не те, кто всех греховнее, а те, у кого есть совесть. По нынешним временам эта извечная закономерность проявляется особенно наглядно. Перед лицом отечественных бед честные люди говорят о покаянии, а негодяи похваляются патриотическим рвением и преданностью идеалам. Повесть Меттера, написанная более двадцати лет назад, на диво злободневна. А нравственная цена поражения, постигшего ее героя, может быть, выше, чем цена победы.

И все же это поражение. Оно не оборачивается победой, не стоит тешить се-

бя этой слишком привычной иллюзией. Страдания и размышления героя повести возвращают ему человеческое достоинство, но не радость бытия. Когда же в своих путешествиях во времени он порой встречает себя — прежнего, не сломленного,— разговор двойников не клеится, и старший в который раз с отчаянием убеждается, что не сумеет ни о чем предупредить младшего.

Зато в повести есть предостережение для нас. Не высказанное впрямую, оно оставляет в сознании сегодняшнего читателя отнюдь не праздную тревогу. Разделение граждан на пять неравноправных социальных категорий — с этого молодое государство начинало свой путь, ведущий, казалось, ко всеобщему счастью. И ни Борис, попавший в последнюю из этих категорий, ни его друзья не думали роптать на несправедливость. Тогда еще не было страха, он пришел позже. Совесть поколения училась молчать, добровольно склоняясь перед высшими соображениями.

Сегодня, отравленные плодами той науки, мы ищем лекарства. Как некогда деды, мы с надеждой повторяем слова о новом пути, о преображении общества. Нами владеет лихорадка нетерпения, и у нас, как когда-то у них, есть для этого серьезные причины. Тому молодому человеку, что «ходит подбоченясь», они могут показаться более важными, чем совесть... И очень хотелось, чтобы он прочел повесть Меттера, писателя талантливого, страстного и много повидавшего. Пусть молодой человек, пока не поздно, вглядится в зеркало прошлого. Возможно, там, в зазеркалье, его ждет двойник. Хочет предупредить...

Ирина Васюченко

Криминальная экономика

Это роман о мафии. Не итальянской или американской. Нашей, отечественной.

Роман, как говорится в подобных случаях, обречен на успех. Хорошо это или плохо? Хорошо, потому что прочитают его многие. Но широкая популярность имеет и свои издержки: читатель, пораженный экзотичностью повествования, увлеченный разгадыванием прототипов,— роман писался «по живому», на материале узбекских дел,— может и не освоить в полной мере важную для автора мысль.

А экзотики здесь действительно много. Вот, скажем, детали описанной в романе свадьбы: утопающий в цветах, украшенный мраморным фонтаном двор, способный вместить не одну сотню гостей; нанятая танцовщица, оставляющая перед воротами в бесконечной веренице автомобилей свой «мерседес»; пачки денег в не потревоженных еще банковских упаковках, которые дарят разгоряченные мужчины танцовщице; личные телохранители, оберегающие покой некоторых из гостей...

Не менее экзотичны такие, например, ситуации: депутат Верховного Совета республики, орденоносец берет из колонии «напрокат» наемного убийцу; первое лицо области вызывает к себе главу теневой экономики, местного «крестного отца», чтобы вместе лететь в Ташкент «добывать» освободившееся место первого секретаря. И т. д. и т. п... Дело не в стремлении автора к сенсационности, перед нами просто специфика жизненного материала, к которому обратился писатель.

В известной степени мы уже подготовлены к восприятию всей этой фантасмагории судебными отчетами и очерками в нашей периодике. Но вот готов ли читатель к тем выводам, что предлагает ему Мир-Хайдаров?

Центральная фигура его повествования — прокурор Азларханов. Честный, мужественный человек с обостренным чувством социальной справедливости, образованный, талантливый юрист — именно эти качества прокурора, как ни парадоксально, и привлекли к нему внимание главы местной мафии Шубарина. Он обращается к прокурору с предложением вступить в «дело». Для понимания романа этот эпизод ключевой.

Шубарину не откажешь в логике, он мыслит трезво (даже несколько заземленно, как покажет финал). Дело в том, что как раз честность, бескомпромиссность, компетентность и сделали невозможной работу Азларханова на посту областного прокурора. Его пути пересеклись с интересами могущественного семейного клана Бекходжаевых, нынешний глава которого — председатель хлопководческого колхоза-миллионера, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета республики. Человек из могучей когорты тех, кто твердо уверен, что высокий пост предполагает не высокую ответственность за доверенное дело, а прежде всего власть, право распоряжаться своим колхозом, районом, областью, как своей вотчиной. Бекходжаев может публично заявить: «Закон — это я!». Его сын, студент-юрист, убивает жену Азларханова, и, хотя всем известно, кто убийца, судят другого. Сын Бекходжаева проходит по делу как свидетель и чуть ли не жертва. Прокурор же, попытавшийся добиться справедливости, теряет все: доброе имя, работу, здоровье, даже право на защиту (его негласно объявляют психически ненормальным). И вполне логично, что находящийся в сложных отношениях с законом мафиози идет к бывшему прокурору как к с в о е м у. У них общие враги, более того — схожие судьбы: и тот и другой не смогли реализовать свои добрые задатки — знания, талант, энергию — в обычной, законной жизни.

Конечно, прокурор может возмутиться, заявить, что его случай частный, не отменяющий общих закономерностей существования социалистического общества. Но у Шубарина есть еще один аргумент, на который он вправе рассчитывать,— его дело. Страницы, описывающие подпольный синдикат Шубарина, из самых удачных в романе. Прокурор узнает о существовании прекрасно налаженного, безупречно функционирующего комплекса предприятий легкой промышленности, который можно сравнить с айсбергом,— малая часть производственных мощностей существует легально, основная же — «под водой». Официальная отчетность не дает и отдаленного представления о размахе его деятельности. Предприятия поставляют на рынок дефицитнейшие товары, намного превосходящие государственные качеством, но отнюдь не ценой. Здесь самая высокая в отрасли выработка, самая низкая себестоимость, стопроцентная реализация продукции, прекрасные условия труда. Потолка зарплаты нет, оплата впрямую зависит от количества и качества произведенного. «У нас нет проблем с трудовой дисциплиной, нерадивостью,— рассказывает Шубарин,— невыгодно у нас болеть, тем более простаивать. Никому не приходится напоминать об экономии сырья, энергии». Здесь не зажимается инициатива, предоставляется творческий простор таланту инженера или администратора, они стимулируются всей системой производственных отношений. К своему «делу» Шубарин привлекает лучших специалистов края. Он уверен, что «без внимания к человеку и хорошей оплаты его труда рассчитывать на успех бесполезно», «руководитель, не разбирающийся в экономике в совершенстве,— нонсенс, абсурд». И это не красивые слова — это деловые принципы Шубарина. Разительный контраст с теми государственными предприятиями, которые обращают в дым, труху, брак тысячи тонн дефицитного сырья, тысячи часов рабочего времени, несчетные киловатты электроэнергии, и все эти потери покрывают непомерно вздутыми ценами на свою продукцию.

Знакомясь с синдикатом Шубарина, невольно ловишь себя на мысли, почему, собственно, деятельность его предприятий должна считаться преступной, а существование государственных предприятий, пускающих по ветру труд и средства,— законным? Есть у этого вопроса и другой, так сказать, бытовой, «житейский» аспект: куда пойти работать, если представится выбор,— на государственное предприятие или к Шубарину? И если честно посмотреть вокруг, то вынуждены будем признать: для многих решение в пользу «шубаринского варианта» кажется само собой разумеющимся. Теперь-то мы знаем, как много было подобных синдикатов, «цехов», «артелей» от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Батуми... Людям, потерявшим веру в самую возможность здорового функционирования государственной экономики, «шубаринский вариант» начинает казаться реальной альтернативой хозяйственной неразберихе и разладу. Но это иллюзия, и иллюзия опасная. Ведь на самом-то деле синдикат Шубарина может существовать только в условиях хронического дефицита, непомерного роста цен и унизительно низкого уровня зарплаты. Шубарин кровно заинтересован, чтобы ничего не менялось, чтобы в высоких кабинетах сидели люди с неповоротливыми мозгами и жадными, цепкими руками. Синдикат Шубарина, кажущийся на фоне нашей больной экономики оазисом разумного порядка, самим своим существованием поддерживает, укрепляет общий разлад и неразбериху. Это проявление далеко зашедшей болезни, но отнюдь не симптом выздоровления.

Неуютно чувствуешь себя, следуя за анализом писателя. Кажется, еще немного, и процесс станет необратимым. В перспективе просматривается полное сращение административного аппарата с теневой экономикой и организованной преступностью; возникает призрак нового, невиданного в мире монстра: всесилия мафии в обществе, с еще слабо развитыми формами демократического самоуправления, психологически еще не оправившемся от сталинизма.

Да и не так уж фантастична эта картина, не так уж призрачен этот монстр. Мир-Хайдаров, строго следовавший за реалиями его узбекской разновидности, изображает предприятия Шубарина существующими вполне официально, даже получающими переходящие знамена (очень выразительна сцена с группой мафиози, в своем кругу отмечающих победу в соцсоревновании!). Пайщиками, а значит, и участниками и надежными защитниками синдиката становятся влиятельнейшие люди в республике. Диктатура административно-хозяйственной верхушки, сросшейся с преступным миром, была, как свидетельствует пресса, чуть ли не абсолютной. Трудящиеся целых областей (республики?) оказались заложниками «шубаринско»-рашидовской мафии...

Рецензенту полагается говорить о литературном уровне произведения. Скажу сразу — роман не показался мне худо-

Рауль Мир-Хайдаров. Пешие прогулки. Роман. М., Молодая гвардия, 1988.

жественным открытием Мешает известная выпрямленность психологических портретов, рыхлость композиции, условность сюжетных ходов. Но Мир-Хайдаров, можно полагать, и не ставил перед собой собственно художественных задач. Он писал не психологическую прозу или философскую притчу, а криминальный роман. И уж тут в полной мере писатель использовал возможности выбранного жанра для социально-экономического, отчасти — экономического анализа одной из самых больных наших проблем.

Наибольшую социальную опасность для общества, считает автор, представляют не наемные убийцы и не новоявленные гангстеры, завораживающие порой внимание прессы, и даже не подпольные синдикаты, а дорвавшиеся до власти бекходжаевы с их психологией феодалов. Перекосы в социальной и экономической жизни страны, сделавшие не только возможным, но и неизбежным появление «теневой экономики»,— плоды именно их «государственной» деятельности.

С привычной надеждой смотрим мы сегодня на создаваемые спецотделы, спецподразделения для борьбы с организованной преступностью. Кажется, еще одно усилие — и организованная преступность будет вырвана с корнем, пойдет на убыль... Но писатель уверен — ситуация гораздо серьезнее.

В финале романа появляется, правда, несколько сдержанная, но все-таки оптимистическая нота: близятся новые времена — умирает «первое лицо» республики, и Шубарин вместе со своим высоким покровителем вступают в борьбу за власть. Азларханов же решает сделать то, ради чего он пошел на сотрудничество с мафией: пытается передать в республиканскую прокуратуру собранные им разоблачительные документы. Азларханов гибнет на пороге своей победы. Но гибнет и его преследователь. Что будет дальше?.. Здесь писатель ставит точку. До настоящего финала еще далеко.

С. Костырко

Время быта

В первой половине 80-х годов — на исходе периода, который мы сейчас называем «застоем»,— одним из самых популярных «мальчиков для битья» в критике был Анатолий Курчаткин. Ругали курчаткинских персонажей за отсутствие духовных взлетов, приземленность, а самого автора — за слишком тщательное, вроде бы самоцельное изображение быта, неспособность углядеть в жизни героев-преобразователей. У критики в те годы был готов универсальный рецепт: просто изображать быт нельзя, он должен перерастать в бытие. Многие из тех, кто обеспечил в свое время популярность «бытовой прозе», резко сменили манеру письма, обратившись к жанрам притчи, философской повести, эссе.

А Курчаткин оставался верен незамысловатым житейским историям простых инженеров, служащих, штукатурщиц, рабочих — подробно описывая, как они встают по утрам, умываются, что едят, как работают на заводе или фабрике, о чем говорят перед сном с женой (или мужем). И в самом деле: ни порывов духа (лишь иногда какая-то неясная тоска или миг спокойной радости), ни сильных страстей, ни экстремальных ситуаций, ни высоких целей, казалось бы...

Вызывал на себя критические залпы не только Курчаткин-прозаик, но и Курчаткин-критик. Редко случается, чтобы написанная прозаиком статья — вернее, даже само название ее — стала неким знаком, символом, активно используемым не только при рассуждениях о его произведениях, но и в разговорах о целом периоде развития литературы. Но именно так произошло с нашумевшей в свое время статьей Курчаткина «Время штиля» («ЛО», № 12, 1980), которая явно раздражала оппонентов: что за время штиля? Когда успешно завершается строительство развитого социализма, когда происходят грандиозные изменения на политической карте планеты, когда человек штурмует космос, когда... Потом, правда, оказалось, что «штиль» все-таки был.

И не просто штиль: «застой», «стагнация», «глухие десятилетия» — как только не называем мы теперь тот период, с середины шестидесятых до начала восьмидесятых, когда происходило становление Курчаткина-прозаика. Он писатель по преимуществу социальный: ни запоминающихся пейзажей, ни виртуозного психологизма, ни стилевых красот не найти у него (говорю это, конечно, отнюдь не в похвалу ему), но вот «отпечаток времени» явлен в его произведениях с предельной отчетливостью. А времена ныне меняются быстро. Чем же интересен нам сейчас сборник, куда включено, пожалуй, лучшее из написанного прозаиком в те самые годы — 1967—1982? Только ли возможностью прокрутить назад киноленту, оживить застывающий в исторической перспективе вчерашний день? Или же он помогает лучше понять и день сегодняшний, разобраться в его насущных проблемах?

Анатолий Курчаткин. Повести и рассказы. М., Советская Россия, 1988.

Время штиля, в отличие от бремени духовного служения, не было легко и ломало многих. Проявлялось его разрушительное действие в разных слоях нашего общества по-разному, но суть была одна: утрата веры и идеалов, ради которых стоило жить. Если надолго лишить человека витаминов или возможности двигаться, наступают патологические изменения в организме; если лишить его идеалов, высшего смысла и оправдания проживаемой жизни, наступают необратимые изменения во внутреннем мире. Возникающее чувство отчаяния и потерянности многие заглушали пьянством или наркотиками, некоторые — уходом в «красивую» жизнь или мистику. У Курчаткина — и это наиболее привлекает меня в его творчестве — душа более всего скорбит о так называемом простом человеке: о тех, кто вынес на себе адскую тяжесть первых пятилеток и коллективизации, голод и войну, кто всю жизнь провел в бараке или коммуналке (десять человек на восемь квадратных метров); чьи дети и внуки тоже хлебнули такого, что однокомнатную квартиру в «хрущобе» или окраинной новостройке (пополам с тещей) считали верхом счастья. Карточки и нищенские трудодни — у старших. Минимальная зарплата, постоянная забота: как бы получить наконец долгожданную отдельную квартиру, хоть небольшую прибавку к зарплате — у младших. Непомерная тяжесть обыденного существования, в буквальном смысле не оставляющая времени вспомнить о душе: тяжкая, монотонная работа, вытягивающая все жилы дневная маета в очередях и на транспорте, ночная — между столом, раскладушкой и кроваткой больного ребенка...

В умении не просто показать все это, но заставить читателя словно бы самому все пережить (а многим из нас тут и особой фантазии не требуется), вызвав в душе почти физическую боль за раздавленного бытом человека, с Курчаткиным мало кто может сравниться из ныне действующих прозаиков.

И вот что характерно: писатель не на стороне тех, кто бунтует против давящей на человека силы; напротив, симпатии его принадлежат тем, кто приноравливается к давлению: «Тащить свой воз, какой достался, думал Павел. Не ловчить и не хитрить, как бы другие вокруг ни преуспевали, хитря и ловча, таким тебя вылепило, что не можешь, и быть таким, не оглядываться на других. И уж не подличать тем более. Тащить свой воз: какой достался — такой достался. И не обращать внимания, что не так что-то, хомут ли натирает, узда ли больно жестка... все равно из оглобель не выпряжешься, не одни, так другие. Приноровиться только, взять шаг, свой именно, каким можешь, чтобы не сорваться, не запалить дыхания...» Именно на таких людях и держалась наша жизнь в тяжкие десятилетия тоталитаризма, волюнтаризма и застоя, когда по всем экономическим законам жизнь эта должна была вот-вот «пойти вразнос». Не пошла — только потому, что в тяжелейшие минуты, когда уже, кажется, были исчерпаны до предела человеческие силы, тысячи таких, как Павел или как герой последнего романа Курчаткина «Вечерний свет», старик Евлампьев, говорили себе, вздохнув: «Надо работать — как же иначе...»

Но ведь — это мы понимаем сейчас — именно покорность и долготерпение привели к тому, что диктаторский (сталинский) режим продержался у нас дольше, чем в какой-либо иной стране в XX веке; что отсутствие элементарных условий для жизни человека и поныне не считается у нас чем-то недопустимым и нетерпимым; что и сегодня, даже в Москве, возможно закрыть, никому ничего не объясняя, скажем, вход на центральную станцию метро или перегородить на год одну из главнейших магистралей, и все будут месяцами покорно идти и ехать в обход...

Может ли не понимать всего этого Курчаткин? Понимает. И пытается эту проблему решить.

Курчаткин видит, что покорность, долготерпение — у представителей старшего поколения и у их детей и внуков — качественно разные. У старших это одухотворяющее чувство самоотречения и долга перед будущими поколениями, ради счастья которых они были готовы поступиться всем. Но счастье не наступило, и сегодня можно спорить о цене такого самоотречения; мы теперь знаем и то, как десятилетиями использовалось оно властъ имущими в корыстных целях. Несомненно одно: верность долгу нравственно укрепила людей и помогла выстоять предвоенному и военному поколениям. В судьбе же родившихся в конце сороковых — начале пятидесятых (они-то и являются в основном героями произведений Курчаткина, включенных в сборник) произошел слом: не принимая идеалов своих отцов, они в большинстве своем так и не обрели новых. Именно с конца 50-х, кстати, когда представители этого поколения пришли в литературу, возникла в нашей прозе проблема быта, ибо пустое, лишенное целей и идеалов проживание жизни в одном лишь материальном мире есть адова мука для духовного существа, каким является человек. Но и бунт против кабалы быта, не будучи основан на духовных, нравственных началах, тоже оборачивался злом: пьянством, развратом, стремлением к красивой жизни на «западный» манер, либо разрушительной самоизоляцией, уходом в бичи и бомжи. Большее всего такой бунт бил именно по близким «бунтаря»... Поэтому Курчаткин и отдает предпочтение таким героям, как Павел, которые несут жизненную ношу без нытья, злобы и жалоб, не оглядываясь постоянно, на кого бы ее переложить, списать собственные грехи, пусть в нынешних обстоятельствах

его смиренне н верность долгу можно расценнть как покорность обстоятельствам. Да н в каких формах должна была выразиться непокорность того же Павла: подыскать себе более интересную работу (но кто-то тогда все равно должен будет делать ту, которую ныне делает он), любыми неправдами (иного путн ведь нет!) «выбить» себе квартиру, бросить семью?

Но... надолго ли хватит покорностн, не подкрепленной духовными опорами ни изнутри, ни извне? Внутренней духовной опоры таким, как Павел, взять неоткуда, а вокруг господствует система ценностей совсем нная: «хочешь жить — умей вертеться...» И перед мало-мальскн задумывающимся героем Курчаткнна, да н перед самнм писателем, нензбежно встает вопрос: «что нужно, какая снла должна держать человека в равновеснн, чтобы он мог вот так, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, втнснутый в восьмичасовой замкнутый суточный цикл, мотаться в одном хомуте, ие меняя его, натягнвать все те же дряхлеющие вместе с ним старые постромкн, бежать по одной и той же дороге, все по одной и той же — изо дня в день, из месяца в месяц, нз года в год?..»

Не случайно все достигшие более высокого, чем Павел, уровня духовного развитня герон Курчаткина (такие, как «Гамлет из поселка Уш», к прнмеру) полны отчаяния перед жизнью, и образ черного, заслоняющего все низкого потолка часто возннкает в их снах. Тоскуя и мучаясь в настоящем, они боятся будущего: «Я испытываю какой-то мистнческий страх перед предсказанием, **предначертанием** — где-то в глубине души, не верящей ни в какое предопределение, живет маленькое темное облачко животного ужаса перед той бездной, которая называется будущим, перед той неизвестностью его, в которую идешь волейневолей, уподобясь слепцу с широко раскрытымн, пустымн глазамн, н только-то и хватает обзора — на длину палочки, которой обшарнваешь дорогу впереди себя» (рассказ «Сверчки»); на вопрос же черта, что такое человеческое счастье и зачем вообще нужно жнть и стремиться к чему-то, ничего толком ответить не могут (рассказ «Гость»). Не остается в душе сил нн на любовь к женщине, ии на любовь к отцу с матерью — хватает лишь «на маленький костерок» мимолетного влечения, после которого остается «куча серой золы». Не случайно ведь нн в одном произведении, вошедшем в сборннк, нет оптнмистической концовки...

Состояние безысходности никогда не могло удовлетворить ни одного писателя, работающего в русле традиций отечественной классикн. Однако попыткн Курчаткнна предложить некий выход, неиую современную систему нравственных ценностей либо осуднть какую-либо «антисистему» оборачивалнсь откровенной дидактнкой («Семь дней недели», «Хозяйка кооператнвной квартиры», «Новый ледииковый пернод», не вошедшая в сборнкк киноповесть «Бабнй дом»). Но в лучшнх своих произведениях Курчаткин не берет на себя роль судьи своих персонажей — он осуждает **устройство жизни**: с помощью постоянной смены ракурсов, точек зрения, с которых ведется повествование, он показывает, что пожалеть и понять нужно каждого, и зачастую то, что мы спешим назвать черствостью, эгоизмом, бездушием, есть ие что иное, как выражение предельной замордованностн человека нечеловеческим бытом.

Времена, однако, меняются. А сегодня особенно быстрые перемены происходят в духовной преимуществеино сфере. Чуткий к «давлению времени», Курчаткнн не может не уловить этого. Быт во все времена был н остается неким средоточнем жнзни человека: будучи обусловлен его материальиой природой, он чрезвычайно завнсим в то же время н от духовных сфер, от Бытия. В разные эпохн взаимопроннкновение этих двух начал изменяется: усиление одного влечет умаление другого. Знаю, писатель не соблазнится первымн переменами, которые в поселок Уш доходят долго и трудно. О нем он будет помнить всегда. Мне было бы ннтересно прочнтать то, что Анатолий Курчаткин пишет сегодня.

Карен Степанян

О пользе упрямства

Мне рассказали об экспериментe, проведенном зарубежными психологамн. Детям показывают две дощечки — черную и белую — и просят назвать их цвет. Онн отвечают так, как есть: «Это — черное, это — белое». «Правильно,— хвалит их воспнтатель.— А теперь поиграем в такую нгру. Сейчас я покажу черную дощечку, а вы скажнте, что она белая. А когда покажу белую, говорнте, что она черная. Понятно?» «Понятно!» — хлопают в ладошки ребята, и каждый нз них друг за другом поочередно выкрнкивает перед черной дощечкой: «Белая! Белая! Белая!»

Юрий Черниченко. Хлеб. Очерки. Повесть. М., Художественная литература, 1988.

Так все повторяется раз за разом, но когда очередь доходнт до одного упрямого мальчишки, игра дает сбой: черную дощечку он называет черной, а белую — белой. Он знает правнла нгры. Он понимает, что нарушает всеобщее веселье н подводит своего воспитателя. Он все понимает. Но как только ему покажут черную дощечку, он твердит чуть слышно, но внятно: «Черная...» Он н рад бы поиграть вместе со всеми, но у него не получается. Наказывай его, уговаривай, проси, конфеткой задабрнвай, кол ему на голове тешн, а он: «Черная». Не может по-ниному. Просто не может. Вот и все.

Этот зловредный упрямец неотвязно стоял перед глазамн, пока я читал новую книгу Юрня Чернмченко. Не знаю: проводнлся лн тот зарубежный эксперимент, нлн кто-то сочиннл прнтчу о не умеющем солгать даже в шутку? Но то, что писатель, по прнроде своей души не способный называть черное белым, есть. Книга Юрня Черниченко «Хлеб» — живое тому свидетельство.

Это сборннк — повесть «Целина» и восемь очерков, известных по журнальным публнкациям нли по предшествующим изданиям. Каждая работа датирована: первый очерк — 1965 год, последний — 1982 год (с дополненнями 1986 года). Как раз между этими датами пролегла та длинная и печальная череда лет, которую сейчас принято называть периодом застоя.

И вот что интересно. Времени прошло немало, но нн один из давнишних очерков, даже «Кубань — Вологодчина», напечатанный почти четверть века назад, еще тогдашним, старым «Новым миром», не потерял злободневностн: живая, действующая, работающая публицистика. Автор, наверное, н сам был бы рад, если бы его очеркн «устарели», перешли в разряд литературных памятников. Но нет, не стареют, к сожаленню. И поэтому совершенно прав А. Адамович, написавший в предисловии к книге: «Сегодня Юрия Черниченко — как нашли».

Еще одно, не менее интересное. Многим пишущим о селе и сельском хозяйстве не хотелось бы в иашн дни не только переиздавать, но даже и вспомннать какие-то свои работы застойных времен. В отличие от них Ю. Черниченко нечего стыдиться: он не кривя душой прошагал сквозь строй всех этих лет — таких побуждающих к вранью, таких отзывчивых на ложь.

К счастью, Ю. Черниченко не одинок. А. Адамович, говоря о признанных мастерах деловой деревенской прозы, не случайно поставил рядом с ним А. Стреляного и Г. Лисичкина. Надо бы добавить Б. Можаева, В. Белова, Е. Носова, В. Астафьева, В. Распутина (именно как публицистов), И. Васильева, Е. Будннаса из Мннска, недавно ушедшего из жизни П. Ребрнна из Омска, М. Петрова из Калннина, еще несколько имен, но все равно перечень не будет длинным. И хотя огонь, зажженный в еще более суровые времена Овечкиным, Дорошем н Троепольским, ие потух, поднялся, стал ярче, все-таки удел нести его, не спотыкаясь, выпадает немногим.

Говорить правду трудно. Однажды мне случилось видеть, как это делает Ю. Черниченко.

В конце 1983 года я случайно встретил Юрия Дмитриевича с его телевизионной группой «Сельского часа» в Русско-Полянском районе Омской области. Там сложилась интереснейшая ситуация: сама жизнь подсказывала тему для размышлений н сравнительного анализа.

Южная окраина Омской области не клином, а фигурной загогулиной входит в земли Павлодарской области Казахстана: чтобы попасть из Русской Поляны на центральную усадьбу совхоза «Добровольский», надо проехать по территории соседнего казахстанского хозяйства. Проезжающему бросалось в глаза: на омских землях пшеница выглядит лучше. Наблюдение подтверждалось данными об урожайности совхозов-соседей: у омичей она выше, причем зерно лучше, засоренность ниже.

В чем дело? И по ту, и по другую сторону межреспубликанской границы одни и те же почвы. Дожди, суховеи, морозы тоже не обращают внимания на административно-территориальное деление нашего Союза республик: там засуха — н тут засуха, там льет с небес как нз ведра во время уборки — и тут льет. Одни и те же машины, трактора, комбайны, одни н те же тукн...

Может быть, дело в людях? Тоже нет. В этническом отношении юг Западной Сибири н Северный Казахстан близки. И там, и тут — где больше, где меньше — казахские аулы. В селах и деревнях — по-разному: в однх преобладают украинцы, переселившиеся сюда еще в столыпинские времена, в других — русские, коренные сибиряки-«чалдоны», в третьих — немцы, изгнанные в годы сталинщины нз Поволжья. Живут здесь н голландцы, н татары, в свое време много было эстонцев, латышей, литовцев, поляков... Боже, кого здесь только не было?! И на все это напластовался мощный многонациональный поток освоителей целины 50—60-х годов.

Словом, омские н казахстанские зерносовхозы — близнецы-братья во всех отношениях. А урожаи, сила и чистота пшеницы разные.

Ю. Черниченко понимал, почему так происходит. Он хорошо знает эти края, здесь начиналась его писательская биография, о чем вспомнилось в очерке, датированном 1986 годом: «Почти четверть века назад один южанин, приехавший в Сибирь руководить областью, сказал одному сравнительно молодому аграрному журналисту:

— Оставайся. Можно хорошо поработать.

Но я уехал в Москву...

Вспомнилось не без печали. Ю. Черни-

ченко уехал, а «южанин» остался, честно тянул год за годом доставшийся в наследство тяжелый воз и — хорошо поработал.

К началу 80-х годов Омская область представляла собой, если можно так выразиться, один из тех полигонов, где подспудно, а порой и подпольно отрабатывались на практике идеи и методы, которые впоследствии привели к тому, что мы называем сейчас перестройкой, экономической реформой, демократизацией хозяйственной жизни.

Ведь все это не на голом месте выросло. Зрело, пробовалось, отрабатывалось: на Ставропольщине, в Вологодчине, на Украине под Полтавой, в грузинской Абаше, в Прибалтийских республиках...

Постигая трудную школу Мальцева и Бараева, поощряя почвозащитную систему интенсивного земледелия, расширяя площади гонимых в ту пору чистых паров и защищая трижды проклятую кукурузу, осваивая еще не вошедший в моду коллективный подряд в масштабе целых совхозов и районов, внедряя чековую систему хозяйственного расчета и т. п. и т. д., омичи шли на риск.

В конечном счете готовность к обдуманному риску себя оправдала. Потом Ю. Черниченко напишет: «Сила пшеницы — производное людских отношений».

Итак, он понимал, в чем причина перепадов в урожайности совхозов-близнецов: у омичей есть какой-то простор для хозяйственной инициативы, а их соседи связаны по рукам по ногам беспрестанными «указивками» и «давиловкой сверху», погоней за пресловутым «казахстанским миллиардом».

Одно дело — понять, а совсем другое — сказать вслух, открыто, принародно, на всю страну.

Передача «Сельский час» была подготовлена, несмотря на явное недовольство Алма-Аты. И вдруг — поразительнейшее дело! — омичи тоже воспротивились.

Их позиция: свое дело делаем, вроде что-то получается, лишний шум только повредит; обойдемся без славы и рекламы, чтобы не дразнить гусей, не будить у них ревность и зависть.

Ю. Черниченко был в очередной командировке, но и здесь его достали из Омска. В телефонной трубке знакомый голос (тот самый «южанин»): «Прошу. Снимите передачу. Не ссорьте меня с Кунаевым».

В трудной ситуации оказался Юрий Дмитриевич. Все против. Добро бы только оппоненты, но и соратники, союзники, опора и надежда — тоже против.

Что делать?

Правду надо говорить. Только правду. И ничего, кроме правды. Должны же мы в конце-то концов быть упрямыми, правду говоря.

Ю. Черниченко вышел в эфир.

Из Алма-Аты на Центральное телевидение немедленно двинулась «телега». На казенной титулованной бумаге — весьма солидная подпись, за которой угадывался гнев самого двухзвездного Д. А. Кунаева.

Это сейчас просто сказать... А в ту зиму...

Гневался не кто-нибудь, а брежневский «Димаш», первый секретарь ЦК КП Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС. Нешуточное дело. Н е т е л е г а катилась на Ю. Черниченко — асфальтовый каток.

С фактами, приведенными писателем, спорить не стали: он твердо стоит на проверенном, здесь его не собьешь. В вину вменили другое: сопоставляя работу омских и павлодарских совхозов, он-де вбивает клин между Россией и Казахстаном, сеет межнациональную рознь.

Любой мало-мальски знающий этническую ситуацию на целине, понимает, что это чушь неимовернейшая. Но — аргумент! Но — официальная бумага! Но — солидная подпись! Центральное телевидение должно отвечать и делать о р г а н и з а ц и о н н ы е в ы в о д ы.

Над Юрием Дмитриевичем сгустились тучи.

...Как раз в эти дни, в марте 1984 года, мне случилось поехать на целину. Хотелось побывать в совхозе «Ленинский» (первоначальное его название «Непобедимый») Северо-Казахстанской области: в 1956 году вместе с друзьями-студентами и местными плотниками мы строили там корпус больницы на необжитом клочке ковыльной степи, на окраине березовой рощицы-колки на задах поселка, за палатками, полевыми вагончиками, бараками-времянками, от которых теперь и следа не осталось.

О Ю. Черниченко — по свежим следам его «Сельского часа» — зашла речь еще в Петропавловске, в обкоме. Все в один голос: нехороший человек, сталкивает лбами казахстанских и омских директоров совхозов.

Ну, а сами-то они, казахстанские директора, о чем думают?

Об этом я и спросил директора совхоза «Ленинский» А. Д. Захарова.

— Черниченко?! — воскликнул он.— Ох, написал бы я ему письмецо.

У меня по случайности запала в блокноте фотография от предыдущей командировки: снял на память телегруппу «Сельского часа» в Русско-Полянском районе. Протягиваю ее директору:

— Хотите написать — пишите. Можно на обороте этой фотографии.

А она маленькая — в четвертушку тетрадного листа.

Захарову, экономя место, пришлось ужимать письмо, лепить слово на слово.

Вот что написал директор целинного совхоза с 1965 года, потомственный крестьянин (воспроизвожу так, как есть, без правки): «Дорогой, многоуважаемый Юрий Дмитриевич!

От всей души и сердца целинников и всех тружеников с/хозяйства, от всего директорского корпуса совхозов и председателей к-зов рад за Вашу титаническую работу в программе Сельский час, которую изменили ВЫ в разрезе директив партии, советского правительства и нашего советского народа. С уваж. дир. с-за Захаров».

И еще добавил:

— Не дайте ему сойти с «Сельского часа».

Тлек Сураганов, парторг совхоза, хотел было и от себя дописать несколько слов, но места уже не оставалось.

— А вы напишите в адрес Центрального телевидения,— предложил я.— Черниченко сейчас туго приходится.

— Напишем! И на телевидение, и в ЦК напишем. За таких, как Черниченко, надо горой стоять, надо их защищать.

Не знаю, написали ли. Скорее всего, думается, Юрия Дмитриевича защитило время.

Погода другая наступила. Поднимались апрельские ветры. «Телега» из Алма-Аты увязла в новой оттепели. Обошлось.

Вскоре многое переменилось. Русско-Полянский секретарь ушел на п о в ы ш е н и е в Омск, омский секретарь («южанин») — в Москву, а «Димаш» — на пенсию... Все закончилось почти как в святочной сказке. Но далеко не каждый раз так случалось.

Как-то один из мастеров деловой деревенской прозы сказал о лучшей своей работе: «Сколько сраму натерпелся, пока это дошло до печати, сколько унижений вынес, сколько благоглупостей наслушался».

Если бы Ю. Черниченко рассказал о судьбе каждого очерка из сборника «Хлеб» — каждого без исключения, если бы он переиздал их, включив все то, что пришлось в свое время вычеркнуть, и все то, что сознательно не начинал писать, зная заведомо, что наверняка будет вычеркнуто,— какая бы интересная вышла книга.

Л е в В о с к р е с е н с к и й

Сокровенная суть географии

Свою первую статью об Александре Гумбольдте Игорь Михайлович Забелин написал молодым, еще в 1959 году. И с тех пор не расставался с ним на протяжении всей писательской и научной жизни, оборвавшейся так рано. Вышедшие в прошлом году книги и статьи — последние и самые зрелые плоды этой привязанности.

И. М. Забелин, как и Гумбольдт, много писал и много путешествовал. Он побывал в тех местах Южной Америки, описание которых принесло в свое время Гумбольдту великую славу в европейском образованном обществе. Наш современник застал там иную цивилизацию, но удивительно сходны, однохарактерны впечатления, которые владели обоими путешественниками при виде тропических лесов или величественных Анд. По всей вероятности, им обоим было ведомо то чувство особого творческого углубления, которое именуется созерцанием природы. Оно не сводится к наблюдению, изучению или исследованию. Созерцание скорее сродни художественному впечатлению.

И. М. Забелин был одним из немногих ученых, не утративших это умение в наш век специализированного знания. И потому ему легко дается со-чувствие и со-мыслие с Гумбольдтом: образное схватывание ландшафта и стремление понять связь и значение невидимых в нем движений. Он умеет передать способ видения натуралиста, когда детали не заслоняют целого, его смысла.

В эпоху, когда жил и творил Гумбольдт, науку еще относили к явлениям культуры, а не к производительным силам, и потому перед научным описанием ставилась задача воспитания души человека. «Влияние физического мира на нравственный,— вспоминает Забелин слова своего героя,— таинственное взаимное проникновение чувственного и внечувственного придает изучению природы особую, хотя еще мало оцененную прелесть». Эстетическое, а не утилитарное отношение к природе более всего привлекает автора.

Гумбольдт не мог смириться с распространенным мнением о том, что знание убивает красоту. Для него, говорит Забелин, исследовать — значит охватить целое, понять его в его совокупности. Великий ум способен отыскать во многом единое, и чем многообразнее материал, который он привлекает для обоснования единства мира, тем углубленнее взгляд натуралиста. Он видит за единичностью неповторимо стройную закономерность и возвышающую душу гармонию.

Недаром Гумбольдт предпринимает чрезвычайно необычное для географа «путешествие» — в глубь предшествующей культуры. Ему было важно узнать каково отношение человека к природе в произведениях искусства, духовное взаимодействие человека с окружающим миром. Как, начиная с античных словесных

И. М. З а б е л и н. Возвращение к потомкам. Роман-исследование жизни и творчества Александра Гумбольдта. М., Мысль, 1988;
И. М. З а б е л и н. Его космос.— Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сб. 21. М., Советский писатель, 1988;
И. В. К р у т ь, И. М. З а б е л и н. Очерки истории представлений о взаимоотношении природы и общества. М., Наука, 1988.

и пластических искусств и кончая веком сентиментализма и романтизма, природа сначала лишь робко возникала, а затем все настойчивее проявляла себя в художественных произведениях.

Удивительно, замечает он, как много римских писателей переходили Альпы в свитах великих полководцев и ни один из них не оставил нам описания природы, например, великолепных закатов солнца или ледников. Остались только жалобы на трудности пути через Гельвецию. В средние века природа третировалась как источник греховности, что тем не менее способствовало вниманию к ней. И постепенно из фона исторических деяний, из сценических декораций пейзаж стал самостоятельным объектом изображения и даже поклонения. Причиной расширения области эстетики как раз и служит, по Гумбольдту, научное постижение окружающего мира.

При чтении биографии ученого у меня неотступно всплывали в памяти тютчевские строки: «В ней есть душа, в ней есть свобода»,— и не случайно: строки эти появляются в книге. Забелин акцентирует внимание на гумбольдтовской теме свободы, воспитываемой в нас природой. Ученый был убежден, например, что описание природных богатств Южной Америки в громадной мере способствовало ее политическому освобождению от испанского владычества, недаром среди его друзей был Симон Боливар.

Но знание раскрепощает и в других смыслах. Оно не дает руссоистского «возвращения» в золотое природное состояние. (Вспоминается восклицание толстовского Феди Протасова о цыганской песне: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля...») Нет, не волю как стихию безначалия проповедует Гумбольдт, а следование заложенной в природе и должной быть постигнутой целесообразности и порядку. При этом он избегает и другой крайности — «бюффоновского начала» — отрицания за природой «права» на самостоятельность, стрижка ее под цивилизаторскую гребенку техническими ножницами. Вот почему он так не любил насильственно геометрические регулярные парки и так любил тропики. Гумбольдт считал девственную природу тропиков как бы законченной и совершенной, а растительность и животный мир умеренных стран — лишь приближением к совершенству. «Но в богатстве языка, в живой фантазии поэта европейцы находят удовлетворительную замену,— цитирует Забелин Гумбольдта.— Магия искусства переносит их в отдаленнейшие части земли... Тот, чье чувство реагирует на эту магию, чей ум достаточно развит, чтобы объять природу во всех ее проявлениях, тот создает в своем одиночестве свой внутренний мир».

Внутренний мир... Так что же изучает география? Каков конечный вывод той науки, чье имя означает землеописание? И почему один человек, такой, как Гумбольдт, овладев ученостью, становится способен охватить необозримый внешний мир? Не наводит ли это на размышления о глубочайшей и таинственной (в смысле: еще непознанной), но ощутимой связи космоса внешнего и внутреннего, равновеликости научного окоема и горизонтов человеческой души?

Полюс жизни Гумбольдта, его главная книга — «Космос». После тридцати томов описания путешествий по Америке и России возник у него этот грандиозный замысел объять весь видимый мир. Такой же научный подвиг совершит позднее Владимир Иванович Вернадский — «сомыслитель» Гумбольдта, как называет его Забелин. Его имя все чаще возникает на страницах книги, когда автор приступает к рассказу о «Космосе».

И Гумбольдт и Вернадский начали писать свою книгу жизни на восьмом десятке лет. Как странно и, в сущности, как логично, что обоими учеными, так хорошо исчислившими внешнюю действительность, овладело в конце пути то чувство, которое вдохновляло всегда поэтов:«Проверь весь внешний мир: везде закон, причинность, но нет любви: ее источник — Ты!» (М. Волошин. «Путями Каина»).

Человек призван дополнить мир, и значит, необходим в нем. Бесконечные по силе и глубине проявления человеческой личности, заявлял Вернадский, сами по себе представляют новую мировую картину. Разум неустраним из научного объяснения мироздания, т. е. представляет собой природное, объективное явление.

Забелин во многих трудах и прежде всего в «Человеке и человечестве» тоже видел значение географии в самопознании людей. «Мудрость географии» (так, кстати, называется еще одна посмертно вышедшая книга И. М. Забелина) свидетельствует: расширяя область известного, мы формируем самих себя. Чем развитее наука, чем изощреннее ее методы, тем многочисленнее пути познания целостности, заключенной в человеке. Парадокс в том, что каждый человек отражает этот мир не частично, а целиком. И чтобы не затеряться в разнообразии путей, остро необходимы такие люди, как Гумбольдт.

Мыслители прошлого умели, исследуя мир, не упрощать его, не сводить к абстрактным механическим схемам, а включать сокровенную сущность человека в область ведения. Вернадский обозначил очеловеченную природу или сферу природного бытия разума ноосферой, взяв этот термин у своих французских учеников. Почти за сто лет до него Гумбольдт называл эту оболочку планеты интеллектосферой. Понятия однохарактерные, хотя и не совпадающие по объему. У Гумбольдта оно едва намечено, у Вернадского более развито. Но им обоим не хватило жизни, чтобы развернуть свои представления в большое учение.

Эта живая суть сочинений мудрецов и

ценится все более с годами. После смерти Гумбольдт был забыт, а сегодня он входит в кругозор каждого образованного человека. Еще более бурно происходит воскрешение идей Вернадского.

В их книгах мы уже не ищем конкретных знаний, они давно перешли в плоть науки, потеряли имя своих открывателей. За информацией мы обратимся к новейшим справочникам. Но мы найдем в них нечто большее — нравственные ориентиры, отражение личности творца.

Мы постоянно переписываем прошлое, т. е. в своем стремлении вперед как бы непрерывно оглядываемся на предшественников. И видим, что мысль и совесть человечества, как на высоковольтных опорах, держится на таких столпах, как Гумбольдт или Вернадский. Следя за ними, мы выверяем свое положение в окружающем мире.

Забелин заканчивает свой роман-исследование размышлениями о такой «ненаучной» категории, как счастье, которое дает наука. Гумбольдт был счастливым человеком, потому что непрерывно ощущал в творчестве свою неслучайность, причастность к миру вечных истин. Думается, прикосновение к нему во многом объясняет ту внутреннюю связь людей и идей, о которой говорилось выше. Наверняка оно влекло и давало возвышенную радость и создателю книги о Гумбольдте.

Г. Аксенов

Спрос на личность

Не замечать статей Натальи Ивановой в последнее время, кажется, нельзя. Их замечают. И расходятся при этом во мнениях собратья по критическому цеху. Оценка творчества критика бывает столь полярной, что иной раз задумываешься, об одной ли и той же Ивановой пишут, обвиняя ее то в экстремизме, то в приверженности традициям критических обзоров времен пресловутого застоя.

Но оставим полярность мнений, время сделает поправку на крайность подобных оценок, чрезмерный запал иных полемик, которые так присущи последнему времени. Заметной, увы, становится и другая тенденция: снисходительно-покровительственный тон по отношению к критику, еще вчера вроде бы ходившему в «молодых», а ныне явно вырвавшемуся из этого, нужно признаться, эластичного определения.

Скажем, вот упоминание о предыдущей книге Н. Ивановой «Проза Юрия Трифонова» (кстати, это была первая ее книга и вообще первая монография о творчестве писателя): «Очень даже неплохая книга»... «Очень неплохая» — это что, значит,— «хорошая»? А «даже» — это, очевидно, удивление автора? Остается лишь догадываться, что стоит за подобной оценкой.

Так чем же объяснить интерес к выступлениям Н. Ивановой? Возросшим авторитетом литературной критики? Восстанавливающимся доверием к печатному слову? Актуальностью ли самой книги? Или, может быть, тут дело в особой приверженности автора к полемике, что неоднократно и намеренно подчеркивается многими, кто замечает эти выступления в печати?

Возможно, и этим. Судя по тому, насколько расходятся во мнениях пишущие о ней, Н. Иванова — «неудобный» критик. Прежде всего тем, что ее не убедишь числить по ведомству литературы то, что литературой не является. Что положение писателя в окололитературной табели о рангах ее как будто и не волнует. Что к какому-либо «лагерю» она решительно отказывается относить себя. Полемический же тон ее выступлений рождает порой и резкое отношение к сказанному ею.

Нынче говорят, что, мол, само время благоприятствует Н. Ивановой в ее работе. Конечно, нельзя не согласиться, благоприятствует, но ведь в равной степени, как и многим другим.

В книгу «Точка зрения» вошли литературные портреты Ф. Искандера, А. Битова, В. Маканина. И полемические статьи, посвященные современной «массовой» литературе (которой, как можно было подумать, прежде у нас в отличие от греховного Запада вроде и быть не могло). И размышления о прозе восьмидесятых, написанные то в жанре годового обзора, то как монографическая статья. И осмысление остро вставшей сегодня перед всеми нами проблемы наследия. Эта вечно новая старая проблема оборачивается под пером критика неожиданной стороной: а что же мы-то сами, н а с л е д н и к и?... «Время возвращает, воскрешает мыслителей, ученых, писателей прошлого, ищет у них ответа на свои вопросы. И этот отбор тоже диктуется временем и, в свою очередь, формирует лицо этого времени».

Книга критических статей, очевидно, как никакая другая, нуждается во внутреннем стержне. Статьи, собранные вместе, могут так и остаться отдельными фрагментами, уйдя из журнального или газетного контекста, в котором жили сегодня, вчера. Что же нужно, чтобы з а в-

---

Наталья Иванова. Точка зрения. О прозе последних лет. М., Советский писатель, 1988.

тра части эти, собранные под одной обложкой, стали целым?

В книге Н. Ивановой мне видится несколько силовых линий, которые проходят через все ее разделы, несколько устойчивых черт, присущих подходу критика к текущему литературному процессу, что и позволяет обнаружить этот самый стержень.

Одна из линий — соединение общего и частного, планов общих и крупных. С этой точки зрения становится понятной и кольцевая композиция книги: первый и последний разделы ее позволяют выявить общие принципы, общий взгляд критика. В центре помещены литературные портреты и полемические статьи.

Уже по первому разделу легко проследить, как соединяются литературоведческое начало, вкус критика к слову, поэтике и постепенно возрастающая публицистичность. «Сюжет и слово в рассказе», «Перекличка (О сходстве несходного)» — может быть, статьи эти и не придутся по вкусу иным любителям полемической перепалки. Но объективный читатель заметит другое: «На протяжении последних десяти — пятнадцати лет критика упорно противопоставляла прозу деревенскую городской прозе... На самом деле литература начинает обнаруживать обратную тенденцию: к сопоставлению, а то и к диалогу, ибо ценности писателей того и иного направления — общие, несмотря на «прописку», на территориальную разделенность. При внимательном чтении прозы Ю. Трифонова, В. Распутина, В. Маканина можно увидеть гораздо больше близкого, чем антагонистического... Между ведущими писателями этих направлений существует несравненно более тесная связь и родство, чем между ними и их собственными эпигонами...»

Наталья Иванова понимает, что сегодня особенно важно, более чем когда-либо, быть в критике самим собой; это, естественно, диктует и позицию,— обостренное восприятие времени, текущей исторической современности. И как бы в награду за внимание критика к своему времени ей дается понимание того, что и «полемичность», и «диалог», и «личный тон» (то, что характерно и для прозы этих лет) — все это обусловлено временем, вызвано к жизни именно им.

Может, потому и сборник работ назван так подчеркнуто личностно «Точка зрения», хотя многим, наверное, еще памятны шестидесятые годы, когда в спорах о новой прозе подвергалась сомнению сама возможность такого личностного, субъективного начала, возможность единичной точки зрения. И вот все чаще ныне на наших глазах, даже в научных статьях и вплоть до изменившейся манеры ведущих телепередачи, на смену ложно-академическому, псевдоскромному «мы» приходит форма первого лица. Право на голос, на личный тон все решительнее заявляет о себе и в прозе, и в критике этих лет. «Спрос на личность» — эти слова не случайно выделены у Н. Ивановой разрядкой.

И все же, очевидно, в этом надо искать разгадку притягательности недавно вышедшей книги.

Многое из литературы, которая вызывает сегодня такую яростную полемику, через десять — пятнадцать лет, может быть, и не вспомнится. Поэтому, не соглашаясь, скажем, с некоторыми оценками Н. Ивановой, в частности, прозы А. Битова, я не оспариваю автора. Существует иной, чем у Н. Ивановой, взгляд и на произведения В. Маканина... Но личность критика, его точка зрения — это и есть то, что, по слову Гоголя, позволяет пережить «эфемерность журнального существования».

Е. Орлова

Неудобный классик

То, что Салтыков-Щедрин — классик, знают все. И все же есть в признании Щедрина как классика что-то незавершенное, я бы сказал, формальное. Поясню это таким примером.

Несколько лет назад в Институте мировой литературы в Москве проходила щедринская научная конференция — отмечалось 125-летие со дня рождения писателя.

Конференция как конференция: то же обилие докладов и сообщений, те же темы: «Традиции Щедрина», «Новаторство Щедрина», «Щедрин и наша современность» и т. д. Но по завершении мероприятия нельзя было отделаться от ощущения некоторой аномалии: чем-то конференция не дотянула, чем-то отличалась от себе подобных. Потом я понял, чем: почти полным отсутствием текстов самого писателя. Наша приверженность к авторитетным цитатам общеизвестна, а тут ее как ветром сдунуло... Странно, но факт: выступающие избегали цитировать Щедрина! Одни, возможно, не хотели замутить чистоту научного жанра ядовитым и занозистым щедринским словом, другие... другие боялись «аллюзий».

Получилось, что все пришли лишь для того, чтобы поговорить самим, а не для того, чтобы услышать щедринское слово. Хотя, с другой стороны, именно нежелание слышать сатирика свидетельствовало о том, что он, по выражению поэта, «живее всех живых».

Если этого примера недостаточно, приведу еще один. Обратили ли вы внимание, что Щедрин чрезвычайно редко используется для всякого рода дежурных лозунговых фраз — не в пример другим классикам? Тут уже не аллюзии виноваты: почти любое высказывание можно повернуть так, чтобы из него вышла надлежащая польза. Сумели же небезызвестную лермонтовскую строку «Люблю отчизну я, но странною любовью!» представить в таком виде: «Люблю отчизну я!» Но вот в щедринской фразе, в самой ее интонации и фактуре есть что-то непреодолимо упрямое, сопротивляющееся всяческим вивисекциям. По-моему, интересный вопрос для лингвистических штудий.

Обстоятельно и глубоко отвечает на него Андрей Турков, хотя его книга не лингвистическое исследование, рассчитанное лишь на узких специалистов. Перед нами биографическая повесть, появившаяся несколько лет назад и недавно в дополненном виде переизданная издательством «Книга», которое таким образом пополнило свою замечательную, получившую широкое признание серию «Писатели о писателях».

Верный избранному жанру, автор убеждает читателей не сентенциями, а жизнеописанием своего героя. Ничего похожего на почти обязательную елейность в этом жизнеописании нет. Отношения Щедрина с другими великими — Тургеневым, Чернышевским, Некрасовым, Достоевским — сложные, иногда натянутые, нередко враждебные. Существование в семье, вначале родительской, потом своей — бесприютное, одинокое. Манера обхождения с окружающими — резкая, сухая; теплого, сочувственного слова не дождешься — оно прячется под маской равнодушия или суровости. Щедрин сознавал все это сам,— в книге Туркова он говорит: «У меня был плохой характер». Однако прибавляет: «...Но верный глаз. Я далеко видел...»

Избегая упрощения, А. Турков показывает, что в глубине одно с другим связано — «характер» и «взгляд». У Щедрина была поразительная способность всегда видеть оборотную сторону явления, мешавшая ему поддаваться общественным обольщениям и эйфории. Наверное, началось это еще с первого произведения, подписанного псевдонимом «Щедрин» — с «Губернских очерков». Тогда многих увлекли надежды, пробудившиеся после смерти Николая I; у Щедрина же один из его героев полон ощущения сложности происходящего:

«Оттепель — говорю я себе — возрождение природы; оттепель же — обнажение всех навозных куч... Оттепель — с гор ручьи бегут; бегут, по выражению народному, чисто, непорочно; оттепель же — стекаются с задних дворов все нечистоты, все гнусности, которые скрывала зима... Оттепель — пробуждение в самом человеке всех сладких тревог его сердца, всех лучших его побуждений; оттепель же — возбуждение всех животных его инстинктов».

Благодаря своему проникающему взгляду писатель склонен был постоянно производить проверку и перепроверку понятий. Например, для него, как для любого русского интеллигента XIX века, надышавшегося воздухом 40-х годов и воспитанного проповедью Белинского, не было более дорогого слова, чем «народ». Но только до тех пор, пока сюда не примешивалось нечто от идолопоклонства. При малейшей угрозе последнего включалась мощная щедринская мысль, которая устанавливала различие сходного и отметала стереотипы. Ведь проситель из «Губернских очерков», явившийся к начальству за разрешением... дать сдачи обидчику,— тоже представитель народа. А те, кто в «Сатирах в прозе» присутствует при избиении невинного,— даже и не отдельные представители, а целый коллектив, сплоченный одним чувством и переживанием. «...Толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошенько его! хорошенько его!» — неистово гудела тысячеустая. «Накладывай ему! накладывай! вот так! вот так!» — вторила она мерному хлопанью кулаков».

«Этот страшный крик,— замечает А. Турков,— мерещился Щедрину все эти годы, когда один за другим всходили на «позорный» эшафот, шли на каторгу и в тюрьмы люди, пытавшиеся помочь народу».

Аналогичная мыслительная работа проводилась Щедриным и при анализе других, как он говорил, «висячих в воздухе представлений об этой жизни». Патриотизма, скажем. «Бессознательность — вот желанная основа для того патриотизма, который любезен начальству» («Сила событий»). Затем сатирик уточняет: не вообще «бессознательность», а применительно к определенной сфере жизни. В одной сфере полагалось быть более сознательным, а в другой — менее сознательным, а в третьей — и вовсе индифферентным. Но такое разделение несбыточно и утопично. «Нельзя сказать человеку: «вот здесь, в сфере внутренних интересов, ты будешь индифферентен и скуден инициативой, а вот там, в сфере внешней безопасности, ты обязываешься быть пламенным и изобретать все, что нужно, на страх врагам». Это невозможно, во-первых, потому, что внутренние интересы всегда ближе касаются человека, и, во-вторых, потому, что дух инициативы не с неба сваливается, а развивается воспитанием и практикой».

Возможно, слово Щедрина потому так неподатливо и малопригодно для конъюнктурного применения, что это всегда слово с огромным полемическим зарядом отталкивания. Сатирик словно знает наперед, в каком направлении может быть перетолковано его высказывание, и заранее отрезает к тому все пути. Поп-

---

А. М. Турков. Ваш суровый друг. Повесть о М. Е. Салтыкове-Щедрине. М., Книга, 1988.

робуй, например, превратно истолкуй щедринскую мысль о национальном самосознании, если тут же указаны и те последствия, к которым приведет такое действие.

«Человек и без того уже наклонен воспитывать в себе чувство национальности более, нежели всякое другое, следовательно, разжигать в нем это чувство выше той меры, которую он признает добровольно, будучи предоставлен самому себе, значит уже действовать не на патриотизм его, а на темное чувство исключительности и особничества».

Подавать факт или событие вместе с его последствиями или, как говорил сатирик, скрытыми «готовностями» — особенность щедринской поэтики. Поэтому и перечитываешь его не совсем так, как любого другого классика. Обычное чувство при каждом новом чтении великого произведения то, что вот, мол, как все это глубоко и неисчерпаемо и как мы раньше всего этого не замечали. Читая же Щедрина, сверх этого чувства еще испытываешь некоторую ошеломленность оттого, что вымышленное неуклонно оборачивается реальностью, и никак не можешь отделаться от вопроса: не сбылось или уже сбылось?

В «Дневнике провинциала в Петербурге» герои впадают в истерическое самообличение: «Один из моих товарищей... предлагал Москву упразднить, а вместо нее сделать столицею Мценск. И я разделял это заблуждение!.. Другой мой товарищ предлагал отделить от России Семипалатинскую область. И я одобрял это предложение». С одним чувством читались приведенные строки в давние времена и с другим — после того, как мы узнали о нелепейших обвинениях и чудовищных самооговорах.

Да, в Салтыкове-Щедрине заключалась огромная сила предвидения. Утверждение банальное, хотя природа явления не так уж ясна. Великий сатирик объяснял это тем, что в иные эпохи жизнь сама идет навстречу фантазии и превосходит ее. Леонид Лиходеев в содержательном предисловии к настоящей биографии пишет: «Очень хороший писатель ничего не предсказывает и ничего особенного не предвидит. Он создает свою жизнь, и мы смотримся в эту жизнь и отворачиваемся от нее и разбиваем в злобе, как зеркало в пушкинской сказке, и возвращаемся к ней снова...» Есть, разумеется, и другие интересные суждения на этот счет, но что касается автора настоящей книги, то он просто показывает, как щедринская сила предвидения да и вся художественная мощь вырастали из его жизни, творчества, повседневной работы мысли [1].

Право биографа на выбор своего героя, как известно, никем не предписывается и не утверждается, но внутренне все же существует или, наоборот, не существует. Право Андрея Туркова писать именно о Щедрине я отчетливо ощущаю, и оно мне представляется бесспорным.

Впервые, кажется, я обратил внимание на А. Туркова лет тридцать пять тому назад. «Дело врачей» уже было прекращено как сфабрикованное, но никто тогда даже не пытался намекнуть на его юдофобскую подоплеку. В памяти еще была свежа лавина пещерных фельетонов и «откликов» читателей. И вот русский писатель, обратившись к повести Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль», посвященной судьбе еврейской девочки, громко и прямо говорит о позоре шовинизма. Говорят, у газетных публикаций век короткий, но ту давнюю рецензию из «Литературной газеты» люди моего поколения запомнили надолго.

С тех пор я стараюсь читать все, что подписано именем «А. Турков» — и биографические книги, и статьи по классической и современной литературе, и даже маленькие, в одну колонку, рекомендательные заметки, которые регулярно появляются в «Известиях» и в которых он хвалит именно то, что достойно похвалы, и поддерживает лишь то, что заслуживает поддержки.

Ю. Манн

[1] Литература о Салтыкове-Щедрине заметно растет. Среди последних книг: К. Тюнькин «Салтыков-Щедрин», Д. Николаев «Смех Щедрина», А. Ауэр, Ю. Борисов «Поэтика символических и музыкальных образов М. Е. Салтыкова-Щедрина». Но разбор новой щедринской литературы — особая тема.

Из почты «Знамени»

Бытие Николая Клюева в Нарымском крае и Томске в 1934—1937 годах описано им самим во многих письмах, в частности опубликованных «Новым миром» (№ 8, 1988, стр. 165—201). Однако подробности его пребывания в ссылке и тюрьме пока неизвестны читателю. Кое-что он с большей или меньшей тщательностью обходил в своих письмах, многого не мог знать, многое и сегодня остается для нас тайной за семью замками и печатями. А мемуаристы пишут и о смерти поэта от сердечного приступа на одной из железнодорожных станций, и об исчезновении при этом чемодана с рукописями, и о кончине поэта в томской тюрьме, и не просто в тюрьме, а в тюремной бане...

Так что же было в действительности?

Быть может, стоило бы рассказать о наших поисках, но я пока ограничусь лишь словами благодарности подполковникам Анатолию Кирилловичу Кондрашову (не могу отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что он когда-то был одним из лучших моих учеников) и Юрию Анатольевичу Петрухину... Без их помощи мы не узнали бы ничего.

«В Томске есть кой-кто из милых и тоскующих по искусству людей, но я боюсь знакомиться с ними из опасения, как бы наша близость не была превратно понята. Приходил ко мне юноша с лирическими великолепными стихами...» — писал Н. А. Клюев в феврале 1936 года, отбыв к тому времени два года ссылки из пяти, определенных ему по ст. 58—10 Московским ОГПУ. Надежда на освобождение не оставляла поэта, как, наверное, и всех, кто был репрессирован еще до «славного» 1937 года. Но нравы тех, кто называл себя чекистами в те годы, уже формировались в определенном направлении, это понимали и репрессированные. Поэтому Николай Алексеевич в письмах осторожен, он не называет не только юного стихотворца, но и никого из «милых и тоскующих по искусству людей», с которыми сошелся в Томске.

Томск и томичи едва ли могли тогда понравиться опальному поэту. Жители мест не столь отдаленных всегда знали, что от «политических» — будь то поляки, эсдеки, эсеры, анархисты, кулаки, враги народа, спецпереселенцы или еще кто-нибудь, надо держаться подальше. Но все же слух о том, что в нашем городе живет всесоюзно известный — это сейчас о нем забыли — поэт Николай Клюев, быстро прошел среди молодежи. Вот тогда-то любители поэзии, в основном студенты литературного факультета педагогического института (заметим, что в тридцатые годы он вовсе не был чисто женским) зачастили в переулок Красного пожарника. Этих студентов ныне почти не осталось, о своих встречах с Клюевым они, как правило, никому не рассказывали, да и записей, по всей вероятности, не оставили, тем более что сам Николай Алексеевич, о многом и охотно беседуя с молодежью, предупреждал — не приведи господь чего-либо занести на бумагу. Об этих его словах, да и о самих беседах — поэтическом семинаре? — много лет спустя рассказывал директор Томской студии телевидения Г. А. Ельцов, бывший тогда студентом и хорошо знавший Н. А. Клюева.

В осеннем семестре 1937/38 учебного года встречи поэта со студентами уже не могли состояться. 5 июня 1937 года (в «Новом мире» указана иная дата) на основании постановления Томского горотдела НКВД от 28 мая с санкции военного (!) прокурора 78-й стрелковой дивизии Н. А. Клюев был арестован. При аресте и обыске у него были изъяты и впоследствии по приговору суда конфискованы рукописи — небольшая тетрадь (всего четыре листа) и шесть отдельных листов, девять разных книг и удостоверение личности № 4275, с которым ссыльный два раза в месяц, 1 и 20-го числа, обязан был являться на регистрацию в горотдел НКВД. Разумеется, отыскать эти страницы сегодня не представляется возможным, скорее всего они были тогда же уничтожены за ненадобностью. А рассказ о чемодане с рукописями, увы, легенда.

На другой день состоялся допрос. Собственно, это был даже не допрос — поэта спросили только о том, за что он был осужден и выслан — вопрос, по меньшей мере странный в устах следователя. Ответ Клюева записан так:

«Проживая в г. Полтаве, я написал поэму «Погорельщина», которая впоследствии была признана кулацкой, я ее распространял в литературных кругах в Ленинграде и Москве. По существу эта поэма была с реакционным антисоветским направлением, отражала кулацкую идеологию».

Глубоко сомневаюсь, что именно так поэт формулировал суть поэмы, не его это лексика, не его это стиль, но «из дела слова не выкинешь».

Так или иначе, но на первый случай этого было достаточно, и Н. А. Клюева препроводили в тюрьму до следующего допроса, состоявшегося 9 октября 1937 года, через четыре месяца после первого. Этот допрос и был последним, но для рассказа о нем понадобится некоторое отступление.

В 1924 году барон Врангель создал «Русский общевоинский Союз», пытавшийся — не без успеха — объединить русское эмигрантское воинство. После смерти Врангеля РОВС возглавляли небезызвестные генералы Кутепов, Миллер и другие, к РОВС имели отношение многие видные деятели белой эмиграции. Попытки РОВС осуществить какие-либо крупные операции против Советской власти решительно пресекались активными действиями нашей контрразведки, и постепенно РОВС вынужден был перейти к мелким диверсиям, террористическим актам и т. п.

Это был естественный исторический процесс, противоречивший тем не менее теории обострения классовой борьбы. По этой теории РОВС должен был заниматься чем-то крупномасштабным. И вот на территории Сибири возникла его дочерняя организация — контрреволюционный, кадетско-монархический повстанческий «Союз спасения России». Задача Союза — подготовка восстания против Советской власти, восстания, которое должно было начаться к моменту нападения на СССР фашистских держав. К лету 1937 года НКВД сумел-таки раскрыть эту организацию, в частности ее томский филиал. Тысячи крестьян, малограмотных и вовсе неграмотных, довольно скоро признавали себя членами Союза, подписывали продиктованные им признания, их вели на заседание Тройки, а оттуда — на расстрел. Но даже палачам было ясно, что какой-нибудь Архип Гончаров, крестьянин из Монастырки Шегарского района или Филипп Воронков, плотник из Лукашкина Яра Александровского района, все же никак не «тянули» на руководящие должности в Союзе спасения. Нужен был кто-то покрупнее.

И тут такая удача! На втором допросе Н. А. Клюеву было предъявлено обвинение по ст. 58—2—10—11 УК РСФСР в том, что он является одним из руководителей и идейных вдохновителей «Союза спасения России», принимает в нем активное участие, группирует контрреволюционный элемент, репрессированный Советской властью, готовит вооруженное восстание. Никого при этом не смущало, что чуть выше, в «установочных данных» записано, что Н. А. Клюев никогда не служил в армии, не участвовал ни в контрреволюционных организациях, ни в бандах, ни в восстаниях, да и вообще общественно-политической деятельностью не занимался. Никого не смущало и то, что на момент ареста у «активного антисоветчика» был порок сердца, а в тюрьме его разбил паралич. Может быть, поэтому следователь состарил его в анкете на 14 лет, неверно записав год рождения — еще одно свидетельство тщательности ведения дела.

Н. А. Клюев виновным себя не признал, заявив, что «ни в какой контрреволюционной организации не состоял, к свержению Советской власти не готовился». Были — как и всегда — показания знакомых Клюеву членов Союза, изобличавшие поэта в контрреволюционной деятельности. Николай Алексеевич признал, что разговоры, которые можно назвать антисоветскими, он действительно вел, что говорил о неизбежности нападения фашистов на СССР (кто тогда об этом не говорил!), более того, он не отказался от того, что по убеждениям он монархист. Но он никогда не обсуждал вопроса ни о вооруженном восстании, ни о какой-либо организации.

Тогда от Клюева потребовали правдиво сообщить об организации, «так как следствием он достаточно изобличен». Не признав этого, Клюев отказался от дальнейших показаний, т. е., попросту говоря, отказался клеветать на своих томских знакомых. Скольких из них он спас?..

В тот же день ему объявили о завершении следствия и ознакомили с делом. Николай Алексеевич подписал протокол об этом, отказавшись дать следствию какие-либо дополнительные сведения.

В обвинительном заключении по делу 12301 отмечалось, что Клюев Н. А. является активным сектантским идеологом «Союза спасения России», созданного князем Волконским по заданию РОВС. Завербован в эту организацию Клюев в 1934 году (интересно бы узнать, где именно — ведь в начале 1934 года он находился в тюрьме в Москве, все лето того же года — в ссылке в Колпашеве, а с октября — в Томске?). По заданию руководства Союза Клюев непосредственно осуществлял и направлял контрреволюционную деятельность духовенства и церковников, а также писал клеветнические контрреволюционные сочинения, которые, помимо распространения среди участников организации, нелегально переправлял за границу.

...Специалистам не удалось восстановить содержание тщательно вычищенной фразы, поверх которой позднее напечатано «виновным признал себя частично»...

13 октября 1937 года Тройка НКВД Новосибирской области вынесла постановление о расстреле Клюева Н. А. за контрреволюционную повстанческую деятельность. А дальше в деле есть документ, страшный и по своей нелепости, и по своей правдивости. В нем указывается, что приговор приведен в исполнение 23—25 октября 1937 года. Трехдневный расстрел? Естественным может быть только одно объяснение — Тройка столько «наработала» во время очередной командировки в Томск, что выполнить ее решения в один день (одну ночь?) было невозможно. Приговоренных «сактировали» за три дня, а уж кого и когда именно, для исполнителей не имело значения.

В июле 1960 года Военный трибунал Сибирского военного округа установил, что никем и ничем руководить Н. А. Клюев не мог — кадетско-монархического повстанческого «Союза спасения России» вообще не существовало, он возник лишь в воображении верных учеников наркома Ежова. 29 июля поэт был полностью реабилитирован и дело о нем производством прекращено за отсутствием состава преступления.

...Можно по-разному относиться к творчеству Н. Клюева, как, впрочем, и к творчеству любого поэта, ибо настоящие поэты обязательно разные. Но если поэт кому-то не нравится, то вовсе не обязательно записывать его во враги нашего народа. Биография поэта возвращается. Будем надеяться, что возвращается, вернется и его творчество.

Л. Пичурин,
профессор,
председатель Совета Томского общества «Мемориал»
г. Томск

В редакцию журнала «Знамя» приходит много писем в связи с публикацией в №№ 10—12 за 1988 год моих воспоминаний. Поскольку поток писем очень велик, я не имею возможности ответить лично каждому читателю. Хочу через редакцию выразить глубокую признательность всем, чью душу тронули мои воспоминания, кто, читая, переживал вместе со мной. Особенно взволновали меня письма людей, которые были задеты трагическими событиями 30-х годов. Вместе с тем я испытываю радость, получая письма от молодых людей.

Хотелось бы также высказать свое мнение о двух «справках историка», опубликованных за подписью кандидата исторических наук Б. А. Старкова в ка-

честве примечаний. Первая справка касается Ягоды. Все, что написано о нем, основано на моих воспоминаниях. Этим объясняются мои размышления и выводы. В итоге я написала, что Ягода являет собой яркий пример растления личности. Вопрос, кто этому способствовал. Б. А. Старков сообщает, что в состав коллегии ВЧК — ОГПУ (1922 год) Ягода был введен под давлением Сталина и что Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский относились к Ягоде неоднозначно. Что касается Я. М. Свердлова, то мне известно, что тот относился к Сталину более чем прохладно, узнав его в Туруханской ссылке. Кроме того, Свердлов скончался в 1919 году и уже по этой причине не мог испытать на себе давление Сталина. Маловероятно, чтобы Ф. Э. Дзержинский в 1922 году ввел Ягоду (или, во всяком случае, участвовал в этом) в состав коллегии ВЧК — ОГПУ под давлением Сталина. Дзержинский был человеком огромного авторитета, мужества и воли. Он имел полную возможность противодействовать давлению Сталина, только вступившего на пост Генсека. Однако этого не случилось и, я думаю, только потому, что в ту пору Ягода был не тем Ягодой, каким стал впоследствии. Лишь в этом случае речь может идти о перерождении.

Вторая справка касается так называемых переговоров Бухарина с Каменевым. Из того, что я написала, Б. А. Старков делает такой вывод: «...вряд ли можно согласиться с утверждением А. М. Лариной, что факт переговоров Бухарина и Каменева был придуман Сталиным». Ничего подобного я не утверждала. Напротив, я отмечала, что Бухарин вел разговор в тоне абсолютной ненависти к Сталину. И Сталин, узнавший об этом, как я свидетельствую, не позже начала осени 1928 года, умышленно квалифицировал его как фракционность — блок. В этом вопросе мы придерживаемся одного мнения. Однако в понятие «переговоры» мы вкладываем различный смысл. Переговоры предполагают организационные выводы, в данном случае — блок против Сталина, и ведутся от имени остальных лидеров оппозиции — А. И. Рыкова и М. П. Томского. Как реагировали на разговор Бухарина с Каменевым А. И. Рыков и М. П. Томский, я показала документально, приведя их высказывания по этому поводу на XVI партсъезде в 1930 году. Что же касается архива Милюкова, который, как сообщает Б. А. Старков, располагал подлинной «записью» Каменева (если это машинописный, а не рукописный текст, я имею такую же «запись» только из другого архива), то, как предполагает историк, «Сталин узнал о свидании Бухарина с Каменевым не из троцкистских источников, а скорее всего информация шла из Москвы». Не могу с этим не согласиться. Но эта информация поступила из Москвы в таком виде, в каком она была нужна Сталину. В этом случае от Сталина же и пошли вымыслы о многочисленных контактах Бухарина с Каменевым, о которых теперь можно узнать не только из архивов западных, возможно и наших, но и из самооговора Бухарина на процессе.

Одно меня мучает: стоило ли освещать этот эпизод, когда оба они — и Л. Б. Каменев, и Н. И. Бухарин безжалостно уничтожены Сталиным; стоило ли писать о том, что окончательно сломленный Каменев поддерживал сталинскую версию о блоке не один год. И все-таки я не могла не остановиться на этом эпизоде, поскольку «блок правых» с Каменевым всегда фальсифицированно освещался в «Кратком курсе» истории партии и поскольку сам факт разговора с Каменевым с резкими нападками на Сталина был легкомысленным шагом Бухарина, как он сам признавал, облегчившим поражение оппозиции, защищавшей идейное наследие В. И. Ленина.

В заключение хочу выразить благодарность авторам писем, обратившим мое внимание на некоторые неточности, которые будут исправлены при издании «Незабываемого» отдельной книгой, которое планируется издательством АПН в текущем году.

А. М. Ларина (Бухарина)

В редакцию поступают возмущенные письма читателей с вырезками из многотиражной газеты «Братский металлист». В этой газете под рубрикой «Мемориал» помещен отчет о встрече в Братском горкоме ВЛКСМ с бывшим начальником «Озерлага» полковником в отставке С. К. Евстигнеевым и работником политотдела «Озерлага» Н. И. Терещенко. Цель встречи, как отметил второй секретарь ГК ВЛКСМ Э. Миронов,— «восстановление исторической правды о прошлом нашего края, увековечение памяти жертв репрессий».

Как же выглядит «восстановление исторической правды» по Евстигнееву? Цитируем «Братский металлист»:

«Вот что рассказал собравшимся С. К. Евстигнеев: «Считаю, что огромный вред наносят небылицы о лагере. Когда его работники изображаются извергами, издевающимися над заключенными,— это злобная болтовня.

Политотдел «Озерлага» действовал на правах райкома. В «Озерлаге» работало свыше 3 тысяч коммунистов и комсомольцев. В лагере были сосредоточены осужденные по политическим статьям: невинно репрессированные и полицаи, старосты, власовцы. Уголовников, глумившихся над ними, в «Озерлаге» не было».

В 1949 году, когда «Озерлаг» возглавлял С. К. Евстигнеев, в нем насчитывалось около 40 тысяч заключенных, включая военнопленных японцев. Норма питания осужденных, как рассказал он, соответствовала солдатскому пайку. Питание производилось три раз в день. При выполнении трудовой нормы выдавался 1 кг хлеба, при перевыполнении — 1 кг 100 гр, при недовыполнении — 800 граммов. В их рацион питания входили овощи, крупы, при отсутствии сахара он заменялся маслом, рыба мясом. Лагерь имел пять хозяйств, где были хорошая урожайность картофеля, высокие надои молока, капусту завозили.

С. К. Евстигнеев утверждает, что в лагере были больницы, где работали высококвалифицированные врачи, в том числе осужденные. Для заключенных были библиотеки с богатым выбором книг, выписывалось много газет и журналов. Два раза в месяц демонстрировались кинофильмы, 1—2 раза в месяц проводились концерты самодеятельности, велась спортивная работа. Строго соблюдался распорядок: 10 часов — на труд, 8 часов — на сон. Смертность в «Озерлаге» была ниже общесоюзной, поскольку там не было стариков, было мало женщин.

— У меня совесть чиста,— заявил бывший начальник «Озерлага».— Никогда у нас в лагере не избивали прикладами заключенных, не расстреливали их. В лагере были «дома отдыха» — оздоровительные пункты, был специальный, так называемый дом младенцев, куда отправляли беременных женщин. И молодые матери с малышами могли пробыть там до года.

Описание «Озерлага» А. Жигулиным в его повести «Черные камни» (журнал «Знамя» №№ 7, 8 за 1988 г.) С. К. Евстигнеев и Н. И. Терещенко считают клеветническим. С. К. Евстигнеев рассказал о гуманном отношении к женщинам, находившимся в заключении, о своих ходатайствах об их помиловании.

Главной задачей «Озерлага» было строительство железной дороги Тайшет — Лена. Основным средством воспитания — труд. Было организовано трудовое соревнование бригад.

На вопрос журналистов С. К. Евстигнеев ответил, что имеет награды: ордена Трудового Красного Знамени, два ордена Знак Почета, Красной Звезды, Дружбы народов, имеет 13 медалей, знак почетного энергетика, 4 грамоты ЦК ВЛКСМ, Почетные грамоты Верховных Советов Республик и другие.

«Собравшиеся, а среди них в основном были журналисты,— пишет иркутская газета «Советская молодежь», тоже поместившая заметку об этой встрече,— отнеслись к информации, сообщенной С. К. Евстигнеевым, с сомнением. Однако сам Сергей Кузьмич остался при своих взглядах. «Репрессии огульно рассматривать нельзя. Пока есть государство, есть и насилие»,— сказал он».

«Товарищи,— пишет «Братский металлист»,— редакция передает просьбу организаторов «Мемориала» рассказать правду об «Озерлаге», поделиться воспоминаниями о безвинно осужденных, просим выступить с воспоминаниями бывших заключенных этого лагеря, их родных и тех, кто работал в лагере».

Редакция журнала «Знамя» присоединяется к этой просьбе.

Советуем прочитать

Бор. Васильев. Вам привет от бабы Леры... Повесть. Нева, № 12, 1988.

Одна из примет творчества писателя Бориса Васильева — острая социальная направленность. И новая его повесть о Революции, «вечном двигателе духовного прогресса» — нравственности, красоте человеческой души, о совести, справедливости, мужестве, вере, о том, действительно ли «великая цель оправдывала все страдания — и личные, и народные».

...В разоренной, опустошенной северной деревне доживают свой век две старухи: «...вечно юная большевичка», потомственная интеллигентка, вершительница Революции, в старости баба Лера, и крестьянка, кулацкая дочь Аниша. Обе они Личности, не потерявшие высоких нравственных устоев, даже пройдя тяжким крестным путем сталинских лагерей, где в одном из них они и встретились, чтоб не расстаться до последнего дня жизни.

Оптимистичным финал повести не назовешь. «...Нельзя человеку божьи права себе забирать, не имеет он на это никакого такого права. Нет у него дозволения то отымать, что господь даровал: ни здоровья, ни любви, ни свободы, ни тем более жизни самой. Не наше это дело... суд да расправу чинить...»

Таковы горькие уроки жизни целого поколения, и во имя будущего мы не вправе их забывать.

Александр Скоков. Лебеда. Повесть и рассказы. Советский писатель. Ленинградское отделение, 1988.

Это вторая книга молодого ленинградского прозаика, моряка по профессии. Рассказ, давший название сборнику, символичен: лебеда «сама растет: не сеять, не поливать, без всяких удобрений сплошной стеной. И не сказать, чтобы бурьян,— польза от нее» — скотине в корм идет, в хлеб в голодные военные годы добавляли... В этом видится автору и суть характеров его героев, простых людей, рядовых тружеников с их житейскими невзгодами, бытовыми проблемами, личной неустроенностью. Но есть в душе каждого из них заветное, светлое начало — доброта,— черта, увы, под давлением десятилетий застоя все реже нынче проявляющаяся. Именно она, доброта, пронизывает страницы книги, многие из которых посвящены детям, старикам, животным.

Герои Скокова немало размышляют о назначении человека, отношении к ближнему, его месте в жизни и нередко приходят к неутешительным итогам: «беспутные дети мы у тебя, моя Родина! Хотим одарить счастьем всех — и не можем счастливо прожить жизнь собственную».

З. Румер. Колымское эхо. Публикация и подготовка текста М. Румера (Зараева). Подъем. № 12, 1988.

Журналист З. Румер в тридцатые годы работал в газете «Комсомольская правда», в 1938-м был репрессирован, прошел Колымские лагеря, ссылки. Через 16 лет реабилитирован, восстановлен в партии, возвратившись в Москву, работал последние 20 лет в «Литературной газете».

«Я попал на Лубянку как раз в ту пору, когда кадры Берия истребляли кадры Ежова. В камеры внутренней тюрьмы одного за другим спускали энкаведистов; они твердо знали: их ждет пуля, им отсюда не выйти. Они говорили мне: «Тебе дадут десятку, может, отделаешься пятеркой, ты выйдешь». Для них я был человеком, у которого есть надежды вырваться из этих стен, и в предсмертный час они торопились рассказать о себе. Днем, когда все в камере, они молчали, страшились стукачей, ночью камера пустела, шли допросы, и нередко мы оставались вдвоем, втроем, тогда-то и начинались исповеди. В лубянской камере я услышал то, что слышал потом много раз в других тюрьмах...»

Воспоминания обрываются на полуслове, в 1981 году смерть помешала автору закончить их. Но то, что успел записать журналист,— еще одно свидетельство очевидца.

Жизнь Есенина. Рассказывают современники. Серия «Литературные воспоминания». Составитель, автор вступительной статьи и примечаний С. П. Кошечкин. М., Правда, 1988.

9 марта 1915 года безвестный рязанский парень прочел несколько своих стихотворений Александру Блоку, который стал его «крестным отцом», разглядев в Есенине «талантливого крестьянского поэта-самородка».

Пожалуй, не много можно назвать имен, чья известность при жизни была бы столь велика. И по прошествии десятилетий читательская любовь к его творчеству не только не угасла, а, напротив, возрастала, завоевывая все большее число поклонников.

В чем секрет такой популярности? Ответить на этот вопрос помогает сборник воспоминаний.

Семь разделов книги, соответствующих разным периодам жизни поэта, создают ощущение целостности повествования о судьбе Сергея Есенина. О поэте рассказывают многие — крестьянка села Константиново, всемирно прославленный писатель, артист... Среди авторов воспоминаний — товарищи детства, родные, близкие люди, известные деятели искусства, такие, как А. Воронский, С. Городецкий, В. Качалов, С. Коненков, А. Луначарский, В. Маяковский... Их голоса не похожи один на другой, но всех объединяет одно: любовь к Есенину, деликатность.

Илья Фоняков. Мирное время. Стихотворения. Лениздат, 1988.

Как-то, выступая перед читателями небольшого поселка, «где ветром морским пахнут улица, камни и в скверах сирень», поэт получил записку такого содержания: «Каким Вы представляете завтрашний день?»

Стихи, собранные в книге,—попытка ответить на этот вопрос. «Вдуматься — так все на свете трудно...»; «Опять в дорогу — и опять я молод...»; «И этим живо слово на земле...»,— так называются разделы сборника И. Фонякова — журналиста, критика, поэта. Он размышляет о «самом длинном мирном времени в трудной истории нашей страны», в котором довелось жить. Тянется связующая нить из прошлого («... Тот мир я помню до сих пор...», «Портреты в стиле ретро», «Ленинградская квартира после артобстрела в 1941 году...», «По горячим следам», «Сельские элегии», «Собрание»...).

Журналистские пути-дороги за десятилетия работы в литературе сводили И. Фонякова с самыми разными людьми как в нашей стране, так и за ее рубежами (серия «Балканы»; «Европейские реалии»; «Вьетнамская глубинка»...), но всех людей планеты, по мнению автора, объединяет стремление познать сложность современного мира, ощутить себя причастным к его тревогам, делам, заботам, быть ответственным за его будущее:

Этот день — на пороге, наш
гость и судья,
А каким ему быть — все зависит
от нас...

Искусство кино. № 1, 1989.

Революционное обновление нашего общества, начавшееся после XXVII съезда КПСС, невозможно без осмысления общественно-политической ситуации шестидесятых годов. Процесс демократизации ознаменовался тогда мощным взрывом творчества. Не люди одного возраста, но «те, кто позитивно откликнулся на «оттепель» 50—60-х годов» — их называют сегодня шестидесятниками. Им посвящен этот номер журнала.

Редакционное вступление «Уроки», статьи И. Дедкова, В. Кардина, А. Гельмана... Авторы их пытаются разобраться в феномене шестидесятых, когда одной рукой данные свободы тут же были отняты другой.

В размышлениях В. Фомина о том, «как кино избавляли от крамольной темы», в ряде других материалов документально показано, как действовал запретительный пресс, по инерции, увы, все еще работающий и поныне. Поэтому статьи о таких неигровых фильмах, как «Процесс» И. Беляева, «Боль» С. Лукьянчикова и др., с трудом пробивающихся на экран даже в период гласности, перекликаются с рассказом о трагических судьбах Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Александра Аскольдова и их фильмов, пришедших к зрителям с опозданием в десятилетия.

Зарубежное кино представлено подборкой материалов об Анджее Вайде, чье имя тоже долгое время было у нас под запретом, а в рубрике «Вместо сценария» Э. Рязанов представляет главы из романа В. Войновича «Новые приключения солдата Ивана Чонкина», над экранизацией которого сейчас работает.

С. Рассадин. Расплюев и другие. Статьи. М., «Правда». Библиотека «Огонёк», 1988.

«Расплюев везде» — это звучит как предостережение или как диагноз, разумеется, если учесть, что речь о целом комплексе качеств, в котором и пытается разобраться эта статья». В своеобразной трилогии пристально рассматривается проблема «маленьких людей», вырастающих в больших подлецов, человеконенавистников, подминающих под себя талант, неординарность, ум, честность, добро, порядочность. Под острым взглядом критика оказывается классическая русская литература XIX века, из которой вышел не только «маленький человек» Гоголя и Достоевского, но и Иван Антонович Расплюев Сухово-Кобылина, *«добровольный холуй*, который (когда наступит черед...) станет *торжествующим хамом»*. Так характеризует автор социальное явление, называемое «расплюевщиной». От Расплюева до «среднего человека» Зощенко, а от Зощенко — до булгаковского Шарикова, и далее до вседозволенности периода культа, активного приспособленчества, годов застоя — таков диапазон литературного исследования С. Рассадина.

А. М. Самсонов. Знать и помнить. Диалог историка с читателем. М., Политиздат, 1989.

Видный советский военный историк собрал в книге наиболее интересные и характерные из 2,5 тысячи писем, которые получил от своих корреспондентов за последние два года. Тут и полярные точки зрения на роль Сталина в войне и истории («Сталин был у нас в стране хорошим «тягачом»: когда нужно было вытягивать, все средства были хороши» — «наши победы... были не благодаря, а зачастую вопреки Сталину»), и суждения о причинах наших неудач в начале войны, и тревога за судьбы нынешней перестройки («Многие думают: а вдруг все вернется?.. Бытует и такая «теория»: сейчас всем дадут высказаться, а потом опять «гайки закрутят»!»).

Читатели, участники войны, вспоминают малоизвестные эпизоды, особенно периода 1941—1942 годов, еще недостаточно исследованные в советской военно-исторической литературе. Спорят и о роли народа и военачальников — Жукова, Ворошилова, Тимошенко, Рокоссовского и др.— в победе. Рас-

суждают о трагедии генерала Д. Г. Павлова, иных руководителей Западного фронта, на которых возлагали вину за первые поражения в борьбе с гитлеровцами, а потом незаконно расстреляли в самом начале войны. В книге приведено немало данных о репрессиях 30-х годов, трагедии коллективизации, жестокой судьбе советских военнопленных в гитлеровских и сталинских лагерях.

Читательские письма — это не только ценнейшие свидетельства очевидцев, но и незаменимый исторический материал, социологический срез общественного мнения, без знания которых невозможно осмысление событий нашей истории.

Записки императрицы Екатерины Второй. Репринтное воспроизведение издания 1907 года. Орбита, Московский филиал, 1989.

На титульном листе книги значится: «Перевод с подлинника, изданного Императорской Академией Наук, с 12 портретами и 5 автографами, С.-Петербург, издание А. С. Суворина, 1907».

В предисловии читаем: «Автобиографические записки» императрицы Екатерины II в течение ста лет были окутаны покровом государственной тайны и стали известны в их целом составе лишь в издании Императорской Академии Наук...»

Книга, которую не обойдут вниманием любители отечественной истории,— это репринтное воспроизведение издания 1907 года, выполненное Московским филиалом польско-советского издательско-полиграфического предприятия «Орбита». Созданное в сентябре 1988 года, общество «Орбита» уже выпустило на русском языке книгу Николая Ивановича Бухарина «Политическая экономия рантье»; а Варшавский центр одновременно отпечатал на польском книгу Г. Росниски и Еви Хамме «Шпинкель».

Московский филиал совместного предприятия планирует в нынешнем году выпустить на русском языке «Заговор против «Польши» Г. Вачнадзе, «Сборник фантастики» С. Лема, «Современный польский детектив» и серию детских комиксов в переводе с польского.

Самюэль Беккет. Изгнанник. Пьесы и рассказы. Перевод с английского и французского. Предисловие М. Кореневой. Составление М. Кореневой и И. Дюшена. М., Известия, 1989.

Счастливые дни. Последняя лента Крэппа. Развязка. Пьесы.— Театр, № 2, 1989.

Пришел к читателю первый сборник произведений знаменитого ирландского писателя и драматурга, лауреата Нобелевской премии С. Беккета. Он один из основоположников театра абсурда, а его пьеса «В ожидании Годо», переведенная на русский в 1966 году, ныне занимает видное место в репертуаре многих наших театров. Беккет развивает тему человеческого отчуждения в современном мире, тему некоммуникабельности. Философский талант писателя не требует на сцене сложных декораций, экспозиций. Действующие лица пьес и рассказов Беккета — бродяги, сознательно рвущие связь с обществом, постигающие смысл бытия в своеобразном изолированном «футляре» — убежищах-трущобах. Писатель абстрагируется от познания и таланта, любви и тщеславия, пытается постичь смысл жизни в самой жизни, в том предельно малом, неуловимом, что отличает человека от иных живых существ: взаимоотношения героев подаются максимально обнаженно. К творчеству Беккета, пожалуй, можно отнести слова Поля Валери о «тоске жизни», которая «есть, в сущности, не что иное, как жизнь в своей наготе, когда она пристально себя созерцает».

От «Барбароссы» до «Терминала». Взгляд с Запада. Составитель Ю. И. Логинов. М., Политиздат, 1988.

В книге собраны статьи и главы из книг известных английских и американских историков, публицистов Б. Лиддел Гарта, У. Л. Ширера, А. Кларка, Р. Джексона и других, в которых освещаются главные события Великой Отечественной войны. Взгляд с Запада часто весьма отличен от сложившихся у нас представлений о минувшей войне, некоторые факты непривычны, многие оценки спорны, но все это позволяет более полно понять и значение подвига советского народа, и трагические последствия войны, особенно первых лет поражений и отступлений.

Так, в частности, бывший начальник отдела печати германского МИД П. Шмидт (псевдоним П. Карелл) излагает распространенную германскими дипломатами и разведчиками версию о том, что «дело Тухачевского» было организовано немецкой разведкой, передавшей через Чехословакию в СССР фальшивое досье на маршала. При этом он замечает: «Гейдрих (начальник службы безопасности СС) не был автором этой драмы, он был всего лишь ассистентом. Его фальсифицированное досье не было основной причиной ареста и осуждения Тухачевского и его друзей, а всего лишь алиби Сталина. Корни этой трагедии, уничтожившей цвет советского офицерского корпуса, уходят в беспощадную борьбу за власть между мощными соперниками».

Следует добавить к этому, что следы досье в сохранившемся архиве по следственному делу Тухачевского так и не были обнаружены.

Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. Перевод с чешского. М., Юридическая литература, 1989.

Книга не имеет аналога в отечественной литературе. Сегодня лишь некоторые библиотеки могут предоставить интересующемуся читателю немногочисленные экземпляры французской, итальянской или американской энциклопедий по римскому праву, поэтому труд «Римское право: понятия, термины, определения», или «Энциклопедия римского права», восполняет нужду в такого рода источнике.

Во вступительной главе Бартошек дает краткое содержание римских государственных и правовых институтов, затем вводит читателя в мир римских юридических понятий, институтов, законов.

Статьи о римских юристах предельно сжаты. Лишь корифеям римской правовой науки уделено больше внимания. Здесь же даются справки о некоторых исторических лицах, таких, как Цезарь и Цицерон, выдающихся юристах XII—XIX веков, которые, используя богатое римское правовое наследие, участвовали в формировании европейской юридической культуры.

Образцы творчества римских юристов, ставшие неотъемлемой частью, компонентом не только европейской правовой культуры, но и показателем культуры любого образованного человека, завершают это уникальное научное издание.

Марина Влади. Владимир, или Прерванный полет. Перевод Марины Влади и Юлии Абдуловой. М., Прогресс, 1989.

Мне меньше полувека — сорок с лишним.
Я жив, двенадцать лет тобой храним.
Мне есть что спеть, представ перед
Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.

Трудно заподозрить поэта, стоявшего на краю гибели, предчувствовавшего ее, в неискренности: последние стихи обращены к жене, другу, известной французской актрисе, которая, прожив с ним двенадцать лет, продлевала порой ценой неимоверных душевных усилий дни его сложной, трагической жизни, продлевала — и в этом невозможно усомниться — своим терпением, мужеством, доброжелательностью.

«Всю свою жизнь ты разыгрывал некое тихое помешательство,— с горечью сетует М. Влади, обращаясь к памяти мужа,— чтобы скрыть глубокий внутренний разлад. Ты каждый день маскировал отчаяние шутками, которые обезоруживали чиновников и близких тебе людей, иногда устававших от твоих невероятных выходок». Тем не менее ей нельзя отказать в желании разобраться в сложных явлениях советской действительности конца 60-х — начала 80-х годов, понять мотивы беспредельной любви Владимира Высоцкого к своей Родине, ее простым, столько перенесшим на своем веку людям. Наиболее интересны те страницы воспоминаний, где автор подробно, не упуская мельчайших деталей, описывает процесс работы поэта над своими стихами и песнями, рассказывает о его выступлениях в театре и на концертах перед советской и зарубежной аудиторией. Марина Влади всею душой стремится к объективному изложению событий и фактов. Однако порою эмоции преобладают над объективностью, поэтому не со всеми оценками людского поведения, с которым пришлось ей столкнуться, живя у нас в стране, можно согласиться: иногда они чрезмерно субъективны. Несомненно, одна-ко, одно: при написании воспоминаний Мариной Влади двигало чувство любви и нежности к рано ушедшему из жизни талантливому поэту, желание не предать забвению все, что она знала о нем.

Юрский С. Кто держит паузу. М., Искусство, 1989.

— Как вы пришли в театр (кино)?
— Какая ваша любимая роль?

Из сложных вопросов, на которые ответить почти невозможно:

— Что вы хотели сказать вашим спектаклем (фильмом)?

Из практических вопросов:

— Как вы запоминаете столько текста?
— Женаты ли вы?
— Женат ли Тихонов?..

Эти вопросы, пишет известный советский актер и режиссер Сергей Юрский, зрители обязательно задают ему на встречах.

Его первая книга с тем же названием появилась в 1977 году и вошла в настоящее издание. Большая часть написана совсем недавно и отражает впечатления и размышления последних лет. Это не мемуары, не дневники, скорее рассказы, сюжетом которых является жизнь театра, кино. Читатель благодаря им познакомится с выдающимися мастерами Г. А. Товстоноговым и Ф. Г. Раневской, Р. Я. Пляттом и А. В. Эфросом. Отдельный рассказ о работе в Японии со знаменитой актрисой Комаки Курихара и ее труппой.

Диалоги о Сибири. Публицистический сборник. Восточно-Сибирское книжное издательство, Иркутск, 1988.

О холодной Сибири говорят сегодня горячо, заинтересованно, порою ожесточенно. Спор о Сибири, ее прошлом, настоящем и будущем, ее исторической судьбе и драме представлен и в этом сборнике.

«Диалоги...» — это собранные под одной обложкой беседы с сибирскими писателями В. Распутиным и В. Астафьевым, учеными — Н. Логачевым, Р. Саляевым, Г. Фильшиным, А. Исаевым, хозяйственниками — Ф. Ходаковским и И. Смоляниным, строителем А. Бондарем, архитектором В. Щербинным.

Каждый из собеседников говорит о своем — своих тревогах и надеждах, своем деле,— и в то же время у каждого и у всех вместе ныне *одна* тревога — Сибирь.

Советская литературная пародия. В 2-х книгах. Составитель, автор вступительной статьи, комментариев и указателя имен Б. М. Сарнов. М., Книга, 1988.

Лакировка действительности, слезливая умилительность, пошлость — это прошлое

нашей литературы не спешит становиться прошлым. Оно цепко, а иногда и не без успеха отстаивает свои претензии быть ее настоящим. Поэтому пародии, написанные сорок и даже пятьдесят лет назад, представляют сегодня отнюдь не только историко-литературный интерес.

Из вступительной статьи Б. Сарнова узнаем, например, что объектами вышучивания становились порой и первоклассные литераторы и беспомощные графоманы — ведь жанр пародии весьма демократичен. Но, конечно, наиболее интересны для читателя собранные в поэтической книге двухтомника остроумные пародии на И. Бунина и М. Волошина, А. Ахматову и Н. Гумилева, И. Северянина и В. Маяковского. В наши дни круг значительно расширился — тут и Я. Смеляков, и Д. Самойлов, и В. Соколов, и Н. Тряпкин, и Б. Ахмадулина, и В. Высоцкий...

Некоторые литераторы выступают в первой книге в двух ипостасях: как пародисты и как пародируемые — и ничего, смешно получается.

Вторая книга отдана пародиям на прозаические сочинения — от романа до статьи. Здесь высмеивается преимущественно серая литература: в «Святочных рассказах» Михаила Зощенко, язвительных гротесках Натальи Ильиной, Зиновия Паперного, Виктора Ардова.

Любопытны раздел «Приложение», где звучат голоса «пострадавших», и размышления пародистов о своей работе — автопародии, не совсем пародии и. представьте себе, даже... пародии на пародистов.

Н. И. Павленко. Птенцы гнезда Петрова. 2-е издание с изменениями. М., Мысль, 1988.

Пожалуй, самая колоритная фигура в книге — Петр Андреевич Толстой, дипломат, государственный деятель, предок великого писателя: «Лучшая голова в России», «...человек даровитый, скромный и опытный...» — писали о нем современники. Начало блистательного взлета карьеры Толстого — расследование дела царевича Алексея, в котором он проявил иные свойства натуры — свойства обманщика, шантажиста, лицемера.

Другой сподвижник Петра I — Борис Петрович Шереметев. Первый боевой генерал-фельдмаршал, которому Россия обязана своими военными победами, человек патриархального XVII века, волей судьбы доживший до бурной эпохи преобразований, Шереметев вынужден был переучиваться, чтобы управлять регулярным войском, более боеспособным и мобильным, чем конница.

Главным поприщем кабинет-секретаря Петра I, Алексея Васильевича Макарова, «самого доверенного лица царя», где он проявлял необыкновенное трудолюбие и высочайшую степень организованности, был «распорядок»: все донесения, указы, исходившие от государя, каких бы вопросов они ни касались, проходили через его руки.

Петровская эпоха — одна из самых противоречивых в истории России: время крутых преобразований выдвинуло немало выдающихся деятелей. Три очерка, составившие книгу о людях, каждый из которых внес вклад в укрепление могущества России.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакции: 103863 ГСП. Москва. ул. 25 Октября. 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 04.04.89. Подписано к печати 03.05.89. А 04192. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр. отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 981 000 экз. (1-й завод: 1—730 821 экз.). Заказ № 455. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.